М. Горький

18

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
РАССКАЗЫ И НАБРОСКИ

1922—1928

МОСКВА · 1973

Г $\frac{0731\text{-}0358}{042(02)\text{-}73}$ Подписное

А. М. Горький
Сорренто, 1928 г.

I

ПРОВОДНИК

Скучно стало нам — доктору Полканову и мне — шагать второй день по горячему песку берега ленивой Оки, мимо небогатых рязанских полей, под солнцем последних дней мая; слишком усердное в этом году, оно угрожало засухой.

Все наиболее сложные вопросы цивилизации и культуры мы с доктором окончательно решили еще вчера, установив, что пытливый разум человека развяжет все узлы и петли социальной путаницы, разрешит все загадки бытия и, освободив людей из хаоса несчастий, из тьмы недоумений, сделает их богоподобными.

Но когда мы опустошили котомки наших знаний, рассыпав мудрость нашу друг пред другом по дороге цветами слов,— идти нам стало труднее, скучней.

О полдень наткнулись на пастуха; согнав стадо к реке, он, маленький, сухой человечек, с жестким рыжим волосом на костях лица, посоветовал нам:

— Вы бы лесом шли, лесом идти — прохладно, лес этот — древний, зовется Муромский; ежели его наискось пройти, прямо в Муром и упретесь.

Лес непроницаемой синеватой стеною возвышался верстах в трех от берега. Поблагодарив пастуха, пошли межою, сквозь поле ржи; пастух, щелкнув плетью, закричал нам:

— Эй, заплутаетесь вы в лесе! Зайдите в деревню, там есть знающий старик Петр, он вас проводит за малые деньги, за двугривенный.

Зашли в деревню — домов пятнадцать, прижавшихся по скату долины, над игрушечной речкой, торопливо и как будто испуганно вытекавшей из леса.

Благообразный, седобородый Петр, с невеселым взглядом серых глаз, чинил кадку, вставляя в нее дно; он выслушал наше предложение молча, а толстый мужик, наблюдавший за его работой, покуривая трубку, сказал:

— Он вас доставит аккуратно. Это у нас путеводитель самый первый на всю округу. Ему лес известен, как своя борода.

Борода у Петра была не велика, не густа, а сам он был не по-мужицки опрятен и очень солидный, спокойный. Хорошее, мягкое и покорное лицо.

— Ну что ж? — сказал он, отодвинув кадку длинной ногою в лапте.— Можно. Благословясь, пойдемте. Полтину — дадите?

Толстый мужик чему-то обрадовался, заговорил оживленнее:

— Полтинник — цена дешевая. Я бы вот за полтинник не пошел, нет! А это человек — знающий. Он вас к ночи доставит в самый, в Муром. Тропой поведешь?

— Тропой,— сказал Петр, вздохнув.

Пошли. Петр, высокий и прямой, с длинным посохом в руке, шагал впереди нас и молчал, точно его не было. На вопросы доктора он отзывался не оглядываясь, кратко и спокойно:

— Ничего. Привыкли. Как сказать? Конечно, плоховато живем.

Когда он сказал: «И мураш привычкой живет» — доктора Полканова обожгло восхищение; он вспомнил Вуда, Леббока, Брема и долго и восторженно говорил о таинственной жизни муравьев, о скромной мудрости русского народа и красноречивой точности его языка.

Входя в лес, Петр снял картуз, перекрестился и объявил нам:

— Вот он начинается, лес!

Сначала шли по дороге между стволами мощных сосен, их корни, пересекая глубокий песок, размятый колесами телег, затейливыми изгибами лежали, как серые, мертвые змеи. Пройдя с полверсты, путеводитель наш остановился, поглядел в небо, постучал палкой по стволу дерева и молча круто свернул на тропу, почти незаметную под хвоей и среди каких-то маленьких ело-

чек; захрустели под ногами сухие сосновые шишки, нарушая важную тишину; она очень напоминала внушительное безмолвие древнего храма, в котором давно уже не служат, но еще не иссяк теплый запах ладана и воска. В зеленоватом сумраке, кое-где пронзенном острыми лучами солнца, в золотых лентах стояли бронзовые колонны сосен, покрытые зеленой окисью лишайника, седыми клочьями моха; среди мохнатых лап сверкали синеватые узоры небесного бархата.

Потом, когда вошли глубже в лес, мне показалось, что весь он как-то внезапно и чудесно оживился. Вместо Соловья-разбойника свистели дрозды, было много багряных клестов, крючковатые носы их неутомимо шелушили сосновые шишки, серой мышью бегал по стволам неуловимый поползень, мерно долбил кору дятел, тенькали суетливые синицы, рыжие белки перемахивали по воздуху с кроны на крону, распушив хвосты. И все-таки было так тихо, что даже доктор Полканов догадался: в этой тишине самые умные слова звучали бы неуместно.

— Заяц,— сказал наш путеводитель и вздохнул: — Эх...

Я не заметил зайца. Тропа,— если только она была,— удивляла меня своим капризным характером: иногда, там, где ей следовало бы лежать прямо, она огибала кольцом отдельные группы деревьев, там же, где пред нею деревья стояли плотной стеною и у корней их густо росли кусты черники, она с прямолинейностью, которая казалась мне излишней, лезла сквозь стволы сосен и, невидимая, врезалась в заросли.

— Сейчас должен быть овраг,— предупредил Петр очень тихо.

Версты через две я спросил его:

— Где же овраг?

— Видно, в сторону отошел,— сказал старик и, посмотрев в небо, прибавил:

— Заяц этот...

Доктор Полканов осведомился:

— Мы не заплутались?

— Зачем? — спросил путеводитель.

Но когда начало темнеть, а мы почувствовали себя достаточно усталыми, нам стало ясно: заплутались.

Доктор снова вежливо намекнул об этом старику и получил уверенный ответ:

— Я же тут сорок раз ходил. Через версту времени будет просека, ею выйдем на пожог, обойдем его боком и опять в лес, а там и Муром будет видно.

Говоря, он спокойно отмеривал посохом сажени и, не останавливаясь, шагал, отступал пред какими-то невидимыми мне препятствиями и не очень считался с преградами видимыми. Назначенная им «верста времени» растянулась на добрый час пути, просека и пожог тоже, должно быть, «отошли в сторону», не желая показаться нам. Но вот мы вышли на небольшую поляну, серебряная луна висела над нею, освещая кучу обгоревших бревен и среди них — черную обломанную трубу полуразрушенной печи; это было похоже на тщательно и трудолюбиво сделанный рисунок бесталанного художника.

— Я тут бывал,— объявил нам проводник, оглядываясь.— Это — сторожка, лесник жил в ней. Пьяница.

Доктор невесело, но твердо сказал:

— Заблудились.

— Немножко похоже,— осторожно полусогласился старик, сняв картуз, глядя на луну.— Заяц дорогу перебил нам,— пожаловался он.— Круто влево подались мы. Днем — трудно соображать; ночью — звезда пути указует, а днем небо пустое.

И, тыкая концом палки в головню под ногами, он, вздохнув, добавил:

— На лысой голове и вошь не водится.

Это странное добавление показалось мне излишним. Решили отдохнуть, закусить; сели на черные, отшлифованные дождями бревна; запасливый доктор вынул из котомки хлеб, колбасу, печеные яйца, отвинтил вместительный стаканчик с горлышка фляги, обшитой кожей, налил коньяку и предложил:

— Путеводителю!

Старик, перекрестясь на луну, выпил,— удивился:

— Очень сильный напиток! На ладане настоян или — как?

Потом он долго, молча и усердно жевал колбасу, ел яйца и после третьей рюмки рассказал нам:

— Скрывать не стану, господа ласковые, заплутались мы, куда теперь идти — я не знаю. Сами видите, каков это скушный лес: сосна и сосна, и нет промеж ее никакого различия. Прямо скажу: не люблю я этот лес. А что слава про меня пущена, будто я первый знаток лесной, так это в насмешку надо мною сделали, по бесстыдству людей, из озорства. Это — напраслина, как я догадываюсь. А начало всему положила обезьяна. Тут, видите, под Елатьмой, жила на даче одна женщина вдовая, из Москвы; с обезьяной жила, и окаянная зверюшка эта сбежала от нее. Сами понимаете: зверь лесной, видит — деревья, думает: «Господи, вот меня назад в Австрию привезли!» И — махнула в окошко, да — в лес, а женщина — плакать по звере, кричит: «Кто ее поймает, тому десять рублей!» Было это давно, лет тридцать назад, в ту пору десять-то рублей — корова, а не то что обыкновенная обезьяна. Вызвался я, в числе прочих, ловить ее да четверо суток и плутал за ней, стервой. Упрям был, и бедность толкала. Лесу этого я тогда обошел не знаю сколько, может, больше сотни верст. Сволочь эту, обезьяну, я скоро приметил, хожу за нею, зову: «Кис-кис; Машка, Машка». А у нее свой характер, она сигает с дерева на дерево, морды корчит мне, дразнит, пищит, как лисенок. Птички ее, подлую, интересуют, за птичками гоняется, ну, конечно, нашу русскую птичку обезьяне не поймать. При всем моем упрямстве надоела она мне, да и голод морил, ягодой сыт не будешь, а ведь я день и ночь преследую ее — не шутка! Бога молил: «Пошли ты, господи, смерть на нее». Ну, все-таки и она ослабла, подстерег я ее, пакость, на сучке невысоком да палкой и швырнул в нее,— свалилась; свалилась, поползала несколько, я ее боюсь в руки взять, ударил еще разок, а она мяукнула и — готова! Ну ладно, пес тебя дери, думаю; взял, понес ее. С барыней дело у меня ничем кончилось, дала она мне вместо десяти рублей семь гривен: «Дохлую, говорит, мне ее не нужно». А для меня с того времени началась страдная жизнь: церковь ограбят — сейчас меня за шиворот: «Иди, Петруха, ищи воров, ты лес знаешь». Беглый появится, лошадей украдут — опять меня гонят: ищи! Охотники приехали — тоже я

провожать их. Так, зиму и лето, и ходил и хожу. Да. А у меня все-таки хозяйство. И всегда меня в понятые; становой, исправник — все кричат: «Ты лес этот знаешь, дурак!» Довели до того, что я сам обманулся, поверил, будто действительно знаю я лес. Иду храбро, а войду и вижу: ничего я не знаю. А сказать людям, что не знаю,— совестно. Счету нет, скольких я людей водил тут. Ученый один из Москвы прибыл, определили меня к нему — показывай! Он для меня, ученый этот, оказался тоже вроде обезьяны, хотя — солидный человек, с бородой. Ходит и ходит, а что ему надо — невозможно понять. Травы нюхает, мычит. Едва довел я его до Карачарова села, откуда Илья Муромец родом, плутали тоже суток трое. Ругается. А мне его, извините, тоже палкой по башке треснуть охота, так надоел он! Нет, очень я не люблю этот лес, большие неприятности растут мне в нем...

Недружелюбно поглядев на черное кольцо деревьев, в котором сидели мы, как на дне ямы, путеводитель наш дополнил свой анекдотический рассказ:

— И к тому же я смолоду близорукий; в даль будто хорошо вижу, а близко — туман. Со стыда всё на зайцев поклепы вожу, будто зайцы сбивают меня с дороги.

Немножко захмелев, он благодушно улыбался серыми глазами и, очищая яйцо, молвил, качнув головою:

— Перед зайцами я виноват.

МАМАША КЕМСКИХ

Вошел я в город вечером; красные облака рдели над крышами; в неподвижном воздухе взвешена розоватая пыль. Суббота, в церквах благовестят ко всенощной. Из ограды маленькой, убогой церковки, затисканной в глухой тупик, застроенный каменными домами, бородатый босой мещанин выгонял палкой свинью и семь штук пестрых поросят. Против паперти стояла, как вкопанная, женщина в черном платье, в черном, порыжевшем платке; она озабоченно пересчитывала медные деньги, сосчитает, уложит на ладонь столбиком, посмотрит в пыльное небо, на синюю главу колокольни и, надув толстые, темные губы, снова начинает считать.

Зашел в трактир, спросил бутылку пива и, глядя в окно, задумался: что проклинать, что благословлять?

Я еще очень молод и, в поисках устойчивого равновесия, качаюсь во все стороны. Мне кажется, что жизнь бессмысленно дразнит меня, показывая мне свои отвратительные, унижающие гримасы. То, что мне опытные люди советуют благословить,— скучно, бесцветно и мертво, проклинать же рекомендуют именно то, что мне нравится.

В общем я ничего не понимаю. Иногда мне кажется, что в голове у меня нет никаких мыслей, там, как пыль в воздухе, взвешены и прыгают какие-то разноцветные шарики, больше — ничего. А хуже всего то, что я, кажется, всё меньше верю тем мудрым людям, которые говорят мне, что они-то всё поняли. Мне трудно и глупо, как вот этой мухе, которая бьется головою о стекло окна,— как будто ничего нет, а — непроницаемо.

По безлюдной, скучной, чисто выметенной улице идет необыкновенная старуха; в ее походке есть что-то птичье, летящее, ныряющее, неожиданные, неоправданные

фигурные изгибы, изломы, пугливые прыжки назад и в сторону при встрече с людями; люди тоже отскакивают от нее, провожают старуху косыми взглядами, хмурятся.

Поистине — походка ее напоминает капризный и резвый полет ласточки; сходство с птицей еще более усиливают пестрые лохмотья, развеваясь на ее маленькой, легкой фигурке, она вся в каких-то лоскутках, на серых волосах птичьей головы бумажные ленты. Голова тревожно вертится на тонкой шее, остренький нос что-то вынюхивает, короткая нижняя челюсть непрерывно шевелится, жует воздух, на темной коже подбородка торчат седые волосы. Из-под подола юбки, обильно и, должно быть, нарочно украшенной разноцветными заплатами, мелькают грязные голые ноги, звериные лапы, такие же лапы судорожно хватаются за столбы фонарей, тумбы, заборы и стены домов.

Человеческого — мало в этом странном существе, оно напоминает химеру, уродливую выдумку и кажется слепым, глаза спрятаны в темных ямах и под густыми клочьями сердито соединенных бровей. Вот она перешла улицу, подпрыгнула, возвратилась, идет под окном.

Спрашиваю буфетчика:

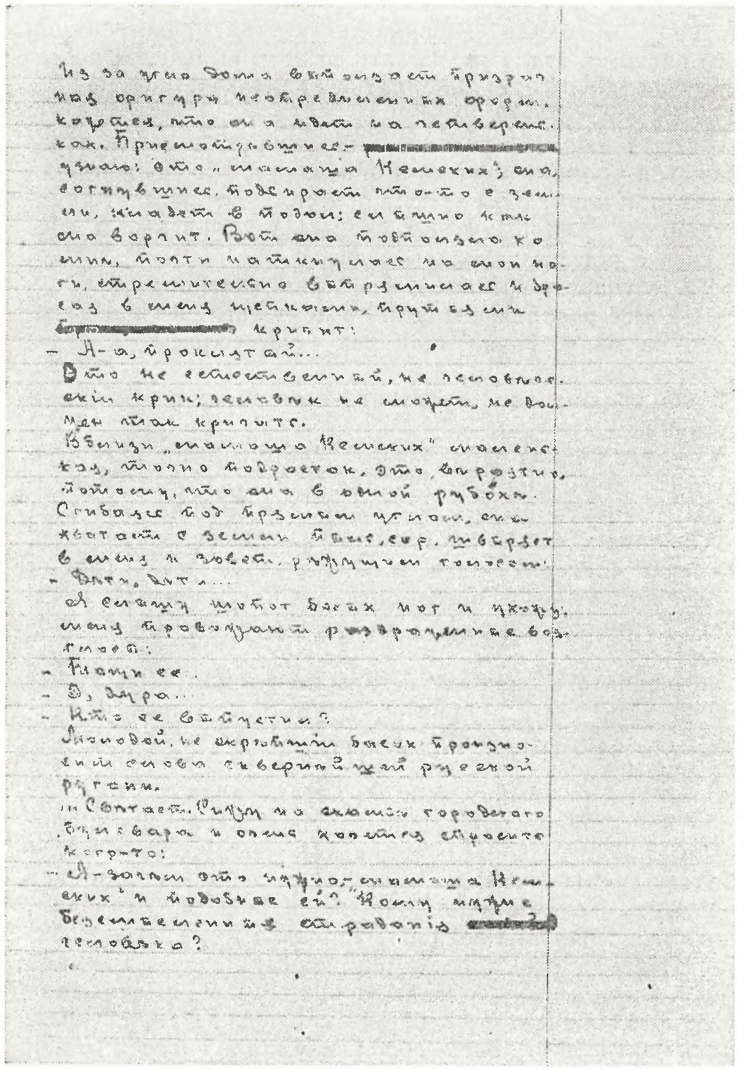
— Это кто?

— Мамаша Кемских,— отвечает он с тою гордостью, с какой в провинции говорят о монументах знаменитым людям: Карамзину — в Симбирске, в Казани — Державину.

Буфетчик — старый человек, сытый, с гладким лицом актера или повара, у него вставные зубы, он любезно улыбается золотой улыбкой.

Хотя я не прошу его об этом,— он бойко, с удовольствием и даже как будто с восхищением рассказывает о «мамаше Кемских».

Некто Кемской, помнится — князь, молодой человек, приехал откуда-то из-за границы хоронить вотчима своего; похоронил, влюбился в актрису, быстро прожил с нею унаследованное состояние и, решив, что больше жить незачем, выстрелил себе в рот, но от этого не умер, а только вырвал себе язык и, прострелив шею, остался жить, онемев; голова у него свернулась набок. Когда он, тяжко раненный, лежал у себя в старом барском доме,



«МАМАША КЕМСКИХ».
Страница автографа.

к нему приехала девушка-институтка, родственница его вотчима, стала ухаживать за ним, вылечила, поставила на ноги и в одиннадцать лет жизни с ним родила ему пятерых детей.

При жизни Кемского она кормила его и детей, зарабатывая уроками музыки и рисования, продавая мебель и вещи, а когда Кемской умер, тринадцать комнат двухэтажного дома были совершенно опустошены, и «мамаша» с детьми забилась в две.

Блестяще ухмыляясь, буфетчик говорил:

— Всё распродала; дети на полу спят, и сама валяется на полу, разве иной раз сена, соломы украдут; совсем одичали...

Он восхищался, буфетчик, восклицая жирненьким голосом:

— Ни зеркал нет, ничего! Добрые люди интересовались: зачем она муку эдакую взяла на себя? «Фамилию, говорит, поддержать надо, невозможно, говорит, чтоб такая фамилия вымерла»,— Кемские, дескать, Россию спасали много раз. Конечно, это — глупая фантазия: от чего Россию спасать? Россию никто похитить не может, Россия — не лошадь, ее цыгане не сворują.

Двадцать восемь лет бегала по улицам города «мамаша Кемских», жилистая, лохматая, голодная волчиха,— бегала, двигая челюстью, и всегда что-то нашептывала.

— Как молитву твердила, хотя — злая.

Она так оборвалась, обносилась, одичала, что «порядочные люди» уже не пускали ее к себе, и она не могла больше учить детей их музыке, рисованию. Стремясь насытить своих детей, она воровала овощи по огородам, ловила на чердаке голубей, воровала кур, летом собирала щавель, съедобные корни, грибы и ягоды; в зимние ночи, в метели ходила в лес воровать дрова, выламывала доски из заборов, чтоб согреть хотя одну печь полуразрушенного дома. Весь город изумляла неиссякаемая энергия «мамаши»; ее даже будто бы не преследовали за воровство.

— Разве иногда побьют маленько, но чтобы в полицию отправить — никогда! Жалели ее.

Горожан удивляло, что она не просит милостыню, ее даже уважали за это, но никто никогда не помогал ей жить.

— А — почему? — спросил я.

— Как вам сказать? Потому, надо думать, что уж очень злая и горда, хотелось поглядеть, докуда этой гордости хватит. Теперь, уж четвертый год, стали ей милостыню подавать; теперь она совсем с ума сошла. И — как вы думаете — на чем? Представьте себе — на детях! «Дети мои, кричит, на царства рождены: Борис — царь польский, Тима — болгарский, Саша — греческий царь»,— вот как она! А мы этих царей бьем, они все в мать пошли,— воры. Бориска даже горбат, из окна вывалился, будучи ребенком, Тимофей — дурачок, Александр — глухонемой, еще один, меньшой, тоже выродок. Главное — все воры, а Борис особенно нахален в этом. Только из старшего, Кронида, человек вышел, он бойцом на бойне работает. Этот — скромный, тихий, матери и братьев стыдится, не живет с ними, не знает. Недавно женился на прачке. А мамаша всё шныряет, бегает, прокорма ищет дармоедам своим. Замечательная; даже владыко удивлялся: «Вот, говорит, какое терпение неисточимое, учитесь!» Милостыню подать ей надо умеючи, людей она боится, отвергает нас, кричит: «Прочь!»

Оглушительно поет канарейка, изумляя силою, скрытой в таком ничтожном комочке желтых перьев, крошечных мускулов и тоненьких, изящных косточек. Пение канарейки всегда напоминает мне рыдающий крик осла.

Буфетчик благодушен, словоохотлив и удивлен благополучием своего бытия. Я не заметил, когда он прервал где-то рассказ о «мамаше Кемских» и почему заговорил о себе.

— Мне судьба за всякую неприятность аккуратно платила удовольствием. С женой я жил семнадцать лет душа в душу, но при ней у меня болели зубы. И рвал я их и драл — ноют! А умерла жена — и зубы в тот же год перестали болеть. Значит, существует равновесие событий. Жаловаться — грех...

Он, очевидно, забыл, что зубы у него искусственные.

— Глядите, глядите,— вон тащится польский царь!

Посредине улицы двигается на кривых ногах большая охапка соломы, неумело связанная мочальной веревкой, человека под соломой не видно, а только паучьи, тонкие ноги, на левой ноге штанина оторвана и видно голое, неестественно вывернутое колено.

— Вот-с,— говорит буфетчик и смеется вежливым смешком:

— Хэ-хэ-хэ...

...Ночь. Сквозь деревья виден рыбий глаз луны и несколько далеких одна другой звезд. Гудят провода телеграфа. Синеватый воздух над моей головою пахнет пылью и чем-то гнилым.

Предо мною двухэтажный дом с тремя облупленными колоннами по фасаду; зияют окна верхнего этажа; рамы из них выломаны, колоды — тоже, вывалилась и часть кирпичей; окна — зубчатые, рваные дыры, и кажется, что из них на улицу холодным дымом лезет густейшая тьма. Вокруг дома ничего нет — ни забора, ни служб; от широких ворот остались только кирпичные обломанные столбы. Дом как будто выброшен из города на пустырь.

Пять окон; два из них тоже без рам, с выломанными косяками, заложены кирпичом. Сквозь мутное стекло одного из трех, крайнего, просвечивает рыжеватое пятно лампы; это окно, несмотря на духоту, закрыто и даже забито снаружи доскою наискось: очевидно, рама сгнила и открыть ее нельзя.

За окном — шумят, шум похож на лай и вой собак; кажется — кто-то плачет; два голоса наперебой кричат:

— Валет пик...

— Врешь — король...

— Две копейки!

— На-ко, выкуси...

Из-за угла дома выползает призрачная фигура неопределенных форм, кажется, что она идет на четвереньках. Присмотревшись — узнаю: это «мамаша Кемских»; она, согнувшись, подбирает что-то с земли, кладет в подол; слышно, как она ворчит. Вот она подползла ко мне, почти наткнулась на мои ноги, стремительно

выпрямилась и, бросая в меня щепками, прутьями, кричит:

— А-а, проклятый...

Это неестественный, нечеловеческий крик; человек не может, не должен так кричать.

Вблизи «мамаша Кемских» маленькая, точно подросток, это, вероятно, потому, что она в одной рубахе. Сгибаясь под прямым углом, она хватает с земли пыль, сор, швыряет в меня и зовет режущим голосом:

— Дети, дети...

Я слышу топот босых ног и ухожу; меня провожают раздраженные возгласы:

— Тащи ее...

— Э, дура...

— Кто ее выпустил?

Молодой, неокрепший басок произносит слова сквернейшей русской ругани.

...Светает. Сижу на скамье городского бульвара, и очень хочется спросить кого-то:

«А зачем это нужно — „мамаша Кемских“ и подобные ей? Кому нужны бессмысленные страдания человека?»

УБИЙЦЫ

Преступность — возрастает; убийства становятся всё более часты, совершаются хладнокровнее и приобретают странный, вычурный характер.

В современных убийствах наблюдается что-то надуманное, показное; как будто убийцы видят себя спортсменами, стремятся установить фантастические рекорды холодной жестокости; если один разрезает труп убитого на шесть кусков, то другой режет его на двенадцать.

Нет сомнения в том, что развитию преступности в сильной степени способствуют газеты, навязчиво и ярко расписывая, раскрашивая убийства и тем создавая из убийцы — героя, из преступления — подвиг. Обнаруживая острый интерес к преступнику и полное равнодушие к его жертве, газеты больше всего говорят о ловкости убийцы, о его хитрости и смелости.

На той же медной трубе сенсации играют и господа авторы так называемых «детективных» романов, которые правильнее именовать дефективными романами.

Этим двум влияниям успешно помогает кинематограф: воспроизводя на экране картины преступлений, он возбуждает зоологические эмоции одних людей, развращает воображение других и, наконец, притупляет у третьих чувство отвращения к фактам преступности. Всё это делается для того только, чтоб развлечь людей, которым живется скучно.

Вполне допустимо, что кинематограф увеличивает и даже углубляет серую скуку жизни тех людей, которые, как барабаны, пусты внутри и звучат, лишь получив удар извне. И несомненно, что возрастает количество людей, желающих быть замеченными.

Я склонен думать, что для многих преступление ста-

повится путем к славе, а для некоторых даже развлечением, простым, легко доступным и поощряемым, потому что можно поощрять и порицанием, если к порицанию присоединить удивление.

А простота — да что же может быть проще и глупее убийства человеком человека в наши дни, после того, как на полях Франции уничтожены — чего ради?— миллионы европейцев, ценнейших людей нашей планеты?

Если идиот разрежет ближнего на куски и пожрет его, об идиоте целый месяц будут говорить и писать как о человеке исключительном, замечательном, но о том, что хирург Оппель трижды, приемом массажа сердца, воскрешал людей, умерших на операционном столе, об этом не знают и не пишут.

В этом противопоставлении извращений социального быта чудесам науки скрыта тема огромной важности. Непонятно — почему до сей поры ни один из честных европейских умов не развернул эту тему во всей ее широте и глубине?

Этот ум мог бы осветить и уничтожить одно из роковых недоразумений современности; он показал бы, как тяжело и уродливо ложится на всё то, что мы называем «культурой», мрачная и тревожная тень естественного недовольства цивилизацией.

Убийцы всегда вызывали у меня ощущение воплощенной глупости. И как бы чисто ни был одет убийца, он всегда возбуждает подозрение в его физической чистоплотности.

Первый убийца, встреченный мною, жил в Казани, на окраине города, в Задней Мокрой улице; его звали — Назар. Старик шестидесяти семи лет, высокий, сутулый, с большим плоским лицом, в огромной белой бороде, с широким раздавленным носом и длинными, до коленных чашек, руками, он отдаленно напоминал обезьяну, но голубые, жиденькие глазки его светились детски ясно, и в языке, в словах было что-то детское, шепелявое, мягкое.

В молодости он был пастухом и уличен в скотоложстве; над ним издевались, и особенно сильно — семья

его дяди. В день апостолов Петра и Павла он вырезал всю эту семью отточенным обломком косы; дядю:

— Не позволяй смеяться!

брата и жену его:

— Не смейтесь!

племянницу свою, девяти лет:

— Чтобы молчала!

и батрака-рабочего:

— Просто под руку попал.

Так он сам рассказывал мне и приятелю моему — студенту Грейману; рассказывал, улыбаясь улыбкой человека, который вспоминает самое крупное и удачное дело своей жизни. За это дело он был бит кнутом и получил двадцать лет каторги; бежал из рудника, через три месяца добровольно вернулся на работы, снова был наказан кнутом и ему «набавили срок».

— Начальники жалели меня за простоту души,— говорил он.

За «хорошее поведение» ему дважды уменьшали кару, но в общем он работал двадцать три года, затем долго жил в Сибири поселенцем. В Казани он собирал тряпки, кости, старое железо и, продавая это, зарабатывал 25—40 копеек в день. Питался только чаем и пшеничным хлебом; хлеба съедал по три, по четыре фунта в день, чай пил трижды в сутки, нестерпимо горячий и каждый раз стаканов по десяти. По субботам парился в бане до обмороков.

Хромал, болела правая нога. Задирая штанину, показывал Грейману синюю опухоль на колене и просил:

— Ну-ка, черненький, погляди, чего она?

Грейман, юрист, брезгливо морщился, говорил, что он — не доктор, старик настаивал:

— А ты погляди! Докторам, знахарям я не верю, а тебе — верю! Пускай ты — жид, да у тебя привычка хороша, всегда ты правду говоришь; что ни скажешь — правда!

Греймана изумлял этот человек до болезненного раздражения, почти до ужаса. Органическое отвращение еврея к убийству и крови отталкивало его от Назара, а юношеское наше стремление «понять человека» влекло нас к старику. Мы спрашивали:

— Как ты, такой простой, мог убивать?

Он важно отвечал нам:

— Про это — не расскажешь. Это — дело не мое, бесово дело. Я тогда молодой юнош был, вроде вас. А прост я — от старости.

И поучал:

— Молодость, ребятки, срок опасный. От молодости праведный Адам в раю погиб через суку Еву.

В то время я был мальчишкой семнадцати, шестнадцати лет, и, разумеется, старик удивлял меня; более того: хорошо помню, что я находил нечто лестное для себя в знакомстве с необыкновенным человеком, с убийцей. Но также хорошо помню, что меня возмущала важность тона, которым старик говорил о себе и о преступлении — самом значительном поступке за всю свою жизнь. Самодовольно поглаживая бороду опухшей, багровой рукою, он рассказывал:

— В те поры нашему брату особый парад был: вывозили нас на базарную площадь да там, на черном эшафоте, которых кнутом били, которых просто показывали народу: гляди, народ, каковы есть злодеи! Начальство, начальник грамоту читал...

О жизни на каторге Назар говорил равнодушно:

— Житье там, с непривычки, трудное.

Я никогда не слышал, чтобы он жаловался на страдания, а к людям он относился благодушно и беззлобно, как существо высшего порядка.

Кажется, именно из его уст я впервые услыхал характерно русские слова:

— До греха я жил, как тень, а — ушиб меня бес, тут я и себе и людям стал приметен...

Тогда я, конечно, не мог понять смысла этих слов, но они хорошо укрепились в моей памяти, а впоследствии другие встречи, иные люди и русская литература неоднократно подновляли и подчеркивали жалкую, уродливую мысль, заключенную в этих словах.

Теперь мне кажется, что именно наши расспросы будили в старике гордость его собою, наше любопытство возвышало убийцу в его глазах.

Совершенно бесспорно, что болтовня газет, сенсационные уголовные романы, фильмы кинематографа, изображающие ловкость и смелость убийц, развивая в нервозной и жадной до сенсации городской массе болезненное любопытство к преступникам, способствует росту преступлений; на это указывают и ученые криминалисты. Также бесспорно, что все эти сенсации внушают убийцам самодовольное сознание своей исключительности.

Известно, что человек, чувствуя себя центром внимания ближних, уродливо распухает и кажется сам себе значительнее, больше, чем он есть на самом деле. Мы слишком часто надуваем человека нашим любопытством; возможно, что отчасти поэтому наши политические и иные герои так недолговечны и так легко лопаются. И поэтому же мы, в нашем стремлении создать хотя бы маленького героя, так часто создаем большого дурака.

Газеты в погоне за сенсациями, несомненно, притупляют органическое отвращение даже здоровых людей к убийцам и убийствам. Этим притуплением естественного чувства объясняется неестественный, ужасающий своим равнодушием цинизм, с которым люди смотрят на смертную казнь, как на спектакль театра «Гран Гиньоль».

Кстати: существование и успех этого театра явно указывает на то, что люди, которым скучно жить, в своем желании развлечься уже не брезгуют болезненным желанием ужаснуться. В этом есть нечто поразительно уродливое: ведь ужаснее современной нам действительности ничего невозможно выдумать, однако люди идут любоваться ужасами, выдуманными грубо, искусственно и совершенно чуждыми действительному искусству сцены.

Зло потому так резко бросается нам в глаза, что мы сами подчеркиваем его; наше внимание фиксируется, главным образом и всего охотнее, на явлениях отрицательного характера,— это мое давнее и непоколебимое убеждение. С течением времени убеждение это укрепля-

ется тем, что люди становятся всё менее гуманными, более равнодушными друг к другу. Убеждение это не может поколебать тот изумительный факт, что жители города Ном были спасены от смерти не подобными им людями, а — собакой.

Хуже всего то, что мы фиксируем зло не из органического отвращения к нему, не по мотивам физиологической эстетики, но лишь по силе какого-то дрянненького и, в сущности, преступного любопытства. И, конечно, по внушению фарисейства.

В нашем отношении к преступному и злому всего меньше — чувства самосохранения. Я особенно подчеркиваю отсутствие этого чувства, но совершенно не могу понять, как это совмещается с нашим эгоизмом, рост которого принимает всё более уродливые, чудовищные формы и размеры.

Было бы разумнее и гигиеничней создавать вокруг убийц атмосферу молчания и забвения, совершенно исключающую всякий явный интерес к их личностям и поступкам.

Насколько я знаю человека,— я знаю, что мною рекомендуется самая жестокая кара из всех возможных. Человек, о котором не говорят,— перестает существовать. Самая страшная тюрьма — это тюрьма под открытым небом, тюрьма, не огражденная стенами и решетками в окнах, Фиваида без бога, без людей.

А с другой стороны следовало бы помнить очень здравую мысль Эдгара Поэ:

«Говорите негодяю, что он — хороший человек, и негодяй оправдает это ваше мнение о нем».

Вспоминаю кошмарные впечатления: человек, много и жестоко пострадавший «за други своя», по-русски широко добрый, по-русски исключительной душевной чистоты, показав мне глазами на некоего молодца, прошептал почти благоговейно:

— Это он убил N-ского губернатора.

«Он» — парень лет двадцати трех, пяти, с лицом военного писаря; курносый, светленькие глазки, жирные уши, жесткие, щеткой, волосы. Он стоит у окна и снис-

ходительно смотрит вниз, на улицу, на людей, торопливо шагающих по жидкой петербургской грязи, под назойливым дождем болотной, финской осени. Он держит руки в карманах и жует мундштук погасшей папиросы. От него крепко и душно пахнет идиотом.

У меня явилась обидная и, может быть, неумная мысль:

«Этот баран чувствует себя так же удовлетворенно, как человек, совершивший нечто, признанное важным и полезным для всех людей мира сего».

А один «политический деятель» рассказал мне такое: некто, исполняя приговор своей партии, убил провокатора и, кажется, даже на глазах его отца и матери. Убил и докладывает «пославшим его» о том, как он исполнил это дело. Но во время доклада у докладчика возникла необходимость посетить уборную, куда он и отправился. Через минуту один из его начальников и товарищей, старый человек, схватив со стола ненужную бумажку, подбежал к двери уборной и, постучав, сказал:

— Бумажку — надо? Я принес...

Да. Возможно, что это великодушие было вызвано не чувством почтения и благодарности к убийце, а только пристрастием к гигиене или недостатком у человека уважения ⟨к⟩ себе самому.

Разумеется, я — понимаю: политическая борьба, «тираномахия» и так далее. Да, да. А все-таки: когда же люди перестанут и перестанут ли убивать друг друга, любоваться убийцами? Политические убийства становятся столь же часты, как и уголовные.

Из всех убийц, встреченных мною, наиболее отвратительное впечатление оставили двое.

Мне пришлось присутствовать при беседе моего патрона А. И. Ланина с одним из его подзащитных, человеком, который, напоив свою сестру, убил ее ударом молотка по черепу. Это был торговец битой птицей; не помню фамилии — Лукин, Лукьянов или Лучков, но фигура его и сейчас стоит предо мною в очертаниях исключительной ясности.

Он вошел в кабинет патрона независимой походкой избалованной собаки, для которой все комнаты дома одинаково доступны, привычны и которая ничего не боится. Взглянув в угол, он поднял руку ко лбу, но, не найдя иконы, тотчас улыбнулся понимающей, снисходительной к человеческим заблуждениям улыбочкой и сунул руку за борт сюртука. Этот жест привлек мое внимание удивительной легкостью, даже — хочется сказать — бесплотностью. Затем он благосклонно согнул шею, кланяясь Ланину, больному, лежавшему на диване.

И во всем дальнейшем убийца поражал меня именно этой благосклонностью человека, который великодушно принес в дар ближнему своему — помимо заработка, гонорара — нечто необыкновенно значительное и ценное. Был он небольшого роста, юношески строен, одет в длиннополый сюртук и новенькие сапоги. У него — маленькое личико странного, глиняного цвета, от висков к подбородку и на шею опускались две полоски темных прямых волос; на подбородке и под ним они сгущались в плотную бороду,— казалось, что она вырезана из черного, мореного дуба. Нижняя челюсть коротка, подбородок вдавлен в шею, а верхняя часть лица и высокий крутой лоб так необыкновенно высунулись, что получалось фантастическое впечатление: лицо этого человека живет далеко впереди его тела. Темные глаза посажены глубоко и влажны; они смотрят прямо, от них к вискам идут маленькие морщинки улыбки, застывшей в зрачках и не оживляющей деревянное лицо, с невидимым под усами ртом и туго натянутой коричневой кожей.

Вот именно в этой улыбке и светилась снисходительная благосклонность человека, который пережил нечто потрясающее, чувствует себя исключительным и как бы говорит вам:

«Послушайте меня, послушайте, хотя едва ли поймете!»

Он сидел пять месяцев в тюрьме, а теперь был выпущен на поруки крестному отцу его, тюремному инспектору. Он очень удобно уселся в кресло пред диваном,

положил на колени свои ручки с толстенькими пальцами; трудно было поверить, что такие, чисто вымытые, маленькие руки могли раздробить череп женщины. Склонив голову вбок, он сидел в позе насторожившейся птицы и вполголоса, мягко говорил с патроном моим, как говорил бы с подрядчиком, которому он предлагает работу по ремонту его дома.

Из семи свидетелей, допрошенных следователем, пятеро рисовали убийцу человеком скупым, жестким; регент церковного хора, его постоялец и друг, дал о нем странный отзыв:

«Считаю человеком мелким и на убийство не способным».

Дворник его дома показал, что за хозяином своим он «никаких пустяков не замечал». Трое свидетелей утверждали, что он и раньше пытался убить сестру — сбросил ее в погреб.

Потирая колени свои, торговец битой птицей увещевал Ланина:

— Примите в расчет: мне открыты ворота в богатейший дом; я, значит, вхожу туда зятем, а покойница, обязательно пьяная, конфузит меня на весь город, кричит, что я ее ограбил, будто сгреб часть ее наследства, триста рублей, после родителя — папаши.

Мне кажется, что это буквально точные его слова,— я слушал рассказ внимательно, и у меня неплохая память. Он говорил — «тысящ», а не «тысяч» и часто повторял слово «сумраки», — слово, должно быть, недавно пойманное им, потому что только его одно он произносил неуверенно и как-то вопросительно.

— Я ее уговаривал: «Палагея, не становись на тропу моей жизни».

В сущности, он не говорил, а «выражался», как это вообще свойственно «мелким» людям; когда они видят, что судьбишка улыбается им, они пыжатся, теряют естественность и простоту речи, стараются говорить афористически. Архиерейский певчий, мой знакомый, напечатав рассказ в журнале, изрек:

— Вчера город слышал, как я пою, а сегодня мир узнает, как я мыслю!

В день убийства торговец птицей пришел к сестре своей:

— С душой решительной, с добрым сердцем,— поверьте! «Палагея, говорю, человек должен направлять себя к благополучию, а не к безобразию. Великодушно получи триста рублей и забудь меня, бога ради!» Она даже плакала и расстроила мне душу. Чай пили с вареньем, мадеру, после чего она спьянела. Тут это и произошло, не помню как, потому что, примите в расчет, от нее на меня всегда сумраки...

Патрон мой спросил его:

— А зачем вы принесли с собой молоток?

Тогда, помолчав, человек этот не то — спросил, не то — напомнил:

— Ежели признать молоток, так ведь обнаружится заранее обдуманное намерение...

Мой патрон был человек благовоспитанный и мягкий, но после этих слов он, незнакомо для меня, взбесился, накричал на убийцу и кончил резким заявлением:

— Вы не смеете рассматривать защитника как соучастника вашего преступления!

Мне показалось, что убийца не обиделся, не испугался окрика, он только очень удивился и спросил:

— Как-с?

А когда патрон повторил свои слова более спокойно и понятно, торговец битой птицей встал и, не скрывая обиды, произнес:

— Тогда, извините, поищу другого. В такое дело надобно вступать сердцем-с...

Защищал его «другой», адвокат «с сердцем».

На суде кто-то из свидетелей назвал убийцу: «Оловянная душа».

Еще более противен был художник М., убивший известного артиста сцены Рощина-Инсарова. Он выстрелил Инсарову в затылок, когда артист умывался. Убийцу судили, но, кажется, он был оправдан или понес легкое наказание. В начале девятисотых годов он был свободен и собирался приложить свои знания художника в об-

ласти крестьянских кустарных промыслов, кажется, к гончарному делу. Кто-то привел его ко мне. Стоя в комнате моего сына, я наблюдал, как солидно, неторопливо раздевается в прихожей какой-то брюнет, явно довольный жизнью. Стоя пред зеркалом, он сначала причесал волосы головы гладко и придал лицу выражение мечтательной задумчивости. Но это не удовлетворило его, он растрепал прическу, сдвинул брови, опустил углы губ,— получилось лицо скорбное. Здороваясь со мною, он уже имел третье лицо — лицо мальчика, который, помня, что он вчера нашалил, считает однако, что наказан свыше меры, и поэтому требует особенно усиленного внимания к себе.

Он решил «послужить народу, отдать ему всю свою жизнь, весь талант».

— Вы, конечно, понимаете, что личной жизни у меня не может быть, я человек с разбитым сердцем. Я безумно любил ту женщину...

Его разбитое сердце помещалось в теле, хорошо упитанном и одетом в новенький костюм солидного покроя и скучного цвета.

— Да,— говорил он, покорно вздыхая,— надо «сеять разумное, доброе, вечное», как заповедал нам Николай Некрасов.

После Николая Некрасова он вспомнил о Федоре Достоевском, спросил: люблю ли я Федора?

Нет, я Федора не люблю.

Тогда он любезно и внушительно напомнил мне, что Федор Достоевский — глубокий психолог, да, но что он, М., вполне согласен с критической оценкой Н. К. Михайловского:

— Это действительно «жестокий талант».

Мне показалось, что этому человеку особенно приятно называть литераторов по именам: Николай, Федор, Лев, как будто все они — люди, служащие ему. Шекспира он назвал тоже дружески просто: Вильям.

Затем он сказал, что «Преступление и наказание»:

— В сущности — вредная книга; ее тенденцию можно понять только так: убивать человека — грех, но чтобы внутренно почувствовать это, все-таки необходимо убить хотя бы какую-нибудь паршивую старушку.

Он так и сказал: «внутренно почувствовать», и вся эта фраза была самым остроумным и наглым из всего, сказанного им в течение полутора или двух часов. Она даже показалась мне чужой, подслушанной художником; а выговорив ее, он и сам понял, что ему удалось сказать нечто необычное, надул щеки и победоносно посмотрел на меня темными глазами, белки которых были расписаны розоватым узором жилок.

После этого им овладел легкий припадок гуманизма: увидав на окне в клетках чижа и коноплянку, он лирически заговорил о том, что ему всегда жалко видеть птиц в клетках. Выпив рюмку водки и закусив маринованным грибом, он вдохновенно, очень дешевыми, стертыми словами сообщил мне о своей любви к природе. А затем пожаловался на газеты:

— Всего мучительнее для меня был газетный шум. Писали так много. Вот, посмотрите!

Он вынул из бокового кармана толстенькую книжку, в ней были аккуратно наклеены вырезки из газет.

— Не хотите ли воспользоваться? — предложил он.— Убийство из ревности — тема для очень хорошего романа.

Я сказал, что не умею писать очень хороших романов.

Похлопывая книжкой по мягкой своей ладони, он, вздохнув, продолжал:

— Я бы очень много рассказал вам, добавил. Интересная среда: художник, артисты, соблазнительная женщина...

Руки у него были коротки сравнительно с туловищем, на руках — тупые и тоже коротенькие пальцы бездарного человека, а нижняя губа формой своей напоминала пиявку, но — красную, каких нет в природе.

ЕНБЛЕМА

...Осенний ветер треплет голые кусты, прутья гнутся, но не шумят, хотя, покрытые ржавой пылью, кажутся железными и, качаясь, должны бы скрежетать. Свинцовый туман плотно окутал и скрыл всё вокруг маленькой степной станции; около почти невидимой водокачки устало вздыхает и шипит локомотив, звенят бандажи под ударами молотка; все звуки приглушены осенним унынием. Над моей головою призрачно висит плоская рука семафора. Тощий мокрый козел тоже, как призрак, стоит в кустах и скучно смотрит, как пятеро служащих станции пытаются втащить в дверь товарного вагона тяжелый длинный ящик.

Погрузкой руководит старичок в клеенчатом пальто; под башлыком трясется розовое от холода круглое личико с длинными усами; усы и ястребиный нос старичка очень напоминают портрет одного из гетманов Украины.

— Что это вы грузите?

— Енблему.

Вежливо касаясь ручкой башлыка, старичок отвечает не по-старчески звонко и не по-осеннему весело.

— Енблема,— объясняет он,— статуя из мраморного камня итальянской работы; она изображает идола справедливости — женщину с мечом в руке, а другая рука — в ней весы были — отстрелена по недоразумению. В древнее время римляне почитали эту женщину за богиню, называемую Енблема.

Слово явно нравится старичку, он повторяет его со вкусом, с удовольствием.

Погрузив ящик, ожидая пассажирского поезда, он сидит в грязном зале станции и, покуривая немецкую фарфоровую трубку, рассказывает любезно:

— Привез ее из-за границы дедушка теперешних

господ, и, может быть, не менее ста лет красовалась она на клумбе, перед домом; это вещь очень великолепная, из лучшего материала; на зиму ее даже войлоком кутали и покрывали деревянным футляром. Она стояла бы и еще неизвестное время, да вот господин Башкиров — слышали? Известнейший фабрикант? Совершенно так, этот самый. Он, четыре года тому назад, для отдыха души и по причине своей старости, купил усадьбу господ моих и вообразил, что Енблема ему угрожает. Некоторый смысл воображение его имело, потому что статуя искусной работы и в лунные ночи принимала вид оживленности, как бы даже движения по воздуху, невзирая на то, что она — камень. К тому же основание под нею покосилось от собственной ее тяжести, и это дало ей наклон вперед, как будто она хочет спрыгнуть со своей высоты.

— Господин Башкиров сразу ее невзлюбил, стал жаловаться: «От нее, говорит, у меня бессонница. Ночью взгляну в окно — торчит в воздухе не то сестра милосердия, не то — чёрт ее знает кто такая? И что значат весы в руке у нее? Торговала, что ли, чем?» Господин Башкиров, несмотря на свое богатство, человек слабо образованный и даже, в некотором роде, дикий. Я, конечно, объяснил ему, что это римский идол справедливости, потом он еще у священника справился и в городе у кого-то насчет ее назначения, но после этого невзлюбил Енблему того хуже и начал даже палкой ей грозить, походит по парку, подойдет к ней и грозит... А однажды ему вообразилось, что она в окно лезет, в спальню к нему, тут он начал из револьвера стрелять, метко отшиб ей руку и живот выщербил.

— Говорит мне: «Дуре этой, Покровский, место на кладбище, а не здесь». Меня он очень уважал и любил весьма подробно расспрашивать о моей жизни. Я, видите ли, сын диакона, но к духовной карьере пристрастием не заразился, а пошел в учителя, но вскоре усмотрел, что это дело не моей души. К дрессировке детей надо иметь природное пристрастие и строгость, а у меня характер оказался мягкий, и укротителем детских наклонностей я не мог быть. Шалостей детских — не люблю, бессмысленная шалость! Когда взрос-

лые шалеют — этому всегда заметна причина, а у детей... Я даже и собственную жизнь прожил холостым...

— Ах да, господин Башкиров. Он был по натуре шалый. Он мне не нравился. Хотя человек уважаемый, но личность темная и, что называется, с легендой.

Осторожно выковыривая какой-то ложечкой перегар из трубки, старичок объяснил:

— Легенда, конечно, не всегда правда, а все-таки родня ей. О господине Башкирове ходил слух, что у него были разные женские истории жестокого характера, и даже со вмешательством окружного суда. Вообще — человек нечистоплотный и подозрительного ума. Пил, конечно, во вред своему здоровью. Мне с ним было неприятно, я — двадцать три года садовник, цветовод, у меня другой вкус. Однако цветы он любил. Издали любовался ими; стоит, смотрит и жует бороду; борода у него была роскошная. Посмотрит на цветы, погрозит палкой Енблеме и удаляется в беседку лимонад с коньяком пить. Да, цветы он любил. «Ты, говорит, Покровский, синеньких больше разводи». Предлагал мне жалования прибавить, но сам же себе и возражает: «Зачем тебе деньги, ты — одинокий. Я вот тоже одинок. Деньги, Покровский, в этом случае нисколько не помогают, на пятак дружбы не купишь».

Дали звонок — повестку пассажирскому поезду.

— Умер он?

— Умер. В одночасье. Он не лечился, а только коньяк с доктором пил.

— Куда же вы отправляете статую?

Доставая что-то из кармана брюк, Покровский сказал:

— В сумасшедший дом.

И, видимо, заметив мое удивление, любезно объяснил:

— Господин Башкиров подарил ее доктору для развлечения безумных больных. Доктор в парке поставить Енблему эту хочет, при сумасшедшем доме очень хороший парк.

Покачиваясь важной походкой павлина, садовник Покровский пошел к кассе, сказав мне любезно:

— Будьте здоровы!

О ТАРАКАНАХ

На песчаном холме, на фоне темно-синего неба — мохнатая сосна, вся в звездах; под сосною рыжеватый, ржавый валун; сосна как будто растет из камня,— цветок его. За холмом — озеро; в гладко отшлифованной воде шевелятся золотыми тараканами отражения утонувших звезд. Вдали, в плотной тьме воды и воздуха,— зубчатые желтые трещины — огни невидимого города.

У камня, на небольшой кучке золотых углей, качаются оранжевые огоньки, освещая ноги в сапогах из листового железа, ноги бородатого человека в шапке с наушниками, в тяжелом овчинном тулупе; из бороды торчит трубка, на коленях человека — сухие ветки; он, потрескивая, мелко ломает их и скупо кормит ими огонь маленького костра; едва ли этот костер способен согреть его огромные железные ноги.

Другой человек лежит, вытянувшись, на песке, он прижался к рыжему боку валуна, лицо его прикрыто измятой шляпой, из-под шляпы высунулся костяной, голый подбородок, вокруг головы венцом лежат на песке синеватые волосы. Почему-то ясно, что этот человек — мертв.

— Кто это?

— А — не видишь?

— Что с ним?

— Известно что — помер.

— От чего?

— На ходу.

— Убит?

— Его спроси.

— А кто таков?

— Нездешний.

Человек с трубкой в зубах отвечает невнятно, неохотно и как будто даже враждебно; трубка его погасла, не дымит, волосатое лицо стерто дрожащим отблеском костра. Пойду дальше, по дороге, измятой копытами терпеливых лошадей.

Ночь — суха, свежа; есть в ней что-то металлически холодное: от холода земля, вода и воздух твердеют, сжимаясь в единую массу; с неба и озера она пронизана, прошита медной проволокой звездных лучей. Очень тихо, и кажется, что тишина тоже всё густеет. В такую ночь легко идти капризной тропою дум в бесконечную даль воспоминаний.

«Нездешний» человек, который помер «на ходу», больше никуда не пойдет и никогда не почувствует усталости. Странно, что у меня не явилось желания приподнять шляпу с его лица, взглянуть: каков он? Впрочем — мертвые однообразны: юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова, скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга.

Звезды в небе, отражение звезд в озере и земные огни вдали воспринимаются как дерзкие просветы сквозь тьму осенней ночи в область какого-то вечного и, должно быть, очень холодного огня. «Вселенная суть горение, так же, как человеческая жизнь»,— утверждал Шкалик, учитель физики, человек трезвого ума. Химия учит, что гниение суть тоже горение. Интересно: каким огнем сгорел «нездешний» человек, умерший «на ходу»?

Песок скрипит под ногами. Шильонский узник протоптал в камне пола тюрьмы своей глубокую тропу. От воспоминания об этом узнике фантазия всегда переносится к человечеству, которое тоже неутомимо и непрерывно протаптывает тропы сквозь тьму неведомого к познанию силы своего духа; «дух, возникнув из хаоса, стремится к совершенной гармонии». Не помню, кому принадлежит эта высокая мысль. Анатоль Франс склонен думать, что «высокие мысли» так же наивны, как «низкие истины».

«Высокие мысли» не удаются мне, «низкие истины» — не нравятся. У меня трудная позиция человека, который, квартируя между небом и землею, оглушен ревом, воплем земли, ничего не понимает в астрономии и которому в тихие ночи кажется, что созвездия иронически посвистывают.

Некто, помнится — Декарт, находил, что мыслить — это значит: стремиться к обоснованной связи истинных суждений. Другие утверждают, что, кроме дьявола, именуемого отцом лжи, никто не знает, что такое истинное суждение. Мне кажется: эта бестия, дьявол искренно убежден, что хорошая ложь полезнее плохой правды. И несомненно, что это дьявол нашептал одному из поэтов слова, смутившие многих:

Мысль изреченная есть ложь.

Декарт, выделив душу из тела, как пламя из тьмы, сделал тьму — гуще, а пламя — холодным, и, должно быть, поэтому «истинные суждения» не греют меня. Впрочем, я знаю только одно истинное суждение: ничто в мире не заслуживает большего внимания, чем друг и недруг мой — человек. Я знаю также, что, по оценке философа, это суждение стоит дешево.

Но еще дешевле и смешнее оно с какой-то другой, не высказанной с достаточной ясностью, но общепринятой точки зрения. В одном известном мне случае некто, наивный, с великой тоскою спросил ближних:

— Понимаете ли вы, что такое человек?

В ответ ему все люди насмешливо улыбнулись, хотя не все они были идиотами.

Вот человек, умерший «на ходу», лежит там, сзади меня, под охраной угрюмого ближнего с погасшей трубкой в зубах, около маленького костра, огонь которого ничтожен и не греет. Мне ничего не известно об этом человеке, я знаю только одно: уж если он жил — он человек истории. Совершенно недопустимо существование какого-то человека, который не имел бы своей истории. Вероятно, и это — одно из бесчисленных моих заблуждений, но когда я думаю о храме, где обитают разнообразнейшие истины, грубая фантазия моя уподобляет

сей храм одному из тех, впрочем, необходимых домов, куда мужчины разных возрастов ходят тратить избыток или восполнять недостаток своей любви к женщине.

Но, разумеется, я понимаю мудрость учителя Шкалика, который говорил гимназистам: «Истина необходима человеку так же, как слепому трезвый поводырь».

Он писал книгу «Пифагор и логика числа», но, к сожалению, не успел окончить ее, заболев прогрессивным параличом.

Налево, за рощей унылой ольхи, лает собака, лает тревожно, истерически захлебываясь желанием предупредить спящих людей о какой-то опасности. Собаку заслуженно именуют наиболее честным другом человека. Между собакой и пророком есть странное сходство,— это сказано не по недостатку уважения к пророкам, но только из любви к животному, которое ближе всех других подошло к человеку и, кажется, тоже обладает способностью предвидеть будущее.

Собакам знакомы сновидения, это уже много. У меня был фокстерьер Топи: когда сновидения будили его, он, прибежав ко мне, тихонько выл и лаял; я уверен, что это он пытался рассказать мне свое сновидение. Я знал также шотландскую лайку Дёти; когда ее хозяйка Престония Мэн Мартин играла на рояле, Дёти ложилась под рояль и слушала великих музыкантов, странно, как бы изумленно открыв свои прекрасные глаза. Но лишь только Престония Мэн начинала барабанить один из бесчисленных маршей Суза, Дёти уходила из гостиной, должно быть оскорбленная громкой профанацией величайшего искусства. Она была храброй собакой, яростно и ловко сражалась с барсуками, но панически боялась мышей.

Я знал также осла, влюбленного в лошадь; право же, я не скрываю здесь аллегории, обидной для кого-нибудь! Действительно был такой осел, и когда его возлюбленную лошадь продали — он перестал есть, явно пытаясь убить себя голодом. Известен рассказ об осле, который, после смерти хозяина своего, утопился в Луаре.

Лошади — плачут; мучительно видеть, как из их кротких и красивых глаз выкатываются немые слезы

и как по-детски обиженно дрожат их губы. Много интересного и таинственного можно рассказать об уме птиц и мышей.

Выла ли какая-нибудь собака, предчувствуя смерть «нездешнего» человека, который умер «на ходу»?

Отчаянно много знаю я анекдотов! Я оброс ими, точно киль корабля моллюсками, и это мешает мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне: как всякий уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе.

Весьма возможно, что человек, который лежит там, под сосной, — сын швейцара Дворянского собрания Василия Ерёмина, жандармского вахмистра; Еремин оказался неспособен к трудному делу политического розыска, потому что воспитание птиц увлекало его более сильно, чем ловля человеков. И вот он переселился из казармы жандармского управления под каменную лестницу желтого, с колоннами, Дворянского дома; там, в полутемной комнате с одним окном и важной пузатой печью, он прожил семь лет, искусно и терпеливо обучая толстых красногрудых снегирей насвистывать «Коль славен наш господь в Сионе», «Боже царя храни» и «Господи, воззвах тебе» на шестой глас. Воспитав птицу прославлять бога и царя, вахмистр продавал ее кому-нибудь из любителей оригинального или почтительно дарил преосвященному владыке Гурию, тюремному инспектору Топоркову и другим крупнейшим и наиболее благочестивым лицам Воргорода; своим искусством и мудрой щедростью своей вахмистр Еремин приобрел вполне заслуженную известность, а также скопил семьсот целковых.

Между любимым делом он, для порядка, женился на девушке-сироте; через год она родила ему сына, нареченного, в честь жандармского генерала Платонова, Платоном; а через пять лет жена скончалась, упав с крыши, куда залезла в припадке лунатизма. Вахмистра Еремина не очень огорчила смерть жены, она была женщиной рассеянного ума, за птицами ухаживала небрежно, клетки чистила плохо и, по доброте сердца, кормила снегирей как раз тогда, когда они должны были голодать. Ибо птицы прославляют богов земли и

неба только с голода, свои же свободные песни поют ради любви, так же, как и другие честные художники.

После смерти жены вахмистр быстро убедился, что пятилетний сын мешает ему жить: он открывал дверцы и ломал прутья клеток, выпуская птиц, затем, безуспешно стараясь поймать их, бил посуду, падал, разбивая себе лицо, обворовывал отца и снегирей, пожирая птичий корм, конопляное семя. Его нужно было часто бить, но он был толстенький, пухлый и какой-то жидкотелый,— побои не действовали на него.

Кроме птиц, в каменной пещере под лестницей жили черные и рыжие прусаки-тараканы, а также — мыши; мыши, тихо питаясь семенем, просыпанным птицами на пол, никому не мешали, прусаки тоже вели себя смиренно, а черные, заползая в клетки снегирей, будили их, и почти каждый вечер испуганные птицы неистово бились, передавая страх свой из клетки в клетку.

— Бей тараканов! — приказал отец, вооружив сына подошвой резиновой галоши. Платон охотно стал пришлепывать усатых сожителей к штукатурке стен, но это недолго забавляло его, он скоро понял, что источником неудобств и обид его жизни являются насекомые, птицы и отец.

Когда он дорос до школьного возраста, он стал еще более раздражать отца, обнаруживая в шалостях молчаливое упрямство, оно принимало в глазах вахмистра не только характер преступлений против власти, но угрожало убить его репутацию искуснейшего воспитателя птиц.

Ибо вахмистр с великим изумлением заметил, что некоторые из снегирей, уже обученные славословиям, вдруг онемели, нахохлились более мрачно, чем это вообще свойственно им, а потом они стали несвоевременно умирать. Догадываясь о причине этих печальных явлений, вахмистр начал следить за сыном и скоро поймал его, как раз в ту минуту, когда Платон, накалив шпильку на огне лампы, прижигал ею толстый черный язык одного из лучших певцов.

Схватив сына за волосы, тыкая лицом его в доску стола, солдат огорченно закричал:

— Чёрт дурацкий, зачем ты делаешь это? Ведь птице-то больно! Больно, а? Говори, кривоногий дьяволенок!

— Не больно,— ответил сын, шмыгая носом, из которого брызгала кровь.

— Врешь,— как не больно?

— Они — рады.

Нужно было очень долго и разнообразно бить Платона, прежде чем он сказал, что ему надоел птичий свист, война с тараканами, что уход за снегирями и всё вообще мешает ему учить уроки и что он хочет утопиться в омуте, за мельницей.

— Попробуй, стервец! Я те утоплюсь,— пригрозил вахмистр, швырнув сына в угол, за печку, где жили тараканы и где, на жесткой кошме, спал Платон.

Вахмистр Еремин строго следил, чтоб сын не бегал зря по улицам, отпускал его только в церковь ко всенощной и обедне, заставлял помогать себе чистить лестницу, выбивать пыль из ковров и вообще всячески старался заполнить свободное время сына полезным трудом. Но все-таки Платон знал и радости, без которых совершенно невозможна жизнь больших и маленьких человечков. Осенью и зимою желтый дом дворянства сказочно оживлялся, по лестнице, парадно украшенной цветами, покрытой красным ковром, всходили, точно ангелы во сне Иакова, удивительно красивые женщины, их манил яркий свет наверху, и ласковая музыка изливалась встречу им мягким потоком необыкновенной звучности. Платон, прикрываясь кадкой, в которой росло большое дерево, очарованно смотрел на женщин, слушал музыку, но отец, заметив его, подходил и подзатыльниками загонял под лестницу к снегирям и тараканам.

— А кто учиться будет, дурак? — грозно спрашивал он и уходил, плотно прикрыв дверь.

Платон садился учить уроки, но музыка, отрывая его от стола, поднимала на ноги; осторожно, бесшумно, точно кот за мышами, он шел темным путаным коридором к задней лестнице на хоры и там, примостясь около музыкантов, оглушенный визгом скрипок, ревом меди, смотрел вниз, на дно большой, ослепительно светлой комнаты; по блестящему полу, между колонн, похо-

жих на деревья с золотыми ветвями, скользили и бегали ловкие военные, штатские; крепко обняв женщин, они кружились, как заводные игрушки из раскрашенной жести,— игрушки, которые свободно двигаются сами, если их завести маленьким ключиком.

Вблизи музыка была не так приятна, как издали, но всё же Платон чувствовал, что она наполняет его необыкновенной, до слез сладкой скукой, заставляя забывать снегирей, тараканов, отца, учителя, мальчишек школы, не любивших его за трусость и угрюмость, филистимлян, апостолов и всё остальное. Музыка уносила за пределы всего, что знакомо и обижает, что непонятно и тревожит. Иногда казалось, что музыка способна навсегда смыть неприятное и ненужное.

Отец находил его в состоянии полузабвения, отгибал железными пальцами ухо сына и, ущемив ухо, вел Платона вниз, нашептывая:

— А кто учиться будет, а кто будет дрыхнуть?

Платон снова садился к столу перед маленькой лампой голубого стекла и, преодолевая томление сладкой скуки, желание спать, пытался думать о купце, который продал двадцать два аршина сукна, об Исаве, который тоже что-то продал Иакову за похлебку, о деепричастии и сути. Пред ним устрашающе вставал кривозубый учитель; непрерывно сморкаясь, он квакающим голосом говорил:

«Имена существительные... суть... Повтори, Еремин! Как?»

Имена существительные не интересовали Платона, а учитель носил необыкновенную фамилию — Буздыган, и, глядя на его длинное тело с головою, похожей на яйцо, на его мокрый красный нос и слезоточивые глаза, Платон всегда с унынием думал: неужели есть такой край, где живут не похожие на людей длинные буздыгане и квакают: «Квак! Квак!»?

Кроме того, Платон иногда находил, что шестью девять «суть» шестьдесят девять, а иногда ему казалось, что это — девяносто шесть,— обе цифры, похожие на мышей, были неустойчивы, капризно кувыркались; взмахивая хвостиками вверх, они давали 66, а опустив хвостики вниз, обращались в 99, и совершенно нельзя

было понять, когда именно они показывают настоящую «суть». Буздыган же упрямо доказывал, что шестью девять только 54, заставляя Платона думать: как это две большие цифры, помноженные одна на другую, дают две цифры меньше их? Учитель, никогда не соглашаясь с Платоном, часто оставлял его без обеда, это вызывало побои отца и наконец внушило Платону упрямую мысль: всё, что он обязан понять, нарочито спутано окаянным словечком учителя — «суть», оно же сбивает с толка и самого Буздыгана, который, сердясь, сморкался и квакал всё более часто, более грозно.

Из всего, чему учили в школе, только сказочные уроки веселого красавца попа Александра Фиалковского возбуждали внимание Платона, отводя его далеко в сторону от птиц, тараканов, всевозможных обид и жестких корок школьной науки. Поп рассказывал свои чудеснейшие истории так же интересно, как слепой нищий Мартын пел стихи, сидя в базарные дни на паперти церкви Трех Святителей; в эти дни Платон всегда опаздывал в школу и оставался «без обеда».

Музыка, вливаясь в каменную пещеру под лестницу, сквозь дверь и через трубу печи, гудела, манила, ласковый шёпот ее вторгался в голову и вытеснял оттуда всё, что необходимо знать о воде, которая одновременно втекала в бассейн и вытекала из него, о признаках, которые отличают существительное от прилагательного. Музыка будила снегирей; чуть видные в сумраке, точно полупогасшие угли, уже подернутые пеплом, они начинали прыгать по жердочкам клеток, выскрипывая, высвистывая хвалу богу и царю, напоминая грешников с картинки, изображающей адовы муки. Музыка оживляла даже посудный шкаф, самую приятную вещь в полутемной пещере отца; на синих дверцах шкафа хорошей, золотистой краской изображено широколицее, доброе солнце в красных иглах лучей; оно было несколько похоже на ежа; в подбородок солнцу ввернуто медное кольцо; если, повернув кольцо налево, осторожно тянуть его к себе, дверцы шкафа, взвизгнув, точно девчонка, когда ее внезапно ущипнешь, открывались, солнце разрезала темная полоска: сначала узенькая, она, расширяясь, смешно раздваивала милую рожицу

светила; круглые, усатые глаза его, улыбаясь, расплывались, исчезали, а на внутренней стороне дверей шкафа цвели синие и красные цветы, наполняя комнату запахами различных кушаний, которые ежедневно дарил отцу кум его, повар, крестный отец Платона.

По красивым полкам шкафа разбегались тараканы; на верхней блестела чайная посуда, и среди ее особенно соблазнительна была зеркального стекла ваза, всегда почти полная вареньем из крыжовника, любимым лакомством вахмистра. Эта ваза формой своей напоминала Платону чашу, которую Христос видел в небесах Гефсиманского сада, и Платон был уверен, что если б тогда она была наполнена вареньем из крыжовника,— Христос не сказал бы: «Господи, пронеси чашу сию мимо меня!»

А на нижней полке шкафа стояла банка с патокой, ненавистная Платону; горько было смотреть на нее, ибо однажды, когда ему надоело избивать черных тараканов подошвой галоши, он придумал способ менее хлопотливого истребления насекомых: зачерпнув ложку клейкой сладости, он намазал ею портреты двух царей, одного — с бритым подбородком и баками, другого — широколицего, с большою бородой. Портреты висели около печи, над постелью отца, и Платон правильно рассчитал: в первую же ночь множество прусаков и черных прилипло к портретам, особенно густо приклеились они к лицу бородатого царя.

Утром, проснувшись, сердито мигая, отец удивился:

— Что за дьявол! Вот видишь, лентяй, сколько их развелось,— сказал он сыну и хотел смахнуть тараканов ладонью, но ладонь, приклеившись, сорвала портрет со стены.

В этот день Платон не мог идти в школу, потому что отец лишил его возможности сидеть. Учился он дома, лежа на полу вверх спиною, не пошел он и на другой день, убежав на реку — топиться. И с этого дня он возненавидел и царей вместе с тараканами, снегирями каменной ненавистью, а вахмистру Еремину стало ясно, что нельзя жить под одним потолком с этим молчаливым, белобрысым, упрямым зверенышем. Уши у него были неудобные, они так плотно прилегали к черепу, что,

прежде чем схватить за ухо, нужно было отогнуть его пальцем. В сумраке комнаты казалось даже, что у Платона совсем нет ушей, а слушает он круглыми глазами совенка, которые, никогда не мигая, следят за отцом, как за черным тараканом. Вообще этот человечек был непонятен отцу, не нужен ему и внушал какие-то тревожные чувства.

Вахмистр лучше понимал снегирей, больше привык к ним; возможно, что он истратил на птиц весь запас чувства любви, которым обладал, да ведь и всех нас природа оделяет этим чувством в ничтожной доле, лишь очень редких людей мучает избыток его.

Подождав, когда сын кончил второй класс школы, вахмистр отдал его в ученики «часовых дел мастеру» Ананию Тумпакову, толстому человеку с темными жидкими глазами, которые переливались через стекла очков. Прищурив один глаз, схватив себя рукою за подбородок, Ананий сказал негромко, как человек, сильно уставший:

— Часовое ремесло мелкое и тонкое; прежде всего — будь осторожен, мальчик! Вот — пятачок, иди к парикмахеру Гильому — третий дом направо — остриги себе волосы.

В тот же вечер он показал Платону, как нужно закрывать окно и дверь магазина ставнями, потом, сидя в кресле с отломленной ручкой, у стола, заваленного колесиками, коробочками, в которых было много часовых стекол и очень забавных кусочков меди, он долго говорил снова о том, что часовое ремесло требует внимания и ловкости. Взяв щипчиками тоненькую, свернувшуюся змеей пружинку карманных часов, он сказал:

— Вот, видишь, какая ничтожная, а в ней вся суть!

Недоверчиво глядя в жидкие темные глаза, Платон спросил:

— Вы, что ли, добрый?

— Да, я — не злой,— ответил хозяин.

Подумав, Платон спросил еще:

— А может, вы — пьяный?

Ананий, смигнув из глаза на ладонь лупу, облизал рыжим языком седенькие усишки и осведомился:

— Почему же — пьяный?

Платон объяснил:

— Добрые — это пьяные, когда они не скандалят.

— Так,— сказал Ананий Тумпаков, подумав,— так! Разве отец твой пьет?

— Он и не добрый.

— Ага! Понимаю. Он бил тебя?

Платон промолчал, не зная, что выгоднее сказать: да или нет.

Тогда Ананий, заткнув глаз лупой, сказал очень тихо:

— Иди спать, мальчик. Я — не дерусь.

Нужно было не очень много времени для того, чтоб Платон понял: его хозяин — один из тех людей, которых все остальные называют чудаками. Люди, приносившие в магазин больные часы, посмеивались над Ананием, как над горбатым, говорили с ним, точно с дурачком Игошей Смерть в Кармане, Ананий же говорил со всеми устало, тихо и неохотно. Его кожаное, бурое лицо, надутое, как резиновый мяч, напоминало крышку суповой миски, шишечку крышки заменял нос; полное сходство с миской нарушали выкатившиеся глаза, они вздувались за стеклами очков темными пузырями, и казалось, что только очки не позволяют им лопнуть. Подбородок и тугие щеки Анания посыпаны как будто молотым перцем и маковым зерном, лысина делала его выпуклый лоб почти вдвое больше лица.

Этот человек не рычал, не командовал, как отец, не учил скучно и строго, как школьный учитель. Он вообще был приятно не похож на всех людей, знакомых Платону, и мальчику хотелось видеть его красивым, как поп Фиалковский. С утра до вечера Ананий, вставив лупу в глаз, сидел за столом, против окна, щелкая чем-то, звякая, поскрипывая, подпиливая, рылся пухлыми пальцами в пыльном хаосе на столе и, вздыхая со свистом, бормотал прилипчивые темные слова:

— Нет, Софрон, это ты — в воздухе; ты, Софрон, на канате...

Эти слова не заглушали разнозвучного непрерывного чмокания и чвакания многочисленных маятников, скользивших по стенам маленького сумрачного магазина, чавкая время. В словах хозяина было что-то

навязчивое, и, когда Платону становилось скучно чистить щеточкой различные колесики или чистить мелом медь гирь и цепей, он тихонько напевал:

— На-ка-чвак, на-те-чмок; Соф-чок, рон-чок...

Зимою злая лошадь предводителя дворянства Бобоедова убила швейцара Еремина; Ананий, вместе с Платоном, проводил вахмистра в снежную и точно в железе вырубленную могилу; потом, закрыв магазин, несколько дней с утра до вечера бегал по городу и наконец устало рассказал Платону, что повар, духовный отец его, обворовал вахмистра, но что есть сиротский суд и дело еще можно поправить, а пока Платон имеет сто семьдесят три рубля, Ананий же назначен опекуном его. Он долго объяснял, что такое опекун, но Платон понял только одно: это не хлебопек. Думая о смерти отца, он очень пожалел, что ему не пришлось видеть, как лошадь убила вахмистра, такого силача.

В ясные дни в окно магазина после двух часов проникало солнце, все часы на левой, от окна, стене встречали его блеском широкорожих, усатых циферблатов, а маятники раскалялись и отсекали лучи солнца, не допуская их коснуться стены.

Почти каждый день, между четырьмя часами и шестью, дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и влезал, шумно отдуваясь, всегда полупьяный скотский доктор Беневоленский, парусиновый человек в кожаной фуражке, похожей на кастрюлю, с разноцветным, как мыльный пузырь, лицом. Он — тоже толстый, и в его шерстяной, спутанной бороде торчало множество зубов какого-то фальшивого рта. Платону он казался двуротым, зубы у доктора прорезались не там, где у всех людей, а значительно ниже, настоящий же человеческий рот невидимо и крепко зашит волосами, поэтому доктор говорит глухо, как в бочку, и всё, что он говорит,— неправда.

Голосом старинных английских часов, стоявших в углу в гробоподобном ящике, Ананий приказывал:

— Маль-чик — чаю!

Когда Платон приносил поднос с двумя стаканами крепкого чая, сухарями, лимоном и густой, настоянной на сливах водкой в граненом графине, Ананий, смигнув

лупу, смотрел на сизый нос гостя выкатившимися глазами и уговаривал его:

— Подожди, Софрон...

А доктор кричал, притопывая:

— Где логика?

Наклонясь друг к другу, почти соприкасаясь лбами, оба толстые, как снегири, они становились неразличимы, хотя один был волосат, а другой лысый. Доктор рычал и лаял, упираясь руками в свои колени, его красные глаза и желтые кости зубов сверкали так, что издали можно было подумать: Софрон говорит веселое, но оба они говорили скучно и непонятно. Софрон часто и угрожающе кричал:

— Логика!

Платону казалось, что это инструмент, нечто похожее на ложку с длинным черенком, как та, которой отец разливал суп и щелкал Платона по лбу. Ананий Тумпаков миролюбиво умолял доктора:

— Ты, Софрон, учился в семинарии, ты вообще ученый, я тебя люблю и уважаю, а верить — не могу...

— Говори, употребляя логику!

— Я — употребляю...

Чмокали, такали, чвакали маятники; по круглым рожицам часов незаметно передвигались черные усы стрелок, звенели и гудели боевые пружины, куковали две кукушки, разнозвучно отсчитывая семь, иногда восемь и даже девять, а двое толстых всё спорили, глотая водку, густую и желтую, как патока, запивая ее крепким, горьким чаем. Всегда неожиданно, заставляя Платона вздрагивать, отворялась дверь магазина, отчаянно звенел колокольчик, с улицы входил человек, и Ананий виновато, пьяненьким голосом говорил ему:

— Завтра,— обязательно — завтра!

Сквозь старые, мутноватые стекла окна и двери жизнь на улице казалась ненастоящей, фигуры людей теряли правильность форм, расплывались, как тени, ползли, точно облака, медноголовая команда пожарных почему-то свертывалась в огромные быстрые комья, а лошади извозчиков, наоборот, вытягивались, становясь длиннее, чем они были. Когда же шли солдаты — как будто двигалась гребенка зубцами вверх и вычесы-

вала из воздуха солнце, лучи его приставали к штыкам серебряными клочьями.

Ежечасно в магазине раздавался гулкий бой часов, особенно длительный до первого часа после полудня; Платон скоро научился заводить часы так, что они били не все сразу, а спустя минуту одни после других — это напоминало музыку в доме Дворянского собрания.

Интересно было рассматривать механизмы часов, особенно карманных; там была черненькая пружинка, свернутая змеею, та, о которой Ананий сказал, что «в ней вся суть». Напоминая Платону пружины заводных игрушек, она также напоминала сказочные праздники в Дворянском собрании и урок закона божия, на котором поп Александр интересно рассказывал о рае и дьяволе под личиной змея.

Имя дьявола Платон слышал часто,— доктор ругал «тихим дьяволом» Анания. Это было неверно: толстый часовщик похож на селезня, дьявол же совмещал в себе серую, с кровавыми глазами, лошадь Бобоедова и лицо его жены, длинное, костлявое, с безгубым ртом. Платону было известно, что дьявол мог изменять свою личину как хотел, в настоящем же своем виде он был темно-дымчатой тучей с медными глазами без зрачков, как две луны.

Именно таким почувствовал его Платон, когда, претерпев жестокую порку в наказание за портреты царей, хотел утопиться; раньше чем прыгнуть из кустов с обрыва в черный омут, Платон задумался о чем-то и уснул, а проснувшись, увидал, что дьявол смотрит на него из омута и с неба медными глазами, как две луны; лицо у него огромное, больше всей земли, и кривое; одна щека, синяя, значительно больше другой, черной.

Ананий спорил с доктором почти четыре года, но из всех этих споров в памяти Платона остались только вот эти сердитые слова скотского доктора:

— Пойми, старый дурак: бог, может быть, из милости к тебе скрывает суть правды, так же как ты не скажешь правду вот этому мальчишке с глупой рожей. Ведь, употребляя логику, не скажешь ты мальчишке-то, что, например...

Софрон договорил слова свои в ухо Анания, именно поэтому Платон вцепился в них и с той поры начал вслушиваться в бесконечный этот спор внимательнее, желая и надеясь узнать, что именно скрывают от него эти люди, какую «суть правды». Он даже начал думать, что хозяин и Софрон сделали что-то нехорошее, может быть, украли деньги и не могут разделить, а может быть, убили знакомого человека и человек этот снится им. Хозяин особенно часто говорил слова таинственные.

— А вот один англичанин выдумал штучку... А вот рассказывают, что немец, в Гамбурге, придумал машинку,— говорил он и спрашивал:

— Это — как?

— Баба! Суевер! — кричал на него Софрон.

Но прежде чем Платон успел понять что-нибудь — умер царь. Софрон принес его портрет в гробу, а хозяин, посмотрев на портрет, сказал тихо, как всегда:

— На купеческого кучера похож. Говорили — он был глуп и пьяница.

Доктор рассердился, закричал, швырнул портрет на пол и, ударив Анания кулаком по лысине, ушел, дико ругаясь, а хозяин, потирая лысину, сказал, печально вздохнув:

— Ведь вот какой... неуютный.

Платону стало жалко хозяина, хотя кротость Анания показалась ему смешной. Платон поднял с пола мрачный портрет и хотел изорвать его, но, вспомнив, как сильно он потерпел из-за этого царя, решил отомстить ему и извлечь из куска бумаги некоторую пользу; он смазал портрет сиропом малинового варенья и положил в комнате за магазином на стол — для истребления мух.

— Это ты хорошо придумал и давно пора,— сказал Ананий, увидав гибельную для мух приманку.— Но,— продолжал он, задумчиво разглядывая погибших и погибающих мух,— во-первых, для этого продается специальная бумага, а во-вторых — смазать надо было с изнанки, а не с лица.

Подумав и будучи мало осведомленным в истории, он добавил:

— И вообще — царей вареньем не мажут.

— Я патокой мазал тоже, — похвастался Платон.

Тогда хозяин, переливая глаза через стекла очков, стал расспрашивать ученика: когда и зачем он делал это? А выслушав рассказ Платона, сказал, крепко потирая наперченную, шершавую щеку:

— Ты мальчик с фантазией, и этим надобно дорожить; может быть, ты выдумаешь какую-нибудь машину или другое, полезное. Но, видишь ли...— И Ананий сказал Платону, что за непочтительное отношение к царям людей сажают в тюрьмы, ссылают в Сибирь, а некоторых даже вешают. Говорил он долго, скучно, и Платону казалось, что хозяин сам не верит тому, что говорит, а только хочет испугать. Отец умел говорить о царях устрашающим басом, но и его грозные речи, после печального случая с патокой, не пугали Платона и не могли уже поколебать его неприязнь к царям, ненавистным ему, как «суть» и просяная каша, в которой всегда попадались какие-то каменные зерна, отвратительно скрипевшие на зубах.

Через день, в свое обычное время, явился Софрон, как всегда — полупьяный и очень ласковый; он обнял Анания и, всхлипывая, как худой сапог в дождливую погоду, несколько раз поцеловал друга в лоб и лысину; но когда прошел в комнату и увидал на подоконнике царский портрет, обильно усеянный мертвыми мухами,— он снова рассердился, закричал:

— Ананий, тихий чёрт, это — в насмешку надо мною, а? Но ведь это преступление! До чего ты дошел? До чего?

А узнав, что это сделано Платоном, он схватил его потной, горячей рукою за челюсть и, встряхивая ее, орал:

— Съесть заставлю, паршивец!

Потом, схватив бумагу, залепил ею лицо Платона.

— Жри!

Ананий отнял ученика, тщательно мелко изорвал клейкую бумагу и, скатав ее шариком, бросил в помойное ведро. Затем друзья стали пить чай с настойкой на сливах, и скоро Софрон Беневоленский запел мрач-

но и плачевно, отрывисто произнося каждое слово:

Не бил — барабан перед смут-ным полком,
Когда-а мы вождя хоронили...

Он — рычал, а хозяин, после каждого слова, стукал кулаком по столу так, что чайные ложки, подпрыгивая, звякали.

К шестнадцати годам Платон вполне искусно выучился чинить больные и уставшие часы и увидал, что это неинтересно: механизмы всех часов, стенных и карманных, были почти одинаковы, а таинственная пружинка не действовала, если ее не скрутить. В шестнадцать лет Платон Еремин вытянулся длинным сутулым парнем, его серовато-голубые глаза смотрели невесело и недоверчиво, белесые брови хмурились; ходил он по земле нетвердо, покачиваясь, глядя под ноги себе; на его голове, большой несоразмерно узким плечам, отросли светло-желтые длинные волосы; пряди волос падали на щеки ему, он часто отбрасывал их за уши небойким жестом худой руки с длинными пальцами.

Ананий сказал ему:

— Ты стал заметно похож на сочинителя стихов, то есть на поэта, вроде Фофанова, который должен мне семь тридцать и не отдает. Но — не распускай губы, рот надо закрывать. Я знаю, что это от задумчивости, но не надо, чтобы все люди видели: вот — юноша думает!

Платон неясно представлял себе, каковы поэты, но после слов хозяина начал одеваться щеголеватее. Он жил одиноко, не находя друзей, сосредоточенный на каких-то невеселых думах; они свернулись в голове тугим клубком и не развертывались, должно быть, потому, что их подавляло мутное и тягостное влечение к бойкой горничной домохозяйки, Анюте; встречаясь с ним на дворе, на улице, она, подмигивая рыженьким куриным глазом, спрашивала:

— Как живем?

— По-вчерашнему,— отвечал Платон, чтобы не говорить обыкновенных слов. Он был недоволен собою за то, что его тянет к этой бойкой, навязчивой и нечистоплотной девице, у нее уже был роман с подмастерьем

Гильома Лютовым, который глупо высмеивал длинные волосы Платона и вообще издевался над ним; недоволен был Платон собою и за то, что ему не удавалось внести в жизнь свою ничего интересного.

Он пробовал приучить мышонка и случайно задавил его; было очень неприятно видеть, как этот серенький комочек живого, лежа на боку, дрыгает розоватыми лапками, а черненькая горошина глаза блестит на острой мордочке, точно пытаясь скатиться с нее. Приобрел Платон кутенка-пуделя — кутенок издох, заболев чумою.

Не удалось и еще кое-что; горничная Анюта оказалась отталкивающе бесстыдной; целуя, она кусала и мычала; потная и липкая, она вызвала у Платона ощущение брезгливости, какой-то утраты и ожога, казалось, что поцелуи оставили несмываемые пятна на лице и на шее его.

Работал он добросовестно, но у него явилось тревожное опасение, что хозяин скоро и так же неожиданно умрет, как умер ветеринар Беневоленский. Еще накануне Софрон, презрительно и гневно надувая радужные щеки свои, убеждал Анания:

— Ф-фу, чёрт!.. Где логика? Ведь если жизнь естественна, значит, сопротивление ей противоестественно?

— Пойми, Софрон, я — не сопротивляюсь...

— А зачем протестуешь?

— Когда человек хочет покоя, он волнуется.

— О, дурак! — крикнул Софрон, ушел, а ночью умер на улице от паралича сердца. Похоронив друга, Ананий сказал:

— Хороший был человек, но не верил фактам.

— Что такое факты? — спросил Платон.

— Это — события жизни,— ответил хозяин не сразу и неясно.

Всегда стараясь придать непонятным словам какой-нибудь образ, Платон представил себе факты похожими на уток домохозяйки; жирные и прожорливые, они крякали на дворе дважды в день: утром, когда Анюта гнала их на пруд, и вечером, когда они возвращались домой, точно купчихи из церкви, самодовольно лоснясь чисто вымытым пером.

Пытаясь развлечься, Платон накормил уток остатками слив, на которых была настояна водка; жадные птицы тотчас опьянели, и было очень забавно смотреть, как они, открыв клювы, бессильно и нелепо распуская крылья, влачили их по двору, качались на коротких ножках, квакали не своими голосами, точно смеясь, сталкивались, щипали одна другую и падали набок, странно похожие на подпивших базарных торговок. Смешнее всех вел себя селезень; воткнув нос в землю, он приподнимал поочередно ноги и тряс задом, как бы желая перекувырнуться; это не удавалось ему, он, распуская крылья, хлопал ими по земле и хохотал:

— Кха-кха-кха-а!

Потом он издох и, следуя его примеру, издохли две утки; домохозяйка взыскала с Анания деньги за это, а он ворчливо сказал Платону:

— Если ты сделал это намеренно,— это, брат, плохо, утки тоже не хотят умирать.

Вздохнув со свистом, он добавил:

— И вообще тебе следует вести себя сообразно твоей скромной наружности.

Он очень редко поучал Платона; он даже тайнам ремесла учил его небрежно и нехотя. Платон долго не мог привыкнуть к тому, что этот толстый пьяненький чудак не умеет или не хочет сердиться. В тех случаях, когда ученик делал что-либо не так или портил, хозяин, надувая тугие щеки еще туже, спрашивал его беззлобно, с удивлением:

— Как же это ты не понимаешь?

В спокойном удивлении этом Платон чувствовал что-то почти так же обидное, как обидны были картавые насмешки парикмахера Лютова.

— Почему вы никогда не сердитесь? — спросил он Анания за вечерним чаем.— Ананий, переплеснув глаза через ободок очков, ответил вопросами:

— А — зачем? Что переменится, если я рассержусь?

— Все сердятся,— напомнил Платон.

— Бесполезно,— сказал хозяин.— Факты всегда будут против.

Ананий всё более толстел, надувался, дышал тяжелее. Удивительно было его спокойствие, оно не покинуло Анания ни на минуту и в ту ночь, когда загорелся флигель, где жила хозяйка.

— Вставай, пожар,— разбудил Ананий Платона и, натягивая брюки на толстейший свой живот, он скорее советовал, чем приказывал:

— Пожалуй, огонь перекинется на нас; укладывай стенные в ящики, а я соберу мелкие.

Одеваясь, Платон смотрел в окно и видел, что флигель, размахивая красными дымными крыльями, отрывается от земли в черное небо осени, а сараи дрожат, качаются, рвутся в огонь, по двору мелькает маленькая, круглая хозяйка, похожая на курицу, и визжит:

— Анна — утки! Анка — уток...

— Постой, кажется...— вопросительно произнес Ананий, взмахнув рукою, указывая пальцем в окно.

Платон перестал грохотать ящиками, на которых спал, прислушался к треску и вою на дворе, а хозяин, отодвинув Платона, пошел к двери, невнятно промычав что-то. Испуганный Платон выбежал за ним во двор, тотчас же наткнулся на Лютова, который, подпрыгивая, как хромой, кричал:

— Сгорит, сгорит...

Кричали все люди, бегая по двору, вынося на улицу узлы, мебель, толкая друг друга.

— Горничная,— сказал Ананий и покатился к флигелю, дышавшему черным теплым дымом; идя, Ананий закатывал рукава рубахи, точно собираясь бить кого-то. Лютов бросился за ним, сильно толкнув Платона.

— Свинья,— обругал его Платон и, на момент, примерз к земле, видя, что хозяин входит в дверь флигеля, фыркавшую дымом; Платону показалось, что этот старик, никогда не молившийся, перекрестился, входя на крыльцо, точно он шел в церковь. Тут Платон что-то понял, чего-то испугался почти до потери сознания, взвизгнул и, согнувшись, побежал за хозяином в дым, увидал его влезающим по лестнице на чердак, оттолкнул, обогнал и, кашляя, задыхаясь, закрыв глаза, прыжками вбежал в треск и жар, действуя, как в сно-

видении. Споткнувшись, он упал на колени и увидал в дымно-красном облаке у открытой двери в комнату горничной ее голые ноги, высунувшиеся из-под ситцевого пестрого одеяла, окутавшего ее тело до колен; одеяло дымилось, красные кусочки, вшитые в него, шевелились, как языки огня; у Платона трещали волосы, сохли глаза; ползком он добрался до ног горничной и потащил ее неожиданно легкое тело к лестнице, быстро скатился ступени на три, рванув за собою голое тело, схватил его, взвалил на плечо и понес, тут его сбила с ног струя воды, больно ударив в грудь и лицо, последнее, что осталось в памяти его зрения,— два медных шара, раскаленных докрасна.

Очнулся он на постели хозяина, Ананий сидел в ногах у него, домохозяйка, у стола, всхлипывая, терла картофель о терку, крикливо картавил Лютов.

— Ну, что? — спросил Ананий, положив ладонь свою на колено Платона, а Лютов крикнул:

— Ты, чёрт, храбрый!

— Волосы-то придется остричь,— сказал Ананий, подавая Платону мутное питье в стакане; горящими пальцами Платон взял стакан, выпил что-то противно кисленькое, пощупал голову, пальцы его коснулись сухой корки, она рассыпалась под пальцами.

— А лицо у меня — как? — спросил он.

— Брови сгорели,— сказал Ананий,— руку ожег, а вообще — всё хорошо!

Домохозяйка, приложив к левой руке Платона тертый картофель, ушла, ушел и Лютов; Платон ощупал всё тело свое правой рукою, отыскивая боль, не нашел ее и пожалел сгоревшие волосы,— не скоро отрастут они так пышно, какими были! Потом он крепко уснул и проснулся вечером; багровые лучи солнца освещали на дворе искусанные огнем доски, бревна, шкаф с отломленной дверью, набитый венскими стульями, черный хаос на месте флигеля и среди хаоса — круглую кафельную печь; возвышаясь колонной, она очень напоминала памятник на кладбище, медный квадрат вентилятора усиливал это сходство. Вспоминая о том, что он сделал ночью, Платон чувствовал страх, почти не верил, что всё это было так, как он помнил, и ему

хотелось, чтобы люди рассказывали о его подвиге. Люди охотно удовлетворили его желание — Ананий, Лютов, домохозяйка, сорокалетняя, маленькая, с глазами овцы, дворник Федор и все говорили о бесстрашии его восторженно, а хозяйка особенно горячо восхищалась.

— Анна — ничего не помнит,— тараторила она,— даже не поверила, дура, что это ты вытащил ее! Говорит, что, проснувшись, увидала огонь, окуталась одеялом и с разбега ударилась обо что-то, разбила себе всё лицо... Нет, какой ты герой...

Рассказы о героизме его Платону было приятно слушать, но судьба Анны не трогала, хотя он молча гордился тем, что именно он вытащил ее из огня, а не Лютов руками пахучими, как руки покойника. Ананий сообщил, что, может быть, Платону дадут медаль «за спасение погибавшей».

— Если не подгадит брандмейстер, он, конечно, говорит, что не ты спаситель, а тебя команда спасла...

— Др-рянь,— обиженно сказал Платон.

Он стал героем улицы, и сначала это ему так нравилось, что у него даже походка стала другой, он ходил напряженно, как солдат, выпятив грудь, держал голову прямо и смотрел на всех, сурово сдвинув брови. Но скоро он заметил, что роль героя очень требовательна, все люди ждут от него еще каких-то необыкновенных поступков, ждут, когда он снова полезет в огонь. Почти каждый раз, как только в городе возникал пожар,— в магазин врывался наглец Лютов и кричал:

— Платон, горит, бежим!

Платон отказывался бежать, думая с негодованием:

«Какой дурак!»

Особенно неприятно и даже опасно почувствовал он себя, когда явилась горничная благодарить его. В больнице она похудела, остриженная голова ее напоминала головню, смуглое лицо казалось закоптевшим, и от нее пахло жареной печенкой, которую Платон терпеть не мог. Одетая в синюю юбку и голубую бархатную кофту, пропотевшую под мышками, она была похожа на воровку. Ее хитренькие глазки смотрели

в лицо Платона требовательно, а говорила она так, как будто это он должен благодарить ее за то, что она жива.

— До этого случая все считали тебя робким, а теперь — уважают,— намекала Анюта.

«Чёрт тебя возьми»,— думал Платон, отвечая ей сердито и громко, чтоб слышал Ананий, работавший в магазине. Уходя, Анна спросила с улыбочкой:

— Загордился немножко, а?

— Нет, зачем же,— пробормотал Платон.

Да, роль героя — обязывает. На святках Лютов стал уговаривать Платона:

— Ты — храбрый, будь другом, помоги мне и одному телеграфисту избить певчего, а? Он, певчий, не сильный, мы бы и вдвоем вздули его, да у нас смелости не хватает. Помоги, а?

Платону не хотелось бить певчего, но он понимал, что, отказав Лютову, потеряет в его глазах и что некое чувство, подобное самоуважению, обязывает его помочь Лютову.

— Хорошо,— сказал он,— только я палку возьму.

Певчий действительно оказался тощеньким человечком, курносым, с рыжими усиками в стрелку, очень похожим на таракана-прусака. Он был до смешного близорук; для того, чтоб поймать на столе ресторана стакан пива, он, прищурясь, откидывался на спинку стула и все-таки протягивал руку осторожно, как слепой.

— Первый тенор, солист, Дробягин,— рекомендовал он себя Платону. На указательном пальце его правой руки блистал тяжелый перстень с рубином,— Платон сразу понял, что перстень — «нового золота», а рубин — стекло. Держался первый тенор пренебрежительно, зачем-то часто трогал булавку с красным камешком, воткнутую в его голубой галстух, а близорукостью своей надоедливо хвастался.

— Доктора говорят, что я замечательно близорук, аб-со-лю-тно, говорят они, а уж если аб-со-лю-тно, то больше желать нечего! Я перебил неисчислимое число посуды. Лицо ваше, Еремин, для меня мутное пятно и больше ничего.

— Это всякий может,— задорно говорил Лютов, сильно выпив для храбрости, и, подмигивая Платону, толкал под столом ногу его.

Платон видел, что певчий безобидный хвастун, жалел его; за что он будет бить такого человека?

— А где телеграфист? — спросил он Лютова.

Лютов сконфуженно ответил, что телеграфист пьян и не мог прийти.

— Га!— произнес первый тенор гусиное слово и, сардонически усмехаясь, сообщил Платону:

— Телеграфист — враг мой, мы с ним охаживаем одну интересную девицу, а перевес на моей стороне, как солиста, и он хочет меня бить, этот телеграфист. Но — я купил кастет, вот он!

Вынув руку из кармана, он показал Платону маленький рыжеватый кулачок, вооруженный железными шипами.

«Если он этой штукой ударит по лицу»,— сообразил Платон и отодвинулся от солиста.

— Костин этого не побоится,— заметил Лютов и попросил, протянув руку:

— Покажи!

— Га,— сказал певчий, спрятав кастет в карман.

— Значит, я ухожу,— заявил Платон и ушел, не простясь с Лютовым и тенором, ушел в густую метель, но Лютов, догнав его, толкнул плечом, подпрыгивая, шагал рядом и дразнил:

— Струсил! Не ожидал я, что ты струсишь! Стыдно...

Платон остановился, оттолкнул его, ударил палкой по голове, еще и еще.

— Меня? — изумленно крикнул Лютов и, подпрыгнув, исчез в облаке снега, а на месте его, точно сверху упав, явился певчий; неожиданное появление его испугало Платона, и в то же время он почувствовал, что теперь, когда он побил Лютова, справедливость обязывает бить и певчего. Дважды молча ударив палкой по голове маленького человека, он прислонился спиною к забору, ожидая нападения, но тенор, подняв шапку, сбитую ударом, отряхнул ее, надел на голову и сардонически спросил:

— Это за что?

Не ожидая ответа, он тоже быстро исчез в густой каше снега, сказав оттуда:

— Эх, дикие свиньи...

Тогда Платон, очень смущенный и негодуя на себя, крикнул вслед ему:

— Извините!.. Я ошибся, я думал...

Лгать было бесполезно, ему не ответили; шуршал снег, приглушая вечерний шум города. Платон медленно пошел домой, чувствуя себя одураченным, испытывая горестное недовольство собою, осыпаемый хлопьями мокрой ваты снега. Снег падал всё более густо, и чем дальше Платон шагал, тем более съеживались и тускнели в этой холодной каше желтые огни фонарей.

«Не удается мне интересная жизнь»,— думал он и спрашивал себя:

«А что значит жить интересно?»

Все жили скучно: Ананий, с его былыми спорами, хозяйка в заботах об утках, Лютов, влюбленный в книжку сберегательной кассы, он читает эту свою книжку, как мальчик пятачковую сказку. Неинтересно живут приказчики с их тревожной суетливой беготней за швейками. Неужели не скучно жить первому тенору с фальшивым перстнем? Конечно, Ананий спорил с ветеринаром от скуки, так же от скуки дворник Федор ежедневно играет в карты с поваром адвоката Интролигатина, адвокат же каждую ночь уходит в клуб играть в карты. Если б жизнь была интересна, никто не играл бы в карты.

Всё более тягостно он чувствовал эту всюду, как дым, проникающую скуку, но не мог понять, чего он хочет, и не пробовал искать, где скрыто интересное, не похожее на то, чем заняты все люди. У Анания было несколько толстых книг — «Краткий курс механики», «Сон и сновидения», «История умственного развития Европы» и еще какие-то, штук пять, всё это были книги непонятные, и даже сам Ананий уже не читал их, а «Историей умственного развития» покрывал миску молока, которое пил ночью и утром, натощак.

Платон видел, что горничные и швейки смотрят на него всё более благосклонно, но не соблазнялся, зная, что романы влекут за собою множество неприят-

ного и, между прочим, вызывают ревность, которая делает необходимыми заговоры и драки, как это подтвердил случай с тенором. Кроме того, романы требуют какой-то особенной ловкости слов и уменья бесстрашно, нагло лгать, как лгал Лютов, а Лютову Платон не хотел подражать ни в чем. В доме явилась новая квартирантка, нахлебница домохозяйки, Петрунина, телефонистка, прямая как солдат, с длинными ногами, в пенсне на красненьком носу; Платон чинил ей часы, с той поры она здоровалась с ним очень ласково:

— Алло, Еремин!

Но и это было не то, чего хотел бы Платон.

То, чего он хотел, убедительно подсказал ему англичанин Лесли Мортон, эксцентрик; этот необыкновенный человек был решающим впечатлением юности Платона Еремина, он в несколько минут распахнул перед ним дверь в мир необычного и чудесного. Он обладал изумительно разработанным уменьем делать всё не так, как делают обыкновенные люди. Сильный, ловкий, он ходил на вывернутых ногах, походкой какой-то большой, пьяной или безумной птицы и совершенно серьезно говорил птичьим голосом. У него и ступни ног были кожаными лапами птицы, да и весь он казался оперенным, обладающим невидимыми крыльями. Садясь на стул, он перекидывал ноги через спинку его и всё делал так, что было ясно: иначе делать он не любит, не хочет, хотя и умеет. Он создал для себя забавнейший и даже несколько жуткий мир, в котором все вещи открывали ему какие-то свои смешные стороны,— мир, в котором самого Мортона ничто не удивляло, но всё изумляло людей своей неожиданностью и капризным отсутствием здравого смысла.

Когда Мортон закурил сигару, голубой дым ее курчаво и обильно пошел из его лысины, на которой была нарисована гора; мяч, брошенный им на арену цирка, превратился в куб, трость, положенная на стол, ожила, извилась змеею и сползла на песок; Мортон, поймав ее, проглотил. Сняв с головы цилиндр, он дымно выстрелил из него женской кофтой и ловко притворился, что это испугало его; брови Мортона перевернулись и встали на лбу двумя знаками вопроса. После этого,

гибкий, но явно нарочито неуклюжий, он стал еще более загадочен, и Платону показалось, что англичанин рассказывает свое сновидение, воспроизводя его пред людями со всею чудесной и необъяснимой сложностью.

Было ясно, что этот человек с широким красным лицом притворяется, будто бы изумляясь всему, что он делает, будто бы испуганный чудесным, что он сам же открывает в вещах. Конечно, Мортон знал нечто недоступное обыкновенным людям и ложно удивлялся лишь для того, чтобы не пугать их. Обычное не существовало для него; всё, чего он касался, он воодушевлял забавной внешне, но жутковатой глупостью, открывая во всем таинственно скрытое смешное; будильник в его руках пел петухом, а на циферблате будильника являлась зеленая рожа и щелкала зубами.

Всё это отличалось от фальшивой игры обычных фокусников, и всё Платон воспринимал как нечто, исполненное серьезного значения, завидной свободы и власти над вещами. Лесли Мортон делал то, что хотел, так, как хотел, и никто иной не мог делать того, что он умел. Он жил по каким-то своим законам и дерзко показывал свое презрение ко всему, что Платону казалось непоколебимо установленным, законно и навсегда мертвым.

Уже идя домой, по улице, скупо освещенной сердито шипевшими огнями газовых фонарей, Платон шагал, вывернув колени и ставя подошвы косо, идти так было неудобно, а — приятно. Он снял шляпу пред фонарем, сказав ему:

— Алло, фонарь!

И ему показалось, что двуцветный веерок огня загорелся ярче, а окно дома усмехнулось. Взойдя на ступени церковной паперти, он скатил с нее свою соломенную шляпу, и ему было приятно видеть изумление члена окружного суда, Старостина, когда шляпа подкатилась под ноги старика, заставив его остановиться и придержать ее тростью.

— Мерси,— пискливо сказал Платон.

— Зачем это вы? — спросил старик.— Вы, кажется, трезвый.

— Мы не пьем и не курим,— сообщил Платон птичьим голосом, а человек, привыкший осуждать, уверенно сказал:

— Тогда это глупо!

Платон, взяв шляпу в зубы, поднял руки вверх и пошел задом наперед, а старый судья, стукнув палкой о панель и затем грозя ею, крикнул:

— Я знаю вас, часовщик!

«Обиделся, старый дурак,— с грустью сообразил Платон.— А на что обиделся? Не поступить ли мне в цирк?»

Он быстро убедился, что в этом нет надобности, можно очень интересно жить и в обычной обстановке, только следует делать всё по-своему. Несравнимо забавнее переставить стул с места на место не так, как это делают все, а сначала перевернуть его в воздухе кверху ножками: после этого стул кажется более веселым. Приятно утром сказать самовару:

«Здравствуй, пожарный!»

Этого никто не говорит. Платон ловко научился завязывать галстух на носу у себя; накинув ленту галстуха на затылок и уши, он завязывал бант на носу и уже затем спускал его на шею, там затягивая узел. Входя в магазин, он, прежде чем сесть за работу, почтительно целовал английские часы в гробоподобном ящике. Иногда он проделывал нечто неожиданное для себя и скоро понял: чем меньше думаешь о том, что и как надо сделать, тем более забавными выходят эти невинные развлечения.

Игра увлекала. Все вещи постепенно принимали в его глазах иной вид, каждая из них казалась скрыто одушевленной; с ними можно было говорить, и хотя они не отвечали, но казалось, уже начинают понимать что-то. Они как будто теряли свою устойчивость, привычку к месту, просили о передвижении. Хрустальная вазочка на львиных бронзовых ножках, из которых одна погнута, была наиболее интересна; в этой вазе Платон держал различные мелкие части механизмов; он приучил ее наклоняться в его сторону, постукивая пальцем по столу, но не касаясь вазы.

Нередко в этой игре Платон уже ощущал страшок,

испытанный им в цирке, задумывался и спрашивал себя:

«А не сойду я с ума от этого?»

Но опасение было мимолетно. Платон чувствовал, что темный камень в голове его становится легче, мягче, тает различными мыслями. Он окончательно убедился в своей способности делать необычное, прочитав наклеенное на заборе объявление какой-то аптеки. «Если ваш желудок плохо варит»,— говорило объявление; Платон вдруг выдумал и приписал карандашом, отчетливо:

«Берегитесь, это вас состарит».

Неожиданный проблеск новой способности приятно удивил его, и не без гордости он подумал:

«Вот, могу и стихи сочинять».

С вещами всё шло хорошо; даже часы, надоевшие ему разнозвучным, но равнодушным чавканьем, стали как будто интересней; однообразные циферблаты ожили, каждый из них приобрел свое лицо, и хотя все часы, как раньше, считали время, или забегая вперед, или отставая от старых, английских часов, теперь Платону казалось, что каждые из них имеют на это свою тайную причину. Одни шли быстрее зимой и отставали летом, другие торопились днем и замедляли ночью свой ход; те отбивали счет минутам устало, эти — с явной радостью, и вообще было ясно, что у каждых — свой характер. О причинах их разногласия Платону не хотелось думать не только потому, что он не любил часов, но и потому, что не умел вовлечь их в свою игру.

С людями было хуже, люди не понимали его. Когда телефонистка Петрунина, стеклянно улыбаясь, сказала обычное:

— Алло, Еремин!

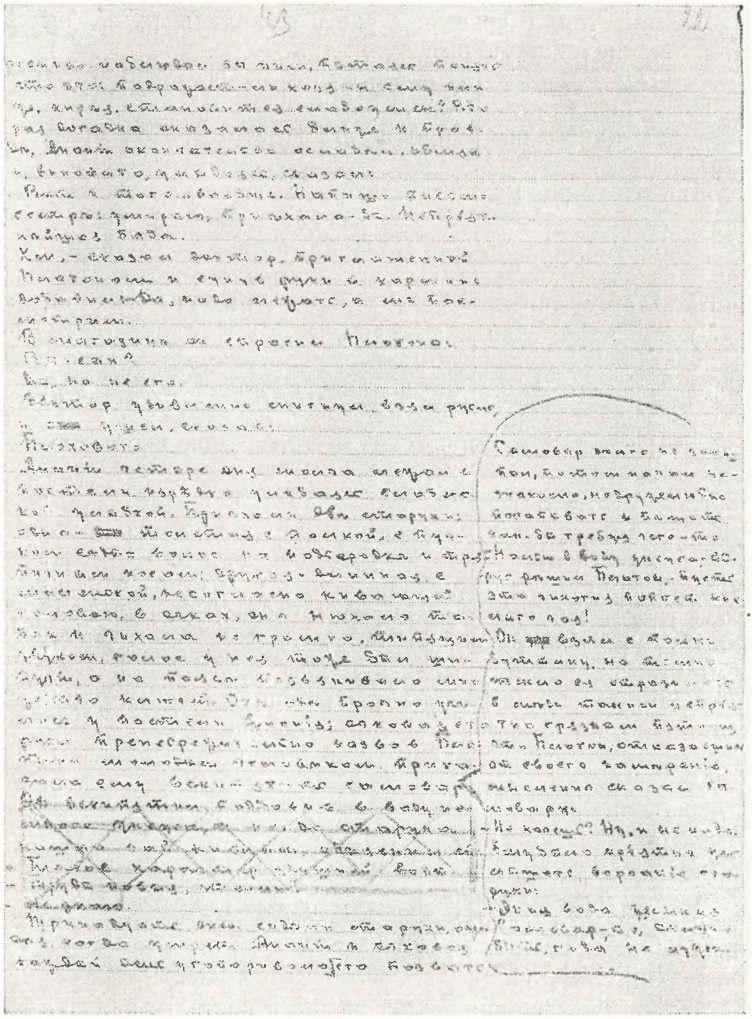
— Позвольте рекомендоваться: Платон Бочкинс! — ответил он ей. Нахмурясь, дернув головою, как лошадь, она спросила:

— Что такое?

— Бочкинс, екцентрик, это — я!

— Кажется, вы становитесь нахалом,— сообщила ему телефонистка.

«Глупая»,— решил Платон.



«О ТАРАКАНАХ».
Страница автографа.

Ананий терял зрение, у него тряслись руки, он стал больше пить, а выпив, мычал:

— М-да. Может быть. А впрочем, всё равно.

Но и он сказал подмастерью:

— Ты как-то вывихнулся, отчего это, а? Это, брат, плохо!

Лютов тоже находил, что Платон кривляется.

— Аристократа гнешь из себя,— говорил он.

Непонимание обижало Платона, но всё же было утешительно подмечать, что люди стали смотреть на него внимательнее, чем прежде, и говорят с ним осторожней, а Лютов явно завидовал его жестам и манерам.

Ананий всё чаще, забывая смигнуть лупу из глаза, сидел, опустив руки на колена, и молча думал над чем-то полчаса, час.

— М-да-а,— мычал он и расплывался в кресле. Иногда он несколько минут гонял пальцем по столу часовое стекло или играл колесиками, как маленький; иногда, стоя пред умывальником, писал что-то пальцем по воде, в тазу. Платон ревниво наблюдал за ним, пытаясь понять, что это: подражает ли хозяин ему или же, хирея, становится слабоумен? Вторая догадка оказалась ближе к правде, Ананий окончательно ослабел, обмяк и, виновато улыбаясь, сказал:

— Вот и того, вообще... Напиши письмо сестре: умираю, приехала бы... Неприятнейшая баба.

— Хм,— сказал доктор, приглашенный Платоном, и, сунув руки в карманы, добавил: — Надо лежать, а мы посмотрим.

В магазине он спросил Платона:

— Вы — сын?

— Да, но — не его.

Доктор удивленно мигнул, взял рубль и ушел, сказав:

— Плоховато!

Ананий четыре дня молча лежал в постели, изредка улыбаясь слабенькой улыбкой. Приехали две старухи: одна — толстая, с палкой, с пучком седых волос на подбородке и тряпичным носом; другая — длинная, с маленькой, несогласно кивающей головою, в очках; она нюхала табак и чихала негромко, шипящим зву-

ком, голос у нее тоже был шипучий, а на поясе позвякивало множество ключей. Они обе прочно уселись у постели Анания; очковая старуха, пренебрежительно назвав Платона молодым человеком, приказала ему вскипятить самовар. Самовар долго не закипал, потом начал незнакомо, недружелюбно посапывать и пищать, как бы требуя чего-то.

«Налью в воду уксуса,— вдруг решил Платон,— пусть эта чихотня попьет кислого чая!»

Он взял с полки бутылку, но темное стекло ее отразилось в меди таким неприятно грязным пятном, что Платон, отказавшись от своего намерения, мысленно сказал самовару:

«Не хочешь? Ну и не надо».

Ему было приятно услышать ворчание старухи:

— Экая вода жесткая! Самовар-то, должно быть, года́ не лужен...

Тринадцать дней сидели старухи, ожидая, когда умрет Ананий, и очковая каждый день уговаривала его позвать попа.

— Успеем,— тихонько отвечал он, шевеля пальцами, и в десятый раз спрашивал, поводя глазами на старуху с бородой: — Тетка-то жива?

— Оглохла, а живет.

— У-у,— говорил Ананий, выливая тусклые глаза на морщины под ними.

— Смотри, умрешь без покаяния! Позову попа?

— Успеем.

Он умер тихонько, на закате солнца, так и ускользнув от покаяния. Ночью старухи бесстрашно легли спать в комнате на полу, а Платон ушел в магазин и, сидя там, слушал, как возится, брякает ключами и, шипя, чихает очковая; слушал и думал, что Ананий лежит выше старух и было бы хорошо, если б он свалился на них. Неугомонно чмокали и чавкали маятники, шуршали за отклеившимися обоями тараканы, было тоскливо и думалось о том, что надо искать другое место. Луна, тоже подобная маятнику часов, прыгала по синим ямам, среди облаков; дымные облака поспешно плыли на запад, и казалось, что тени их стремятся опрокинуть каланчу, столкнуть с нее по-

жарного. Платон вырвал из книги заказов лист бумаги и стал сочинять стихи, чтобы одолеть скуку. Сначала у него пошло хорошо:

Облаками окутана
Возвышается каланча.
И днем и ночью тут она,
И, будто ангел без меча,
Пожарный солдат на ней,
Сторож вредных огней...

— Чвак-чок, чмок-чок,— чавкали маятники, мешая сочинять.

Дальше стихи о пожарном не шли. Платон долго думал — что еще можно сказать о пожарном? Но, ничего не выдумав, зачеркнул написанное и стал сочинять другое.

По ночам,— сплю ли я, не сплю ли,—
Я знаю: изо всех щелей
Окружающих меня вещей
Вылетают, как пули,
Разные думы.
Например: стул
Производит некоторый гул,
И я понимаю его ропот...

На слово «ропот» подвертывалось почему-то неприличное слово. Платон усердно искал другие и не находил, а неприличное лезло всё назойливее, казалось, что стул требует именно это пошлое словечко, не соглашаясь с другими. Платон задумался: вот и слова, даже самые простые, имеют, так же как все вещи, свой характер, свои упрямые требования. Всё связано, спутано, и только Лесли Мортон умеет разрывать эти путы и связи.

Думать об этом было интересно, но не удалось; дверь за спиною Платона скрипнула, из черной щели высунулась маленькая гладкая головка очковой сестры Анания; придерживая тело свое рукою, похожей на лапку ящерицы, сестра ядовито зашипела:

— Вы, молодой человек, напрасно сопите...

— Как? — спросил Платон.

— Так. Вы сопите совершенно напрасно: всё сосчитано и записано.

— Что такое — записано? — спросил Платон сердито.

— Всё, все вещи и часы, да-с! Запись у меня. И, пожалуйста, не выдумывайте глупостей. Есть полиция и есть суд.

Платон повернулся к ней спиною, обиженно пробормотав:

— Я вас не касаюсь.

Очковая шипела:

— И не смеете, и не можете. Всем известно, что покойник был полуумный, есть свидетели!

Она чихнула, и на этот раз так грозно, что загудели боевые пружины всех стенных часов. А притворяя дверь, старуха напомнила:

— Есть суд!

Тихонько обругав ее, Платон посмотрел на стихи: они были написаны кривыми строчками, напоминали развалившийся забор, и было в них что-то неприятно рыжее, это, конечно, от чернил. На стихах о пожарном сидел таракан, поводя усами, казалось: он читает, и ему не нравятся стихи; Платон сшиб его щелчком и начал ставить крестики на каждую букву, буквы приняли сходство с мухами, тогда он стал приделывать буквам усики, и на бумаге явились ряды тараканов. Уничтожив стихи, Платон написал четко и твердо: «Таракан не вреден, а противный и ни к чему».

С утра началось нечто весьма обидное: пришел полицейский чиновник, жесткий, цинкового цвета, с острыми локтями; он привел гладко причесанного человека в мундире со светлыми пуговицами и ювелира Паламидина, прозванного Грек. Очковая старуха, наталкивая их всех по очереди на Платона, шипела:

— Он всю ночь сопел против моих прав. Он бумаги рвал, заметьте!

Полицейский и гладкий допрашивали Платона как жулика, а Грек нашел в книге заказов бумагу с тараканами, носом прочитал ее и подал гладкому:

— Тут какое-то соображение написано.

— Чепуха,— сказал гладкий человек.

А старуха насвистывала, шипела:

— Покойник был полуумный, он в бога не верил и даже отверг родных. Он семнадцать лет прятался от нас.

Грек водил масляными глазами по рожицам часов, шевелил бритой, синей губой и считал что-то на пальцах, тихонько, в такт маятникам, причмокивая. Платон знал, что об этом ювелире ходят по городу очень темные слухи, что «пробирная палата» * дважды привлекала его к суду; Платону казалось, что из голых глаз Грека вытягиваются темные паутинные лучики и всё в магазине связывают, оплетают.

Полицейский и следователь ушли, Грек, затворясь в комнате с очковой старухой, говорил там с нею о чем-то вплоть до вечера, когда поп и дьячок явились служить панихиду; за панихидой Грек, потный, растрепанный, горячо шепнул Платону:

— Покупаю магазин со всей требухой, — остаешься?

— Я... позвольте подумать,— ответил Платон, наблюдая, как улыбается кадило, голубовато дымя, весело позвякивая и пресекая желтенький, пыльный луч солнца.

— Думать можно, но — не много! — разрешающе сказал Грек.

Было как-то странно и даже неловко видеть, что смерть Анания ничего не изменила, только остановились дешевенькие стенные часы, большой черный таракан залез в механизм, неудобно погиб там, и жалкий труп его остановил движение колес.

Платон равнодушно сел в кресло Анания, к столу, против окна, а для услуг ему и уборки магазина Грек втолкнул с улицы рябого, шершавого мальчика Коську, сказав ему:

— Помни, шельма: глух, слеп, нем!

Остроглазый Коська оказался человечком понятливым, ловким и усердным, а ювелир Паламидин был человек чем-то воспаленный; он дергался так, как

---

* Учреждение, которое следило за точностью процента лигатуры в золоте и серебре.

будто у него одновременно и нестерпимо зудела вся кожа, он хватал себя руками за плечи, колена, шлепал ладонью по затылку, по усатому лбу, щипал пальцами адамово яблоко, заросшее колечками двуцветных волос, щипал грязные усы, похожие на щеточку для ногтей. Глаза его, быстрые, беспокойные, обливали всё вокруг горячим маслом; даже когда Грек сидел, он качался, как в лодке, плывущей по бурной реке, а когда шел, земля как будто коробилась под его ступнями, длинными, как лыжи. Его тощенькое темнокожее тело, закопченное в каком-то очень густом дыму, источало солоноватый запах ветчинной колбасы; он очень любил рахат-лукум и ел его за чаем, как хлеб. Он спрашивал Платона:

— Любовницу имеешь? В карты играешь? А — на биллиарде?

И выслушав краткие «нет» Платона, щипал свой кадык, удивляясь:

— Как же ты живешь? Непохоже живешь. Ты скрываешь что-то, а? Врешь, а?

Он вскакивал в магазин всегда неожиданно и так, точно украл что-то, а за ним гнались; он являлся то рано утром, когда улица еще только просыпалась, то стучал в окно со двора ночью, когда весь город уже спал и только в публичном доме Мелиты Исааковны Шварцман кривоногий тапер, похожий на рака, неутомимо выколачивал из рояля вальс «Дунайские волны».

Под звуки этого вальса Платон думал о какой-то неотразимо обаятельной и невероятно несчастной вдове, измученной любовью и ожидающей утешения за городом, над омутом, в котором Платон хотел утопиться; там стоит она в белом платье, с распущенными волосами, очень похожая на знаменитую укротительницу львов, девицу Зениду, которую львы съели; стоит, вычерчивает концом зонтика узоры на песке и прекрасными, добрыми глазами смотрит на огромный черный блин омута и на масленую каплю луны посреди его.

Под звуки вальса «Дунайские волны» всегда хотелось сочинять жалобные стихи, и Платон усердно писал их, но проклятые, скользкие слова упрямо не укладывались в строки, не звучали в такт вальса, а рас-

ползались по белизне бумаги корявым узором мертвых, беззвучных знаков. Раздраженный бесплодным напряжением выразить нестерпимо волнующее, Платон видел, что эти черненькие знаки, сползая с конца пера, шевелятся на бумаге, растут, беспокойные и мохнатенькие, точно глаза Грека, шевелятся, как будто издеваясь над Платоном. Тогда он мстительно давил каждый знак крестом, и бумага густо покрывалась крестами, как тот угол кладбища, где зарывали нищих.

Ряды этих крестиков вызывали одуряющую скуку, и она, еще более обижая Платона, заставляла его приписывать крестикам ножки, усы, кружочки глаз, остренькие уши, пятипалые лапки, и вот с листа бумаги на него смотрел созданный им мир толстеньких уродцев, длинные ряды существ, которые безмолвно убеждали его, что он все-таки способен создавать нечто свое, тоже капризное, как слова, и утешительно непохожее на скучные колесики часов. И было как-то горестно приятно хоронить свои мыслишки под черными крестиками...

Скоро после смерти Анания в городе начался мятеж, по улице пошли люди с флагами и портретами царя, они сбивали кулаками шляпы с прохожих, ударили и Платона палкой, отломив кусок поля его соломенной шляпы. Мятежниками командовал маляр Дерябин, в красной рубахе, толстый, он был удивительно и даже страшно похож на раздраженного снегиря, он неистово орал «Боже царя храни», и Платону казалось, что язык у него так же черен, туп и толст, как у этой проклятой птицы.

Мятеж продолжался несколько дней и был прекращен пожаром на заводе спирта, но за эти дни Платон тоже почувствовал себя мятежником, оскорбленным человеком, которого безвинно бьют палкой по шляпе; было и еще что-то оскорбительное в этом мятеже маляра Дерябина, как будто маляр возвращал Платона к прошлому, под лестницу, навязчиво воскрешая воспоминания о ночном шорохе тараканов, свисте снегирей, побоях отца.

Вспомнив, как он уже дважды ловил тараканов и мух на портрет царя, Платон купил за десять копеек

раскрашенное изображение голубоглазого человека с подписью под ним «Благоверный» и «Вождь народа», густо смазал его патокой, смешанной с гуммиарабиком, и прикрепил к стене комнаты. Тараканов погибло не много, но мухи покрыли портрет почти сплошь, так что Грек, видимо, даже не узнал, кто это изображен.

— Ага, сколько приклеилось, подлых,— сказал он, мельком взглянув на ловушку, и задумался, почесывая грудь против сердца. А за чаем он сказал:

— Ты, Еремин, соблюдай осторожность, чуть услышишь — идет это стадо, магазин запирай. Эти скандалы не для нас, будь человеком независимым, ни туда ни сюда. Это шум для дураков, а твое дело умное: поел, попил, полюбил да помер. На остальное — плюй с горы!

Обжигаясь, он торопливо хлебал чай, жевал черными зубами вязкий рахат-лукум,— он приносил его с собою в кармане рыжего мохнатого пальто с перламутровыми пуговицами, потирал лицо так крепко, как будто хотел сломать свой копченый нос, и бормотал:

— Ты — помалкивай, да! Дни эти хорошо пахнут. Все обалдели. Картошку за яблоко съедят, а не то что... Да. Теперь — р-раз! И — готово. Хватит на всё продолжение жизни. В Крым поеду. Даже на Кавказ, может быть. А — в Вену? И в Вену можно... Где Паламидин, Эраст? Каюк! Достань-ко его голой рукой!

Платон не чувствовал желания понять болтовню Грека, но Грек, забавный и непохожий на обыкновенных людей, нравился ему. Однажды Платон спросил его:

— Вы женаты, Эраст Константинович?

Грек удивился.

— Я? Еще бы! Я, брат, так был женат... У меня даже и дети были! О-у!

Он закрыл глаза, свистнул тихонько и горячо, с гордостью сказал:

— А теперь у меня любовница. Это все знают, чудак! Третья. Необыкновенная, по-французски говорит, в оперетке пела, у нее ножка сломана... Любовница, братец, дело дорогое! Одни ботинки — ого-го! Не говоря о шляпах. Ботинки, братец мой, это очень тащит рубль. Очень! Ну, однако—необходимая вещь: человек начинается с головы, а женщина — с ног. Запомни!

Иногда Грек, являясь ночью, со двора, приводил тоже очень интересного человека, бритого, как повар, красивого, как женщина, и ласкового, точно собака. Был он среднего роста, очень строен, ловок, подобно акробату, костюм сидел на нем, как трико. Был вежлив; серые глаза его ласково улыбались, всегда обещая сказать что-то необыкновенно милое, интересное, но говорил он с великой осторожностью, вполголоса и так бережно, как будто он отливал слова свои из тончайшего стекла. В нем было что-то приятно ленивенькое. Левую руку он всегда держал в кармане брюк, тихонько побрякивая, позванивая там монетами. Платон заметил, что иногда человек этот, раньше чем ответить на вопрос, вынимал из кармана золотой, крутил его на столе, внезапно накрывал ладонью, и, если монета ложилась орлом вверх,— он отвечал отрицательно, кратко:

— Нет.

Грек называл его Агатом, Агашей, порхал вокруг летучей мышью и уговаривал:

— Агаша, да прими же в расчет дурость времени, обалдение людей!

— Не винтись, Грек, грешник,— ласково отвечал Агат, прихлебывая из чайного стакана темное вино, от которого исходил странный запах клопа и ладана.

— Ой, Агат,— вздыхал Грек.

— Не мешай судьбе,— говорил Агат.

Платону очень хотелось понять — чем занимается этот щеголь и красавец и чем еще, кроме своего мастерства, занят Грек? Почему он ходит с Агатом по ночам и становится всё более беспокойным?

И вот однажды утром, когда Грек, натрепав за что-то уши Коське, исчез, Платон подумал вслух:

— Что он делает?

— Фальшивые деньги, конечно...

— З-з-з,— процедил Платон сквозь зубы, испуганно повернувшись в кресле, глядя в угол,— там, в пыльном сумраке, пауком сидел на полу Коська, скрепляя порванные цепи гирь, щелкал плоскогубцами и качал бритой медноволосой башкой.

— Зачем? — спросил Платон. — То есть...

— Н-ну,— ответил Коська тихо и сердито,— хочет хорошо жить!

— Врешь,— сказал Платон, уже зная почему-то, что Коська прав.

— Н-ну,— отозвался шершавый мальчик.

Платон, смигнув из глаза лупу на ладонь, как это делал Ананий, задумался:

«Такой тщедушный, живет без слов, как мышь, а— вот что знает! Фальшивые деньги, конечно, так и есть! Грек погубит меня, чёрт его возьми! Надо искать другое место. Даже — уехать в другой город».

Темным, волнующим ручьем протекали быстрые минуты, полные тревоги. Коська в углу позвякивал цепями, напоминая о кандалах арестантов, которые ежемесячно проползали серой вереницей крыс по улице, из тюрьмы к вокзалу. Чувствуя себя развинченным, ослабевшим от испуга, Платон, искоса поглядывая на медный шар Коськиной головы, сказал:

— Болтаешь зря, ерунду...

— Я — только вам.

— Из твоей башки десяток маятников надо бы нарезать.

— Чать — голова внутри пустая,— удивленно напомнил Коська и прибавил:

— А вы — не деретесь.

«Нет, его не испугаешь,— снова задумался Платон.— И — не за что пугать, это хорошо, что он сказал».

До этих минут мальчишка ничем не удивлял его, он казался глупым, как все мальчишки, тараканов называл «ползуканами», а разбив чайный стакан, сказал:

— Какое стекло всегда бойкое.

Однажды, посланный Агатом в дом Мелиты Шварцман, Коська принес оттуда большой ворох разноцветных лоскутков.

— Это что? — спросил Платон.

— Лоскусочки.

— Надо говорить — лоскуточки...

— Почему?

Платон не знал — почему.

— А зачем тебе?

— Сестре.

Почему-то не верилось, что у такого пыльного человечка есть сестра.

Вспомнив всё это о Коське, Платон подумал, что мальчишка, может быть, только притворяется глупым, а на самом деле он — хитрый и приставлен следить за Платоном.

«Уйду отсюда...»

Вечером, тревожно звякнув всеми стеклами и колокольчиком, распахнулась дверь с улицы, вторгся Грек, густо посоленный снегом, и начал ругаться:

— Погода, чёрт, гадость...

Платон смигнул на ладонь лупу и сказал торопливо, но со всей твердостью, на какую был способен:

— Я не хочу больше работать у вас, рассчитайте меня.

Грек, снимавший пальто, развел руки, и пальто повисло за спиной его, как огромные крылья. Он спросил:

— Это что еще?

И обвел Платона строгим, связавшим его взглядом.

— Дурак!

— Не ругайтесь, я не мальчик.

— Еще в морду дам,— обещал Грек и крикнул Коське:— Прими пальто, не видишь!

Он быстро прошел в комнату, толкнув Коську вперед себя; минуты через две шёпота Коська взвизгнул:

— Дяденька, — ой! Вы сами велели...

Дверь отворилась, Коська стремглав бросился на улицу, загремел ставнями окна и двери, вогнал с улицы в магазин темноту. Платон, вздохнув, подумал:

«Не буду зажигать огонь и не пойду к нему».

Но Грек сам вошел в магазин, налил его светом электричества и сразу ожег Платона струею горячих слов.

— Так, значит, я делаю фальшивые деньги, да?

Он топнул ногою и, понизив голос, спросил:

— А кто царские портреты патокой мажет? А кого вешают за это? Кого в каторгу? Царь-то — где? Вот я покажу его так, как он есть, с мухами,— царь-то у меня спрятан! Ты, дурак, бабьи волосы, думаешь — это шутки?

Слова Грека не очень пугали Платона, но жутко было копченое, чернозубое лицо, и нехорошо сверкали гря-

зно-масленые глаза. Грек говорил быстро, следить за его словами Платон не успевал, и ему казалось, что Грек играет им, подкидывает его, как мяч; угрожая, издеваясь, посмеиваясь и успокаивая, он не давал верить ни угрозам, ни утешениям. Было бы лучше, понятнее, если б он только грозил, но он насмехался:

— Орясина, я нарочно научил мальчишку испытать твою скромность, а ты ему поверил!

А вслед за этим он спрашивал:

— Деньги делает — кто? Царь. А царь тебе — кто?

— Не знаю,— сказал Платон, вспомнив побои отца, трепку ветеринара, угрожающее пение маляра Дерябина, свист снегирей.

— Не знаешь, а патокой мажешь? Врешь, у тебя тайное знакомство со студентами! Сибирь тебе!

Слова Грека брызгали, точно корка лимона, если ее крепко пожать; Грек трепетал, точно петух, бегущий против ветра.

— Царь живет на твои деньги, в каждом его рубле — девять гривен твои, даже девяносто три копейки,— можешь это понять? Даже Коська понимает, что царь живет на наши деньги...

Пришел Агат, вежливо поздоровался с Платоном, улыбаясь, выслушал рассказ Грека о том, как ловко Коська уличил Платона в легковерии, и сказал, вздохнув:

— Ерунда.

Потом, разглядывая черный ноготь пальца на левой руке своей, прибавил:

— Надо что-то делать решительно.

— Беспокоит? — осведомился Грек.

— Хоть отрубить.

Платона укусил страх, заставив подумать, что эти люди могут и его отрубить, как больной палец. Ясно, что Агат пришел не случайно. Грек посылал за ним Коську; вот — мальчик воротился и возится в комнате.

— Даже Коська,— повторил Грек, вскочив и надевая пальто, а Платон, почувствовав себя зажатым в тиски, сказал примирительно:

— Коська очень умный...

— То-то же,— проворчал Грек и, стряхнув с шапки

растаявший снег, ушел. Агат, проводив его в комнату, ласково сказал там:

— Мальчик, теплой воды и тряпочку!

Он минут десять делал там что-то, вполголоса разговаривая с Коськой, потом, отворив дверь, кивнул Платону головою:

— До увидания!

— Чай пить,— позвал Коська.

За чаем Платон спросил мальчика:

— Какие деньги они делают?

— Никакие, конечно.

Подняв от блюдца корявую, источенную оспой рожицу, Коська сказал:

— Вы думаете — что? Эраст Константиныч нарочно научил меня сказать про деньги, а денег-то и нет!

«Врет, жулик, а я пропал», — подумал Платон.

Когда мальчик лег спать, Платон, подавленный страхом, чувствуя себя птицей, попавшей в сеть, сел за работу в магазине, не зная, чему верить. Делает Грек деньги или нет? Наверное, Грек занимается темными делами, может быть, скупает краденое, но — деньги? Если донести на него полиции, он, конечно, скажет о портрете царя, а Платон знал, как много людей страдают за непочтение к царю; знал, что сын сумасшедшего почтмейстера, студент, посажен в тюрьму только за то, что написал на памятнике под словами «Александр III»: «И больше не надо».

«Да и что мог бы я сказать полиции о Греке?» — думал он и не заметил, как у него явилась утешительная мысль: не всякому человеку удается попасть в шайку фальшивомонетчиков!

Он вынул из кармана две бумажки в три и в пять рублей. Пятирублевка была, несомненно, настоящая: грязная, измятая, с отрепанными краями, а зеленоватая трехрублевая — нова, чиста; она честно поскрипывала в пальцах, такая приятная, что ее хотелось сунуть в верхний карман пиджака так, чтобы уголок был виден, как пунцовый платочек в кармане Агата.

— Конечно — эта! — решил Платон, бережно сложив бумажку, отделил ее от грязной настоящей и задумался: как это чудесно, что вот маленькая бумажка,

сделанная, вероятно, Агатом, дает место в цирке пред ложами, среди богатых людей, дает право пообедать в лучшем ресторане и даже посетить очень порядочный дом с веселыми девицами. Да, Агат замечательный человек, он, может быть, смелее даже Лесли Мортона...

«А что бы я сделал, если б у меня было много фальшивых денег?»

Он тотчас решил, что открыл бы солиднейшее увеселительное заведение, пригласив самых знаменитых эксцентриков и лучших музыкальных клоунов.

С этой мыслью он и лег спать, а рано утром, еще до чая, в дверь со двора ворвался Грек по колено в снегу, с красными ушами, обругал мороз, солнце, бога, вынул из кармана неизбежный рахат-лукум и сел к столу, ерзая, пощипывая беспокойное тело свое.

— Послушайте, Эраст Константинович,— сказал Платон,— я хотел бы серьезно поговорить о деньгах...

— Говорить можно обо всем,— неопределенно молвил Грек и, вынув бумажник, отсчитал Платону пять трехрублевок, потертых и явно настоящих.

— Вот деньги, получи! И — не пищи!

— Я не об этих...

— Деньги все одинаковы,— пробормотал Грек, разжевывая вязкое лакомство, затвердевшее на морозе.

— Вы знаете,— продолжал Платон,— я человек скромный и честный...

— Известный, интересный, а я — несносный, куроносный.

— И я не жадный,— упрямо продолжал Платон.— Я иду на это потому, что люблю всё скрытое; я ведь понимаю, что всё,— кроме часов, конечно,— скрывает в себе свой секрет. И даже — деньги; деньги даже — особенно.

— Да, да? — вопросительно пробормотал Грек, слушая глазами.— Да, да, ну?

— Когда человек сам делает деньги, а не кто-то неизвестный, это, конечно, интереснее, тут сам делаешь ключи ко всему, так я думаю. Так?

Грек точно наскочил на что-то, минуту подумал и забормотал:

— Деньги — пустяки! Один — за целковый счастлив, а другой и при пятистах плачет, вот они, деньги! Деньги — дело куриное, а я — петух. Застежечку к брошке припаял? Давай.

Сунув брошь в карман, не допив чай, он выкатился на улицу, увлекая за собою Коську, а Платон, вынув из кармана трехрублевку, внимательно рассмотрел ее на свет и вздохнул: днем бумажка эта тоже казалась настоящей, и это как бы понижало чудесную силу, заключенную в ней. Конечно, и на три рубля, сделанные по заказу царя, тоже получишь те удовольствия, какие дает трещница работы Агата, и, конечно, это безопаснее, но — обыкновенно! И ведь ясно, что если б каждый человек сам для себя умел печатать деньги, не было бы жадных, воров, нищих и девушек, которые любят только потому, что хотят одеваться нарядно.

Платон почувствовал себя в кругу очень важных мыслей, они удивительно просто распутывали все узлы и петли жизни, освобождая людей от зависимости друг пред другом, рисуя жизнь без хозяев, царей, полиции, жандармов,—жизнь, в которой каждый сам себе владыка и работает лишь тогда, когда хочет работать. Вероятно, тогда для работы избирались бы только дождливые дни осени, морозные и вьюжные дни зимы, а солнечные дни весны и лета считались бы праздниками. Тогда каждый человек приобрел бы необыкновенные способности Лесли Мортона, уменье делать всё окружающее живым, всё стало бы прозрачно и близко. Беседа с Греком оставила у него неприятное чувство и догадку, что Грек хитрит, боится говорить открыто.

«Нужно это сказать Агату», — возбужденно решил Платон.

В воскресенье, закрыв магазин, он пошел в ресторан Балакиной, заказал себе «гурьевскую кашу», полбутылки мадеры и, чувствуя, что у него от волнения дрожат руки, шевелятся волосы на висках, долго, без аппетита жевал сладкий рис, мармелад, пил горьковатое вино. Когда общедоступная племянница Балакиной, Софа, ласково сверкая угольками наянливых и всевидящих очей, взяв из его руки новенькую трехрублевку,

небрежно сунула ее в карман белого передника, Платон испуганно привстал со стула, желая попросить девицу, чтоб она вернула ему эту бумажку, но Софа, ловко повернувшись на каблуках, исчезла в соседней комнате, где был буфет. И когда она проходила в дверь, какой-то нахал с черной бородкой встал и пошел за нею, насвистывая печальный марш Ендржиевского.

Софа долго не приносила сдачу; она пришла еще более ласковой и, поставив пред Платоном тарелочку, на которой лежал бумажный, судорожно скорчившийся рубль и два пятака, спросила:

— Почему это вас не видно?

— Как же не видно? Я — вот он!

— И похудели. Влюблены?

Платон взял с тарелки рубль, говоря:

— Я дал вам новенькую бумажку, а вы мне — вот какую дрянь!

— Бумажные рубли не популярны,— сказала Софа и ушла.

На улице зима хвасталась солнечным днем; солнце окрасило почти половину неба в необыкновенно нежный, розоватый тон; мохнатые провода телеграфа провисли, как плюшевые шнуры, с них осыпались на пальто Платона серебряные звезды инея; окна домов, затканные кружевами, отсвечивали алым золотом, и, хотя мороз больно щипал уши, всё вокруг казалось теплым, даже горячим. Лица встречных людей тоже были розовые, красненькие, с белыми усами и бровями, снег под ногою скрипел, точно новая, еще не измятая кожа, и всё вообще было заботливо, красиво обновлено.

«Да,— успокоенно думал Платон,— бумажка была, конечно, настоящая...»

Но он чувствовал, что к его спокойствию присоединяется, как тень, легкая грусть, и ее всё усиливал звучавший в памяти марш Ендржиевского,— марш, который цирковой оркестр Жозефа всегда играл перед началом второго отделения программы.

«Может быть, они действительно не делают фальшивых денег»,— размышлял Платон, чувствуя, как эта мысль убивает мечту о возможности интересной жизни, когда каждый человек, живя на свои деньги, был бы

независим, как Лесли Мортон, и когда для всех людей самым серьезным делом были бы развлечения.

У выхода из улицы на площадь Платона обогнал Коська в шапчонке поддельного барашка; сбоку шапка была разорвана, и над сафьяновым Коськиным ухом торчал седой клок пеньки. Рядом с Коськой важно шагала девочка в белом пальто, в голубом шерстяном чепце, на ее тоненьких ножках высокие суконные галоши, должно быть, тяжелые, точно утюги, руки она сунула в кукольно маленькую муфту и шла подняв нос, щурясь.

— Куда?

— В цирк, — ответил Коська.

— Это — сестра?

Утвердительно кивнув головою, Коська спросил:

— А кто еще?

— Как зовут?

— Она немоглухая.

— Говорится: глухонемая,— поправил Платон, но чья-то широкая спина, закрыв Коську, сказала басом:

— Хорошие погоды!

«Почему же — погоды? — задумался Платон, ощущая, как приятно мадера кружит голову.— Чепец, муфта и вообще весь костюм стоит денег. Откуда у Коськи деньги? Нет, нужно поговорить с Агатом; может быть, он делает деньги...»

В цирк идти не хотелось; в театр Платон не любил ходить: там было скучно, а знаменитый актер Стрельский, похожий на осетра, кричал, как полицейский пристав на базаре.

«Пойду домой и сочиню стихи».

Платон зашел в магазин, купил четверть фунта халвы, десяток сухарей, лимон и через полчаса был дома, в тепле, в привычном запахе меди и в тишине; спокойное течение ее отсчитывали маятники:

— Чмок-чок, чвак-чок!

Вскипятив самовар, он сел к столу с карандашом в руках, положив пред собою лист чистой бумаги и «Новейший модный песенник», книгу весьма полезную для начинающих поэтов,— в ней можно найти множество рифм. Прихлебывая чай, стукая пальцем по лбу, он жевал халву, зубы его вязли в крепком соединении кон-

фектной муки, мела, сахара и рыбьего клея, а халва подсказывала: «Бова, слова, голова», всё это, не укладываясь в строки, торчало в голове, точно гвозди в кармане. Но как-то внезапно, сразу он написал:

Сижу один, пью чай с халвой,
Так провожу я вечер свой
И так, однажды поутру,
Наверно я, один, умру.

Он отрадно вздохнул,— это уж были настоящие стихи, потому что грустные. Больше он не успел ничего написать: в дверь, со двора, бойко постучали, явился Агат и с ним нахал из ресторана, остробородый, с усиками, точно стрелки часов в два рубля семьдесят пять.

— Покорский,— сказал он, протянув руку Платону.— Кароль Покорский.

Агат, не раздеваясь, взял со стола бумагу и удивленно мигнул:

— Ах, вот как — стихи? Смотри-ка — стихи!

Покорский провел по строчкам концом бородки и сказал решающим голосом:

— Это очень хорошо, понимаешь?

— Очень, очень...

Агат вынул из кармана пальто бутылку, овальную коробку рахат-лукума, сбросил пальто на постель Платона и сел к столу, оживленно, любезно говоря:

— Гуляли, гуляли,— дьявольски холодно! Покорский приглашает к девочкам, греться. «Ба!— думаю я,— зайдем-ка за Ереминым, возьмем его, монаха; почему это так: мы — грешим, а он — не хочет? Это неправильно! Кстати, напьемся чаю, угостим его сладким». Я заметил: вы любите рахат-лукум, у вас турецкий вкус— угощайтесь!

— Покорно благодарю,— сказал Платон, радостно увлеченный милой, дружеской болтовней Агата; эта болтовня тотчас убедила его, что Грек передал Агату его согласие вступить в денежное дело, и вот Агат пришел, чтоб окончательно переговорить об этом. Разумеется, это — так!

Агат улыбался, казалось, что каждое слово его улыбается, а Покорский молча пил чай и посматривал колкими глазами в лицо Платона, в потолок, в угол, где печь разинула темную пасть. Глаза его были глубоко забиты в сухое лицо, как шляпки машинных гвоздей в мягкое дерево, например, в липу. Он, искусно, тихонько отбивая пальцами левой руки такт, насвистывал трогательный марш Ендржиевского, и — странно! — грустная мелодия, провожавшая кого-то далеко и, может быть, навсегда, не мешала веселому журчанию речей милейшего Агата, он влюбленно смотрел на Платона и сеял легкие слова.

— Я тоже к стихам очень склонен, только сочинять нет времени. Сочинять — очень смешное занятие.

Платон, слушая, соображал:

«Покорский, конечно, главный. Очень серьезный, даже неприятный. Никогда еще Агат не был таким милым. С ним говорить о серьезном будет очень просто».

Но Агат не торопился заговорить о серьезном, он любезно спрашивал:

— Вы стихи Баркова знаете? Нет? Жаль. Это — замечательные стихи в откровенном роде. Рахат-лукум этот лучшего сорта, вы что же мало кушаете?

Платон вежливо улыбался и ел клейкое лакомство, густо осыпанное сахарной пудрой; Покорский, куря желтую папиросу, строго смотрел в потолок, казалось, он читает что-то неразборчивое или мелко написанное, веки его напряженно дрожали.

«Сейчас начнет о деле»,— ждал Платон. Агат рассказывал о дружбе и ссорах Баркова с сочинителем Пушкиным, он говорил так, как будто сам присутствовал при этих ссорах.

— Однажды, знаете, Пушкин так рассердился, что хотел побить ему морду, уже плеснул в рыло чаем, а Барков убежал в соседнюю комнату, притворил за собою дверь и сейчас же запел, как в церкви:

Волною морскою
Скрылся Барков за доскою
От гоннтеля, мучителя,
Сашки Пушкина, сочинителя!

— Конечно, Пушкин расхохотался, помирился; удивительно ловок был этот негодяй, однако памятник поставили не ему, а Пушкину!

Агат засмеялся мягким смехом женщины, прижмурив глаза свои, с блестящей иголочкой в центре карего зрачка.

— Пора,— строго сказал Покорский; Платон вздрогнул, Агат же дернул цепочку часов на груди своей, часы, выскочив из кармана жилета, описали в воздухе золотую дугу и покорно легли на ладонь его.

— Да, пора, одевайтесь!

Платон был готов идти всюду, куда бы ни повел Агат, хоть в горящий дом. Он чувствовал, что от рыжего вина и рахат-лукума во рту его железисто горько, в голове мутно, а в животе бурчит, но зато на душе было легко, празднично прибрано и как бы присыпано сладкой белоснежной пудрой.

Он заметил, что Покорский, свернув лист бумаги со стихами тонкой трубкой, сунул его в ручку самовара, это сделало самовар похожим на пожарного солдата с брандспойтом и несколько примирило Платона с молчаливым человеком; наверное, он не так суров, каким кажется.

— Вы любите девушек? — спрашивал Агат.

— Как сказать?..

— Никак не говорите, я сам знаю, не любить — нельзя, это — как детская болезнь, говорит Покорский, вроде скарлатины или кори,— так, Покорский?

Насвистывая свой марш, Покорский шагал твердо и мерно. Серебряный холод сковал землю, стеклянно хрустел под ногами, на голову и плечи давила металлическая тяжесть, дышать было так трудно, как будто воздух замерз, превратился в острые, злые колючки и они вонзались в кожу щек, в лоб и глаза. Но Агат, удивительный человек, шел, распахнув пальто, и хрустально звонкими словами спрашивал Платона:

— А каких девушек вы любите больше? Почему вас интересует бунт? Разве вы знакомы со студентами? Чем царь мешает вам?

От этих быстрых вопросов еще более мутилось в го-

лове, Платон не успевал отвечать на них и только удивленно мычал, слушая Агата.

— Глуп, как двое.

Это сказал Покорский, негромко, равнодушно; трудно было понять — зачем он сказал это и о ком?

«Не про меня, конечно, он меня не знает,— подумал Платон.— Но разве можно сказать про Агата — глуп?»

Думать уже не было времени, остановились у крыльца двухэтажного скромного дома Мелиты Шварцман; красный фонарь накалил гладкую дубовую дверь без ручки; дверь нельзя было отворить с улицы, и это очень смутило Платона.

— Вот что,— сказал Агат, застегивая пальто, —вы, Еремин, идите и спросите Клаву, — вы знаете Клаву?

— Я тут никогда не был, это — дорогой дом...

— Ерунда! Мы съездим, пригласим еще одного парня, он очень смешной и хорошо поет песни; мы вернемся через десять минут. Помните — Клаву!

Он сам ткнул пальцем в кнопку звонка и, раньше чем открылась дверь, скользнул с Покорским прочь, точно по льду на коньках, а Платон оперся плечом о стену, вдруг чувствуя, что земля под ним вздувается горбом, сдвигая его куда-то. Ему показалось также, что свет фонаря стал более густо красен и качается кругами, хотя ночь была безветренна.

«Я выпил лишнее»,— сообразил Платон.

Дверь открыл благообразный человек в синеватой поддевке, он ловко снял пальто с Платона, облупив его как яйцо, сдвинул ногою галоши его под вешалку и спрятал руки за спину.

— Мне — Клаву!

— В кармане не держу. Наверх,— сказал человек грубым голосом ветеринара Беневоленского.

Лестница, покрытая, как в Дворянском доме, красным ковром, то ложилась плоско, то вставала стеною, а сзади кто-то толкал Платона тупыми ударами в затылок.

«Голова кружится».

Он остановился, схватившись за перила, глядя вверх на чьи-то черные ноги.

«Может быть, Агат потому и уехал, что я — пьяный, со мною нельзя говорить о серьезном?»

— Мне — Клаву,— сказал он толстой черной женщине с крупными янтарями на груди.

— Клавдия,— крикнула она так пронзительно, что Платон пошатнулся.

— Содовой воды тоже,— сказал он, икнув оттого, что много съел рахат-лукума, потом пробормотал, усмехаясь:

— Клава, халва...

Коричневая стена перед ним раздалась, распахнулась, как шуба, из нее обнажилась девица, подхватила Платона под руку и повела его куда-то, вкусно говоря:

— Какой беленький, мохнатенький. Выпил?

— Ух,— сказал Платон, чувствуя во рту вкус меди.

— Пересолил душу?

Платон засмеялся; забавно сказала она о пересоленной душе; душа — не рыба, а, наверное, похожа на херувима: головка с крыльями и — больше ничего.

— Душа — крылата,— напомнил он девице, а она, захохотав, сказала что-то про солдата, ведя его навстречу «Дунайским волнам»; волны раскачивали пол, выгибая и проваливая шашки паркета на полу; совсем как в Дворянском доме, качались разноцветные девицы, черные мужчины; по стене над пианино и лысой головой тапера прыгала желтая, голая женщина с бубном.

— Ой, его тошнит,— вскричала девица, оттолкнув Платона.

В маленькой комнате, похожей на магазин посуды, ему облили голову ледяной водою, дали выпить несколько капель нашатырного спирта, это разредило густое, душное облако, вдруг окутавшее его.

— Пришли они?

— Кто? — ворчливо спросила женщина с янтарями.

— Агат и этот?

— Агат — камень! Какой Агат?

— С бородкой, черный? Пришел?

— Господи помилуй! — сердито вскричала женщина, размахивая полотенцем.— Клавдия, позови Ермолая!

Она стала толкать Платона в спину, приговаривая:

— Никаких с бородками мы не знаем, у нас заведение приличное, а вы — не в себе и неспособный, идитека домой...

Благообразный человек принял, обняв, Платона, бережно свел его с лестницы, одел, осторожно выставил за дверь в синий холод ночи и, ударив по затылку, сказал:

— Шантрапа.

Ударил он так сильно, что пальто Платона распахнулось и он побежал, размахивая руками, боясь оторваться от земли.

Обиженный и больной, он не понимал: что случилось? Ошибся Агат и проехал с Покорским не в тот дом, или он пошутил над ним, сунув его к Шварцман?

Платон долго шел мелкими, быстрыми шагами по тихим улицам, по синеватым теням домов и чем дальше уходил, тем пустыннее, тише становилось вокруг, только снег хрустел всё сильнее. В спину холодно светила луна, тяжелая вязкая тень путалась под ногами, мешая идти, и всё кружилось: дома, связанные заборами, ошмыганные ветром веники деревьев; стеною вставала огромная льдина неба в мелких трещинках звезд, Платон всползал на небо и, соскальзывая с него, как таракан со стекла, упирался руками, лбом в шаткие стены домов, покрытые инеем; судороги рвали живот, стискивали горло, тупо били в голову; мокрые волосы смерзались на висках, голова леденела, и в ней медленно вращались тяжелые, медные колеса. Бессвязно и горестно думалось, что вот он идет куда-то в морозе, до боли сжимающем тело, а красавец Агат, наверно, сидит где-то в тепле, забыв о нем. И вообще о нем некому помнить, в жизни его никого нет, как на этой сонной, слепой улице.

«А может быть, Агат нанял извозчика и, объезжая публичные дома города, ищет его? Он такой вежливый, Агат... Он — ловкий, часы у него летают, как летали бы у Лесли Мортона...»

Острая, рвущая боль в животе обожгла его и остановила, внезапно ударив страшной догадкой:

«Агат отравил меня рахат-лукумом!»

Каждое слово пошатывало его, усиливая страх до того, что боль стала тише, а в голове быстро, отчетливо рождались трезвые мысли:

«Отравили рахат-лукумом и вином, потому что испугались — донесу! Это Грек научил Агата. Я — донесу, сейчас же! Я — в полицию...»

Он побежал, задыхаясь, чувствуя, что его нахлестывает изнутри уже не боль, а страх; именно страх разрывает живот тупым ножом. Тихонько взвизгивая, жмурясь, он с разбега наткнулся на широкие ворота в кирпичной стене, из деревянной конурки у ворот поднялось что-то мохнатое, большое и крикнуло:

— Куда лезешь?

— Это — какое здание?

— Это тебе не здание, а бойня!

— Спасибо,— пробормотал Платон, зная теперь, куда нужно идти; он даже хотел снять шапку, но шапка не снялась, больно дернув волосы на висках и затылке. Сунув в карманы оледеневшие руки, он пошел вдоль стены, а от ворот вслед ему сказали, должно быть — шутя:

— Завтра утром приходи, баран,— зарежем!

Платон остановился и ноющим голосом, обиженно, едва выговаривая слова, ответил:

— Меня рахат-лукумом отравили, а вы — эх!

Боль притихла, но терзал стальной холод, мучительно сжимая грудь, сдавливая виски ледяным обручем. А все-таки мельком Платон подумал, что, может быть, никогда еще ни одного человека не отравляли рахат-лукумом и что это было бы не так страшно, если бы не мороз.

Сейчас он добежит до полиции, там доктор даст ему лекарство против яда, и, если ему станет лучше, он скажет, что отравился сам; а завтра утром или через два-три дня Агат, узнав, что он не донес полиции и не хочет мстить, попросит у него прощения за то, что отравил, и тогда они будут друзьями на всю жизнь.

От этой мысли стало как будто не так горько, а впереди засверкал на земле бездымный, золотисто-красный костер; Платон бросился к нему, выбежал на площадь, очутился у огня, наступив в лужу растаявшего снега, и сунул одеревеневшую от холода ногу настолько близко к живому золоту огня, что рыжебородый извозчик предупредительно сказал:

— Зажаришь ножку, баринок!

От костра на площади было темнее, чем в улицах; две лошади дремали, косясь на огонь, на мордах их густо осел иней, один извозчик, стоя у огня, закуривал папиросу, другой, рыжебородый, поправлял концом кнутовища головни в костре.

Платон узнал краснокирпичное здание купеческого клуба, бронзовый монумент против него и в синем небе золотую луковицу колокольни Варвары Великомученицы. Полицейский участок тут, за церковью, в переулке...

Вздрагивая от холода, он грел руки и ноги, простирая их над огнем, прислушивался к боли: становясь всё тупее, она тягостно разливалась по всему телу, вызывая неодолимое желание лечь и заснуть.

«Сейчас пойду»,— думал он и не шел, воображая испуг и удивление Агата, слушая сквозь дрему всё более медленный, замерзавший разговор извозчиков.

— Всё едино,— говорил рыжебородый, — и у штатского своя судьба, свои неудачи.

Извозчик с папиросой еще более медленно ответил:

— Верно. А все-таки — памятник, который для памяти, ставят на кладбище, а в городе памятники — для устрашения.

— Город — не огород. Кого пугать?

— Не про то говорю, чтоб пугать, а — не зазнавайся, каков ты ни есть. Потому и ставят на площадях царям памятники, генералам...

Платон хотел сказать извозчикам, что отравился рахат-лукумом и чтоб его отвезли в полицию, но припадок рвоты согнул его, и, покачнувшись, он едва не упал головою в костер; рыжебородый оттолкнул его, сердито крикнув:

— Эх — вы, туда же, пьете!

Платон, лежа на снегу, сказал:

— Вези...

— Где живешь?

Платон слышал, как другой извозчик говорил издали:

— Везти его нельзя, замерзнет, ему бежать надо!

Рыжебородый потрогал ногою ногу Платона:

— Слышишь — беги!

— Не могу,— сказал Платон, почти засыпая, обессиленный судорогами.

— Ну, едем!

— Гляди, заморозишь!

— Пьют, а не умеют...

Платона взяли под мышки, поставили на мягкие ноги, потом свалили в сани. Озябшая лошадь поскакала, Платон слышал удары ее копыт о передок саней, шлепки кнута, а когда проезжали мимо монумента, монумент крикнул сердитым басом:

— Куда, дурак? Куда?

Это удивило Платона; уж если монумент может ругаться, так ругаться должен бы не этот, а другой, который стоит перед домом Дворянского собрания, тот, конечно, имеет право обругать за патоку и тараканов.

Ехать было мучительно, извне тело сжимали железные тиски холода, изнутри терзала боль, и в то же время хотелось спать. Особенно нестерпимо холодно было голове, все мысли в ней вымерзли, но от этого она стала еще тяжелее и падала куда-то, как птица, лишенная крыльев.

Лошадь бежала подпрыгивая, точно старая собака, извозчик не торопил ее, он посматривал в небо, поглядывал на синеватые льдины в окнах домов, оглядывался на седока, скорченного в санях; потом он, не останавливая бег лошади, перевалился с козел в сани, снял рукавицы с рук своих, обыскал карманы безмолвного, но еще мягкого седока, снял с него часы, хотел снять и шапку, но она не далась.

Тогда, приостановив лошадь, толкая седока руками и ногами, точно куль овса, он вывалил его из саней в сугроб и, хлестнув лошадь кнутом, поехал дальше ме-

жду заборов и сугробов, под синий, жестоко холодный купол, прикрывший серебряную пустоту.

...Разумеется, вполне возможно, что «нездешний» человек, умерший «на ходу»,— не тот, о котором я рассказал; что он не так жил, не так чувствовал и думал.

Но — всё существует лишь для того, чтоб о нем было рассказано. И совершенно недопустимо, чтобы какой-то человек валялся мертвым ночью, у камня, на берегу лужи, и чтоб поэтому нельзя было ничего рассказать.

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

РОМЕНУ РОЛЛАНУ
ЧЕЛОВЕКУ, ПОЭТУ

I

Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили чужого,— ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дрёмове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили — прасол, другие — бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

— Уповательно — из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:

— Видали,— лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

— Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

— Спросил он меня: «Что ж ты это какой безобразный?» Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

— Зовут — Илья, прозвище — Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело — не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа, в четвертом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан; вдруг этот Артамонов явился самчетверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

— Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него,

награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего — Петр, горбатого — Никита, а третий — Олешка, племянник, но — усыновлен им, Ильей.

— Лен мужики наши мало сеют,— раздумчиво заметил Баймаков.

— Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший — похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей — кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

— В солдаты одного? — спросил Баймаков.

— Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

— Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:

— Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками.

— Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть — не знаю, а ты — эко! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не знаешь — какова... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

— Про меня — спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого — не услышишь, вот те порука — святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, всё знаю, четыре раза неприметно был, всё выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел — не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

— Ты погоди...

— Недолго — могу, а долго годить — года не годятся,— строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

— Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

— Господи — помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

— Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

— Неизвестно. А где Наталья?

— За сахаром пошла в кладовку.

— За сахаром,— сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью.— Сахар. Нет, это правду говорят: от воли — большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

— Ты — что? Опять неможется?

— Душа у меня взныла. Думается — человек этот пришел сменить меня на земле.

Жена начала утешать его.

— Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.

— То-то и есть, что идут. Я тебе покаместь ничего не скажу, дай — подумаю...

Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать — умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

— Вот — с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте — отдохну.

— Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна,— приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

— Иди, Ульяна; уповательно — это судьба,— тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав — ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных, красивых ресниц:

— Что ж, Митрич, видно, и впрямь — судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах:

— Во имя отца и сына... Господи, не оставь милостью чадо мое единое!

И строго сказал Артамонову:

— Помни,— на тебе ответ богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

— Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:

— Идите.

А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря:

— Будь покоен, всё пойдет, как надо. Я — тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек — не бог, человек — не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

— Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно.

— Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела,—ну — воля божья!

Ульяна жалобно крикнула:

— Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому:

— Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла:

— Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать!

Муж остановил ее:

— Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

— Ты — держись его; этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

— Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал:

— И Евсей, покойник, и Ульяна — люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

— Да-а, темное дело.

— Я и говорю — темное. Наверно — фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:

— Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило,— посерел, цыган...

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала

Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив, и, видимо, робок или застенчив, красавец Олешка — задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и, в стороне от нее, над Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых бревен,—дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастия:

— Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И — пожар может быть: плотники курят табак, а везде— стружка.

Чахоточный поп Василий вторил ему:

— На песце строят.

— Нагонят фабричных — пьянство начнется, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

— Людей больше — кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками.

— Огород затевает, — догадались горожане.— Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:

— Глядите, глядите,— стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

— Ой, ой — утонет!

Ей дали подзатыльник:

— Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:

— Ишь ты, звереныш...

— Не любят нас,— заметил Петр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

— Дай срок — полюбят.

И обругал Никиту:

— Ты, чучело! Гляди под ноги, не смеши народ. Нам не на смех жить, барабан!

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

— Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимью за убийство — сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:

— Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы — люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был — знаменитый человек! А построил суконную фабрику — не пошло дело. И — что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

— Вам жить — трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а — как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?

— Слышу.

— То-то. Понимай. Живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да — толку мало.

Иногда он говорил час и два, всё спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и, не торопясь, кует звено за звеном цепи слов. В большой чистой кухне теплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шёлково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкает косточками счет, Алексей помогает ему, Никита искусно плетет корзины из прутьев.

— Вот — воля нам дана царем-государем. Это надо понять: в каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут — весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь — с господ немного возьмешь, они сами всё проживают. Георгий, князь, еще до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа — невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять

лет ружье таскать будет, а — иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству — конец подписан, теперь вы сами дворяне,— слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:

— Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами.

— Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил ее:

— Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а бог терпит. У меня — нужда; Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:

— Больше пятисот не дам за дочерью!

— Дашь и больше,— уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов — облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на ее сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

— Красивая ты, Ульяна Ивановна.

— Еще чего скажешь? — сердито и насмешливо спросила она.

— Ничего не скажу.

Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

— Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидала дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр; Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

— Наталья — домой!

Петр поклонился ей.

— Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

— Она мне нареченная,— напомнил Петр.

— Всё едино; у нас свои обычаи,— сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что это я рассердилась? Молодым да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

— Хоть он и благословенный тебе, да еще — либо дождик, либо снег, либо — будет, либо — нет,— сурово сказала она.

Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем,— к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

— Тут гадать не о чем,— сказала Ерданская,— я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут,— я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.

— То-то что медведем,— согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

— Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь,— испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал, никому неведом, и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

— Это значит: верит он силе своей,— объяснила премудрая просвирня.

Но всё это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

— Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так

громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное:

— Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и всё чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти всё чаще становились против ее, затемняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

— Что, Олеша? — спрашивал Артамонов.— Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:

— Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

— За что?

— Не любят.

— Его?

— Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

— Что ты мне, словно девка, всё про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

— Не надо бы Олеше ходить на бои.

— Это — чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты — молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

— Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро; братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

— Ну, как твои Артамоновы живут? — спрашивали Баймакову горожане.

— Ничего, хорошо.

— Зимой свинья смирна,— заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого неприметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.

«Не ласков будет муженек».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу, в сенях, голос дочери:

— Опять на медведя пойдете?

— Собираемся. А что?

— Опасно, Алешу-то задел зверь.

— Сам виноват — не горячись. Значит — думаете обо мне?

— Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма,— подумала мать, улыбаясь и вздохнув.— А он — простак».

Илья Артамонов всё настойчивее говорил ей:

— Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На Пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан,— и всё было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту,— горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову в прямых светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно-зеленой листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шёлковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

— Бог в помощь,— неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

— Спаси бог.

— Это ты сад убрал?

— Я.

— Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать.

«Горбат, а будто не злой»,— подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице.

— Извольте принять букет.

— Зачем это? — удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы.

Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

— Вот как,— сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову: — Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

— Так ведь и вы тоже.

Еще более покраснев, Баймакова подумала:

«Не отец ли научил его?»

— Ну, спасибо за почет,— сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух:

— Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

— Видно — судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила свату:

— Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступись от этого дела, дай мне устроить всё по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

— Ну,— горделиво замычал Артамонов,— меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

— Тебя здесь не любят.

— Ну, бояться станут.

И, ухмыляясь, пожав плечами:

— Вот и Петр тоже всё про любовь поет. Чудаки вы...

— Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

— Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

— Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любови...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой: «Экой зверь».

И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длин-

ных девичьих косах. Невеста, задыхаясь,— в тяжелом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

По лугам, по зелены-им,
По цветам, по лазоревым,
Разлилася вода вешняя,
Студена́ вода, ой, мутная...

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

Посылают меня, де́вицу,
Посылают меня по́ воду,
Меня бо́су, необутую,
Ой, нагую, неодетую...

Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

— Это — смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а — кричите: нага, неодета!

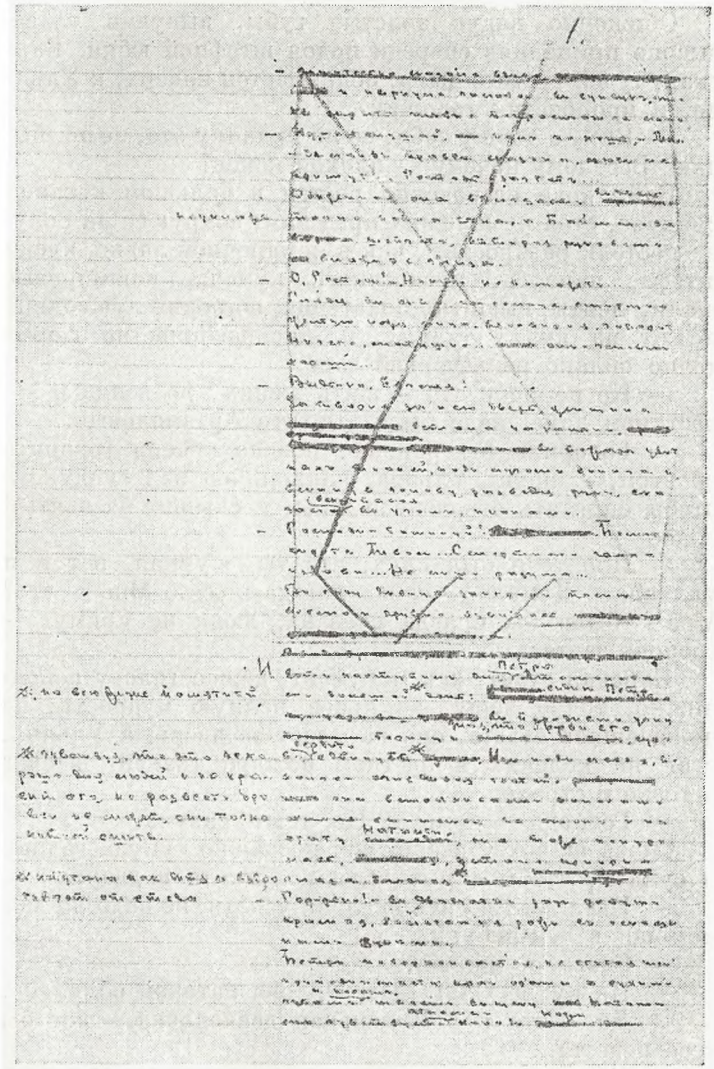
Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

— Не жалобно поете, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

— Сказано: «За мужем — как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена — не проломишь, высока — не перескочишь.

Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шёлковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.



«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
Страница автографа черновой редакции.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается наверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

— Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу — плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг ее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца; широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

— Не порядок это — жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым...

— Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом,— ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:

— Про тебя был слух, что ты — умная, вот я и молчала. Думала — сама догадаешься. Мне — что? Мне — была бы правда сказана, люди не примут — господь зачтет.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

— Господи — помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы, Никита в двери:

— Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.

— Спасибо, милый...

— На кухне Ольгунька Орлова патокой облилась.

— Да — что ты? Умненькая девчоночка,— вот бы тебе невеста...

— Кто пойдет за меня...

А в саду, под липой, за круглым столом сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек

с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

— Обычаи у вас другие,— задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

— Мы жа тут коренной народ. Велика́ Русь!

— И мы — не пристяжные.

— Обычаи у нас древние...

— Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, вбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:

Ой, свату великому,
Да Илье-то бы Васильевичу,
На ступень ступить — нога сломить,
На другу ступить — друга́ сломить,
А на третью — голова свернуть.

— Вот так честят! — удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну,— Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.

— А ты — слушай! — советует Барский и хохочет.

Того мало свату пашему
Да похитчику девичьему...

— Еще мало? — возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо смущенный, постукивая пальцами по столу.

А девицы яростно поют:

С хором бы тя о борону,
Да с горы бы тя о каменье,
Чтобы ты нас не обманывал,
Не хвалил бы, не нахваливал
Чужедальние стороны,
Нелюдимые слободы,—
Они горем насеяны,
Да слезами поливаны...

— Вот оно к чему! — обиженно вскричал Артамонов.— Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ попри-

ветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа — в Сейм текут; слава тебе, боже,— не в Оку!»

— Ты — погоди, ты еще не знаешь нас,— не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский.— Ну, одари девиц!

— Сколько ж им дать?

— Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

— Широко даешь, бахвалишься!

— Ну и трудно угодить на вас! — тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

— Народ — терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй всё, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а — надо! Алексей пошел девок провожать? Девкам он — приятен, а парням — нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты — заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

— Всё вылакали; пьют, как лошади. Что думаешь, Петр?

Перебирая в руках шёлковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

— В деревне — проще, спокойнее жить.

— Ну... Чего проще, коли день проспал...

— Тянут они со свадьбой.

— Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает во-

лосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

— Горько! — в двадцатый раз ревут красные волосатые рожи с оскаленными зубами.

Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:

— Не умеешь, парень!

— В губы цель!

— Эх, я бы вот поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

— Я те поцелую!

— Горько! — рычит Барский.

Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Всё вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов, встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

— Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя — в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:

— Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!

Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном реве гостей он чутко схватывает ехидные

возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а — суд»,— думает он и слышит:

— Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

— Быть еще свадьбе, только — без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем теле тревожное томление. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.

— Скоро ли конец этому? — шепчет он, Наталья так же отвечает:

— Не знаю.

— Стыдно...

— Да,— слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей — с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы — неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен,

крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

Эй, девицы-супротивницы,
Хороводницы, затейницы!
У меня ли густо денежки звенят,
Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:

— Степка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

— Мы тебе не курята, а — куряне! И — еще кто кого перепляшет! Олеша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

— Присловья не знает! — крикнули дремовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова:

— Олешка — убью!

Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

У барина, у Мокея,
Было пятеро лакеев,
Ныне барин Мокей
Сам таков же лакей!

— Нате! — победоносно рявкнул Артамонов.

— Ого! — многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою.

— Алексей перепляшет вашего,— сказал Петр Наталье,— она робко ответила:

— Легкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом,

один — огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слезы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его почти безумны. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:

«Зубами скрипит... Ударит кого-нибудь сейчас...»

— Охально пляшет артамоновский! — слышен трубный голос Матрены Барской.— Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковорода, лицо ее, в широкий нос,— Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идет к двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает:

— Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:

— Что ты! Али мне вместно, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, маслено шипят ее слова:

— Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит...

— Грех — на меня! — кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу,— Петр услышал изумленный шёпот:

— А, батюшки! Муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

— Не надо бы отцу плясать.

— И матушке не надо бы,— ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

— Тише! — сказал он ласково, поддержав ее за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались

отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, во дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось всё тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то темным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц всё еще, как обожженные, судорожно метались двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился:

— Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала, как пред стеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:

— Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:

— Разводите молодых! Ну-ко, Петр, иди ко мне; дружки,— ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжелые руки на плечи сына:

— Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая во все стороны:

— Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода — вовремя, не на беду, на счастье!

Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

— Слушай да — не забудь! — торжественно говорила она.— Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять,— ты ей не давай...

— Зачем это? — угрюмо спросил Петр.

— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней,

а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты — молчи, только в третий раз протяни ей руку,— понял? Ну, потом...

Петр изумленно взглянул в темное широкое лицо наставницы; раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова. Повторив на прощанье: «Крику — не верь, слезам — не верь»,— она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева,— сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.

— Черти болотные...

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошел к окну, распахнул раму,— из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили черные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль никольской колокольни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше черными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля — просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шёлк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Петр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

«Молится. А я — не молился».

Но молиться — не хотелось.

— Наталья Евсеевна,— тихонько заговорил он,— вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, он бормотал:

— Ничего этого не надо — сапоги снимать и всё. Глупости. У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

— Гуляют еще.

— Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

— Барскую не пускайте,— шепнул Петр.

— Это — матушка,— сказала Наталья, открыв дверь; Петр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:

«Плох я, не смел, посмеется надо мной она, дождусь...»

Дверь открылась, Наталья тихо сказала:

— Матушка зовет.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Петр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шёпот Баймаковой:

— Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты — опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя — честная!

Говоря, она одною рукой держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая:

— Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи...

Петр глухо сказал:

— Жалко ее. Боязно.

Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.

— Нет, ты иди-ка, иди, делай свое мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай — поцелую...

Крепко обняв его за шею, дохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

— Выпимши она немножко...

Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

— Не бойся. Я — некрасивый, а — добрый...

Прижимаясь к нему всё плотнее, она шепнула:

— Ноженьки не держат...

...Пировать в Дремове любили; свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

— Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он торовато одарял девиц лентами и гостинцами, парней — деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

— Эх, люди! Живем али нет?

Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на нее требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подошел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

— Теперь со мной.

Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа.

— А ты — кто такое: силен или хвастлив?

— Не знаю,— серьезно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

— Не хитер ты, брат, не хитер!

И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силою, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

— Силен.

— Видим,— ответили ему насмешливо.

— Здоров,— повторил Вялов.

Илья протянул ему руку.

— Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая:

— Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся.

— Кости страдают. Я — сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдем за ними, Никита Ильич, простец!

И, дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам среди пестрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрене Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

— Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А — зять? Павлином ходит, я — не я, жена — не моя!

Но уходя к себе, спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой всё, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

— Ну, и пьют же у вас,— удивлялся Петр.

— А у вас — меньше? — спрашивала жена.

— Разве мужикам можно так пить!

— Не похожи вы на мужиков.

— Мы — дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.

— Что молчишь? — тихонько спрашивала жена,— муж так же тихо отвечал:

— Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

— Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно должно быть!

— Страхи — в лесах живут,— скучновато сказал Петр.— В степи — какой же страх? Там — земля, да небо, да — я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звездной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий гневный возглас:

— Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила.

— Это — матушка!

Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

— Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

— Родимый — не тронь! Пожалей...

Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе.

— Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

— Что это, кто?

— Отец,— сказал Петр, крепко стиснув ее.— Не понимаешь, что ли...

— Ой, как же это? — шептала она со стыдом и страхом; муж отнес ее на постель, покорно говоря:

— Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

— Грех-то какой!

— Не наш грех,— сказал Петр и вспомнил слова отца: «Господа то ли еще делают?» — Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики,— просты; для них это «птичий грех» — со снохой баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слезы говорила:

— Еще когда они плясали, так я подумала... Если он — насильно, что же теперь будет у нас?

Но, утомленная волнением, она скоро заснула, не раздеваясь, а Петр открыл окно, осмотрел сад,— там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе...

...Наталья проснулась скоро, ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обида за нее. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это еще более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась...»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорбленную мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свекре. Тяжелой рукою он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

— Ну, что — живешь? Дышишь? Ну — живи!

Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее — так ласкают лошадей.

«Разбойник какой»,— подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шёлково шуршали листья деревьев, далеко на краю

города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щелкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову,— над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

«Кто ж это ловит? Никита?»

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивленно подняв брови, закинув руки за голову.

— Кто... что ты? — тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

— Ничего, вот — смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слез, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

— Комары спать не дают, в амбаре спать буду,— говорила мать, кутая шею простыней.— Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься...

Говорила мать неласково и неохотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

— Я проснулась — подумала о тебе... во сне тебя видела.

— Что подумала? — осведомилась мать, глядя в потолок.

— Вот — одна ты спишь, без меня...

Наталье показалось, что щеки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: «Я не боязлива»,— улыбка вышла фальшивой.

— Ну, иди, милок, твой проснулся, слышишь — топает?— приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у нее, это он квас пил. Шея-то у нее в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А — кричала...»

— Где была? — спросил Петр, зорко всматриваясь в лицо жены,— она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чем-то.

— Смородину собирала, к матери зашла.

— Ну, что же она?

— Ничего будто...

— Так,— сказал Петр, дернув себя за ухо,— так!

И, усмехаясь, потирая темно-рыжий подбородок, вздохнул:

— Видно, правду говорила дура Барская: крику — не верь, слезам — не верь.

Затем он строго спросил:

— Никиту видела?

— Нет.

— Как же — нет? Вон он — птиц ловит в саду.

— Ой,— пугливо крикнула Наталья,— а я вот так, в одной рубахе ходила!

— То-то вот...

— И когда он спит?

Петр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

— Ведь горбат, а приятный, приятнее Алексея...

Муж крякнул еще раз, но — потише.

...Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе,— за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

— Чу, затяпали, ни свет ни заря...

— Жадность — покою лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дремовцы почтительно снимали пред ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

— У нас господа попроще, победнее, а — построже ваших!

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дремова:

— От моего дела всем вам будет выгода.

— Давай бог,— отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнет или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудевые глаза смотрят ехидно.

— Давай бог,— повторяет он,— хотя и без тебя не плохо жили, ну, может, и с тобой так же проживем.

Артамонов хмурится:

— Двоемысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет, кричит:

— Он у нас — такой!

У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щеки, руки — весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши — не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

— Вся моя сила в жир пошла,— говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

— Дела делать — надо, а и божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:

— Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа...

— Ну-ну,— останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста,— куда поехал?

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

— Ты мое дело понимаешь?

— Это зачем? — искренно удивлялся Житейкин.—

Дело — твое, тебе его и понимать, чудак! У тебя — твое, у меня — мое.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где в бок ей выползала из ельника, из болот, зеленой змеею фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно светится щепа и стружка, краснеет кирпич среди примятых кустов тальника, вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и, точно восковой, тает желтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила,— Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним, задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; еще не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан, это — дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора — нет.

Ночами, когда город мертвб спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землей вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в темном амбаре, из угла его встречает опасливый шёпот:

— Незаметно прошел?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

— Досада это мне,— прятаться! Мальчишка я, что ли?

— А не заводи полюбовницу.

— Рад бы не завел, да господь навел.

— Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идем...

—Ну, ладно! Это — после. Эх, Ульяна, люди тут у вас...

— А ты — полно, не скучай,— шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умен, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.

— Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

— Опоздали, князь леса мне запродал.

Вокруг них, над ними непроницаемо черная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шёпотом. Пахнет сеном, березовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы надбитый колокол бросает во тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

— Экая ты дородная! — восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины.— Экая мощная! Что ж ты родила мало?

— Кроме Натальи — двое было, слабенькие, померли.

— Значит — муж был плох...

— Не поверишь,— шепчет она,— я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я — не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа-то, как на плаху ложилась на постель. Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал...

Ее рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит:

— Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умней рядом с этой женщиной, днем — всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум ее и грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал:

— Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться...

— Дети у тебя — хорошие, они и узнают про нас,— не беда, а вот если город узнает...

Она вздрогнула всем телом.

— Ну, ничего,— шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

— Скажи-ка: вот — человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил:

— Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударили меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенем по башке, потом — другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

— Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу...

Несколько минут лежали молча.

— Задремал?

— Нет.

— Иди, светать скоро начнет; на стройку пойдешь? Ох, умаешься ты со мной...

— Не бойся,— на будни хватило, хватит и на праздник,— похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идет по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжелой ногою стружку, щепу, думает:

«Олешке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а — хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростертое большое тело, предупреждают друг друга:

— Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и — не решается.

Муравьиная суета людей, крики, стук не будят

большого человека; лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила,— землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщовой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берез, клена, рябины, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной,— это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

— Сады садить — дело безобидное,— говорит он.

Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

Пришел к Марье кум Захарий,
Кулаком Марью по харе...

— Грубо поют,— сказал Петр землекопу Вялову,— тот, стоя по колено в песке, ответил:

— Всё едино чего петь...

— Как это?

— В словах души нет.

«Непонятный мужик»,— подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

— Нет, я не гожусь на это, не умею людями распоряжаться. Ты меня в дворники возьми...

Отец крепко обругал его.

...Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные растоптанные стружки. Каждое утро

к амбару подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадями. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного для веса водою, не продали бы простой лен по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:

— Скучно тут жить, не люблю я здешних...

Этим он всегда раздражал Петра.

— Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

— Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьем в руках, садилась у окна, в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой — странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной и обидной, он виновато опускает глаза.

За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рев медве-

жонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лен. Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он все-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон Вялов отсек себе палец топором.

— Будто — невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:

— Заехали к чертям на задворки...

Потом требовательно протягивает руку:

— Дай пятиалтынный, я в город иду.

— Зачем?

— Не твое дело.

Уходя, он напевает:

Бежит девка по дорожке,
Тащит милому лепешки...

— Ох, доиграется он до нехорошего! — говорит Наталья.— Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошел, матери — нет у нее, отец — пьяница...

Никите не нравится, как она говорит это, в словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зеленых игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками...

Входит Петр, угрюмый и усталый.

— Чай пить пора, Наталья.

— Рано еще.

— Пора, говорю! — кричит он, а когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь:

— Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду — не знаю. Если у меня не так идет, как надо,— задаст он мне...

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушавшись в его слова.

— Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме...

И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно:

—Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку — больше...

Илья Артамонов возвратился домой веселый, помолодевший, он подстриг бороду, еще шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Барином развалясь на диване, он говорил:

— Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!

Пощупал глазами сноху и закричал:

— Пухнешь, Наталья? Родишь мальчишку — хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:

— Хорош батюшка, когда веселый.

Муж, искоса взглянув на нее, неласково отозвался:

— Еще бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две-три Артамонов притих, задумался; Наталья спросила Никиту:

— На что батюшка сердится?

— Не знаю. Его не поймешь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчетливо и громко:

— Батюшка,— отдай меня в солдаты.

— К-куда? — заикнувшись, спросил Илья.

— Не хочу я жить здесь...

— Ступайте вон! — приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул ему:

— Стой, Олешка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

— А я думал: вот у меня орел!

— Не приживусь я тут.

— Врешь. Место твое — здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю,— иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

— Не так бы надо говорить с тобой,— со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, еще раз окрикнув его, внушительно добавил:

— Тебе — большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал...

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

— Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросил шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

— Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу,— в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

— Жени его скорей, вот и свяжешь, — сказала она.

— Да, так и надо. Только — это не всё. В Петре — задору нет, вот горе! Без задора — ни родить, ни убить. Работает будто не свое, всё еще на барина, всё еще крепостной, воли не чувствует,— понимаешь? Про Никиту я не говорю: он — убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал — Алексей вгрызется в дело...

Баймакова успокаивала его:

— Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнет всех — обомнутся.

Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в теплой тишине комнаты,— в углу ее колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робко цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

— Скуподушные люди.

— Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача — бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

— Я вот одного до смерти боюсь — понести от тебя...

— В Москве дела — огнем горят! — продолжал он, вставая, обняв женщину.— Эх, кабы ты мужиком была...

— Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав ее, он ушел.

...На масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях, оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

— Кто тебя — говори?

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел:

— Добивай...

Испуганная Наталья громко заплакала,— свекор топнул на нее, закричал:

— Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел, и стонал.

Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей всё более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

— Неужто — не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся темный угрюмый огонь, это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его,

но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это? — тот ответил:

— Не знаю.

— Врешь!

— Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

— Скрываешь ты что-то,— догадывался Артамонов.

Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

— Я — выздоровею.

— Ешь больше! — посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: — За такое дело — красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то...

Он стал еще более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

— Всё делайте, ничем не брезгуйте! — поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость,— она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорченно сказал:

— Ну, это что...

— Благодари бога за милость,— строго посоветовала Ульяна,— сегодня день Елены Льняницы.

— Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

— Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

— Получи! Хоть и не парня родила, а — хорошо!

И спрашивал Петра:

— Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Петр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и

вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

— Что она молчит? — спросил он тещу.

— Накричалась,— объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет, а потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось — он бегает по кругу, оттого и встречается везде.

— Не разродится, пожалуй,— сказал Петр брату,— горбун, всадив лопату в песок, спросил:

— Что повитуха говорит?

— Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

— Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

— Теща положила мне на руки ребенка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжелая мука...

Почесывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

— Все человечьи муки из-за малостей.

— Как это? — строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

— Да — так как-то...

Из дома позвали ужинать.

Ребенок родился крупный, тяжелый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

— Ну, что ж! — утешал отец Петра на кладбище.— Родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит — якорь брошен глубоко. С тобой — твое, под

тобой — твое, на земле — твое и под землей твое,— вот что крепко ставит человека!

Петр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

— Господи, господи...

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим, дерзкие глаза, углубясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

— Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упреком, сказал ему: «Зря обижаешь Наташу!» — он ответил:

— Я человек больной.

— Она смирная.

— Ну и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

— Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мертвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся.

— Устроим. Всё будет у нас: церковь, кладбище, училище заведем, больницу,— погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человечек, в рыженьком, отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но

заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:

— Это что?

— Часовщик Орлов.

— И видно, что Орлов!

— Он — умный,— настойчиво сказал Алексей,— его — затравили...

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце кленов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Петр дергал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

— Людей дразнить — вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею.

В городе заныл колокол.

— Набат? Пожар? — спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

— Что ты? Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

— Всё пожары ему чудятся.

— Злой стал,— осторожно заметила Наталья.— А сколько в нем веселья было...

Внушительно, как подобает старшему, Петр упрекнул брата и жену:

— Вы оба глупо глядите на него; ему ваша жалость обидна. Идем спать, Наталья.

Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошел в беседку, где спал на сене, присел на порог ее. Беседка стояла на холме, обложенном дерном, из нее, через забор, было видно темное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нес бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь трут, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:

— Кто идет?

Тишина была натянута над землею туго, точно кожа барабана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно четко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивленные. И легко было выдумывать различные, счастливые для него события: вот он нашел богатейший клад, отдал его Петру, а Петр отдал ему Наталью. Или: вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после нее от всего семейства остались в живых только двое: он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что ее счастье скрыто в его душе.

Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает еще одна, медленно поднимаясь в темно-серую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидал: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.

— Пожар! — крикнул Никита,— брат ответил, влезая выше:

— Знаю. Ну?

— Вот — ждал ты,— вспомнил горбун и, удивленный, остановился среди двора.

— Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.

— Надо ткачей будить...

Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая.

— Влезай ко мне,— предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши; горбун покорно полез, говоря:

— Наташа не испугалась бы.

— А ты не боишься, что Петр набьет тебе еще горб?

— За что? — тихо спросил Никита и услыхал:

— Не пяль глаз на его жену.

Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадет, ударится о землю.

— Что ты говоришь? Подумал бы,— пробормотал он.

— Ну, ладно, ладно! Вижу я... Не бойся,— сказал Алексей весело, как давно уже не говорил; он смотрел из-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя ее глухо гудеть, и оживленно рассказывал:

— Это — Барские горят. У них, на дворе, бочек двадцать дегтя. До соседей огонь не дойдет, сады помешают.

«Бежать надо»,— думал Никита, глядя вдаль, во тьму, разорванную огнем; там, в красноватом воздухе, стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди, было даже видно, как они суют в огонь тонкие длинные багры.

— Хорошо горит,— похваливал Алексей.

«В монастырь уйду»,— думал горбун.

На дворе сонно и сердито ворчал Петр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и, точно в раме, в окне дома стояла, крестясь, Наталья.

Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая черные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддевке.

— Куда? — необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал еще свирепей:

— Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо...

Никита прошел в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услыхал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:

— Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а? Убью...

Визгливо ответил Алексей:

— Сам ты меня надоумил.

— Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишен...

Никита встал и тихонько, но поспешно ушел в угол сада, в беседку.

Утром, за чаем, отец рассказывал:

— Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно — помрет. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Степку, был он сердит. Дело темное

Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал. Отец, заметив его движение, спросил:

— Ты что ежишься?

— Нездоровится.

— Всем вам нездоровится. А я вот здоров...

Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушел.

Дело Артамонова быстро обрастало людями; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие, приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими, ради сохранения тепла, окнами; окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его — «Жеребячий дворец».

Илья Артамонов становился всё более хвастливо криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать кресть-

янам сеять лен по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нем мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодежь:

— Глядите, как дела крутить надо!

А Илья Артамонов учил детей:

— Мужики, рабочие — разумнее горожан. У городских — плоть хилая, умишко трепаный, городской человек жаден, а — не смел. У него всё выходит мелко, непрочно. Городские ни в чем точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда-сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он — весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь и всё о деле, это — не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо; веселый человек лучше понятен.

— Шутить я не умею,— сказал Петр и по привычке дернул себя за ухо.

— Учись. Шутка — минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.

— Жулики они и лентяи,— задорно отозвался Алексей.

Артамонов строго крикнул:

— Много ли ты знаешь про людей? — Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл ее рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дремовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.

— Погост,— размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья.— Не на свое место слова ставим. Называется — погост, а гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города.

Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью. Но была ясно заметна и разница: отец за всё брался с жаром, а

Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекающе:

— Я и еще много знаю; и не то еще могу сказать.

И всегда в его словах слышались Никите какие-то намеки, возбуждавшие в нем досаду на этого человека, боязнь пред ним и — острое, тревожное любопытство к нему.

— Много ты знаешь,— сказал он Вялову, тот не спеша ответил:

— Затем живу. Я знаю — это не беда, я для себя знаю. Мое знатьё спрятано у скупого в сундуке, оно никому не видимо, будь спокоен...

Не заметно было, чтоб Тихон выспрашивал людей о том, что они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтоб Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец,— он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Петр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него всё росло смешанное чувство любопытства к Тихону и страха пред этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:

— А ты всё сохнешь. Ты бы, чудак, сказал ей, может — пожалеет, она будто добрая.

Горбун остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:

— Про что сказать, кому?

Вялов, взглянув на него, шагнул дальше, Никита схватил его за рукав рубахи, тогда Тихон пренебрежительно отвел его руку.

— Ну, зачем притворяешься?

Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу березу, Никита оглянулся, ему захотелось ударить Тихона по

шершавому лицу, хотелось, чтоб он молчал, а тот, глядя вдаль, щурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:

— А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы — любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать — есть ли что слаще сахара? Нашему же брату — много ли надо? Раз, два — вот и сыт и здоров. А ты — сохнешь. Ты — попытайся, скажи, авось она согласится.

Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.

— Ерунду придумал ты,— сказал он.

В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своем и пошел, пристукивая по земле железной лопатой, говоря всё так же спокойно:

— Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные... Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.

Испуг Никиты растаял в горячей печали, от нее у него мутилось в глазах, он спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть; он тихонько попросил:

— Ты молчи об этом.

— Я сказал: как в сундуке заперто.

— Забудь. Ей не проговорись.

— Я с ней не говорю... Зачем с ней говорить?

И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал еще более молчалив и незаметен. Но Наталья приметила что-то:

— Ты что грустный ходишь? — спросила она, Никита ответил:

— Дела много,— и быстро отошел прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре года она родила двух девочек и уже снова ходила непорожней.

— Что ты всё девок родишь, куда их? — ворчал свекор, когда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался:

— Мне внучат надо, а не зятьев. Разве я для чужих людей дело затеял?

Каждое слово свекра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лежа рядом с ним, она смотрела в окно на далекие звезды и, поглаживая живот, мысленно просила:

«Господи,— сыночка бы...»

Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свекру:

«Нарочно, назло вам буду девочек родить!»

И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех — хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.

Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила белье на всех, после обеда шла с детями в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек, Наталья улыбалась, но не верила похвалам,— дети казались ей некрасивыми.

Иногда между деревьев мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал:

— Прости, время нет у меня.

У нее незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтоб следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился; она знала: пожелай красавец деверь, и она не устоит против него. Но он — не желал, он даже не замечал ее; это было и обидно женщине и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.

В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать,

долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел ее, он ворчал, лежа на кровати:

— Будет. Ложись.

Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Петр шутил:

— Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим не хватит...

Ночью, разбуженная плачем ребенка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свекре, муже, обо всем, что дал ей незаметно прошедший нелегкий день. Было странно не слышать привычных голосов, веселых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, ее пчелиного жужжания: этот непрерывный, торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стеклам окон; шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать.

А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, плененных татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, веселой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.

Свекор смотрел на нее как на пустое место, и это еще было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате глаз на глаз, он бесстыдно щупал ее острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.

Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на нее так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за ее спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одною рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито,— в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем и лишь изредка, всё реже, вспоминал о крестьян-

ской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимою в праздники, на святках и на масленице, он возил ее кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были желтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал,— Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов еще более напугал ее, сказав:

— Дворянский конь, зол на чужую власть.

Часто приходила мать; Наталья завидовала ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз. Эта зависть становилась еще острее и обидней, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свекор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бедрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотою. Город давно знал о ее связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от нее, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого, темного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.

Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людями и фальшивит; она, видимо, боится Петра и, чтоб он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешептывается о чем-то и часто делает ему подарки; в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила.

— За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят,— объяснила мать.— Когда Алеша женится,— дом свой украсит...

«И я бы украсила»,— подумалось Наталье.

Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:

— По будням салфеток к столу не давай, от усов, от бород салфетки сразу пачкаются.

На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела, поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чем-то нечестном, и предупреждала дочь:

— Ты смотри, не очень привечай его, горбатые — хитрые.

Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить ее, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.

Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает ее о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто, ее влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство ее тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свекра:

— Сватья,— лошадь запрячь?

— Я бы лучше пешочком прошлась.

— Ладно, я тебя провожу.

Муж задумчиво говорит:

— Умный человек теща: ловко она отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать да к нам перебраться.

«Не надо этого»,— хочет сказать Наталья, но — не смеет и еще больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.

Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани, и, сквозь мягкий шумок фабрики, просачиваются спокойные слова дворника.

— Скука — от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука.

«Как верно!» — думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает:

— Заговариваешься ты. А — хороводы, игры? Без людей — веселья нет.

«И это верно»,— удивляясь, соглашается женщина.

Она видит, что все вокруг ее говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твердые слова, плотно пригнанные одно к дру-

гому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У нее нет таких слов, ей не во что одеть свои думы, и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят ее, она тупеет от них, всё чаще думая с тоской и досадой:

«Глупа я, ничего не знаю, не понимаю...»

— Медведь значит — ведун, ведает, где мед,— бормочет Тихон в кустах малины.

«Так и есть»,— думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил ее любимца: до тринадцати месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчесывая комья густой свалявшейся шерсти, водил его купать в реку, и медведь так полюбил его, что, когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стекла в окне, выламывал раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую зубастую пасть, обсасывал липкую, сладкую лапу, его добродушные глазенки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Натальи, вызывая ее играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.

Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз; собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей, на потеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтоб не броситься к нему. Его посадили на цепь,

но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце ее, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул ее в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощения просил у людей, разъяренно кричавших вокруг его. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый плотничный топор, припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой, медведь рявкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утоптанной земле густокрасные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но еще более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, веселый озорник деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а ее, Наталью, не видит.

Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость, свекор, похлопывая его по плечу, кричал:

— А говоришь — больной? Ах ты...

Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивленно и с досадой спросил ее:

— Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать?

И, как на маленькую, крикнул:

— Перестань, дура!

Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слезы, она вспомнила первую ночь с ним,— какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он еще не бил ее, как бьют жен все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:

— Прости, жалко очень.

— Жалеть надо меня, а не медведя,— ответил он негромко и уже ласковее.

Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:

— Мужик — пчела; мы для мужика — цветы, он с нас мед собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милок. Мужики — всем владычат, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свекор-то на пустом месте настроил...

Илья Артамонов всё более бешено торопился развить и укрепить свое дело, он как будто предчувствовал, что срок его — не велик. В мае, незадолго до Николина дня, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котел, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где в нее лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа: котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой; столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берез, пучками первых цветов весны и сами нарядились пестро, как цветы. Хозяин с семьей и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзкими на язык шпульницами, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбужденно:

— Эх, ребята! Али не живем?

Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и еще более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берез и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи,— весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черемуха и сирень. Всё было празднично, всё ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.

Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою:

— Глядите,— девяносто лет мне, девяносто с лишком, нате-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил...

— А ласкал кого? — кричал Артамонов в ухо ему,— ткач был глух.

— Двух жен, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков,— эко наткал! Вон они, все у тебя живут, вона — сидят...

— Давай еще! — кричал Илья.

— Будут. Трех царей да царицу пережил — нате-ко! У скольких хозяев жил, все примерли, а я — жив! Версты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты — хозяин, ты дело любишь, и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук,— катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница: побаловала да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...

Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:

— Спасибо, робенок! Я тебя управляющим сделаю...

Люди орали, хохотали, а старый пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:

— У него — всё по-своему, всё не так...

Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щек слезы умиления.

— Сколько радости,— сказала ей дочь, она, сморкаясь, ответила:

— Такой уж человек, на радость и создан господом...

— Учись, ребята, как надо с людями жить,— кричал Артамонов детям.— Гляди, Петруха!

После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись; Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, веревки, за ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:

— Он своего добьется! Он? Я зна-аю...

Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка; опутали его веревками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок; котел покачивался, двигаясь вперед, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно пред веселой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котел, напряженно покрикивая:

— Потише, эй, потише!

И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:

— Пошел котел, пошел!

Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой,— Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, пытаясь подсунуть под нее каток, но они уже выдохлись, а котел упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался всё глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:

— Молодчики, берись дружней! О-ух...

Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:

— Земли поешь, земли...

Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо:

— Кровь.

Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась и всё его большое, умное тело испуганно сжалось.

— Ушибся? — спросил Никита, схватив его за руку,— отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:

— Пожалуй,— жила лопнула...

— Земли поешь, говорю...

— Отстань,— уйди!

И, снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением:

— Текёт. Где Ульяна?

Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.

— Что такое? — спросил он и пошел к дому, шагая осторожно, как по жердочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце, Никита заметил, что, когда она взглянула на отца, ее красивое лицо странно, точно колесо, всё повернулось направо, потом налево и поблекло.

— Льду давайте,— закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, всё чаще икая и сплевывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:

— Лед — вода; водой крови не заменить...

— Земли пожевать надо...

— Тихон, скачи за попом...

— Поднимайте, несите,— командовал Алексей; Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть еще острей, запоминая с болезненной жадностью всё, что делали люди в тесноте отцовой комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом черном коне, не в силах справиться с ним; конь не шел в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей,— его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажженный в небе солнцем; вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона, и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.

Кто-то кричит:

— Мальчишки, бегом...

На подоконнике, покручивая темную острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит, не

мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:

— Значит — ошибся. Воля божия. Ребята — приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради... Эх! Вышлите чужих из горницы...

— Молчи ты,— протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда.— Нет здесь чужих.

Отец глотает лед и, нерешительно вздыхая, говорит:

— Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой, ну, ничего... Мальчишек! Петруха, Олеша — дружно живите. С народом поласковей. Народ — хороший. Отборный. Ты, Олеша, женись на этой, на своей... ничего!

— Батюшка — не оставляй нас,— просит Петр, опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:

— Что ты? Не верю я...

Наталья рубит кухонным ножом лед в медном тазу, хрустящие удары сопровождает лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как ее слезы падают на лед. Желтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоях.

Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нем. Баймакова то расчесывает гребнем густые курчавые волосы Ильи, то отирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву, а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:

— Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своем, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их...

И с великой кипящей тоскою он шептал:

— Эх, ошибся я, господи... Ошибся...

Пришел высокий, сутулый священник с Христовой бородкой и грустными глазами.

— Погоди, батя,— сказал Артамонов и снова обратился к детям:

— Ребята — не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр,— ты старший, на тебе ответ за всё, слышишь? Уходите...

— Никита,— напомнила Баймакова.

— Никиту — любите. Где он? Идите. После... И Наталья...

Он умер, истек кровью, после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.

Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой, она молча, без слез сидела около усопшего, точно замерзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.

Петр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы Псалтыря; Петр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две-три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.

Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.

— Погоди,— говорила она, и Алексей исчезал, потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостливо предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав ее, мать говорила:

— Погоди.

Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться воодушевленной работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего — живет ли горбатый сын?

Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил отца, он чувствовал себя налитым мутной тоскою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать Псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Теплый сумрак наполнял комнату, в нем колебались желтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шел к потолку, а другой спускался вниз. На одну стену падал масленый свет луны, в нем китайцы были бойчее, быстрей шли и вверх и вниз.

Вдруг сквозь однотонный поток слов Псалтыря Никита услыхал негромкий настойчивый вопрос:

— Да неужто — помер? Господи?

Это спросила Ульяна, и голос ее прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато:

— Умер, матушка, умер, по воле божией...

Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжелую обиду на монахиню.

У ворот, на скамье, сидел Тихон; отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились невидны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему напомнила жуткого городского дурачка Антонушку; этот лохматый темнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво:

Христос воскресе, воскресе!
Кибитка потерял колесо.
Бутырма, бай, бай, бустарма,
Баю, баю, бай, Христос.

— Дело-то какое, а? — сказал Тихон и, хлопнув себя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.

— Рано в этом году комар родился,— спокойно продолжал он.— Да, вот комар — живет, а...

Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:

— Да ведь ты убил комара.

И поспешно ушел прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск ее голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос, и тогда, рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов.

— Вот — крест нательный сняла с него, буду носить.

— Мама, родная, ведь и я тоже одна.

Никита снова поднял голос, чтоб заглушить, не слышать этот влажный шёпот, но все-таки вслушивался в него.

— Не стерпел господь греха...

— В чужом гнезде, одна...

— «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?» — старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку: «Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое», и он смущенно чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.

Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему, и каждый из них за-

глянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голоском сказал Петру:

— Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище, так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?

Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату:

— Гони их!

— Кума,— гудел Барский, налезая на Ульяну.— Как же это? Обидно!

Житейкин допрашивал Петра:

— Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела,— лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?

Он говорил непрерывно, не замечая попыток Петра прервать его речь, а когда Петр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился.

— Так ли, нет ли — хоронить мы приедем.

И всем стало ясно, что он не за тем явился, о чем говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но, раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:

— Дурак ты, кум, уйди!

У нее дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:

— Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь...

— Уйдите... господа! — сказал Алексей, указывая на дверь.

Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:

— Память о человеке хотят стереть...

Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:

— Хуже буду, а таким, как эти, — не стану жить! Лучше башку себе разобью.

— Нашли время для торговли,— проворчал Петр, тоже косясь на отца.

Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его:

— А ты что молчишь?

Он был тронут тем, что о нем вспомнили, он был обрадован, что вспомнила Наталья, и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо:

— Что же я... Мы с тобой...

Но женщина задумчиво отошла от него.

На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города, приехал исправник, высокий, худощавый, с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова:

— Покойник был отлично рекомендован мне его сиятельством князем Георгием Ратским и рекомендацию эту совершенно оправдал.

Но вскоре заявил Петру:

— Носить покойников в гору — тяжело!

Сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, встал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих.

День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей; она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антонушка; круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел:

Христос воскресе, воскресе,
Кибитка потерял колесо...

Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул:

— Цыц, дурак...

В городе Антонушку не любили, он был мордвин или чуваш, и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозвестником несчастий, и когда, в час поминок, он явился на двор Артамоновых и пошел среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова:

— Куятыр, куятыр,— чёрт на колокольню, ай-яй, дождик будет, мокро будет, каямас черненько плачет!— некоторые из догадливых людей перешепнулись:

— Ну, значит, Артамоновым счастья не будет!

Петр уловил этот шёпот. А через некоторое время он увидал, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора, и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника:

— Это что будет — каямас? Не знаешь? На. Пошел прочь! Ну, ну — иди...

...Быстро, как осенний, мутный поток с горы, скользнул год; ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно поседела, и на висках у нее вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился Алексей, он стал мягче, ласковее, но в то же время у него явилась неприятная торопливость, он как-то подхлестывал всех веселыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Петра его дерзкое отношение к делу, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого потом сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода; кроме часов, подарка Баймаковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки, на стене висела вышитая бисером картина — девичий хоровод. Алексей был бережлив, зачем же он тратит деньги на пустяки? Он и одеваться стал модно, дорого. Холил свою темную остренькую бородку, брил щеки и всё более терял простое, мужицкое. Петр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, он незаметно, недоверчиво присматривался к нему, и недоверие всё возрастало.

Сам Петр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая мед-

вежьи глаза, как бы ожидая, что то, к чему он подходит, может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной, тревожной скуки, и в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем, зверь приник, прижался к земле, бросив на нее тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днем окна светятся, как ледяные зубы, зимними вечерами они железные и докрасна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтоб наткать версты полотна, а в чем-то другом, враждебном Петру Артамонову.

В годовщину смерти отца, после панихиды на кладбище, вся семья собралась в светлой, красивой комнате Алексея, он, волнуясь, сказал:

— Отец завещал нам жить дружно; так и надо,— мы тут как в плену.

Никита заметил, что Наталья, сидевшая рядом с ним, вздрогнула, удивленно взглянув на деверя, а тот продолжал очень мягко:

— Но все-таки и при дружбе мешать друг другу мы не должны. Дело — одно для всех, а жизнь у каждого своя. Верно?

— Ну? — осторожно спросил Петр, глядя через голову брата.

— Вы все знаете, что я живу с девицей Орловой, теперь хочу обвенчаться с нею. Помнишь, Никита, она одна пожалела, когда ты в воду упал?

Никита кивнул головою. Он сидел почти впервые так близко к Наталье, и это было до того хорошо, что не хотелось двигаться, говорить и слушать, что говорят другие. И когда Наталья, почему-то вздрогнув, легонько толкнула его локтем, он улыбнулся, глядя под стол, на ее колени.

— Мне она — судьба, я так думаю,— говорил Алексей.— С нею можно жить как-то иначе. Вводить ее в дом я не хочу, боюсь — не уживетесь с нею.

Ульяна Баймакова, подняв опущенные, тяжелой печалью налитые глаза, помогла Алексею.

— Я ее хорошо знаю, редкая рукодельница. Грамотна. Отца, пьяницу, кормила с малых лет своих и

сама себя. Только — характерная; Наталья, пожалуй, не уживется с ней.

— Я со всеми сживаюсь,— обиженно заметила Наталья, а муж, искоса взглянув на нее, сказал брату:

— Это действительно твое дело.

Алексей обратился к Баймаковой, предложив ей продать ему дом:

— На что он тебе?

Петр поддержал его:

— Тебе надо с нами жить.

— Ну, я пойду, обрадую Ольгу,— сказал Алексей.

Когда он ушел, Петр, толкнув Никиту в плечо, спросил:

— Ты что — дремлешь? О чем задумался?

— Алексей хорошо делает...

— Ну? Увидим. А по-твоему, матушка?

— Конечно, хорошо, что он с ней венчается, а как жить будут — кто знает? Она — особенная. Вроде дурочки.

— Спасибо за такую родню,— усмехнулся Петр.

— Может, я и не то сказала,— говорила Ульяна, как будто глядя в темноту, где всё спутанно колеблется и не дается глазу.— Она — хитрая; вещей у отца ее много было, так она их у меня прятала, чтоб отец не пропил, и Олеша таскал их мне, по ночам, а потом я будто дарила их ему. Это вот у него всё ее вещи, приданое. Тут дорогие есть. Не очень я ее люблю, все-таки — своенравна.

Стоя спиною к теще, Петр смотрел в окно, в саду бормотали скворцы, передразнивая всё на свете, он вспомнил слова Тихона: «Не люблю скворцов,— на чертей похожи». Глупый человек этот Тихон, потому и заметен, что уж очень глуп.

Всё так же тихо, нехотя и, видимо, сквозь другие думы, Баймакова рассказывала, что мать Ольги Орловой, помещица, женщина распутная, сошлась с Орловым еще при жизни мужа и лет пять жила с ним.

— Он — мастер; мебель делал и часы чинил, фигуры резал из дерева, у меня одна спрятана — женщина голая, Ольга считает ее за материн портрет. Пили они

оба. А когда муж помер — обвенчались, в тот же год она утонула, пьяная, когда купалась...

— Вот как люди любят, — вдруг сказала Наталья.

Неуместные эти слова заставили Ульяну взглянуть на дочь с упреком, Петр усмехнулся, заметив:

— Не про любовь речь шла, а о пьянстве.

Все замолчали. Наблюдая за Натальей, Никита видел, что повесть матери волнует ее, она судорожно щиплет пальцами бахрому скатерти, простое, доброе лицо ее, покраснев, стало незнакомо сердитым.

После ужина, сидя в саду, в зарослях сирени, под окном Натальиной комнаты, Никита услыхал над головою своей задумчивые слова Петра:

— Ловок Алексей. Умен.

И тотчас раздался режущий сердце вой Натальи:

— Все вы — умные. Только я — дура. Верно сказал он: в плену! Это я живу в плену у вас...

Никита замер от страха, от жалости, схватился обеими руками за скамью,— неведомая ему сила поднимала его, толкала куда-то, а там, над ним, всё громче звучал голос любимой женщины, возбуждая в нем жаркие надежды.

Наталья заплетала косу, когда слова мужа вдруг зажгли в ней злой огонь. Она прислонилась к стене, прижав спиною руки, которым хотелось бить, рвать; захлебываясь словами, сухо всхлипывая, она говорила, не слушая себя, не слыша окриков изумленного мужа,— говорила о том, что она чужая в доме, никем не любима, живет, как прислуга.

— Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чем, навалишься на меня камнем, только и всего! Почему ты не любишь меня, разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи! Гляди, как матушка любила отца твоего, бывало — сердце мое от зависти рвется...

— Вот и люби меня эдак же,— предложил Петр, сидя на подоконнике и разглядывая искаженное лицо жены в сумраке, в углу. Слова ее он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность ее горя и понимал, что это — умное горе. И хуже всего в горе этом было то, что оно грозило опасностью длительной неуря-

дицы, новыми заботами и тревогами, а забот и без этого было достаточно.

Белая, в ночной рубахе, безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая.

— Вот гляди, как Алексей любит свою... И его любить легко — он веселый, одевается барином, а ты — что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. С Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда, ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно, хитреца противного...

Никита встал и, наклоня голову, убито пошел в глубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи.

Петр тоже встал, подошел к жене, схватил ее за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза:

— С Алексеем? — спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлен словами жены, что не мог сердиться на нее, не хотел бить; он всё более ясно сознавал, что жена говорит правду: скучно ей жить. Скуку он понимал. Но — надо же было успокоить ее, и, чтоб достичь этого, он бил ее затылок о стену, спрашивая тихо:

— Ты — что сказала, дура, а? С Алексеем?

— Пусти,— пусти — закричу...

Он взял ее другою рукой за горло, стиснул его, лицо жены тотчас побагровело, она захрипела.

— Дрянь,— сказал Петр, тиснув ее к стене, и отошел; она тоже откачнулась от стены и прошла мимо его, к зыбке; давно уже хныкал ребенок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Перед ним качался, ползал из стороны в сторону темно-синий кусок неба, прыгали звезды. Сбоку, почти рядом, сидела жена, ее можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Ее лицо было тупо, точно одеревенело, но по щекам медленно, лениво текли слезы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную пленку слез в угол, не замечая, что ребенку неудобно сосать ее грудь, горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ, ребенок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой.

Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Петр сказал:

— Поправь грудь, не видишь!

— Муха в доме,— пробормотала Наталья.— Муха без крыльев...

— Так ведь и я — тоже один; не двое Петров Артамоновых живет.

Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать, и даже сказана какая-то неправда. А чтоб успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтоб жена сразу поняла ее, подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил:

— У меня — дело! Фабрика — это не хлеб сеять, не картошку садить. Это — задача... А у тебя что в башке?

Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь приблизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно.

— Фабрика — это не просто,— повторил он, чувствуя, что слова иссякают и говорить ему не о чем. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий, спокойный голос Тихона Вялова:

— Петр Ильич, эй!

— Что надо? — спросил он, подойдя к окну.

— Выдь ко мне,— требовательно сказал дворник.

— Невежа! — проворчал Петр и упрекнул жену: — Вот видишь? И ночью покоя нет, а ты тут раскисла...

Тихон без шапки, мерцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещенный луною, и сказал тихонько:

— Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул...

— Чего? Откуда?

И, точно проваливаясь сквозь землю, Петр опустился на ступень крыльца.

— Да ты не садись, идем к нему, он тебя желает...

Не вставая, Петр шёпотом спросил:

— Что ж это он? А?

— Теперь — в себе; я его водой отлил. Пойдем-ко...

Подняв хозяина за локоть, Тихон повел его в сад.

— Он в бане приснастился, в передбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того...

Петр прирос к земле, повторив:

— Что же это? С тоски по отце, что ли?

Дворник тоже остановился:

— Он до того дошел, что рубахи ее целовать стал...

— Какие рубахи, что ты?

Щупая босыми ногами землю, Петр присматривался к собаке дворника, она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите.

— Эх, без глаз живете,— проворчал дворник, Петр молчал, ожидая, что еще скажет он.

— Ее рубахи, Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились после стирки.

— Зачем же он... Постой!

Петр толкнул собаку ногою, представив коротенькую, горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху; это было и смешно и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибла, оглушила жгучая догадка; схватив дворника за плечи, он встряхнул его, спросил сквозь зубы:

— Целовались? Видел ты — ну?

— Я — всё вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего.

— Врешь?

— Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду.

И, как будто топором вырубая просвет во тьме, Тихон в немногих словах рассказал хозяину о несчастии его брата. Петр понимал, что дворник говорит правду, он сам давно уже смутно замечал ее во взглядах синих глаз брата, в его услугах Наталье, в мелких, но непрерывных заботах о ней.

— Та-ак,— прошептал он и подумал вслух: — Некогда мне было понять это.

Потом, толкнув Тихона вперед, сказал:

— Идем.

Он не хотел принять на себя первый взгляд Никиты и, войдя в низенькую дверь бани, еще не различая брата в темноте, спросил из-за спины Тихона дрогнувшим голосом:

— Что ж ты делаешь, Никита?

Горбун не ответил. Он был едва видим на лавке у окна, мутный свет падал на его живот и ноги. Потом Петр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нем разорвана от ворота до подола и, мокрая, прилипла к его переднему горбу, волосы на голове его тоже мокрые, а на скуле — темная звезда и от нее лучами потеки.

— Кровь? Разбился? — шёпотом спросил Петр.

— Нет, это я его маленько ушиб, второпях,— ответил Тихон глупо громко и шагнул в сторону.

Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Петр дергал себя за ухо, жаловался, упрекал:

— Стыдно. Против бога, брат. Эх ты...

— Знаю! — хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита.— Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я — в монастырь уйду. Слышишь? Всей душой прошу...

Кашлянув со свистом, он замолчал.

Чем-то умиленный, Петр снова начал тихо и ласково упрекать и наконец сказал:

— А насчет Натальи, это, конечно, чёрт тебя смутил...

— Ой, Тихон,— воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул.— Ведь просил я тебя, Тихон,— молчи! Хоть ей-то не говорите, Христа ради! Смеяться будет, обидится. Пожалейте все-таки меня! Я ведь всю жизнь богу служить буду за вас. Не говорите! Никогда не говорите. Тихон,— это всё ты, эх, человек...

Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая ею, и это было тоже страшно. Дворник сказал:

— Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает...

Всё более умиляясь, сам смущенный этим, Петр твердо обещал:

— Крест порукой — она ничего не будет знать.

— Ну — спасибо! А я — в монастырь.

И Никита замолчал, точно уснув.

— Больно тебе? — спросил брат; не получив ответа, он повторил:

— Шею-то — больно?

— Ничего,— хрипло сказал Никита.— Вы — идите...

— Не уходи,— шепнул Петр дворнику, пятясь к двери мимо его.

Но, когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно теплые запахи потной земли, его умиленность тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтоб щебень под ногами не скрипел,— была потребна великая тишина, иначе не разберешься в этих думах. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он — в центре этого круга, один. Словами он думал самое простое:

«Надо, чтоб теща скорее переехала к нам, а Алексея — прочь. Наталью приласкать следует. „Гляди, как любят“. Так ведь это он не от любови, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идет в монахи, в людях ему делать нечего. Это — хорошо. Тихон — дурак, он должен был раньше сказать мне».

Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невеселой песни. Жужжали комары. Петр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее изжить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошел до кустов сирени, под окном спальни своей, он долго сидел, упираясь локтями в колена, сжав

лицо ладонями, глядя в черную землю, земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться.

«Удивительно все-таки, как Никита одолел песок. Уйдет в монастырь — садовником будет там. Это ему хорошо».

Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним, точно из земли, поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько:

— Прости Христа ради, что кричала я...

— Ну, что же,— бог простит, я ведь и сам кричал,— великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры.

Он сел, Наталья нерешительно опустилась рядом с ним, надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное, Петр сказал:

— Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило: просто людей нет — все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей не видно.

Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный, деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные, они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть, и ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, кто, следя за его речью, нашептывает:

«Неправду говоришь».

Очень вовремя жена, положив голову на плечо его, шепнула:

— Ведь ты мне — на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?

Он тотчас же обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шёпот.

— Это — грех, не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет,— без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня, кто тебя пожалеет в тяжелый час?

Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила; погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил:

— Обещал я ему молчать,— не могу!

И торопливо рассказал ей всё, что слышал от дворника о Никите.

— Рубахи твои целовал,— в саду сушились,— вот до чего обалдел! Как же ты — не знала, не замечала за ним этого?

Плечо жены под рукою его сильно вздрогнуло.

«Жалеет?» — подумал Петр, но она торопливо, возмущенно ответила:

— Никогда, никакой корысти не замечала! Ах, скрытный! Верно, что горбатые — хитрые.

«Брезгует? Или — притворяется?» — спросил себя Артамонов и напомнил жене:

— Он был ласков с тобой...

— Ну, так что? — вызывающе ответила она.— И Тулун — ласков.

— Ну — все-таки... Тулун — собака.

— Так ты его собакой и приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея,— я ведь понимаю! Ох, как он мне противен, как обиден был...

Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху, но мужчине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, он нанес жене последний удар:

— Его Тихон из петли вынул. В бане лежит.

Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом:

— Нет... Что ты? Господи...

«Значит — врала»,— решил Петр, но она, дернув головою так, как будто ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая:

— Что же это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить,— ой, господи, за что? Один брат — в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится,— что же это? Ах, Никита Ильич!

Что же это за бесстыдство? Ну — спасибо! Угодил, безжалостный...

Облегченно вздохнув, муж крепко погладил плечо жены.

— Не бойся, никто ничего не узнает. Тихон — не скажет, он ему — приятель, а от нас всем доволен. Никита в монахи собирается...

— Когда?

— Не знаю.

— Ох, скорее бы! Как я с ним теперь?

Помолчав, Петр предложил:

— Сходи к нему, погляди...

Но, подскочив, точно уколотая, жена почти закричала:

— Ой — не посылай, не пойду! Не хочу, боюсь...

— Чего? — быстро спросил Петр.

— Удавленника. Не пойду, что хочешь делай... Боюсь.

— Ну — идем спать! — сказал Артамонов, вставая на твердые ноги. — На сей день довольно помучились.

Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее и что он, Петр Артамонов, человек, каким до сего дня не знал себя,— очень умный и хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу темными мыслями.

— Конечно, ты мне — самая близкая,— говорил он жене.— Кто ближе тебя? Так и думай: самая близкая ты мне. Тогда — всё будет хорошо...

На двенадцатый день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей, песчаной тропою, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожаным мешком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его: все они, не проспавшись, собрались в обеденной комнате, рядом с кухней, сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Петр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело, раза два он сказал:

— Вот у нас в семье свой молитвенник о грехах наших будет...

Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай, ее маленькие, мышиные уши заметно горели и казались измятыми, она хмурилась и часто выходила из комнаты; мать ее задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках, только Алексей, необычно для него, волновался, спрашивал, подергивая плечами:

— Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне...

Рядом с ним сидела небольшая остроносенькая девица Орлова и, приподняв темные брови, бесцеремонно рассматривала всех глазами, которые не понравились Никите,— они не по лицу велики, не по-девичьи остры и слишком часто мигали.

Тяжело было сидеть среди этих людей и боязливо думалось:

«Вдруг Петр скажет всем? Скорее бы отпустили...»

Петр начал прощаться первый, он подошел, обнял и сказал дрогнувшим голосом, очень громко:

— Ну, брат родной, прощай...

Баймакова остановила его:

— Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться.

Всё это было сделано быстро, снова подошел Петр, говоря:

— Прости нас. Пиши насчет вклада, сейчас же вышлем. На тяжелый послух не соглашайся. Прощай. Молись за нас побольше.

Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щеки, она почему-то заплакала; Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза, говоря:

— Ну — с богом. У каждого — своя тропа. Все-таки я не понимаю, как это ты вдруг решился...

Наталья подошла последней, но не доходя вплоть, прижав руку ко груди своей, низко поклонилась, тихо сказала:

— Прощай, Никита Ильич...

Груди у нее всё еще высокие, девичьи, а уже кормила троих детей.

Вот и всё. Да, еще Орлова: она сунула жесткую, как щепа, маленькую, горячую руку,— вблизи лицо ее было еще неприятней. Она спросила глупо:

— Неужели пострижетесь?

На дворе с ним прощалось десятка три старых ткачей, древний, глухой Борис Морозов кричал, мотая головой:

— Солдат да монах — первые слуги миру, нате-ко!

Никита зашел на кладбище проститься с могилой отца, встал на колени пред нею и задумался, не молясь,— вот как повернулась жизнь! Когда за спиною его взошло солнце и на омытый росою дерн могилы легла широкая угловатая тень, похожая формой своей на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклонясь в землю, сказал:

— Прости, батюшка.

В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло; помолчав, горбун повторил громче:

— Прости, батюшка.

И — заплакал, горько, по-женски всхлипывая, нестерпимо жалко стало свой прежний, ясный и звонкий голос.

Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидал дворника Тихона; с лопатой на плече, с топором за поясом он стоял в кустах у дороги, как часовой.

— Пошел? — спросил он.

— Иду. Ты что тут?

— Рябину выкопать хочу, около сторожки моей посажу, у окна.

Постояли минуту, молча глядя друг на друга, Тихон отвел в сторону тающие глаза свои.

— Шагай, я тебя провожу несколько.

Пошли молча. Первый заговорил Тихон.

— Росы какие сильные. Это — вредные росы, к засухе, к неурожаю.

— Избави бог.

Тихон Вялов сказал что-то неясное.

— Чего? — спросил Никита, несколько испуганный,— он всегда ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу.

— Может — избавит, говорю.

Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить.

— Что ж ты,— не веришь, что ли, в милость божию? — с упреком спросил он.

— Зачем? — спокойно ответил Тихон.— Теперь — дожди нужны. И для грибов росы эти вредные. А у хорошего хозяина всё вовремя.

Вздохнув, Никита покачал головою.

— Нехорошо как-то думаешь ты, Тихон...

— Нет, я думаю хорошо. Я не глазами думаю.

Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смотрел под ноги, на широкую тень свою, Вялов в такт шагам стучал пальцем по дереву топорища.

— Я приду, Никита Ильич, через годок, поглядеть на тебя,— ладно?

— Приходи. Любопытен ты.

— Это — верно.

Он снял шапку, остановился:

— Ну, когда так,— прощай, Никита Ильич! — И, почесывая скулу, он задумчиво прибавил:

— Нравишься ты мне, по душе. Ты — кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты — духовный, душевный...

Бросив палку на землю, встряхнув горбом, чтоб поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво:

— Значит — приду.

— Спасибо.

Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся,— Тихон, сунув шапку под мышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней; тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове.

Издали Тихон стал чем-то похож на дурачка Антонушку. Думая об этом темном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало:

«Христос воскресе, воскресе,
Кибитка потерял колесо».

II

Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и освятили ее во имя Ильи Пророка. Строили семь лет; виновником медленности этой был Алексей.

— Бог — подождет, ему спешить некуда,— бойко, нехорошо шутил он и дважды израсходовал кирпич для храма, один раз — на третий корпус фабрики, другой — на больницу.

После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамоновы подождали, когда народ разошелся с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под березами, пошли не спеша домой; торопиться было некуда, торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими назначен в три часа.

День — серенький; небо, по-осеннему, нахмурилось; всхрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер, раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались темненькие фигурки людей, сползая к фабрике; три корпуса ее, расположенные по радиусу, вцепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы.

Алексей, махнув палкой, сказал:

— Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем!

— Огорчился бы, когда царя убили,— ответил, подумав, Петр, не желая поддакивать брату.

— Ну, огорчаться он не очень любил. И жил не царевым умом, своим.

Поглубже натянув картуз, Алексей остановился, взглянул на женщин; его жена, маленькая, стройная, в простеньком темном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей, одетой в черную шёлковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах; темно-лиловая головка красиво прикрывала ее пышные рыжеватые волосы.

— Хорошеет всё жена у тебя.

Петр промолчал.

— А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?

В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога; он шел прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня; упрямый во всем, он хотел заставить брата говорить.

— Теща осталась на могиле поплакать. Всё еще помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подождал и проводил ее; она жалуется на одышку, ходить трудно, говорит.

Артамонов старший негромко и принужденно повторил:

— Трудно.

— Ты — дремлешь? Что — трудно?

— Тихона рассчитать надо,— ответил Петр, глядя вбок, на холмы, сердито ощетиненные елками.

— За что? — удивленно спросил брат. — Мужик честный, аккуратен, не ленив...

— Дурак,— добавил Петр.

Подошли женщины; Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для ее маленького тела, сказала мужу:

— Уговариваю Наташу, чтоб она отдала Илью в гимназию, а она — боится.

Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу; тоном старшей, медленно и в нос, она выговорила:

— А по-моему — гимназия мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймешь.

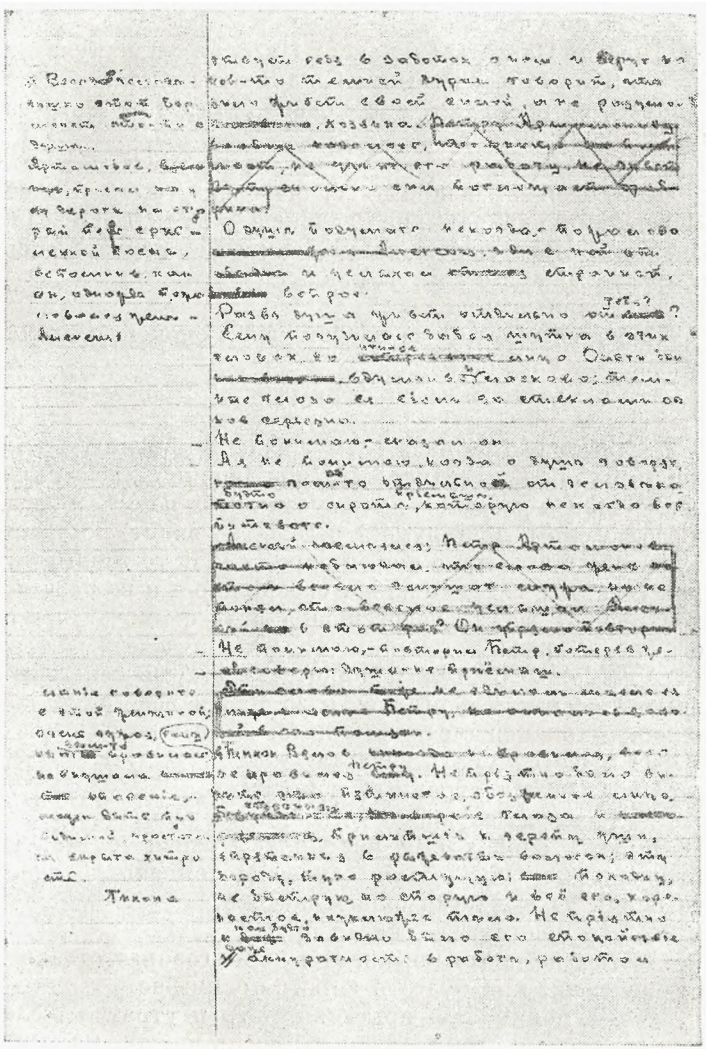
— Учить, всех учить! — строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину; она всползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо.

Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила:

— Помялов верно говорит: от ученья люди дичают.

— Да,— сказал Петр.

— Вот видите! — удовлетворенно воскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил:



«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
Страница чернового автографа.

— Надо учить.

Брат и Ольга засмеялись; Наталья упрекнула их:

— Что это вы? Забыли? С панихиды идете.

Взяв ее под руки, они пошли быстрее, а Петр замедлил шаг:

— Я подожду мать.

Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Петр сказал вслух, сам себе, не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел:

— Разрослось дело.

И тотчас услыхал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа:

— Дело, как плесень в погребе,— своей силой растет.

Петр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. Человек работает, дает кусок хлеба не одной сотне людей, день и ночь думает о деле, не видит, не чувствует себя в заботах о нем, и вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе.

Артамонов присел у дороги на старый пень срубленной сосны, подергал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге:

«О душе подумать некогда».

Он услышал странный вопрос:

— Разве душа живет отдельно от тебя?

В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьезно; темненькие глаза ее сияли за стеклами очков ласково.

— Не понимаю,— сказал он.

— А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о сироте-приемыше.

— Не понимаю,— повторил Петр и утратил желание говорить с этой женщиной; очень чужая, мало понятная ему, она все-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой ее — скрыта хитрость.

А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно

было видеть это скуластое пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах, эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и всё его неуклюжее, коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие; даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон, как машина, и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чем-либо, но и это возбуждало досаду. И всё более неприятно было видеть, что человек этот, с каждым годом глубже врастая в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и озлобленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе, а старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери.

Чтоб убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника,— Тихон отрицательно мотал тяжелой головою:

— Не гожусь я для этого. А если надоел тебе,— отдохни, отпусти меня на месяц, я к Никите Ильичу схожу.

Именно так он и сказал: отдохни. Это слово, глупое и дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Петра тревожное подозрение: кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает еще что-то постыдное, он как будто ждет новых несчастий, мерцающие его глаза внушают:

«Не трогай меня, я тебе нужен».

Он уже трижды ходил в монастырь: повесит за спину себе котомку и, с палкой в руке, уходит не торопясь; казалось — он идет по земле из милости к ней, да и всё он делает как бы из милости.

Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго, невразумительно; всегда думалось, что он говорит не всё, что знает.

— Здоров. В почете. За поклоны, за гостинцы — благодарить велел.

— Что ж он говорит? — допытывался Петр.

— А что монаху говорить?

— Ну, все-таки? — нетерпеливо допрашивал Алексей.

— Насчет бога. Погодой интересуется, дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жалуется; комаров у них там многовато. Про вас спрашивал.

— Что?

— Заботится, жалеет.

— Нас? За что?

— За всё. Вот — вы бегом живете, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше.

Алексей хохотал, вскрикивая:

— Экая ерунда!

Зрачки Тихона таяли, глаза пустели.

— Ведь я не знаю, как он думает, я сказываю, что он говорил. Я — простой.

— Да, прост! — насмешливо соглашался Алексей.— Вроде Антона-дурака.

Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом, и стало светлее; из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Петр взглянул на него, ослеп и еще глубже погрузился в думы свои.

Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь тысячу рублей и выговорив себе пожизненно сто восемьдесят в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев.

— Что это за подарки? — ворчал Петр, но Алексей — обрадовался:

— А куда ему деньги? Дармоедам, монахам на жир? Нет, он хорошо решил. У нас — дело, дети.

Наталья даже умилилась.

— Все-таки не забыл он вину свою перед нами! — удовлетворенно сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки.— Вот и приданое Елене.

На душу Петра поступок брата лег тенью,— в городе говорили об уходе Никиты в монастырь зло, нелестно для Артамоновых.

С Алексеем Петр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее легкую часть дела: он ездил на Нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в

Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники.

— Парадно живут, не хуже дворян.

— Барином жить — просто,— намекал Петр, но, не поняв намека, брат восхищался:

— Домище сгрохает купец, так это — собор! Дети образованные.

Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и ястребиные глаза его блестели весело.

— Ты что всё хмуришься? — спрашивал он брата и даже учил: — Дело делать надо шутя, дела скуки не любят.

Петр замечал в нем сходство с отцом, но Алексей становился всё более непонятен ему.

— Я человек хворый,— всё еще напоминал он, но здоровья не берег, много пил вина, азартно, ночами, играл в карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто — не сам он и не гнездо его. Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до пяти лет, жил только Мирон, неприятный, костлявый мальчишка, старше Ильи на три года. И Алексей и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам, комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью, и оба они любили дарить ее; Наталье подарили забавный шкаф, украшенный фарфором, теще — большое кожаное кресло и великолепную, карельской березы с бронзой, кровать; Ольга искусно вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки.

— Чудишь ты,— сказал Петр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящиков и затейливой резьбой, но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал:

— Поет! Таким штукам больше не быть, в Москве это поняли!

— Ты бы лучше серебро покупал, у дворян серебра много...

— Дай срок — всё купим! В Москве...

Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди, они занимаются не столько делами, как все, поголовно, стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства всё, что можно купить, от усадеб до чайных чашек.

Сидя в гостях у брата, Петр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как не понимал он — что нравится ему в Ольге? Рядом с Натальей она казалась горничной, но у нее не было глупого страха пред керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать ее мягкий голос, и хороши ее глаза; очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и людях она говорит досадно, ребячливо, откуда-то издали; это удивляло и раздражало.

— Что ж у тебя — виноватых нет, что ли? — насмешливо спрашивал Петр, она отвечала:

— Виноватые есть, да я судить не люблю.

Петр не верил ей.

С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл ее тетей и лишь изредка, с легкой досадой, говорил:

— Перестань, тетя, надоело! Я больной человек, меня побаловать не вредно.

— Достаточно избалован, будет уж!

Она улыбалась мужу улыбкой, которую Петр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья — образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов; Наталья неутомимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива.

— Сколько теперь у нас в банке-то? — спрашивала она и тревожилась: — Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы!

Когда она брала в руки деньги, красивое лицо ее становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масленое и едкое. Считая разноцветные грязные бумажки, она трогала

их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под рук ее, как мухи.

— Как вы доходы-то делите с Алексеем? — спрашивала она в постели, насытив Петра ласками.— Не обсчитывает он тебя? Он — ловкий! Они с женой жадные. Так и хватают всё, так и хватают!

Она чувствовала себя окруженной жуликами и говорила:

— Никому, кроме Тихона, не верю.

— Значит, дураку веришь, — устало бормотал Петр.

— Дурак — да совестлив.

Когда Петр впервые посетил с нею Нижегородскую ярмарку и, пораженный гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену:

— Каково, а?

— Очень хорошо,— ответила она.— Всего много, и всё дешевле, чем у нас.

Затем она начала считать, что следует купить:

— Мыла два пуда, свеч ящик, сахару мешок да рафинаду...

Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты.

— Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них, хорошо ли для ребенка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна!

В такие минуты Петр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленоватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба — жирный, глупый линь.

Наталья всё так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись в кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению ее пышным телом. От кожи ее пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копченой рыбы, окорока. Петр нередко и всё чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно, ласки ее опустошают его.

— Отстань, устал я,— говорил он.

— Ну, спи с богом,— покорно отзывалась жена и, быстро заснув, удивленно приподнимала брови, улы-

балась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею.

В те часы, когда Петр особенно ясно, с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать ее в жуткий день рождения первого сына. Мучительно тянулся девятнадцатый час ее страданий, когда теща, испуганная, в слезах, привела его в комнату, полную какой-то особенной духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искаженные лютой болью глаза, растрепанная, потная и непохожая на себя, жена встретила его звериным воем:

— Петя, прощай, умираю. Мальчик будет... Петр, прости...

Губы ее, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто не из горла, а из опустившегося к ногам живота, безобразно вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось; она дышала, как уставшая собака, и так же высовывала опухший, изжеванный язык, хватала волосы на голове, тянула их, рвала и всё рычала, выла, убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей:

— М-мальчика...

День был ветреный, за окном тряслась и шумела черемуха, на стеклах трепетали тени, Петр увидел их прыжки, услыхал шорох и, обезумев, крикнул:

— Окно занавесьте! Не видите?

И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины:

— И — и — у — у...

А через полтора часа теща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены, Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким, пьяным языком сказала:

— Мальчик. Сын.

Он наклонился, приложил щеку к плечу ее, забормотал:

— Ну, мать, этого я тебе не забуду до гроба, так и знай! Ну, спасибо...

Впервые он назвал ее матерью, вложив в это слово весь свой страх и всю радость; она, закрыв глаза, погладила голову его тяжелой, обессиленной рукою.

— Богатырь,— сказала рябая носатая акушерка, показывая ребенка с такой гордостью, как будто она сама родила его. Но Петр не видел сына, пред ним всё заслонялось мертвым лицом жены, с темными ямами на месте глаз:

— Не умрет?

— Н-ну,— громко и весело сказала рябая акушерка,— если б от этого умирали, тогда и акушерок не было бы.

Теперь богатырю шел девятый год, мальчик был высок, здоров, на большелобом, курносом лице его серьезно светились большие густо-синие глаза,— такие глаза были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился еще сын, Яков, но уже с пяти лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали несколько необычный характер, и это возбуждало у отца чувство, близкое гордости.

Однажды Петр застал сына в сарае, мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки.

— Это что будет?

— Пароход.

— Не поедет.

— У меня — поедет! — сказал сын задорным тоном деда. Петр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал:

«Дедушкин характер».

Илья был непреклонен в достижении своих целей, но все-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и двух колес тачки. Тогда он нарисовал колеса углем на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду, прыгнул и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим белье:

— Эй, бабы! Вытащите, а то утону...

Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлепала, с этого дня он стал смотреть на нее такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестренку Таню. Он был вообще деловой человечек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал:

«Толк будет. Строитель».

Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени, приказывал:

— Расскажи чего-нибудь.

— Некогда мне.

— Мне тоже некогда.

Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги.

— Ну, вот: жили-были мужики...

— Про мужиков я всё знаю; смешное расскажи.

Смешного отец не знал.

— Ты поди к бабушке.

— Она сегодня чихает.

— Ну — к матери.

— Она меня мыть будет.

Артамонов смеялся; сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший, легкий смех.

— Тогда я пойду к Тихону,— заявлял Илья, пытаясь соскочить с колен отца, но тот удерживал его.

— А что Тихон говорит?

— Всё.

— Что, однако?

— Он всё знает, он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки...

Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала:

— Не лазай по крышам, уродишкой будешь, горбатым!

Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери:

— Еще я тебе помру, когда бить будешь!

Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся:

— Ты не бей его, а посылай ко мне.

Сын пришел, встал у косяка двери, заложив руки за спину; не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Петр спросил:

— Ты что это матери грубишь?

— Я не дурак,— сердито ответил сын.

— Как же не дурак, если грубишь?

— Так она — дерется. Тихон сказал: только дураков бьют.

— Тихон? Тихон сам...

Но Петр почему-то остерегся назвать дворника дураком; он шагал по комнате, присматриваясь к человечку у двери, не зная — что сказать?

— Ты вот тоже брата Якова бьешь.

— Он — дурак. Ему — не больно, он толстый.

— Что же: толстый, так — надо бить?

— Он жадный.

Петр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой, вихрастой головою. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных синих глаз. И солнце мешало; всегда выходило как-то так, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Петр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова и они не доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть, это Петр Артамонов тоже хорошо знал.

Второй сын, Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слезы, пыхтел, надувая щеки, и тыкал кулаками в глаза свои. Он был труслив, много и жадно ел и, отяжелев от еды, или спал, или жаловался:

— Мама, мне скушно!

Дочь Елена приезжала домой только летом, она была какая-то чужая барышня.

Семи лет Илья начал учиться грамоте у попа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по Псалтырю, а по книжке с картинками «Родное слово», сказал отцу:

— Я не стану учиться, у меня язык болит.

Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил:

— Паша Никонов учится по родному, а я по чужому.

Но иногда этот очень живой мальчик, точно запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под

сосною, бросая сухие шишки в мутно-зеленую воду реки Ватаракши.

«Скучает»,— догадывался отец. Он тоже недели и месяцы жил, оглушенный шумом дела, кружился, кружился, и вдруг попадал в густой туман неясных дум, слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его: заботы о деле или же скука от этих, в сущности, однообразных забот? Часто в такие дни он натыкался на человека и начинал ненавидеть его за косой взгляд, за неудачное слово; так, в этот серенький день, он почти ненавидел Тихона Вялова.

Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая:

— Мы, Вяловы, большая семья...

— Что же ты со своими не живешь? — спросил Петр, подходя к Баймаковой, взяв ее под локоть; Тихон замолчал, отшагнул в сторону; Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил:

— Да уж нет их никого, своих-то, всех извели.

— Что значит — извели? Кто извел?

— Двоих братов под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились; отец — тоже причастный бунту — с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Потом было еще двое у матери, от другого мужа, тоже Вялова, рыбака, я да брат, Сергей...

— А где брат? — спросила Ульяна, мигая опухшими от слез глазами.

— Его убили.

— Рассказываешь ты, как поминанье читаешь,— сердито сказал Артамонов.

— Это Ульяне Ивановне любопытно... Приуныла она маленько, вот я и...

Не кончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча.

— А кто убил брата? — вдруг спросил Артамонов.

— Кто убивает? Человек убивает,— спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила:

— Молния тоже...

...В середине лета наступили тяжелые дни, над землей, в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина; всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой, горячий ветер, люто шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю, рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землей вместе со стружкой, кострикой, перьями кур; толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, еще жарче раздувая пожары.

На фабрике было много больных; Артамонов слышал, сквозь жужжание веретен и шорох челноков, сухой, надсадный кашель, видел у станков унылые, сердитые лица, наблюдал вялые движения; количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже; сильно возросли прогульные дни, мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Веселый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребенка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных, еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок.

— Гулянье надо устроить,— настаивал Алексей;— повеселить надо, подбодрить народ!

Уезжая с женою на ярмарку, он еще раз посоветовал:

— Устрой гулянье — оживут люди! Ты — верь: веселье — от всех бед спасенье!

— Займись,— приказал Петр жене.— Получше сделай, пообильнее.

Наталья недовольно заворчала, он сердито спросил:

— Ну?

Протестующе громко высморкав нос в край передника, жена ответила:

— Слышу.

Гулянье начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб; он стал еще более худ и сух; надтреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил; серые лица чахо-

точных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели; многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди, вслед за ним, тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое, лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его.

После молебна бабы вынесли на улицу поселка столы, и вся рабочая сила солидно уселась к деревянным чашкам, до краев полным жирной лапшою с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось десять человек, на каждом столе стояло ведро крепкого, домашнего пива и четверть водки; это быстро приподняло упавших духом, истомленных людей. Тишина, горячей шапкой накрывшая землю, всколебалась, отодвинулась на болота, к лесным пожарам, поселок загудел веселыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодежи.

За сытным, обильным обедом сидели часа три; потом, разведя пьяных по домам, молодежь собралась вокруг чистенького, аккуратного плотника Серафима. Его синяя пестрядинная рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми, пьяненькое розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глазки. В этом веселом делателе гробов было, соответственно имени его, что-то небесно-радостное, какой-то легкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны темными пальцами, изогнутыми, точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих, с нарочитой заунывностью и гнусаво, в нос:

А и вот вам, люди, сказ на забаву
Да премудрости вашей на разгадку!

И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида, грудастая, красивая, с дерзкими глазами, он завел еще более высоко и уныло:

Да вот сидит Христос в светлом рае,
Во душистой небесной прохладе,
Под высокой златоцветной липой,
Восседает на лыковом престоле.

Раздает он серебро и злато,
Раздает драгоценное каменье,
Всё богатым людям в награду,
За то, что они, богатеи,
Бедному люду доброхоты,
Бедную братию любят,
Нищих, убогих сыто кормят.

Он снова подмигнул девкам и вдруг перевел голосишко на плясовой лад, а дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон.

А кто се́ребро возьмет,—
Тому ноги отшибет!
А кто золото возьмет,—
Того пламенем сожжет!
А яхонты, жемчуга
Все бельмами на глаза!..

Звон гусель и веселую игру песни Серафима заглушил свист парней; потом запели плясовую девки и бабы:

С моря быстрые кораблики бегут,
Красным девушкам подарочки везут!

А Зинаида, притопывая, подневала пронзительно:

От Пашки — Палашке
Рогож на рубашки;
От Терешки — Матрешке
Две березовы сережки.

Илья Артамонов сидел на штабеле теса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая, лысоватая голова, а на сером, нездоровом лице жадно бегали серые боязливые глазки. Илье очень нравился голубой старичок, было приятно слушать игру гусель и задорный, смешной голос Серафима, но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачовой кофте и всё разрушила, вызвав буйный свист, нестройную, крик-

ливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал:

— Зинаидка — распутная, со всеми живет. И с твоим отцом тоже, я сам видел, как он ее тискал.

— Зачем? — недогадливо спросил Илья.

— Ну, знаешь!

Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц, и ему было досадно, что он спросил об этом товарища.

— Врешь,— сказал он брезгливо и не слушая шёпот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях, а Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил обо всем, точно братишка Яков,— как будто жалуясь на всех людей.

Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там, в саду, пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов, лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расползалась улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи.

Илья сел рядом с отцом, не веря, чтоб этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную, морозную ночь.

— В поселок-то пойдем? — спросила мать.

— Да; пойду оденусь,— сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому; спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце.

— Ты что? — ласково спросил отец,— сын тоже спросил, глядя в глаза его:

— Ты Зинаиду тискал или не тискал?

Илье показалось, что отец испугался; это не удивило

его, он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот — сейчас боится. И, чтоб ободрить испуганного человека, он сказал:

— Я — не верю, я только спрашиваю.

Отец толкнул его в сени и, затолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам стал, посапывая, шагать из угла в угол, так шагал он, когда сердился.

— Поди сюда,— сказал Артамонов старший, остановясь у стола, младший Артамонов подошел.

— Ты что сказал?

— Это Павлушка говорит, а я не верю.

— Не веришь? Так.

Петр выдул из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьезное неласковое лицо. Он дергал себя за ухо, соображая: хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он, не верит и, видимо, утешает его этим неверием? Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное — бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дергая их, начал бормотать:

— Не слушай дураков, не слушай!

И, оттолкнув, приказал:

— Ступай. Сиди в своей горнице. И — сиди там. Да.

Сын пошел к двери, склонив голову набок, неся ее, как чужую, а отец, глядя на него, утешал себя:

«Не плачет. Я его — не больно».

Он попробовал рассердиться:

— Ишь ты! Не верю! Вот я тебе и показал.

Но это не заглушало чувства жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою.

«Впервые побил,— думал он, неприязненно разглядывая свою красную волосатую руку.— А меня до десяти-то лет, наверно, сто раз били».

Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобное капле жира в мутной воде, послушав зовущий

шум в поселке, Артамонов неохотно пошел смотреть гулянье и дорогой тихонько сказал Никонову:

— Пасынок твой моему Илье глупости внушает...

— Я его выпорю,— с полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик.

— Ты ему придержи язык,— добавил Петр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегченно думая:

«Вот как просто».

Поселок встретил хозяев шумно и благодушно; сияли полупьяные улыбки, громко кричала лесть; Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых онучах, перевязанных, по-мордовски, красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну:

Ой, кто это идет?
Это — сам идет!
А кого же он ведет?
Самоё ведет!

Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил:

— Мы тобой довольны. Мы — довольны.

Другой старик, Мамаев, кричал с восторгом:

— У Артамоновых забота о людях барская!

А Никонов говорил Коптеву так, что все слышали:

— Благодарный народ, умеет ценить благодетелей своих!

— Мама, меня толкают! — жаловался Яков, одетый в рубаху розового шёлка, шарообразный; мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала:

— Ты гляди, как старичок пляшет...

Голубой плотник неутомимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки:

Эх, притопывай, нога!
Притопывай чаще!
Лапоть легче сапога,
Баба — девки — слаще!

Артамонов не впервые слышал похвалы ему, он имел все основания не верить искренности этих похвал, но все-таки они его размягчали; ухмыляясь, он говорил:

— Ну, ладно, спасибо! Ничего, живем дружно.

И думал:

«Жаль, не видит Илья, как чествуют отца».

У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей; подумав, дернув себя за ухо, он сказал:

— Детскую больницу надо вдвое расширить.

Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него.

— Слышали? Валяй — ура, хозяину!

Недружно, но громко люди рявкнули ура; растроганная, окруженная бабами, Наталья сказала в нос, нараспев:

— Подите, бабы, возьмите еще бочонка три пива, Тихон выдаст, подите!

Это еще более усилило восхищение баб; а Никонов, качая головой, умиленно говорил:

— Архиерейская встреча...

— Ма-ам,— мне жарко,— мычал Яков.

Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый, с огромными, как сливы, глазами, кочегар Волков; он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребенка, с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать:

— Как быть-то? Жена скончалась. От жары скончалась, ау! Вот — прирост остался,— как быть?

Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы; отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили, как будто извиняясь:

— Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была. Чахоточная. Да он и сам нездоровый.

— Возьмите младенца-то у него,— сердито посоветовал Артамонов, и тотчас же к раскисшему тельцу ребенка протянулось несколько пар бабьих рук, но Волков крепко выругался и убежал.

В общем всё было хорошо, пестро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью:

«Растет число народа. Видел бы отец...»

Вдруг жена пожалела:

— Не вовремя наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе.

Артамонов промолчал, взглянув исподлобья на Зинаиду, она шла впереди десятка девиц и пела неприятным, низким голосом:

Ходит мимо,
Смотрит мило,
Видно, хочет,
Ах, полюбить!

«Халда,— подумал он.— И песня плохая».

Вынул часы, посмотрел на них и зачем-то солгал:

— Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея.

Он пошел быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну, придумал что-то очень строгое и достаточно ласковое, но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, всё забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник, он смотрел в багрово-дымное небо; сумрак наполнял маленькую комнату бурой пылью; на стене, в большой клетке, возился дрозд: собираясь спать, чистил свой желтый нос.

— Ну что, сидишь?

Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула.

— То-то вот! Слушаешь всякую дрянь.

Сын стоял наклонив голову, отец понял, что он делает это нарочно, чтоб напомнить о трепке.

— Зачем гнешься? Держи голову прямо.

Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жердочкам, негромко посвистывая.

«Сердится»,— подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку.— Пустяки слушать не надо.

Илья спросил:

— А как же, когда говорят?

Его серьезный, хороший голос обрадовал отца, Петр заговорил более ласково и храбро:

— Говорят, а ты — не слушай! Ты — забывай. Скажут при тебе пакость, а ты — забудь.

— Ты забываешь?

— Ну а как же? Если б я помнил всё, что слышу, чем бы я стал?

Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще, отлично понимал, что все они не нужны, и, быстро запутавшись в темной мудрости простых слов, сказал, вздохнув:

— Поди ко мне.

Илья подошел осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся.

— Ты что капризничаешь? Погляди на меня.

Илья взглянул прямо в глаза, но это вышло еще хуже, потому что он спросил:

— За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке.

Артамонов старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом встал вровень с ним,— сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя.

«Не по возрасту обидчив»,— мельком подумал он и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою.

— Я тебя — не больно. Надо учить. Меня отец бил ой-ёй как! И мать. Конюх, приказчик. Лакей-немец. Еще когда свой бьет — не так обидно, а вот чужой — это горестно. Родная рука — легка!

Шагая по комнате, шесть шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит еще что-нибудь.

— Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо,— бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати.— Учить надо тебя. В губернию надо. Хочешь учиться?

— Хочу.

— Ну, вот...

Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить: ласкали его отец и мать после того, как, бывало, обидят?

— Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то.

— Его никто не любит.

— И не за что, такого гнилого.

Сойдя к себе, стоя пред окном, Артамонов задумался: нехорошо у него вышло с сыном.

«Избаловал я его. Не боится он».

Со стороны поселка притекал пестрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот четко прозвучали слова Тихона:

— Что ж ты дома, дитя? Гулянье, а ты — дома? Учиться поедешь? Это хорошо. «Неученый — что нерожёный», вот как говорят. Ну, мне без тебя скушно будет, дитя.

Артамонову захотелось крикнуть:

«Врешь, это мне будет скучно! Ишь, ластится к хозяйскому сыну, подлая душа»,— подумал он со злостью.

Отправив сына в город, к брату попа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Петр действительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада; к синеватому огоньку ее Петр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал.

Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память; нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову.

— Ты что ж это как озоруешь? — спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил набок, и Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек.

«Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня?»

Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своем отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему.

«Что ж я, добрее отца?» — спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная — добрый он или злой? Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, на-

падая во время работы. Дело шумно росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье — деловые думы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтоб вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сыну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его.

— Тятя, купи мне козла,— просил Яков; он всегда чего-нибудь просил.

— Зачем козла?

— Я буду верхом кататься.

— Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.

— А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший...

Отец думал:

«Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал: расскажи про ведьму».

Не нравилось ему, что Яков, сам раздразнив фабричных ребятишек, жаловался:

— Обижают.

Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в поселке, а этот труслив, ленив, всегда что-то сосет, жует. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее: за чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожглась кипятком.

— А я видел, что прольешь,— широко улыбаясь, похвастался Яков.

— Видел, а — молчал; это нехорошо,— заметил отец.— Вот мать ноги обварила.

Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то на дворе, захлебываясь словами:

— Я видел, что он его бить хочет; идет, идет, подошел да сзади ка-ак даст!

Выглянув в окно, Артамонов увидал, что сын, размахивая кулаком, возбужденно беседует с дрянненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запре-

тил ему дружить с Никоновым, хотел сказать что-то поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына:

— Иди, пустоглазый...

Осторожно, как по скользкому, Яков пошел, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нес на них что-то неудобное, тяжелое.

«Неуклюж. Глуповат»,— решил отец.

В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила лежать, читая книжки, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху; поджимала туго налитые кровью, очень красные губы и часто, не подобающим девчонке тоном, говорила матери:

— Теперь так не делают. Это уже вышло из моды.

Когда отец сказал ей: «Ты что же, ученая, не взглянешь, как тебе на рубахи полотно ткут?»— она ответила:

— Пожалуйста.

Надела праздничное платье, взяла зонтик, подарок дяди Алексея, и, покорно шагая вслед за отцом, внимательно следила: не задеть бы платьем за что-нибудь. Несколько раз чихнула, а когда рабочие желали ей доброго здоровья, она, краснея, молча, без улыбки на лице, важно надутом, кивала им головою. Отец рассказывал ей о работе, но, скоро заметив, что она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчал, почувствовав себя обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу. Выйдя из ткацкой на двор, он все-таки спросил:

— Ну, что?

— Пыльно очень,— ответила она, осматривая свое платье.

— Немного видела,— усмехнулся Петр и с досадой закричал:

— Да что ты всё подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток.

Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато:

— Маслом очень пахнет.

Его особенно раздражали эти ее два пальчика, и Артамонов ворчал:

— Гляди, двумя-то пальцами немного возьмешь!

В ненастный день, когда она читала, лежа на диване, отец, присев к ней, осведомился — что она читает?

— Об одном докторе.

— Так. Наука, значит.

Но заглянув в книгу, возмутился.

— Что же ты врешь? Это — стихи. Разве науку стихами пишут?

Торопливо и путано она рассказала какую-то сказку: бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору чёрта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это мешало понимать.

— Доктор — пьяница был?

Он видел, что его вопрос сконфузил Елену, и, уже не слушая ее пояснений, сказал, сердясь:

— Путаница какая-то. Басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга?

— Механик дал.

Петр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми глазами кошки на что-то впереди себя, и нашел нужным предупредить дочь:

— Коптев тебе не пара, ты с ним не очень хихикай.

Да, Елена и Яков были скучнее, серей Ильи, он всё лучше видел это. И не заметил, как постепенно на месте любви к сыну у него зародилась ненависть к Павлу Никонову. Встречая хилого мальчика, он думал:

«Из-за такого паршивца...»

Мальчик был физически противен ему. Ходил Никонов, согнув спину, его голова тревожно вертелась на тонкой шее; даже когда мальчик бежал, Артамонову казалось, что он крадется, как трусливый жулик. Он много работал, чистил сапоги и платье вотчима, колол и носил дрова, воду, таскал из кухни ведра помоев, полоскал в реке пеленки своего брата. Хлопотливый, как воробей, грязненький, оборванный, он заискивающе улыбался всем какой-то собачьей улыбкой, а видя

Артамонова, еще издали кланялся ему, сгибая гусиную шею, роняя голову на грудь. Артамонову почти приятно было видеть мальчика под осенним дождем или зимою, когда Павел колол дрова и грел дыханием озябшие пальцы, стоя, как гусь, на одной ноге, поджимая другую, с которой сползал растоптанный, дырявый сапог. Он кашлял, хватаясь синими лапками за грудь, извиваясь штопором.

Узнав, что мальчик держит на чердаке бани две пары голубей, Артамонов приказал Тихону выпустить птиц и следить, чтоб мальчишка не лазил на чердак.

— Упадет с крыши, разобьется. Вон какой он гнилой.

Как-то вечером, войдя в контору, он увидал, что этот мальчик выскабливает с пола ножом и смывает мокрой тряпкой пролитые чернила.

— Кто пролил?

— Отец.

— А не ты?

— Ей-богу — не я!

— А отчего морда оплакана?

Стоя на коленях, подставив голову под удар, Павел не ответил, тогда Артамонов, придавив его взглядом, удовлетворенно сказал:

— Так тебе и надо.

Но вдруг, на минуту прозрев, он усмехнулся в бороду, почувствовав, как ребячлива и смешна эта неприязнь к ничтожному мальчишке.

«Эко, чем забавляюсь!» — снисходительно подумал он и бросил на пол тяжелый медный пятак.

— На, купи себе пряников.

Мальчик так осторожно протянул грязные косточки своих пальцев к монете, точно боялся, что медь обожжет.

— Бьет тебя вотчим?

— Да.

— Ну, что ж? Всех бьют,— утешил Артамонов. А через несколько дней Яков пожаловался, что Павлушка чем-то обидел его, и Артамонов старший, не веря сыну, уже только по привычке, посоветовал конторщику:

— Ты пори пасынка.

— Я порю-с,— почтительно уверил Никонов.

Летом, когда Илья приехал на каникулы, незнакомо одетый, гладко остриженный и еще более лобастый,— Артамонов острее невзлюбил Павла, видя, что сын упрямо продолжает дружиться с этим отрепышем, хиляком. Сам Илья тоже стал нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого отчаяния, раздражал чем-то сестру так, что она швыряла в него книгами, и вообще вел себя сорванцом.

— Я говорила! — жаловалась Наталья мужу.— И все говорят: ученье ведет к дерзости.

Артамонов молчал, тревожно наблюдая за сыном, ему казалось, что хотя Илья озорничает много, но как-то невесело, нарочно. На крыше бани снова явились голуби, они, воркуя, ходили по коньку, а Илья и Павел, сидя у трубы, часами оживленно болтали о чем-то, если не гоняли голубей. Еще в первые дни по приезде сына отец предложил ему:

— Ну, рассказывай, как живешь; я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь.

Илья очень кратко и торопливо рассказал что-то неинтересное о том, как мальчики дразнят учителей.

— А зачем дразнить?

— Надоедают,— объяснил Илья.

— Так. Это будто неладно. Учиться трудно?

— Нет, легко.

— Врешь?

— Посмотрите отметки,— сказал Илья, дернув плечом, а глаза его пристально смотрели в сад, в небо. Отец спросил:

— Чего ты там видишь?

— Ястреб.

Артамонов старший вздохнул.

— Ну, беги, гуляй. Скучно со мной, видать.

Оставшись один, он вспомнил, что и ему в детстве почти всегда было или скучно, или боязно, когда отец говорил с ним.

— Учителей дразнит. Мне эдакое и в лоб не влетало,

когда дьячок учил меня ременной плетью. Для детей житьишко будто мягче стало.

Пред отъездом в город Илья попросил — это была его единственная просьба:

— Папаша, позвольте Павлу держать голубей на чердаке, в бане...

Ничего не обещая, отец сказал:

— Всех, кому плохо, не утешишь.

— Значит — можно,— решил сын.— Я скажу ему— обрадуется.

Артамонов старший был обижен тем, что сын, заботясь о радостях какого-то дрянненького мальчишки, не позаботился, не сумел внести немножко радости в жизнь отца. И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым еще более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что, когда дома, на фабрике или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь,— в центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный, грязненький мальчик и как будто приглашал вешать на его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос, как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертенком, всё чаще попадался на глаза.

В ласковый день бабьего лета Артамонов, усталый и сердитый, вышел в сад. Вечерело; в зеленоватом небе, чисто выметенном ветром, вымытом дождями, таяло, не грея, утомленное солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья, печальный, мягкий шорох плыл по саду; за деревьями ворчала фабрика, серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтоб не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошел в противоположный угол сада, к бане; дверь в нее была не притворена.

«Этот — там».

Осторожно заглянув в предбанник, он увидал в углу его, в тени, на лавке распластанную фигурку своего врага,— склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове, Илье и в испуге, с отвращением, зашипел:

— Ты что делаешь, паршивый?

Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась, он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека,— Артамонов с наслаждением ударил его правой ногою в грудь и остановил; мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок.

Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья, тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко:

— Ну, вставай, идем!

Мальчик лежал, выбросив одну руку вперед, другую придавив коленом, одна нога его казалась намного короче другой, он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукою за косяк, снял картуз и подкладкой его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб.

— Вставай, я никому не скажу,— сказал он шёпотом, уже понимая, что убил мальчика, видя, что из-под щеки его, прижатой к полу, тянется, извиваясь, лента темненькой крови.

«Убил»,— мысленно произнес Петр. Немудрое, коротенькое слово звучало оглушительно. Артамонов сунул картуз в карман поддевки, перекрестился, тупо глядя на маленькое, жалобно скорченное тело; испуганно билась нехитрая мысль:

«Скажу, что нечаянно. Дверью ушиб. Дверью. Дверь — тяжелая».

Он повернулся и грузно присел на лавку,— сзади его стоял Тихон с метлою в руках, смотрел жидкими глазами на Никонова и раздумчиво чесал каменную скулу свою.

— Вот,— громко начал Артамонов, держась руками за край лавки, но Тихон, качнув головою, перебил его:

— Слабый мальчонко, неловок. Сколько раз я увещал его — не лазь!

— Чего? — со страхом, но и с надеждой спросил Петр.

— Разобьешься, говорю. И ты, Петр Ильич, предвещал это, помнишь? Всякая охота требует ловкости. Без памяти, что ли?

Присев на корточки, дворник пощупал руку Павла, шею, потрогал пальцем щеку, и, отирая палец о фартук, шаркая им, точно спичку зажигал, он сказал:

— Пожалуй — совсем отошел. Гниленький был, много ли надо?

Говорил Тихон спокойно, двигался медленно и весь был такой, как всегда, но хозяин не верил ему и ждал каких-то грозных, осуждающих слов. Однако Тихон, взглянув на потолок в квадрат, вырезанный в нем, послушав воркованье голубей, снова заговорил спокойно и просто:

— Он по двери лазил; одну ногу поставит на лавку, другую на скобу двери, потом на верх ее, оттуда схватится руками за край и подтянется на руках-то. А ручонки — без силы, вот и сорвался да, видать, об угол двери сердцем и угодил.

— Я этого не видал,— сказал Петр. Чувство самосохранения подсказывало ему быстренькие догадки:

«Врет? Фальшивит? Капкан ставит мне, в руки взять хочет? Или в самом деле не догадался, дурак?»

Последнее было вероятнее. Тихон вел себя глупо: качнув головою, точно ударив лбом кого-то, он вздохнул:

— Эх, соринка! И зачем такие? Пойду скажу матери. Вотчим, поди-ко, не больно горевать станет, мальчонко был лишний ему.

Артамонов очень подозрительно вслушивался в слова дворника, пытаясь уловить в них фальшь, но Тихон говорил, как всегда, тоном человека, чуждого любопытству.

— Чу! — сказал он, пошевелив бровями, прислушиваясь: где-то на дворе женщина сердито кричала:

— Пашка! Пашка-а...

Тихон погладил скулу.

— Вот те и Пашка! Готовь слезы...

«Нет,— дурак»,— решил Артамонов и, вытащив из кармана картуз, пошел в сад, внимательно рассматривая сломанный козырек.

Недели две, три он прожил, чувствуя, что в нем ходит, раскачивает его волна темного страха, угрожая ежедневно новой, неведомой бедою. Вот сейчас откроется дверь, влезет Тихон и скажет:

«Ну, я, конечно, знаю...»

Но внешне всё шло хорошо; все отнеслись к смерти мальчика деловито и просто, покорные привычке родить и хоронить. Никонов повязал желтую шею свою новым, черным галстуком, и на смытом лице его явилась скромная важность, точно он получил награду, давно заслуженную им. Мать убитого, высокая, тощая, с лошадиным лицом, молча, без слез, торопилась схоронить сына,— так казалось Артамонову; она всё оправляла кисейный рюш в изголовье гроба, передвигала венчик на синем лбу трупа, осторожно вдавливала пальцами новенькие рыжие копейки, прикрывавшие глаза его, и как-то нелепо быстро крестилась. Петр подметил, что рука у нее до того устала, что за панихидой мать дважды не могла поднять руку,— поднимет, а рука опускается, как сломанная.

Да, с этой стороны всё обошлось гладко; Никоновы даже многословно и надоедливо благодарили за пособие на похороны, хотя Артамонов, опасаясь возбудить излишней щедростью подозрения Тихона, дал немного. Ему все-таки не верилось, что дворник так глуп, каким он показал себя там, в бане. Вот уже второй раз баня выдвигает этого человека на первое место, всё глубже втискивая его в жизнь Петра. Это — странно и жутко. Артамонов даже думал, что баню надо поджечь или сломать, распилить на дрова, кстати она уже стара и гниет. Надо построить другую и на ином месте.

Зорко наблюдая за Тихоном, он видел, что дворник живет всё так же, как-то нехотя, из милости и против воли своей; так же малоречив; с рабочими груб, как полицейский, они его не любят; с бабами он особенно, брезгливо груб, только с Натальей говорит как-то особенно, точно она не хозяйка, а родственница его, тетка или старшая сестра.

— Ты что больно ласкова с Тихоном? — не раз допытывался он, жена отвечала:

— Уж очень он прижился к нам.

Если б дворник имел друзей, ходил куда-нибудь,— можно было бы думать, что он сектант; за последние года появилось много разных сектантов. Но приятелей у Тихона, кроме Серафима-плотника, не было, он охотно посещал церковь, молился истово, но всегда почему-то некрасиво открыв рот, точно готовясь закричать. Порою, взглянув в мерцающие глаза дворника, Артамонов хмурился, ему казалось, что в этих жидких глазах затаена угроза, он ощущал желание схватить мужика за ворот, встряхнуть его:

«Ну, говори!»

Но зрачки Тихона таяли, расплывались, и каменное спокойствие его скуластого лица подавляло тревогу Петра. Когда был жив Антон-дурак, он нередко торчал в сторожке дворника или, по вечерам, сидел с ним у ворот на скамье, и Тихон допрашивал безумного:

— Ты не болтай зря, ты подумай и объясни: куятыр — это кто?

— Каямас, — радостно взвизгивал Антон и запевал:

Христос воскресе, воскресе...

— Постой!

Кибитка потерял колесо...

— Чего ты добиваешься? — спросил Артамонов с досадой, непонятной ему.

— Чтобы слова нечеловечьи объяснил.

— Да это — дураковы слова!

— И у дурака свой разум должен быть,— глупо сказал Тихон.

Вообще говорить с ним не стоило. Как-то бессонной, воющей ночью Артамонов почувствовал, что не в силах носить мертвую тяжесть на душе, и, разбудив жену, сказал ей о случае с мальчиком Никоновым. Наталья, молча мигая сонными глазами, выслушала его и сказала, зевнув:

— А я забываю сны.

Но вдруг — встрепенулась:

— Ох, боюсь, как бы Яша не занялся этим!

— Чем? — удивленно спросил муж, а когда она ощутимо объяснила ему, чего боится, он подумал, с досадой дергая себя за ухо:

«Напрасно говорил».

В эту ночь, под шорох и свист метели, он, вместе с углубившимся сознанием своего одиночества, придумал нечто, освещающее убийство, объясняющее его: он убил испорченного мальчика, опасного товарища Илье, по силе любви своей к сыну, из страха за него. Это вносило в темную ненависть к мальчику Никонову понятную причину, это несколько облегчало. Но хотелось совершенно избавиться от этой тяжести, свалить ее на чьи-то другие плечи. Он пригласил попа Глеба, желая поговорить о грехе необычном не на исповеди, во время покаяния в обычных грехах.

Тощий, сутулый поп пришел вечером, тихонько сел в угол; он всегда засовывал длинное тело свое глубоко в углы, где потемнее, тесней; он как будто прятался от стыда. Его фигура в старенькой темной рясе почти сливалась с темной кожей кресла, на сумрачном фоне тускло выступало только пятно лица его; стеклянной пылью блестели на волосах висков капельки растаявшего снега, и, как всегда, он зажал реденькую, но длинную бороду свою в костлявый кулак.

Не решаясь начать беседу с главного, Артамонов заговорил о том, как быстро портится народ, раздражая своей ленью, пьянством, распутством; говорить об этом стало скучно, он замолчал, шагая по комнате. Тогда из сумрачного угла потекла речь попа, очень похожая на жалобу.

— Никто не заботится о народе, сам же он духовно заботиться о себе не привык, не умеет. Образованные люди... впрочем,— не решусь осуждать, да и мало у нас образованных людей. И не вживаются они, знаете, в обыкновенную жизнь, в народное. Хотя желают многого, но — не главного. Их на бунт влечет, а отсюда гонение власти на них. И вообще всё как-то не налаживается у нас. Вот только единый голос всё громче слышен в суетном шуме, обращен к совести мира и властно стремится пробудить ее, это голос некоего графа Толстого, философа и литератора. Замечательнейший че-

ловек, речь его смела до дерзости, но так как... тут, видите, задета православная церковь...

Он долго рассказывал о Льве Толстом, и хотя это было не совсем понятно Артамонову, однако вздыхающий голос попа, истекая из сумрака тихим ручьем и рисуя почти сказочную фигуру необыкновенного человека, отводил Артамонова от самого себя. Не забывая о том, зачем он пригласил священника, Петр постепенно поддавался чувству жалости к нему. Он знал, что бедняки города смотрят на Глеба как на блаженного за то, что этот поп не жаден, ласков со всеми, хорошо служит в церкви и особенно трогательно отпевает покойников. Всё это Артамонов считал естественным,— таков и должен быть поп. Его симпатия к священнику была вызвана общей нелюбовью городского духовенства и лучших людей ко Глебу. Но духовный пастырь должен быть суров, он обязан знать и говорить особенные, пронзающие слова, обязан возбуждать страх пред грехом, отвращение ко греху. Артамонов знал, что такой силой Глеб не обладает, и, слушая его неуверенную речь, слова которой колебались, видимо, боясь кого-то обидеть, он вдруг сказал:

— Я тебя, отец Глеб, для того потревожил, чтоб известить: в этом году я говеть не стану.

— Что ж так? — задумчиво спросил поп и, не дождавшись ответа, сказал: — Отвечаете пред совестью своей.

Артамонову послышалось, что Глеб произнес эти слова так же бессердечно, как говорит дворник Тихон. По бедности своей поп не носил галош, с его тяжелых, мужицких сапог натекли лужи талого снега, он шлепал подошвами по лужам и всё говорил, жалуясь, но не осуждая:

— Смотришь на происходящее, и лишь одно утешает: зло жизни, возрастая, собирается воедино, как бы для того, чтоб легче было преодолеть его силу. Всегда так наблюдал я: появляется малый стерженек зла и затем на него, как на веретено нитка, нарастает всё больше и больше злого. Рассеянное преодолеть — трудно, соединенное же возможно отсечь мечом справедливости сразу...

Эти слова остались в памяти Артамонова, он услыхал в них нечто утешительное: стерженек — это Павел, ведь к нему, бывало, стекались все темные мысли, он притягивал их. И снова, в этот час, он подумал, что некоторую долю его греха справедливо будет отнести на счет сына. Облегченно вздохнув, он пригласил попа к чаю.

В столовой было светло, уютно, теплый воздух ее насыщен вкусными запахами; на столе, благодушно пофыркивая паром, кипел самовар; теща, сидя в кресле, приятно пела четырехлетней внучке:

Святая молонья
Раздала дары своя:
Апостолу Петру —
Ему летнюю жару;
Угоднику Николе —
На морях, озерах волю;
А пророку Илие —
Золотое копие...

— Языческое,— сказал поп, присаживаясь к столу, и виновато усмехнулся.

В спальне жена говорила Петру:

— Алексей воротился, видела я его. Он всё больше с ума сходит по Москве. Ох, боюсь я...

Летом на белой шее и румяном, отшлифованном лице Натальи явились какие-то красненькие точки; мелкие, как укол иголки, они все-таки мешали ей, и дважды в неделю, перед сном, она усердно втирала в кожу щек мазь медового цвета. Этим делом она и занималась, сидя перед зеркалом, двигая голыми локтями; под рубахой тяжело колыхались шары ее грудей. Петр лежал в постели, закинув руки под голову, бородою в потолок, искоса смотрел на жену и находил, что она похожа на какую-то машину, а от ее мази пахнет вареной севрюгой. Когда Наталья, помолясь убедительным шёпотом, легла в постель и, по честной привычке здорового тела, предложила себя мужу, он притворился спящим.

«Стерженек,— думал он.— Вот и я — веретено. Вер-

чусь. А кто прядет? Тихон сказал: человек прядет, а чёрт дерюгу ткет. Экая несуразная морда!»

Раздуваемое Алексеем дело всё шире расползалось по песчаным холмам над рекою; они потеряли свою золотистую окраску, исчезал серебряный блеск слюды, угасали острые искорки кварца, песок утаптывался; с каждым годом, веснами, на нем всё обильнее разрастались, ярче зеленели сорные травы, на тропах уже подорожник прижимал свой лист; лопух развешивал большие уши; вокруг фабрики деревья сада сеяли цветень; осенний лист, изгнивая, удобрял жиреющий песок. Фабрика всё громче ворчала, дышала тревогами и заботами; жужжали сотни веретен, шептали станки; целый день, задыхаясь, пыхтели машины, над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул; приятно было сознавать себя хозяином всего этого, даже до удивления, до гордости приятно.

Но порою, и всё чаще, Артамоновым овладевала усталость, он вспоминал свои детские годы, деревню, спокойную, чистую речку Рать, широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда он чувствовал, что его схватили и вертят невидимые цепкие руки, целодневный шум, наполняя голову, не оставлял в ней места никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом, курчавый дым фабричной трубы темнил всё вокруг унынием и скукой.

В часы и дни такого настроения ему особенно не нравились рабочие; казалось, что они становятся всё слабосильнее, теряют мужицкую выносливость, заразились бабьей раздражительностью, не в меру обидчивы, дерзко огрызаются. В них явилось что-то бесхозяйственное, неустойчивое; раньше, при отце, они жили семейнее, дружней, не так много пьянствовали, не так бесстыдно распутничали, а теперь всё спуталось, люди стали бойчее и даже как будто умней, но небрежнее к работе, злее друг к другу и все нехорошо, жуликовато присматриваются, примериваются. Особенно озорниковатой и непочтительной становилась молодежь, молодых фабрика очень быстро делала совершенно непохожими на мужиков.

Кочегара Волкова пришлось отправить в губернию,

в дом умалишенных, а всего лишь пять лет тому назад он, погорелец, красивый, здоровый, явился на фабрику вместе с бойкой женою. Через год жена его загуляла, он стал бить ее, вогнал в чахотку, и вот уж обоих нет. Таких случаев быстрого сгорания людей Артамонов наблюдал не мало. За пять лет было четыре убийства, два — в драке, одно из мести, а один пожилой ткач зарезал девку-шпульницу из ревности. Часто дрались до крови, до серьезных поранений.

На Алексея всё это, видимо, не действовало. Брат становился непонятней. В нем было что-то общее с чистеньким, шутливым плотником Серафимом, который одинаково весело и ловко делал ребятишкам дудки, самострелы и сколачивал для них гроба. Ястребиные глаза Алексея сверкали уверенностью, что всё идет хорошо и впредь будет хорошо идти. Уже три могилы было у него на кладбище; твердо, цепко жил только Мирон, некрасиво, наскоро слаженный из длинных костей и хрящей, весь скрипучий, щелкающий. У него была привычка ломать себе пальцы так, что они громко хрустели. В тринадцать лет он уже носил очки, это сделало немножко короче его длинный, птичий нос и притемнило неприятно светлые глаза. Ходил этот мальчик всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что казалось — книга приросла к нему. С отцом и матерью он говорил, как равный, даже и не говорил, а рассуждал. Им это нравилось, а Петр, определенно чувствуя, что племянник не любит его, платил ему тем же.

В доме Алексея всё было несерьезно, несолидно; Артамонов старший видел, что разница между его жизнью и жизнью брата почти такова, как между монастырем и ярмарочным балаганом. В городе у Алексея и жены его приятелей не было, но в его тесных комнатах, похожих на чуланы, набитые ошарканными, старыми вещами, собирались по праздникам люди сомнительного достоинства: золотозубый фабричный доктор Яковлев, человек насмешливый и злой; крикливый техник Коптев, пьяница и картежник; учитель Мирона, студент, которому полиция запретила учиться; его курносая жена курила папиросы, играла на гитаре. Бывали и еще какие-то

обломки людей, все они одинаково дерзко ругали попов, начальство, и было ясно, что каждый из них считает себя отличнейшим умником. Артамонов всем существом своим чувствовал, что это — не настоящие люди, и не понимал — зачем они брату, хозяину половины большого, важного дела? Слушая их крики, он вспоминал жалобу попа:

«Желают многого, но — не главного».

Он не спрашивал себя — в чем и где это главное, он знал, что главное — в деле.

Любимцем брата был, видимо, крикливый цыган Коптев; он казался пьяным, в нем было что-то напористое и даже как будто умное, он чаще всех говорил:

— Всё это пустяки, философия! Промышленность — вот! Техника.

Но в Коптеве Артамонов старший подозревал что-то еретическое, разрушительное.

— Опасный парень,— сказал он брату; Алексей удивился:

— Коптев? Что ты? Это — молодчина, деловик, вол, умница! Таких бы тысячи!

И, усмехаясь, прибавил:

— Будь у меня дочь, я бы его женил, цепью приковал бы к делу!

Петр угрюмо отошел от него. Если не играли в карты, он одиноко сидел в кресле, излюбленном им, широком и мягком, как постель; смотрел на людей, дергая себя за ухо, и, не желая соглашаться ни с кем из них, хотел бы спорить со всеми; спорить хотелось не только потому, что все эти люди не замечали его, старшего в деле, но еще и по другим каким-то основаниям. Эти основания были неясны ему, говорить он не умел и лишь изредка, натужно, вставлял свое слово:

— А вот поп Глеб рассказывал мне про одного графа...

Коптев немедленно лаял на него:

— Какое вам дело до графа, вам, вам? Граф этот — последний вздох деревенской России...

Он кричал и непочтительно тыкал пальцем в сторону Петра, а все остальные, слушая его, тоже становились похожими на цыган, бездомное, бродячее племя.

«Моль,— думал Петр.— Дармоеды».

Однажды он сказал:

— Это неправильно говорится: «Дело — не медведь, в лес не уйдет». Дело и есть медведь, уходить ему незачем, оно облапило и держит. Дело человеку — барин.

— Вот, вот,— залаял Коптев.— Где так скажут? Кто так скажет? Вот она — опасность!

А брат Алексей насмешливо спросил:

— Ты что же — у Тихона мысли занимаешь?

Это очень рассердило Петра, и дома он сказал жене:

— Ты гляди за Еленой, около нее цыган этот, Коптев, вьется. Алексей мирволит ему. Елена — кусок жирный, не для такого. Присматривай ей жениха.

— Какие тут женихи для нее,— озабоченно заговорила Наталья.— Женихов надо в губернии искать. Да и рано бы...

— Гляди — ранят,— усмехнулся Артамонов и этим вызвал у жены игривый хохоток.

Когда ему удавалось выскользнуть на краткое время, выломиться из ограниченного круга забот о фабрике, он снова чувствовал себя в густом тумане неприязни к людям, недовольства собою. Было только одно светлое пятно — любовь к сыну, но и эта любовь покрылась тенью мальчика Никонова или ушла глубже под тяжестью убийства. Глядя на Илью, он иногда ощущал потребность сказать ему:

«Вот что я сделал из страха за тебя».

Разум его был недостаточно хитер и не мог скрыть, что страх явился за секунду до убийства, но Петр понимал, что только этот страх и может, хоть немного, оправдать его. Однако, разговаривая с Ильею, он боялся даже вспоминать о его товарище, боялся случайно проговориться о преступлении, которому он хотел придать облик подвига.

Он видел, что сын растет быстро, но как-то в сторону. Илья становился спокойнее, с матерью говорил мягче, не дразнил Якова, тоже гимназиста, любил возиться с младшей сестрой Татьяной, над Еленой необидно посмеивался, но во всем, что он говорил, был заметен

какой-то озабоченный, вдумчивый холодок. Павла Никонова заменил Мирон, братья почти не разлучались, неистощимо разговаривая о чем-то, размахивая руками; вместе учились, читали, сидя в саду, в беседке. Илья почти не жил дома, мелькнет утром за чаем и уходит в город к дяде или в лес с Мироном и вихрастым черненьким Горицветовым; этот маленький, пронырливый мальчишка, колючий, как репейник, ходил виляющей походкой, его глаза были насмешливо вывихнутыми и казались косыми.

— Охота тебе дружиться с таким жиденком,— брезгливо заметила Наталья сыну; Петр Артамонов увидал, что тонко вычерченные брови сына дрогнули.

— Жиденок — обидное слово, мамаша. Вы знаете, что Александр — племянник нашего священника Глеба, значит — русский. В гимназии — он первый...

Мать пренебрежительно фыркнула:

— Жиды везде на первое место лезут.

— Откуда вы знаете это? — не уступал сын.— В городе — четыре еврея, все бедные, кроме аптекаря.

— Да сорок жиденят. И в Воргороде везде жиды и на ярмарке...

С обидной настойчивостью Илья повторил:

— Жиды — плохое слово.

Тогда мать, стукнув чайной ложкой по блюдечку, закричала, краснея:

— Да что ты меня учишь? Не знаю я, что ли, как надо говорить? Я — не слепая, я вижу, как подхалим этот ко всем, даже к Тихону, ластится: вот я и говорю: ласков, как жиденок, а ласковые — опасные. Знала я такого, ласкового...

— Довольно! — строго вмешался Петр, а она, готовая заплакать, жаловалась:

— Что уж это, Петр Ильич, слова нельзя сказать!

Илья замолчал, нахмурясь, а мать напомнила ему:

— Ведь я тебя родила.

— Благодарю,— сказал Илья, отодвигая пустую чашку; отец искоса взглянул на него и усмехнулся, дернув себя за ухо.

В словах жены он слышал, что она боится сына, как раньше боялась керосиновых ламп, а недавно начала

бояться затейливого кофейника, подарка Ольги: ей казалось, что кофейник взорвется. Нечто близкое смешному страху матери пред сыном ощущал пред ним и сам отец. Непонятен был юноша, все трое они непонятны. Что забавное находили они в дворнике Тихоне? Вечерами они сидели с ним у ворот, и Артамонов старший слышал увещевающий голос мужика:

— Это — так. Меньше несешь — легче идешь. А насчет углов — не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету.

Гимназисты хохотали. Илья смеялся бархатисто, немного, Мирон — сухо и едко, Горицветов же не так охотно, как они, и всегда решительно обрывал смех свой, убеждая друзей:

— Подождите, это вовсе не смешно!

И снова ленивенько гудела темная речь Тихона:

— Вы, дети, про человека больше учитесь, как вообще человек. Кто к чему назначен, какая кому судьба? Вот о чем колдовать надо. Слова тоже. Слова надо понимать насквозь. Вот вы, часто,— тот, другой — говорите: конечно, круглое словцо. А конца-то и нет ничему!

И Тихон Вялов повторял знакомую Петру свою поговорку:

— Человек — нитку прядет, чёрт — дерюгу ткет, так оно, без конца, и идет.

Молодежь хохотала, густо смеялся и Тихон, вздыхал:

— Эх вы, ученые, недопеченые!

В сумраке вечера дети становились меньше, незначительнее, чем они были при свете солнца, а Тихон распухал, расползался и говорил еще глупее, чем днем.

Беседы Ильи с Тихоном, укрепляя неприязнь Артамонова к дворнику, внушали ему какие-то неясные опасения. Он спрашивал сына:

— Чем тебя Тихон занимает?

— Интересный человек.

— Да чем интересен? Глупостью своей?

Илья тихо ответил:

— И глупость понимать надо.

Ответ понравился Артамонову.

— Это — верно: в глупости живем.

Но он тотчас же сообразил:

«Тихоновы слова!»

Сын возбуждал в нем какие-то особенные надежды; когда он видел, как Илья, сунув руки в карманы, посвистывая тихонько, смотрит из окна во двор на рабочих, или, не торопясь, идет по ткацкой, или, легким шагом, в поселок, отец удовлетворенно думал:

«Зоркий хозяин будет. И в дело войдет не так, как я: впрягли и — повез!»

Было несколько обидно, что сын неразговорчив, а если говорит, то кратко, как бы заранее обдуманными словами, они не возбуждают желания продолжать беседу.

«Суховат»,— думал Артамонов и утешал себя тем, что Илья выгодно не похож на крикливого болтуна Горицветова, на вялого, ленивого Якова и на Мирона, который, быстро теряя юношеское, говорил книжно, становился заносчив и похож на чиновника, который знает, что на каждый случай жизни в книгах есть свой, строгий закон.

Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и вот дети уже собираются уезжать. Выходит как-то так, что Наталья напутствует благими советами Якова, а отец говорит Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле? Об этом не говорят с мальчишками.

Артамонову старшему так хотелось испытать что-либо не похожее на обыкновенное, неизбежное, как снег, дождь, грязь, зной, пыль, что, наконец, он нашел или выдумал нечто. В глухом лесном углу уезда его захватила в пути июньская гроза с градом, с оглушающим треском грома и синими взрывами туч. По узкой лесной дороге неразличимо во тьме хлынул поток воды, земля под ногами лошадей растаяла и потекла, заливая колеса шарабана до осей. Жутко было, когда синий, холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли, а по бокам дороги, из мокрой тьмы, сквозь стеклянную сеть дождя, взлетали, под-

прыгивая от страха, черные деревья. Невидимые лошади остановились, фыркая, хлюпая копытами по воде, толстый кучер Яким, кроткий человек, ласково и робко успокаивал коней. Град, наполнив лес ледяным шумом, просы́пался быстро, но его сменил густой ливень, дробно охлестывая листву миллионами тяжелых капель, наполняя тьму сердитым воем.

— К Поповым надо ехать,— сказал Яким.

И вот Артамонов, одетый в чужое платье, обтянутый им, боясь пошевелиться, сконфуженно сидит, как во сне, у стола, среди теплой комнаты, в сухом, приятном полумраке; шумит никелированный самовар, чай разливает высокая, тонкая женщина, в чалме рыжеватых волос, в темном широком платье. На ее бледном лице хорошо светятся серые глаза; мягким голосом она очень просто и покорно, не жалуясь, рассказала о недавней смерти мужа, о том, что хочет продать усадьбу и, переехав в город, открыть там прогимназию.

— Это посоветовал мне ваш брат. Интересный он человек, такой живой, самобытный.

Петр завистливо крякнул, присматриваясь ко всему, что окружало его. В молодости, разъезжая с отцом по губернии, он часто бывал в барских домах, но ничего особенного не замечал в них, чувствуя только стеснение от людей и вещей, а в этом доме ничто не стесняло; здесь было что-то ласковое и праведное. Большая лампа под матовым абажуром обливала молочным светом посуду, серебро на столе и гладко причесанную, темную головку маленькой девочки с зеленым козырьком над глазами; пред нею лежала тетрадь, девочка рисовала тонким карандашом и мурлыкала тихонько, не мешая слушать ровную речь матери. Комната невелика, тесно заставлена мебелью, и все вещи точно вросли в нее, но каждая жила отдельно и что-то говорила о себе, так же, как три очень яркие картины на стенах; на картине против Петра белая, сказочная лошадь гордо изогнула шею; грива ее невероятно длинна, почти до земли. Всё удивительно уютно, спокойно, и, точно задумчивая песня, как будто издали доходя, звучал красивый голос хозяйки. Вот в таком окружении можно прожить всю жизнь без тревог, не сделав ничего плохого; имея

женой такую женщину, можно уважать ее, можно говорить с нею обо всем.

За дверью на террасу, сквозь полукруг разноцветных стекол, синевато взрывалось, вспыхивало черное небо, уже не пугая душу.

На заре Артамонов уехал, бережно увозя впечатление ласкового покоя, уюта и почти бесплотный образ сероглазой тихой женщины, которая устроила этот уют. Плывя в шарабане по лужам, которые безразлично отражали и золото солнца и грязные пятна изорванных ветром облаков, он, с печалью и завистью, думал:

«Вот как живут».

Он почему-то не сказал жене о своем знакомстве и скрыл его от Алексея; тем более неловко стало ему через несколько недель, когда, придя к брату, он увидал Попову рядом с Ольгой, на диване; брат толкнул его к дивану:

— Вот, Вера Николаевна, братишко мой.

Женщина, улыбаясь, протянула руку:

— Мы уже знакомы.

— Как это? — удивленно воскликнул Алексей.— Когда это? Ты что же не сказал?

В удивлении брата Петр почувствовал нечто нехорошее, и у него необъяснимо пошевелились волосы бороды; дернув себя за ухо, он ответил:

— Я — забыл.

Алексей, бесстыдно указывая на него пальцем, кричал:

— Смотрите — покраснел, а? Нет, ловко ты ответил, дитятко! Да разве эдакую даму, однажды увидев, можно забыть? Глядите — уши у него чешутся, растут!

Попова улыбалась необидно, ласково.

Пили мед со льдом из высоких граненых бокалов; мед привезла в подарок Ольге эта женщина, он был золотист, как янтарь, весело пощипывал язык, подсказывал Петру какие-то очень бойкие слова, но их некуда было вставить, брат непрерывно и беспокойно трещал:

— Нет, Вера Николаевна, вы не торопитесь продавать! Это надо продать любителю тишины, это — место для отдыха души. А наш брат — что вам даст?

Земли у вас нет, лесу — мало, да и — плохой, да и кому, кроме зайцев, лес нужен здесь?

Петр сказал:

— Продавать не надо.

— Почему же? — спросила Попова, задумчиво прихлебывая мед, и вздохнула: — Надо.

Петру не понравился внимательный взгляд Ольги и трепет ее губ, спрятавших улыбку: он мрачно выпил мед и промолчал в ответ Поповой.

Через два дня, в конторе, Алексей объявил ему, что намерен дать Поповой денег под заклад вещей.

— Усадьбе ее цена — семь целковых, а вот вещи...

— Не давай,— сказал Петр очень решительно.

— Почему? Я вещам цену знаю...

— Не давай.

— Да — почему? — кричал Алексей.— Я — со знатоком приеду к ней, с оценщиком.

Петр отрицательно мотал головою; ему очень хотелось отговорить брата от этой операции, но, не находя возражений, он вдруг предложил:

— Пополам дадим; ты — половину и я.

Алексей усмехнулся, глядя на него в упор.

— Чудить начинаешь?

— Значит — пора пришла,— сказал Петр Артамонов громко.

— Смотри: не в тот адрес! — предупредил брат.— Я — пробовал, она — рыба.

После двух-трех встреч с Поповой Артамонов выучился мечтать о ней. Он ставил эту женщину рядом с собою, и тотчас же возникала пред ним жизнь удивительно легкая, уютная, красивая внешне, приятно тихая внутренно, без необходимости ежедневно видеть десятки нерадивых к делу людей; всегда чем-то недовольные, они то кричали, жаловались, то лгали, стараясь обмануть, их назойливая лесть раздражала так же, как плохо скрытая, но всё растущая враждебность. Легко создавалась картина жизни вне всего этого, вдали от красного, жирного паука фабрики, всё шире ткавшего свою паутину. Он видел себя чем-то, подобным большому коту; ему тепло и спокойно, хозяйка лю-

бит его, охотно ласкает, и больше ему ничего не нужно. Ничего.

Как раньше мальчик Никонов был для него темной точкой, вокруг которой собиралось всё тяжелое и неприятное, так теперь Попова стала магнитом, который притягивал к себе только хорошие, легкие думы и намерения. Он отказался ехать с братом и каким-то хитрым старичком в очках в усадьбу Поповой оценивать ее имущество, но, когда Алексей, устроив дело с закладной, воротился, он предложил:

— Продай мне закладную.

Алексей был неприятно изумлен, долго выспрашивал, зачем это нужно, и наконец сказал:

— Послушай, мне это не выгодно! Заплатить ей — нечем, цена вещам — большая, понимаешь? Давай придачи!

Сторговались; Алексей, морщась, сказал:

— Желаю удачи. Дело — доброе.

Петр тоже чувствовал, что им сделано хорошее дело: он подарил себе угол для отдыха.

— Жене твоей — не говорить? — спросил брат, подмигнув.

— Твое дело.

Испытующе глядя на него, Алексей сказал:

— Ольга думает, что влюбился ты в Попову.

— А это — мое дело.

— Не рычи. В эти, в наши годы почти все мужчины шалят.

Грубо и сердито Петр ответил:

— Ты меня не трогай...

Вскоре он почувствовал, что Ольга стала говорить с ним еще более дружелюбно, но как-то жалостливо; это не понравилось ему, и, осенним вечером, сидя у нее, он спросил:

— Тебе муж плел чего-нибудь насчет Поповой?

Погладив легкой рукой своей его волосатую руку, она сказала:

— Дальше меня это не пойдет.

— Оно никуда не пойдет,— сказал Артамонов, стукнув кулаком по колену.— Оно — со мной останется. Тебе этого не понять. Ты ей не говори ничего.

Он не испытывал вожделения к Поповой, в мечтах она являлась пред ним не женщиной, которую он желал, а необходимым дополнением к ласковому уюту дома, к хорошей, праведной жизни. Но когда эта женщина переехала в город, он стал часто видеть ее у Алексея и вдруг почувствовал себя ошеломленным. Он увидал ее у постели заболевшей Ольги; засучив рукава кофты, наклонясь над тазом, она смачивала водою полотенце, сгибалась, разгибалась; удивительно стройная, с небольшими девичьими грудями, она была неотразимо соблазнительна. Стоя у двери, Артамонов молча, исподлобья смотрел на ее белые руки, на тугие икры ног, на бедра, вдруг окутанный жарким туманом желания до того, что почувствовал ее руки вокруг своего тела. В ответ на ее приветствие он, с трудом согнув шею, прошел к окну и сел там, отдуваясь, угрюмо спрашивая:

— Что же ты это, Ольга? Нехорошо...

Впервые женщина действовала на него так властно и сокрушительно; он даже испугался, смутно ощущая в этом нечто опасное, угрожающее. Послав своего кучера за доктором, он тотчас ушел пешком по дороге на фабрику.

Был конец февраля; оттепель угрожала вьюгой; серенький туман висел над землею, скрывая небо, сузив пространство до размеров опрокинутой над Артамоновым чаши; из нее медленно сыпалась сырая, холодная пыль; тяжело оседая на волосах усов, бороды, она мешала дышать. Артамонов, шагая по рыхлому снегу, чувствовал себя так же смятым и раздавленным, как в ночь покушения Никиты на самоубийство и в час убийства Павла Никонова. Сходство тяжести этих двух моментов было ясно ему и тем более опасным казался третий. Было ясно, что он никогда не сумеет сделать эту барыню любовницей своей. Он уже и в этот час видел, что внезапно вспыхнувшее влечение к Поповой ломает и темнит в нем что-то милое ему, отодвигая эту женщину в ряд обычного. Он слишком хорошо знал, что такое жена, и у него не было причин думать, что любовница может быть чем-то или как-то лучше женщины, чьи пресные, обязательные ласки почти уже не возбуждали его.

«Чего надо? — спрашивал он себя.— Блудить хочешь? Жена есть».

Всегда в часы, когда ему угрожало что-нибудь, он ощущал напряженное стремление как можно скорей перешагнуть чрез опасность, оставить ее сзади себя и не оглядываться назад. Стоять пред чем-то угрожающим — это то же, что стоять ночью во тьме на рыхлом весеннем льду, над глубокой рекою; этот ужас он испытал, будучи подростком, и всем телом помнил его.

Через несколько дней, прожитых в тяжелом, чадном отупении, он, после бессонной ночи, рано утром вышел на двор и увидал, что цепная собака Тулун лежит на снегу в крови; было еще так сумрачно, что кровь казалась черной, как смола. Он пошевелил ногою мохнатый труп, Тулун тоже пошевелил оскаленной мордой и взглянул выкатившимся глазом на ногу человека. Вздрогнув, Артамонов отворил низенькую дверь сторожки дворника, спросил, стоя на пороге:

— Кто убил собаку?

— Я,— сказал Тихон, держа блюдечко чая на пяти растопыренных пальцах.

— Зачем это?

— Опять человека укусила.

— Кого?

— Зинаиду, Серафимову дочь.

Задумавшись о чем-то, помолчав, Петр сказал:

— Жалко пса.

— А — как же? Я его вскормил. А он и на меня стал рычать. Положим, и человек сбесится, если его на цепь посадить...

— Верно,— сказал Артамонов и ушел, очень плотно прикрыв дверь за собой, думая:

«Иной раз даже этот разумно говорит».

Он постоял среди двора, прислушиваясь к шороху и гулу фабрики. В дальнем углу светилось желтое пятно — огонь в окне квартиры Серафима, пристроенной к стене конюшни. Артамонов пошел на огонь, заглянул в окно,— Зинаида в одной рубахе сидела у стола, пред лампой, что-то ковыряя иглой; когда он вошел в комнату, она, не поднимая головы, спросила:

— Зачем вернулся?

Но, вскинув глаза, бросила шитье на стол, встала улыбаясь, вскрикнув:

— Ой, господи! А я думала — отец...

— Тебя, слышь, Тулун укусил?

— Да ведь как! — точно хвастаясь, сказала она и, поставив ногу на стул, приподняла подол рубахи: — Глядите-ко!

Артамонов мельком взглянул на белую ногу, перевязанную под коленом, и подошел вплоть к девице, спрашивая глухо:

— А ты зачем, на заре, по двору бегаешь? Зачем, а?

Вопросительно взглянув в лицо его, она тотчас же догадливо усмехнулась, сильно дунув в стекло лампы, погасила ее и сказала:

— Дверь надобно запереть.

Через полчаса Петр Артамонов не торопясь шел на фабрику, приятно опустошенный; дергал себя за ухо, поплевывал, с изумлением вспоминая бесстыдство ласк шпульницы, и усмехался: ему казалось, что он кого-то очень ловко обманул, обошел...

Он вломился в разгульную жизнь фабричных девиц, как медведь на пасеку. Вначале эта жизнь, превышая всё, что он слышал о ней, поразила его задорной наготою слов и чувств; всё в ней было развязано, показывалось с вызывающим бесстыдством, об этом бесстыдстве пели и плакали песни, Зинаида и подруги ее называли его — любовь, и было в нем что-то острое, горьковатое, опьяняющее сильнее вина.

Артамонов знал, что служащие фабрики называют прислонившуюся к стене конюшни хижину Серафима «Капкан», а Зинаиде дали прозвище Насос. Сам плотник называл жилище свое «Монастырем». Сидя на скамье около печи, всегда с гуслями на расшитом полотенце, перекинутом через плечо, за шею, он, бойко вскидывая кудрявую головку, играя розовым личиком, подмигивал, покрикивал:

— Веселись, монашенки! Ведь это, Петр Ильич, монахини, ты что думаешь? Они веселому чёрту послух несут, а я у них — настоятель, вроде попа, звонкие косточки! Кинь рублик на веселье жизни!

Получив деньги, он совал их за онучу и разудало пел, подыгрывая на гуслях:

Сидит барыня в аду,
Просит жареного льду.
Черти ее, глупую,
Кочергою щупают!

— Много прибауток знаешь ты,— удивлялся хозяин, а старичок хвастливо балагурил:

— Сито! Я — как сито; какую хошь дрянь насыпь в меня, я тебе песню отсею. Такой я человек — сито!

И рассказывал:

— Меня этому господа выучили; были такие замечательные господа Кутузовы, и был господин Япушкин, тоже пьяница. Притворялся бедным,— хитрый! — ходил пешком с коробом за плечами, будто мелочью торговал, а сам всё, что видит, слышит,— записывал. Писал, писал да — к царю: «Гляди, говорит, твое величество, о чем наши мужики думают!» Поглядел царь, почитал записи, смутился душой и велел дать мужикам волю, а Япушкину поставить в Москве медный памятник, самого же его — не трогать, а сослать живого в Суздаль и поить вином, сколько хочет, на казенный счет. Потому, видишь, что Япушкин еще много записал тайностей про народ, ну только они были царю не выгодны и требовалось их скрыть. Там, в Суздале, Япушкин снился до смерти, а записи у него, конечно, выкрали.

— Врешь ты что-то,— заметил Артамонов.

— Кроме девок — никогда, никому не врал, это не мое рукомесло,— говорил старик, и трудно было понять, когда он не шутит.

— Врет, кто правду знает,— балагурил он,— а я врать не могу, я правды не знаю. То есть, ежели хочешь,— я тебе скажу: я правды множество видел, и мой куплет таков: правда — баба, хороша, покаместь молода.

Но, не зная правды, он знал бесконечно много историй о господах, о их забавах и несчастиях, о жестокости и богатстве и, рассказывая об этом, добавлял всегда с явным сожалением:

— Ну, однако им — конец! С точки жизни съехали, сами себя не понимают! Сорвались...

Он писал пальцем круг над своей головой и, быстро опустив руку, чертил такой же круг над полом.

— Зашалились! — говорил он, подмигивая, и пел:

Жили-были господа,
Кушали телятину.
И проели господа
Худобишку тятину!

Рассказывал Серафим о разбойниках и ведьмах, о мужицких бунтах, о роковой любви, о том, как ночами к неутешным вдовам летают огненные змеи, и обо всем он говорил так занятно, что даже неуемная дочь его слушала эти сказки молча, с задумчивой жадностью ребенка.

В Зинаиде Артамонов брезгливо наблюдал соединение яростного распутства с расчетливой деловитостью. Он не однажды вспоминал клевету Павла Никонова,— клевету, которая оказалась пророчеством.

«Почему — эту выбрал я? — спрашивал он себя.— Есть — красивее. Хорош буду, когда сын узнает про нее».

Он замечал также, что Зинаида и подруги ее относятся к своим забавам, точно к неизбежной повинности, как солдаты к службе, и порою думал, что бесстыдством своим они тоже обманывают и себя и еще кого-то. Его скоро стала отталкивать от Зинаиды ее назойливая жадность к деньгам, попрошайничество; это было выражено в ней более резко, чем у Серафима, который тратил деньги на сладкое вино «Тенериф»,— он почему-то называл его «репным вином»,— на любимую им колбасу с чесноком, мармелад и сдобные булки.

Артамонову очень нравился легкий, забавный старичок, искусный работник, он знал, что Серафим также нравится всем, на фабрике его звали — Утешитель, и Петр видел, что в этом прозвище правды было больше, чем насмешки, а насмешка звучала ласково.

Тем более непонятна и неприятна была ему дружба Серафима с Тихоном, Тихон же как будто нарочно углублял эту неприязнь. День именин Вялова на двадцатом

году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днем для именинника.

— Подумай, какой он редкий человек! — сказала она мужу.— За двадцать лет ничего худого не видели мы от него. Как восковая свеча теплится.

Желая особенно почтить дворника, Петр сам понес ему подарки. В сторожке его встретил нарядный Серафим, за ним стоял Тихон, наклонив голову, глядя на сапоги хозяина.

— От меня тебе — часы, на! От жены — сукно на поддевку. И вот еще — деньги.

— Деньги — лишние,— пробормотал Тихон, потом сказал:

— Спасибо.

Он пригласил хозяина выпить «Тенерифа», подаренного Серафимом, а старичок тотчас же заиграл словами:

— Ты, Петр Ильич, нам цену знаешь, а мы — тебе. Мы понимаем: медведь любит мед, а кузнец железо кует; господа для нас медведи были, а ты — кузнец. Мы видим: дело у тебя большое, трудное.

Тут Вялов, вертя в пальцах серебряные часы, сказал, глядя на них:

— Дело — перила человеку; по краю ямы ходим, за них держимся.

— Вот! — закричал Серафим, чему-то радуясь,— верно! А то бы упали, значит!

— Ну, это вы говорите зря,— сказал Артамонов.— Потому что вы не хозяева. Вам — не понять...

Он не находил достаточно сильных возражений, хотя слова Тихона сразу рассердили его. Не впервые Тихон одевал ими свою упрямую, темную мысль, и она всё более раздражала хозяина. Глядя на обильно смазанную маслом, каменную голову дворника, он искал подавляющих слов и сопел, дергая ухо.

— Дела, конечно, разные,— примирительно заговорил Серафим: — есть — плохие, есть — хорошие...

— Хорош нож, да горлу невтерпеж,— проворчал Тихон.

Хозяину захотелось крепко обругать именинника, и, едва сдержав это желание, он строго спросил:

— Что ты, как всегда, неразумно бормочешь о деле? Понять нельзя...

Тихон, глядя под стол, согласился:

— Понять — трудно.

Снова заговорил плотник:

— Он, Петр Ильич, только безобидные дела признает...

— Постой, Серафим, пускай он сам скажет.

Тогда Тихон, не шевелясь, показывая хозяину серую, в ладонь величиной, лысину на макушке, вздохнул:

— Делам чёрт Каина обучил...

— Вот он как загибает! — крикнул Серафим, ударив себя ладонью по колену.

Артамонов встал со стула и сердито посоветовал дворнику:

— Ты бы лучше не говорил о том, чего тебе не понять. Да.

Он ушел из сторожки возмущенный, думая о том, что Тихона следует рассчитать. Завтра же и рассчитать бы. Ну — не завтра, а через неделю. В конторе его ожидала Попова. Она поздоровалась сухо, как незнакомая, садясь на стул, ударила зонтиком в пол и заговорила о том, что не может уплатить сразу все проценты по закладной.

— Это пустяки,— тихо сказал Петр, не глядя на нее, и услыхал ее слова:

— Если вы не согласны отсрочить,— за вами право отказать мне.

Она сказала это обиженно и, вновь стукнув зонтом, ушла так неожиданно быстро, что он успел взглянуть на нее лишь тогда, когда она притворяла дверь за собою.

«Рассердилась, — сообразил Артамонов. — За что же?»

Через час он сидел у Ольги, хлопая фуражкой по дивану, и говорил:

— Ты ей скажи: мне процентов не надо и денег не надо с нее. Какие это деньги? И чтобы она не беспокоилась, понимаешь?

Разбирая пестрые мотки шёлка, передвигая по столу коробочки с бисером, Ольга сказала задумчиво:

— Я-то понимаю, а она едва ли поймет.

— А ты сделай так, чтоб она. Что мне ты?

— Спасибо,— сказала Ольга, блеснув очками, эта стеклянная улыбка вызвала у Петра раздражение.

— Не шути! — грубовато сказал он.— Мою свинью в ее огороде я не надеюсь пасти, не ищу этого,— не думай!

— Ох, мужик,— вздохнув, сказала Ольга, сомнительно качая гладко причесанной головою.

Петр крикнул:

— Ты — верь! Я знаю, что говорю...

— Ох, знаешь ли?

Охала она сочувственно, это Артамонов слышал. Он видел, что глаза ее смотрят на него через очки жалобно, почти нежно, но это только сердило его. Он хотел сказать ей нечто убедительно ясное и не находил нужных слов, глядя на подоконник, где среди мясистых листьев бегоний, похожих на звериные уши, висели изящные кисти цветов.

— Мне усадьбу ее жалко. Это замечательная усадьба, да! Она там — родилась...

— Родилась она в Рязани...

— Она там привыкла, всё равно! А у меня там душа первый раз спокойно уснула...

— Проснулась,— поправила Ольга.

— Это — всё равно для души — уснула, проснулась...

Он долго говорил что-то, что самому ему было неясно, Ольга слушала, облокотясь на стол, а когда у него иссякли слова, сказала:

— Теперь послушай меня...

И поведала ему, что Наталья, зная о его возне со шпульницей, обижена, плачет, жалуется на него. Но Артамонова не тронуло это.

— Хитрая,— сказал он, усмехаясь.— Ни словом не дала мне понять, что знает. Тебе жаловалась? Так. А ведь она тебя не любит.

Подумав, он добавил:

— Зинаиду прозвали Насос, это — верно! Она из меня всю дрянь высосала.

— Гадости говоришь,— поморщилась Ольга и

вздохнула.— Помнится, я тебе сказала как-то, что душа у тебя — приемыш, так и есть, Петр, боишься ты сам себя, как врага...

Эти слова задели его:

— Дерзко ты говоришь со мной; мальчишка я, что ли? Ты бы вот о чем подумала: вот я говорю с тобой, и душа моя открыта, а больше мне не с кем говорить эдак-то. С Натальей — не разговоришься. Мне ее иной раз бить хочется. А ты... Эх вы, бабы!..

Он надел фуражку и, внезапно охваченный немой скукой, ушел, думая о жене,— он давно уж не думал о ней, почти не замечал ее, хотя она, каждую ночь, пошептавшись с богом, заученно ласково укладывалась под бок мужа.

«Знает, а лезет,— гневно думал он.— Свинья».

Жена была знакомой тропою, по которой Петр, и ослепнув, прошел бы не споткнувшись; думать о ней не хотелось. Но он вспомнил, что теща, медленно умиравшая в кресле, вся распухнув, с безобразно раздутым, багровым лицом, смотрит на него всё более враждебно; из ее когда-то красивых, а теперь тусклых и мокрых глаз жалобно текут слезы; искривленные губы шевелятся, но отнявшийся язык немо вываливается изо рта, бессилен сказать что-либо; Ульяна Баймакова затискивает его в рот пальцами полуживой левой руки.

«Эта— чувствует. Ее жалко».

Ему все-таки нужно было большое усилие воли, чтоб прекратить бесстыдную возню с Зинаидой. Но как только он сделал это,— тотчас же, рядом с похмельными воспоминаниями о шпульнице, явились какие-то ноющие думы. Как будто родился еще другой Петр Артамонов, он жил рядом с первым, шел за спиной его. Он чувствовал, что этот двойник растет, становится ощутимей и мешает ему во всем, что он, Петр Артамонов настоящий, призван и должен делать. Этот, другой, ловко пользуясь минутами внезапно, как ветер из-за угла, налетавшей задумчивости, нашептывал ему досадные, едкие мысли:

«Работаешь, как лошадь, а — зачем? Сыт на всю жизнь. Пора сыну работать. От любви к сыну — маль-

чишку убил. Барыня понравилась — распутничать начал».

Всегда, после того как скользнет такая мысль, жизнь становилась темней и скучней.

Он как-то недоглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Не одно это событие прошло незаметно; так же незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого парня с черненькими усиками, сына богатого ювелира; так же, между прочим, умерла наконец, задохнулась теща, знойным полуднем июня, перед грозою; еще не успели положить ее на кровать, как где-то близко ударил гром, напугав всех:

— Окна, двери закройте! — крикнула Наталья, подняв руки к ушам; огромная нога матери вывалилась из ее рук и глухо стукнула пяткой о пол.

Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий, стройный человек в серой легкой паре, с заметными усами на исхудавшем смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста, был больше похож на себя. Сыновья вежливо поздоровались, сели.

— Вот,— сказал отец, шагая по конторе,— вот и бабушка померла.

Илья промолчал, закуривая папиросу, а Яков выговорил новым, не своим голосом:

— Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал.

Пропустив мимо ушей неумные слова младшего, Артамонов присматривался к лицу Ильи; значительно изменясь, оно окрепло, лоб, прикрытый прядями потемневших волос, стал не так высок, а синие глаза углубились. Было и забавно и как-то неловко вспомнить, что этого задумчивого человека в солидном костюме он трепал за волосы; даже не верилось, что это было. Яков просто вырос, он только увеличился, оставшись таким же пухлым, каким был, с такими же радужными глазами. И рот у него был еще детский.

— Сильно вырос ты, Илья,— сказал отец.— Ну, вот, присматривайся к делу, а годика через три и к рулю встанешь.

Играя корешковой папиросницей, с отбитым уголком, Илья взглянул в лицо отца:

— Нет, я буду учиться еще.

— Долго ли?

— Года четыре, пять.

— Эко! Чему это?

— Истории.

Артамонову не понравилось, что сын курит, да и папиросница у него плохая, мог бы купить лучше. Ему еще более не понравилось намерение Ильи учиться и то, что он сразу, в первые же минуты, заговорил об этом.

Указав в окно на крышу фабрики, где фыркала паром тонкая трубка и откуда притекал ворчливый гул работы, он сказал внушительно, стараясь говорить мягко:

— Вот она пыхтит, история! Ей и надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история — дело не наше. Мне пятьдесят, пора меня сменить.

— Мирон сменит, Яков. Мирон будет инженером,— сказал Илья и, высунув руку за окно, стряхнул пепел папиросы. Отец напомнил:

— Мирон — племянник, а не сын. Ну, об этом после поговорим...

Дети встали, ушли, отец проводил их обиженным и удивленным взглядом; что же — у них нечего сказать ему? Посидели пять минут, один, выговорив глупость, сонно зевнул, другой — надымил табаком и сразу огорчил. Вот они идут по двору, слышен голос Ильи:

— Пойдем посмотрим на реку?

— Нет, я устал. Растрясло.

«Река и завтра не утечет, а мать огорчена смертью родительницы своей, захлопоталась на похоронах».

Подчиняясь своей привычке спешить навстречу неприятному, чтоб скорее оттолкнуть его от себя, обойти, Петр Артамонов дал сыну неделю отдыха и приметил за это время, что Илья говорит с рабочими на «вы», а по ночам долго о чем-то беседует с Тихоном и Серафимом, сидя с ними у ворот; даже подслушал из окна, как Тихон мертвеньким голосом своим выливал дурацкие слова:

— Так, так! Жить нищим — значит не с чем жить. Верно, Илья Петрович, если не жадовать — на всех всего хватит.

А Серафим весело кудахтал:

— Это я знаю! Это я да-авно слышал...

Яков вел себя понятнее: бегал по корпусам, ласково поглядывал на девиц, смотрел с крыши конюшни на реку, когда там, в обеденное время, купались женщины.

«Бычок,— хмуро думал отец.— Надо сказать Серафиму, чтоб присмотрел за ним, не заразился бы...»

Во вторник день был серенький, задумчивый и тихий. Рано утром, с час времени, на землю падал, скупо и лениво, мелкий дождь, к полудню выглянуло солнце, неохотно посмотрело на фабрику, на клин двух рек и укрылось в серых облаках, зарывшись в пухлую мякоть их, как Наталья, ночами, зарывала румяное лицо свое в пуховые подушки.

Пред вечерним чаем Артамонов спросил Якова:

— А где брат?

— Не знаю; сидел там на холме, под сосной.

— Позови. Нет, не надо. Как вы — согласно живете?

Ему показалось, что младший сын едва заметно усмехнулся, говоря:

— Ничего, дружно.

— А — все-таки? Правду говори...

Яков опустил глаза, подумал:

— В мыслях — не очень согласны.

— В каких мыслях?

— Вообще, обо всем.

— В чем же?

— Он всё по книгам, а я — просто, от ума. Как вижу.

— Так,— сказал отец, не умея спросить более подробно.

Накинул на плечи парусиновое пальто, взял подарок Алексея, палку с набалдашником — серебряная птичья лапа держит малахитовый шар — и, выйдя за ворота, посмотрел из-под ладони к реке на холм,— там под деревом лежал Илья в белой рубахе.

«А песок сегодня сыроват. Простудиться может, неосторожный».

Не спеша, честно взвешивая тяжесть всех слов, какие необходимо сказать сыну, отец пошел к нему, приминая ногами серые былинки, ломко хрустевшие. Сын лежал вверх спиною, читал толстую книгу, постукивая по страницам карандашом; на шорох шагов он гибко изогнул шею, посмотрел на отца и, положив карандаш между страниц книги, громко хлопнул ею; потом — сел, прислонясь спиною к стволу сосны, ласково погладив взглядом лицо отца. Артамонов старший, отдуваясь, тоже присел на обнаженный, дугою выгнутый корень.

«Не буду сегодня говорить о деле, успею еще, поболтаем просто».

Но Илья, обняв колена свои руками, сказал негромко:

— Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке.

— Посвятить,— повторил отец.— Как в попы.

Он хотел сказать шутливо, но услыхал, что слова его прозвучали угрюмо, почти сердито; он, с досадой на себя, ударил палкой по песку. И тотчас началось что-то непонятное, ненужное; синь глаз Ильи потемнела, четко выведенные брови сдвинулись, он откинул волосы со лба и с нехорошей настойчивостью заговорил:

— Фабрикантом я не буду, я для этого дела не способен...

— Эдак-то вот Тихон говорит,— вставил отец, усмехаясь.

Не обратив внимания на его слова, сын начал объяснять, почему он не хочет быть фабрикантом и вообще хозяином какого-либо дела; говорил он долго, минут десять, и порою в словах его отец улавливал как будто нечто верное, даже приятно отвечавшее его смутным думам, но в общем он ясно видел, что сын говорит неразумно, по-детски.

— Постой,— сказал он, ткнув палкой в песок, около ноги сына.— Погоди, это не так. Это — чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Без корысти никто не станет работать. Всегда говорится: «Какая мне корысть?» Все вертятся на это вере-

тено. Гляди, сколько поговорок: «Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша». Или: «И святой барыша ради молится». «Машина — вещь мертвая, а и она смазки просит».

Он говорил не волнуясь и, вспоминая подходящие пословицы, обильно смазывал жиром их мудрости речь свою. Ему нравилось, что он говорит спокойно, не затрудняясь в словах, легко находя их, и он был уверен, что беседа кончится хорошо. Сын молчал, пересыпая песок из горсти в горсть, отсеивал от него рыжие иглы хвои и сдувал их с ладони. Но вдруг он сказал, тоже спокойно:

— Всё это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить.

Артамонов старший приподнялся, опираясь на палку, сын не помог ему.

— Так. Значит, отец говорит неправду?

— Есть другая правда.

— Врешь. Другой — нет.

И, махнув палкой в сторону фабрики, отец сказал:

— Вон она, правда! Дедушка твой ее начал, я туда положил всю жизнь, а теперь — твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы — работали, а тебе — гулять? На чужом труде праведником жить хочешь? Не плохо придумал! История! Ты на историю плюнь. История — не девица, на ней не женишься. И — какая там, дура, история? К чему она? А я тебе лентяйничать не дам...

Почувствовав, что он стал говорить излишне сердито, Петр Артамонов попытался сгладить свои слова:

— Я — понимаю, тебе в Москве жить хочется; там веселее, вот и Алексей...

Илья поднял книгу, сдул с нее песчинки и сказал:

— Разрешите учиться.

— Не разрешаю! — вскрикнул отец, воткнув палку в песок.— Не проси.

Тогда Илья тоже встал и, глядя через плечо отца побелевшими глазами, сказал негромко:

— Ну что ж, мне придется обойтись без разрешения.

— Не смеешь!

— Нельзя запретить человеку жить, как он хочет,— сказал Илья, тряхнув головою.

— Человеку? Ты — сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе всё — мое.

Это вырвалось как-то само собою, этого не надо было говорить. И, смягчив голос, отец сказал, качая головою укоризненно:

— Так-то платишь ты за мои заботы о тебе? Эх, дурень...

Он видел, что Илья покраснел и у него дрожат руки, сын хочет спрятать их в карманы брюк, а руки не находят карманов. И, боясь, что сын скажет что-то лишнее, даже непоправимое, он торопливо сам сказал:

— Ради тебя я человека убил... Может быть...

Артамонов прибавил — может быть — потому, что, сказав первые слова, тотчас понял: их тоже нельзя было говорить в такую минуту мальчишке, который явно не хочет понять его.

«Сейчас спросит: какого человека?» — подумал он и быстро шагнул вниз по сыпучему склону холма, а сын оглушительно сказал в затылок ему:

— Не одного убили вы, вон там целое кладбище убитых фабрикой.

Артамонов остановился, оберпулся; Илья, протянув руку, указывал книгой на кресты в сером небе. Песок захрустел под ногами отца, Артамонов вспомнил, что за несколько минут пред этим он уже слышал что-то обидное о фабрике и кладбище. Ему хотелось скрыть свою обмолвку, нужно, чтоб сын забыл о ней, и, по-медвежьи, быстро идя на него, размахивая палкой, стремясь испугать, Артамонов старший крикнул:

— Ты что сказал, подлец?

Илья отскочил за ствол дерева:

— Образумьтесь! Что вы?

Отец ударил палкой по стволу, она переломилась; бросив обломок ее к ногам сына так, что обломок косо, кверху зеленым шаром, воткнулся в песок, Петр Артамонов пригрозил:

— Нужники чистить заставлю!

И быстро пошел, покатился прочь, шатаясь, чувствуя, что разум его снует в словах горя и гнева, как челнок в запутанной основе.

«Выгоню. Нужда заставит — воротится. Тогда — нужники чистить. Да, не дури!» — отрывал он коротенькие мысли от быстро вертевшегося клубка их и в то же время смутно понимал, что вел себя не так, как следовало, пересолил, раздул обиду свою.

Выйдя на берег Оки, он устало сел на песчаном обрыве, вытер пот с лица и стал смотреть в реку. В маленькой, неглубокой заводи плавала стайка плотвы, точно стальные иглы прошивали воду. Потом, важно разводя плавниками, явился лещ, поплавал, повернулся на бок и, взглянув красненьким глазком вверх, в тусклое небо, пустил по воде светлым дымом текучие кольца.

Артамонов, погрозив лещу пальцем, вслух сказал:

— Я тебе устрою судьбу!

И — оглянулся, услыхав, что слова звучали фальшиво. Спокойное течение реки смывало гнев; тишина, серенькая и теплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком двадцать лет непрерывно и тревожно думал, вдруг, в несколько минут, выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов был уверен, что ежедневно, неутомимо все двадцать лет он думал только о сыне, жил надеждами на него, любовью к нему, ждал чего-то необыкновенного от Ильи.

«Как спичка,— вспыхнула, и — нет ее! Что же это?»

Серое небо чуть порозовело; в одном месте его явилось пятно посветлее, напоминая масленый лоск на заношенном сукне. Потом выглянула обломанная луна; стало свежо и сыро; туман легким дымом поплыл над рекой.

Артамонов пришел домой, когда жена, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти. Искоса взглянув на мужа, она спросила:

— Ты куда это Илью послал?

— К чёрту,— ответил он, раздеваясь.

— Всё сердишься ты,— вздохнула Наталья; муж промолчал, посапывая, возясь нарочито шумно. Дождь

начал кропить стекла окон, влажный шёпот поплыл по саду.

— Уж очень загордился Илья ученьем.

— У него мать — дура.

Мать втянула носом воздух и, перекрестясь, легла в постель, а Петр, раздеваясь, с наслаждением обижал ее:

— Что ты можешь? Ничего. Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь: есть да спать. Да рожу мазать себе.

Жена сказала в подушку:

— А кто учиться отдавал их? Я говорила...

— Молчи!

Он тоже замолчал, прислушиваясь, как всё сильнее падает дождь на листья черемухи, посаженной Никитой.

«Благую долю выбрал горбатый. Ни детей, ни дела. Пчелы. Я бы и пчел не стал разводить, пусть каждый, как хочет, сам себе мед добывает».

Повернувшись вверх грудью так осторожно, как будто она лежала на льду, Наталья дотронулась теплой щекою до плеча мужа.

— Поругался ты с Ильей?

Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном; он проворчал:

— С детями — не ругаются, их ругают.

— В город уехал он.

— Воротится. Даром нигде не кормят. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Спи, не мешай мне.

Через минуту он сказал:

— Якову учиться больше не надо.

И еще через минуту:

— Послезавтра на ярмарку поеду. Слышишь?

— Слышу.

«Что же это такое? — соображал Артамонов, закрыв глаза, но видя пред собою лобастое лицо, вспоминая нестерпимо обидный блеск глаз Ильи.— Как работника, рассчитал отца, подлец! Как нищего оттолкнул...»

Поражала непонятная быстрота разрыва; как будто Илья уже давно решил оторваться. Но — что понудило

его на этот поступок? И, вспоминая резкие, осуждающие слова Ильи, Артамонов думал:

«Мирошка, лягавая собака, настроил его. А о том, что дела человеку вредны, это — Тихоновы мысли. Дурак, дурак! Кого слушал? А — учился! Чему же учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко. И бежит прочь, чтобы вырастить в сторонке свою праведность».

От этой мысли обида на Илью вспыхнула еще ярче.

«Нет, врешь, не увильнешь!»

Тут вспомнился Никита, отбежавший в сторону, в тихий угол:

«Все меня впрягают в работу, а сами бегут».

Но Артамонов тотчас же уличил себя: это — неправильно, вот Алексей не убежал, этот любит дело, как любил его отец. Этот — жаден, ненасытно жаден, и всё у него ловко, просто. Он вспомнил, как однажды, после пьяной драки на фабрике, сказал брату:

— Портится народ.

— Заметно,— согласился Алексей.

— Злятся все отчего-то. Как будто все смотрят одной парой глаз...

Алексей и с этим согласился; усмехаясь, он сказал:

— И это — верно. Иной раз я вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон разглядывал отца, когда тот на твоей свадьбе с солдатами боролся. Потом сам стал бороться. Помнишь?

— Ну, что там Тихон? Это — убогий.

Тогда Алексей заговорил серьезно:

— Ты что-то часто говоришь об этом: портятся люди, портятся. Но ведь это дело не наше; это дело попов, учителей, ну — кого там? Лекарей разных, начальства. Это им наблюдать, чтобы народ не портился, это — их товар, а мы с тобой — покупатели. Всё, брат, понемножку портится. Ты вот стареешь, и я тоже. Однако ведь ты не скажешь девке: не живи, девка, старухой будешь!

«Умен, бес,— подумал Артамонов старший.— Просто умен».

И, слушая бойкую, украшенную какими-то новыми прибаутками речь брата, позавидовал его живости,

снова вспомнил о Никите; горбуна отец наметил утешителем, а он запутался в глупом, бабьем деле, и — нет его.

Много передумал в эту дождливую ночь Артамонов старший. Сквозь горечь его размышлений струйкой дыма пробивались еще какие-то другие, чужие мысли, их как будто нашептывал темный шумок дождя, и они мешали ему оправдать себя.

— А в чем я виноват? — спрашивал он кого-то и, хотя не находил ответа, почувствовал, что это вопрос не лишний. На рассвете он внезапно решил съездить в монастырь к брату; может быть, там, у человека, который живет в стороне от соблазнов и тревог, найдется что-нибудь утешающее и даже решительное.

Но, подъезжая на паре почтовых лошадей к монастырю, разбитый тряской по проселочной дороге, он думал:

«Это — просто, в уголке стоять; нет, ты побегай по улице! В погребе огурец не портится, а на солнце — живо гниет».

Он не видел брата уже четыре года; последнее свидание с Никитой было скучно, сухо: Петру показалось, что горбун смущен, недоволен его приездом; он ежился, сжимался, прячась, точно улитка в раковину; говорил кисленьким голосом не о боге, не о себе и родных, а только о нуждах монастыря, о богомольцах и бедности народа; говорил нехотя, с явной натугой. Когда Петр предложил ему денег, он сказал тихо и небрежно:

— Настоятелю дай, мне не надо.

Было видно, что все монахи смотрят на отца Никодима почтительно; а настоятель, огромный, костлявый, волосатый и глухой на одно ухо, был похож на лешего, одетого в рясу; глядя в лицо Петра жутким взглядом черных глаз, он сказал излишне громко:

— Отец Никодим — украшение бедной обители нашей.

Монастырь, спрятанный на невысоком пригорке, среди частокола бронзовых сосен, под густыми кронами их, встретил Артамонова будничным звоном жиденьких колоколов, они звали к вечерней службе. Привратник, прямой и длинный, как шест, с маленькой, ненуж-

ной, детской головкой, в скуфейке, выгоревшей, измятой, отворив ворота, пробормотал, заикаясь, захлебываясь:

— Д-до-б-бро...

И сразу, со свистом, выдохнул:

— П-пож-жаловать.

Сизо-синяя туча, покрыв половину неба, неподвижно висела над монастырем, от нее всё кругом придавлено густой, сыровато-душной скукой, медный крик колоколов был бессилен поколебать ее.

— Одному не поднять,— виновато сказал служка гостиницы, попробовав вытащить из кибитки ящик с подарками Никите, и стукнул по ящику маленьким черным кулаком.

Пыльный и усталый, Петр медленно пошел в сад к белой келье брата, уютно спрятанной среди вишен и яблонь; шел и думал, что напрасно он приехал сюда, лучше бы ехать на ярмарку. Тряская лесная дорога, перепутанная корневищем, взболтала, смешала все горестные думы, заменив их нудной тоской, желанием отдыха, забытья.

«Кутнуть бы хорошенько».

Он увидел брата сидящим на скамье, в полукружии молодых лип, перед ним, точно на какой-то знакомой картинке, расположилось человек десять богомолов: чернобородый купец в парусиновом пальто, с ногой, обернутой тряпками и засунутой в резиновый ботик; толстый старик, похожий на скопца-менялу; длинноволосый парень в солдатской шинели, скуластый, с рыбьими глазами; столбом стоял, как вор пред судьей, дремовский пекарь Мурзин, пьяница и буян, и хрипло говорил:

— Правильно: бог — далеко.

Чертя по утоптанной земле беленьким посошком, не глядя на людей, Никита поучал:

— И чем ниже человек, тем выше от него бог, гонимый смрадом гниения нашего во грехах.

«Утешает»,— подумал Артамонов старший и мысленно усмехнулся.

— Бог — видит: бездельно веруем; а без дел вера — на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь?

И о чем молим? Всё о мелких пустяках. Молиться надобно, а все-таки...

Он поднял глаза, с минуту молча смотрел на брата, пристально, снизу вверх. И медленно, как большую тяжесть, поднимал посох, как бы намереваясь ударить им кого-то. Горбун встал, бессильно опустил голову, осеняя людей крестом, но, вместо молитвы, сказал:

— Вот — братец приехал ко мне.

Безволосый старик, нехорошо округлив медные глаза, посмотрел на Петра и размашисто, с явной нарочитостью, перекрестился.

— Идите с богом,— прибавил Никита.

Люди пошли вразброд, как стадо с пастбища, старик подхватил под локоть купца с больною ногой, пекарь Мурзин взял его под другой локоть.

— Ну, здравствуй. Благослови.

Длинной рукою, окрыленной черным рукавом рясы, отец Никодим отвел протянутые к нему сложенные горстью руки брата и сказал тихо, без радости:

— Не ждал.

Махнув посохом в направлении кельи, он пошел впереди брата, шел толчками, разбрасывая кривые ноги, держа одну руку на груди, у сердца.

— Постарел ты,— смущенно заметил Петр.

— На то живем. Ноги болеть стали. Место наше сырое.

Казалось, что Никита стал еще более горбат; угол его спины и правое плечо приподнялись, согнули тело ближе к земле и, принизив его, сделали шире; монах был похож на паука, которому оторвали голову, и вот он слепо, криво ползет по дорожке, по хрящскому щебню. В тесной чистенькой келье отец Никодим стал побольше, но еще страшней; когда он снял клобук, матово, точно у покойника, блеснул его полуголый, как бы лишенный кожи, костяной череп; на висках, за ушами, на затылке повисли неровные пряди серых волос. Лицо у него было тоже костяное, цвета воска; всюду на костях лица не хватало мяса; выцветшие глаза не освещали его, взгляд их, казалось, был сосредоточен на кончике крупного, но дряблого носа, под носом беззвучно шевелились темные полоски иссохших губ, рот

стал еще больше, разделял лицо глубокой впадиной, и особенно жутко неприятна была серая плесень волос на верхней губе.

Тихо, точно прислушиваясь к чему-то, и медленно, как бы с трудом вспоминая слова, монах говорил пухлолицему парню келейнику, похожему на банщика:

— Самовар. Хлеба. Меду.

— Как тихо говоришь.

— Зубы выкрошились.

Монах сел к столу в деревянное, окрашенное белой краской кресло.

— Живете?

— Живем.

— Тихон жив?

— Жив. Что ему?

— Давно не был он у меня.

Замолчали. Никита, двигая рукою, шуршал рясой, этот тараканий шорох еще более сгущал скуку Петра.

— Я тебе гостинцев привез. Скажи, чтоб ящик притащили. Там вино есть. Разрешают у вас вино?

Брат, вздохнув, ответил:

— У нас — не строго. У нас — трудно. Даже и пьяницы завелись с той поры, как народ усердно стал посещать обитель. Пьют. Что делать? Дышит мир и отравляет. Монахи — тоже люди.

— Слышал я — к тебе много людей ходят?

— По неразумию это,— сказал монах.— Да, ходят. Кружатся. Праведности ищут, праведника. Указания: как жить? Жили, жили, а — вот... Не умеем. Терпенья нет.

Чувствуя, что слова монаха тревожат его, Артамонов старший проворчал:

— Баловство. Крепостное право терпели, а воли не терпят! Слабо взнузданы.

Никита промолчал.

— При господах — не шлялись, не бродяжили.

Горбун мельком взглянул на него и опустил глаза.

Так, с трудом находя слова, прерывая беседу длительными паузами, они говорили до поры, пока келейник принес самовар, душистый липовый мед и теплый хлеб, от которого еще поднимался хмельной парок.

Внимательно смотрели, как белобрысый келейник неуклюже возился на полу, вскрывая крышку ящика. Петр поставил на стол банку свежей икры, две бутылки.

— Портвейн,— прочитал Никита.— Это вино настоятель любит. Умный человек. Много понимает.

— А вот я — мало понимаю,— вызывающе признался Петр.

— Сколько надо — понимаешь и ты, а больше-то — зачем? Больше нужного — понимать вредно.

Монах осторожно вздохнул. В его словах Петру послышалось что-то горькое. Ряса грязно и масляно лоснилась в сумраке, скупо освещенном огоньком лампады в углу и огнем дешевенькой, желтого стекла, лампы на столе. Приметив, с какой расчетливой жадностью брат высосал рюмку мадеры, Петр насмешливо подумал:

«Толк знает».

После каждой рюмки Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, макал его в мед и, не торопясь, жевал; тряслась его серая, точно выщипанная бороденка. Незаметно было, чтоб вино охмеляло монаха, но мутноватые глаза его посветлели, оставаясь всё так же сосредоточены на кончике носа. Петр пил осторожно, не желая показаться брату пьяным, пил и думал:

«Про Наталью — не спрашивает. И прошлый раз не спросил. Стыдится. Ни о ком не спрашивает. Мирские. А он — праведник. Его — люди ищут».

Сердито шаркнув бородой по жилету, дернув себя за ухо, он сказал:

— Ловко ты укрылся тут. Хорошо.

— Раньше было хорошо, теперь — хуже, богомолов много. Приемы эти...

— Приемы? — Петр усмехнулся.— Как у зубного доктора.

— Хочу перевестись поглуше куда-нибудь,—сказал монах, бережно наливая вино в рюмки.

— Где спокойнее,— добавил Петр и снова усмехнулся, а монах высосал вино, облизал губы темненьким, тряпичным языком и заговорил, качнув костяною головой:

— Очень заметно растет число обеспокоенного народа. Прячутся, скрыться хотят от забот...

— Этого я не вижу,— возразил Петр, зная, что говорит неправду.— «Это ты спрятался»,— хотелось ему сказать.

— А тревоги, тенью, за ними...

На языке Петра сами собою вспухали слова упреков; ему хотелось спорить, даже прикрикнуть на брата, и, думая о сыне, он сказал сердитым голосом:

— Человек сам тревог ищет, сам нужды хочет! Делай свое дело, не форси умом — проживешь спокойно!

Но брат, должно быть, не слышал его слов, оглушенный своими мыслями; он вдруг тряхнул угловатым телом, точно просыпаясь; ряса потекла с него черными струйками, кривя губы, он заговорил очень внятно и тоже как будто сердясь:

— Приходят, просят: научи! А — что я знаю, чему научу? Я человек не мудрый. Меня — настоятель выдумал. Сам я — ничего не знаю, как неправильно осужденный. Осудили: учи! А — за что осудили?

«Намекает,— сообразил Артамонов старший.— Жаловаться хочет».

Он понимал, что у Никиты есть причины жаловаться на его судьбу, он и раньше, посещая его, ожидал этих жалоб. И, подергав себя за ухо, он внушительно предупредил брата:

— На судьбу многие жалуются, только это — ни к чему.

— Так; довольных — не заметно,— сказал горбун, прицеливаясь глазами в угол, на огонь лампады.

— А тебе еще покойник-родитель наказывал: утешай! Будь утешителем.

Никита усмешливо растянул рот, собрал серую бородку свою в горсть и стер ею усмешку, продолжая сеять в сумрак слова, которые, толкая Петра, возбуждали в нем и любопытство и настороженное ожидание опасного.

— Они тут внушают мне и людям, будто я мудрый; это, конечно, ради выгоды обители, для приманки людей. А для меня — это должность трудная. Это, брат, строгое дело! Чем утешать-то? Терпите, говорю. А —

вижу: терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что надеяться? Богом не утешаются. Тут ходит пекарь...

— Это — наш, Мурзин, пьяница он,— сказал Артамонов старший, желая отвести, оттолкнуть что-то.

— Он уже мнит себя судьей богу, для него уж бог миру не хозяин. Теперь таких, дерзких, немало. Тут еще безбородый один,— заметил ты? Это — злой человек, этот всему миру недруг. Приходят, пытают. Что им скажешь? Они затем приходят, чтобы смущать.

Монах говорил всё живее. Вспоминая, каким видел он брата в прежние посещения, Петр заметил, что глаза Никиты мигают не так виновато, как прежде. Раньше ощущение горбуном своей виновности успокаивало — виноватому жаловаться не надлежит. А теперь вот он жалуется, заявляет, что неправильно осужден. И старший Артамонов боялся, что брат скажет ему:

«Это меня осудил ты!»

Нахмурясь, играя цепочкой часов, он подыскивал слова самозащиты.

— Да,— говорил горбун, и казалось, что втайне он доволен тем, на что жалуется.— Люди всё назойливее, мысли у них дерзкие. Недавно жил у нас, недели две, ученый, молодой еще, но как будто не в себе, испуганный человек. Настоятель внушает мне: «Ты, говорит, укрепи его простотой твоей, ты, говорит, скажи ему вот что и вот как». А я на чужие мысли не памятлив. Он, ученый-то, часами из меня жилы тянул, говорит и говорит, а я даже слов его не понимаю, не то что мысли. «Дьявола, говорит, владыкой плоти нашей нельзя признать, это будет двоебожие и оскорбление тела Христова, коему причащаемся: „Тело Христово приимите, источника бессмертного ядите“». Богохулит: «Пусть, говорит, будет бог с рогами, но чтобы — один, иначе невозможно жить». Замучил он меня, забыл я все наущения отца Феодора, кричу: «Плоть твоя — видоизменение, а дух — уничтожение». Настоятель после ругал меня: «Что ты, говорит, какую кощунственную бессмыслицу сболтнул?» Да, вот как...

Рассказ показался Петру смешным и, выставив брата в жалком виде, несколько успокоил Артамонова старшего.

— О боге — трудно говорить,— проворчал он.

— Трудно,— согласился отец Никодим и спросил маслено, горько: — Помнишь, отец учил: мы — люди чернорабочие, высока для нас премудрость эта?

— Помню.

— Да. Отец Феодор внушает: «Читай книги!» Я — читаю, а книга для меня, как дальний лес, шумит невнятно. Сегодняшнему дню книга не отвечает. Теперь возникли такие мысли — их книгой не покроешь. Сектант пошел отовсюду. Люди рассуждают, как сны рассказывают, или — с похмелья. Вот — Мурзин этот...

Монах выпил портвейна, пожевал хлеба и, скатав мякиш в небольшой шарик, стал гонять его пальцем по столу, продолжая:

— Отец Феодор говорит: «Вся беда — от разума; дьявол разжег его злой собакой, дразнит, и собака лает на всё зря». Может быть, это и правда, а — согласиться обидно. Тут есть доктор, простой человек, веселый, он иначе думает: разум — дитя, ему всё — игрушки, всё — забавно; он хочет доглядеть, как устроено и то, и это, и что внутри. Ну, конечно, ломает...

— Пожалуй — опасно ты говоришь,— заметил Петр. Слова брата снова тревожно толкали, раскачивали его, удивляя и пугая своей неожиданностью, остротой. Ему снова захотелось подавить Никиту, принизить его.

«Напился монах»,— попробовал он успокоить себя.

В келье стало душно, стоял кисленький запах углей и лампадного масла, запах, гасивший мысли Петра. На маленьком черном квадрате окна торчали листья какого-то растения, неподвижные, они казались железными. А брат, похожий на паука, тихо и настойчиво плел свою паутину.

— Все мысли — опасны. Особенно — простые. Возьми Тихона.

— Полуумный.

— Нет, напрасно! У него разум — строгий. Я вначале даже боялся говорить с ним,— и хочется, а — боюсь! А когда отец помер — Тихон очень подвинул меня к себе. Ты ведь не так любил отца, как я. Тебя и Алексея не обидела эта несправедливая смерть, а Ти-

хона обидела. Я ведь тогда не на монахиню рассердился за глупость ее, а на бога, и Тихон сразу приметил это. «Вот, говорит, комар живет, а человек...»

— Бредишь ты! — строго заметил Петр.— Выпил лишнее. Какая монахиня?

Никита настойчиво продолжал:

— Тихон говорит: если бог миру хозяин, так дожди должны идти вовремя, как полезно хлебу и людям. И не все пожары — от человека; леса — молния зажигает. И зачем было Каину грешить, на смерть нашу? На что богу уродство всякое — горбатые, например, на что ему?

«Ага, вот оно что!» — подумал Петр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на бога очень успокаивают его; это хорошо, что монах не жалуется на родных.

— Каина — нельзя понять. Этим Тихон меня, как на цепь приковал. Со дня смерти отца у меня и началось. Я думал: уйду в монастырь — погаснет. А — нет. Так и живу в этих мыслях.

— Прежде ты об этом молчал...

— Всего сразу не скажешь. Да я бы, может, всю жизнь молчал, но — богомольцы мешают. Совесть тревожат. И — опасно, вдруг выскользнет Тихоново в моих-то речах? Нет, он человек умный, хоть, может, я и не люблю его. Он и про тебя думает: «Вот, говорит, трудился человек для детей, а дети ему чужие...»

— Это еще что? — сердито спросил Петр.— Что он может знать?

— Знает. Дело, говорит, обман...

— Слышал я... Его, дурака, прогнать нужно, да — много знает он о семейном, нашем...

Артамонов сказал это, желая напомнить Никите о тягостной ночи, когда Тихон вынул его из петли, но думая о мальчике Никонове. Монах не понял намека; он поднес рюмку ко рту, окунул язык в вино и, облизав губы, продолжал жестяными словами:

— Тихона тоже обидел кто-то, он и оторвался от всех, как разоренный...

Нужно было отвести монаха от этих мыслей.

— Что ж ты теперь, не веришь, что ли, в бога-

то? — спросил он и удивился: он хотел спросить ядовито, а вышло как-то не так.

— Трудно понять, кто теперь верит,— не сразу ответил монах.— Думают все — много, а веры незаметно. Думать-то не надо, если веришь. Этот, который о боге с рогами говорил...

— Брось,— посоветовал Петр, оглянувшись.— Всё это — от скуки, от безделья. Запрячь бы всех в железные хомуты.

— Нет, в двоих верить нельзя,— настойчиво сказал отец Никодим.

Уже второй раз на колокольне били в колокол; мерные удары торкались в черное стекло окна. Петр спросил:

— За службу пойдешь?

— Не хожу. Ноги стоять не дают.

— Тут за нас молишься?

Монах не ответил.

— Ну, мне бы уснуть, устал я в дороге.

Никита молча уперся длинными руками в ручки кресла, осторожно поднял угловатое тело свое, позвал:

— Митя. Митрий?

И снова опустился, виновато сказав:

— Прости: забыл я, келейник-то мой в гостинице спит. Услал я его; хотелось свободно поговорить, а они тут доносчики все, ябедники...

Он ненужно и многословно объяснил брату путь в гостиницу, и когда Петр вышел во тьму, под холодненький, пыльный дождь, то подумал:

«Не хотелось, болтуну, чтоб я ушел».

И внезапно, со знакомым страхом, Артамонов старший почувствовал, что снова идет по краю глубокого оврага, куда в следующую минуту может упасть. Он ускорил шаг, протянул руки вперед, щупая пальцами водянистую пыль ночной тьмы, неотрывно глядя вдаль, на жирное пятно фонаря.

«Нет,— поспешно думал он, спотыкаясь,— всё это не надо мне. Завтра же уеду. Не надо. Что случилось? Илья воротится! Нет, надобно твердо жить. Вон как Алексей разыгрался. Он и обыграть меня может».

Об Алексее он думал насильно, потому что не хотел

думать о Никите, о Тихоне. Но когда он лег на жесткую койку монастырской гостиницы, его снова обняли угнетающие мысли о монахе, дворнике. Что это за человек, Тихон? На всё вокруг падает его тень, его слова звучат в ребячливых речах сына, его мыслями околдован брат.

«Утешитель! — думал он о брате.— А вот Серафим, простой плотник, умеет утешать».

Не спалось, покусывали комары, за стеною бормотали в три голоса какие-то люди, Петру подумалось, что это, должно быть, пекарь Мурзин, купец с больною ногой и человек с лицом скопца.

«Пьянствуют, наверное».

Монастырский сторож изредка бил колотушкой в чугунную доску; потом вдруг, очень торопливо, как бы опоздав, испугавшись, заблаговестили к заутрене, и под этот звон Петр задремал.

Брат пришел к нему таким, как он видел его вчера, в саду, с тем же чужим и злонамеренным взглядом вкось и снизу вверх. Артамонов старший торопливо умылся, оделся и приказал служке, чтоб дали лошадь до ближайшей почтовой станции.

— Что так скоро? — спросил монах, не удивляясь.— Я думал,— поживешь здесь.

— Дело не позволяет.

Пили чай. Петр долго придумывал: о чем бы спросить брата? И — вспомнил:

— Значит — уходить хочешь отсюда?

— Думаю. Не отпускают.

— Что же это они?

— Я выгоден им. Полезен.

— Так. А — куда ж ты?

— Может — странствовать буду.

— С больными-то ногами?

— И безногие двигаются.

— Это — верно, двигаются,— согласился Петр.

Помолчали. Затем Никита сказал:

— Тихону поклонись.

— Еще кому?

— Всем.

— Ладно. А что ж ты не спросишь, как Алексей живет?

— Что спрашивать? Я — знаю, он — умеет. Я, может быть, скоро уйду отсюда.

— Зимой не уйдешь.

— Почему? И зимой ходят.

— Верно, ходят,— снова согласился Петр и предложил брату денег.

— Давай, на починку мельницы пойдут. К настоятелю не зайдешь?

—Некогда, лошадь подана.

Прощаясь, братья обнялись. Обнимать Никиту было неудобно. Он не благословил брата, правая рука его запуталась в рукаве рясы, и Петр подумал, что запуталась она нарочно. Упираясь горбом в живот его, Никита глухо попросил:

— Ты прости, ежели я вчера лишнее что-нибудь сказал.

— Ну, что там! Мы — братья.

— Думаешь, думаешь по ночам-то...

— Да, да! Ну, прощай...

Выехав за ворота монастыря, Петр оглянулся и на белой стене гостиницы увидал фигуру брата, похожую на камень.

— Прощай,— проворчал он, сняв фуражку, голову его обильно посолил мелкий дождь. Ехали сосновым лесом, было очень тихо, только хвоя сосен стеклянно звенела под бисером дождя. На козлах брички подпрыгивал монах, а лошадь была рыжая, с какими-то лысыми ушами.

«О чем говорят! — думал Петр.— Бог дожди не вовремя посылает. Это всё со зла, от зависти, от уродства. От лени. Заботы нет. Без заботы человек — как собака без хозяина».

Петр оглянулся, поеживаясь, нашел, что дождь идет действительно не вовремя, и снова, серым облаком, его окутали невеселые думы. Чтоб избавиться от них, он пил водку на каждой станции.

Вечером, когда вдали показался дымный город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд, свистнул, обдал паром и врезался под землю, исчез в какой-то полукруглой дыре.

III

Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Петр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх; не верилось, что всё, что воскрешала память, он видел наяву и сам кипел в огромном каменном котле, полном грохота, рева музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал всё это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке; на синем, бритом лице его были влеплены выпуклые, совиные глаза; человек этот шлепал толстыми губами и, обнимая, толкая Артамонова, орал:

— Дурак — молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!

Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают провожать богатых покойников в могилы. Петр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нем мороженое, и человек, рыдая, говорил:

— Пойми рев русской души! Мой отец был священник, а я — прохвост!

Голос у него был густой, трубный, но мягкий, он обливал всех людей темным потоком неслыханных слов, и слова эти неотразимо волновали.

— Истление плоти! — кричал он.— Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощай телесный бунт, Петя! Не согрешив — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Омой душу! В баню ходим, тело моем? А — душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душе, святой, великой!

Петр тоже плакал, растроганный, и бормотал:

— Сирота она, душа, приемыш — верно! Забыта. Не жалеем.

И все люди кричали:

— Верно! Правильно!

А лысый, рыжебородый человек с раскаленным лицом и лиловыми ушами, кругленький, верткий, крутился, точно кубарь, исступленно, по-бабьи, взвизгивая:

— Степа — правда! Обожаю тебя. Смертельно люб-

лю. Три штучки смертельно люблю: тебя, кисленькое и правду. О душе — правду!

И тоже плакал и пел:

Смертию смерть поправ.

Петр подпевал ему словами Антона-дурачка:

Кибитка потерял колесо.

Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из темного, шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной: в знойный будний день на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею, задрав голову, девочка лет двенадцати в измятом синеньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся голосом поет:

И не жду от жизни ниче-воя...
И я ищу свободы и покоя...

Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку с лиловыми ушами:

— Душа — певчая! Это он — верно!

— Степа? — крикливо спрашивал рыжебородый.— Степа всё знает! У него — ключи ко всякой душе!

И, раскаляясь всё более, рыжебородый визжал:

— Степа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов — вези нас в вертеп неприступный! Всё допускаю...

Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников, и всюду, куда бы он ни являлся со своим пьяным стадом, грохотала музыка, звучали песни, то — заунывные, до слез надрывавшие душу, то — удалые, с бешеной пляской; от музыки оставались в памяти слуха только глухо бухающие удары в большой барабан и тонкий свист какой-то отчаянной дудочки. Когда пели тягучие, грустные пес-

ни, казалось, что каменные стены трактиров сжимаются и душат, а когда хор пел бойко, удало и пестро́ одетые молодцы плясали — стены точно ветер колебал и раздувал. Буйно качало, перебрасывая от радости к восхищению печалью, и минутами Петра Артамонова обнимал и жег такой восторг, что ему хотелось сделать что-то необыкновенное, потрясающее, убить кого-нибудь и, упав к ногам людей, стоять на коленях пред ними, всенародно взывая:

«Судите меня, казните страшной казнью!»

Были на «Самокате», в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми, лакеями медленно вертелся; оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Круг пола вертелся и показывал в одном углу кучу неистовых меднотрубых музыкантов; в другом — хор, толпу разноцветных женщин с венками на головах; в третьем на посуде и бутылках буфета отражались огни висячих ламп, а четвертый угол был срезан дверями, из дверей лезли люди и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивая руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то.

Друг человеческий, черный Степа, объяснял Артамонову:

— Глупо, а — хорошо! Пол — на брусьях, как блюдечко на растопыренных пальцах, брусья вкреплены в столб, от столба, горизонтально, два рычага, в каждый запряжена пара лошадей, они ходят и вертят пол. Просто? Но — в этом есть смысл. Петя — помни: во всем скрыт свой смысл, увы!

Он поднимал палец к потолку, на пальце сверкал волчьим глазом зеленоватый камень, а какой-то широкогрудый купец с собачьей головою, дергая Артамонова за рукав, смотрел на него в упор, остеклевшими глазами мертвеца, и спрашивал громко, как глухой:

— А что скажет Дуня, а? Ты — кто?

Не ожидая ответа, он спрашивал другого соседа:

— Ты — кто? А что я скажу Дуне? А?

Откидывался на спинку стула, фыркал:

— Ф-фу, чёрт!

И кричал неистово:

— Айда в другое место!

Потом он оказался кучером, сидел на козлах коляски, запряженной парою серых лошадей, и громогласно оповещал всех прохожих, встречных:

— К Пауле едем! Айда с нами!

Ехали под дождем, в коляске было пять человек, один лежал в ногах Артамонова и бормотал:

— Он меня обманул — я его обману. Он меня — я его...

На площади, у холма, похожего на каравай хлеба, коляска опрокинулась, Петр упал, ушиб голову, локоть и, сидя на мокром дерне холма, смотрел, как рыжий с лиловыми ушами лез по холму к ограде мечети и рычал:

— Прочь, хочу в татара креститься, в Магометы хочу, пустите!

Черный Степан схватил его за ноги, стащил вниз, куда-то повел; из лавок, из караван-сарая сбежалась толпа персов, татар, бухарцев; старик в желтом халате и зеленой чалме грозил Петру палкой.

— Урус, шайтан...

Меднолицый полицейский поставил Петра на ноги, говоря:

— Скандалы не разрешаются.

Съехались извозчики, усадили пьяных и повезли; впереди, стоя, ехал друг человеческий и что-то кричал в кулак, как в рупор. Дождь прекратился, но небо было грозно черное, каким никогда не бывает наяву; над огромным корпусом караван-сарая сверкали молнии, разрывая во тьме огненные щели, и стало очень страшно, когда копыта лошадей гулко застучали по деревянному мосту через канал Бетанкура,— Артамонов ждал, что мост провалится и все погибнут в неподвижно застывшей, черной, как смола, воде.

В разорванных, кошмарных картинах этих Артамонов искал и находил себя среди обезумевших от разгула людей, как человека почти незнакомого ему. Человек этот пил насмерть и алчно ждал, что вот в следующую минуту начнется что-то совершенно необыкновенное и самое главное, самое радостное,— или упадешь куда-то в безграничную тоску, или под-

нимешься в такую же безграничную радость, навсегда.

Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это — женщина, Паула Менотти. Он видел ее в большой пустой комнате с голыми стенами; треть комнаты занимал стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вазами цветов и фрукт, серебряными ведерками с икрой и шампанским. Человек десять рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом; среди нескольких пустых стульев один был украшен цветами.

Черный Степа стоял среди комнаты, подняв, как свечу, палку с золотым набалдашником, и командовал:

— Эй, свиньи, подождите жрать!

Кто-то глухо сказал:

— Не лай.

— Молчать! — крикнул друг человеческий.— Распоряжаюсь — я!

И почему-то вдруг стало темнее, тотчас же за дверью раздались глухие удары барабана, Степа шагнул к двери, растворил; вошел толстый человек с барабаном на животе, пошатываясь, шагая, как гусь, он сильно колотил по барабану:

— Бум, бум, бум...

Пятеро таких же солидных, серьезных людей, согнувшись, напрягаясь, как лошади, ввезли в комнату рояль за полотенца, привязанные к его ножкам; на черной, блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы. Лежала она вверх грудью, подложив руки под голову; распущенные темные волосы ее, сливаясь с черным блеском лака, вросли в крышку; чем ближе она подвигалась к столу, тем более четко выделялись формы ее тела и назойливее лезли в глаза пучки волос под мышками, на животе.

Повизгивали медные колесики, скрипел пол, гулко бухал барабан; люди, впряженные в эту тяжелую колесницу, остановились, выпрямились. Артамонов ждал, что все засмеются,— тогда стало бы понятнее, но все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина отклеивалась, отрывалась от крышки

рояля; казалось, что она только что пробудилась от сна, а под нею — кусок ночи, сгущенный до плотности камня; это напомнило какую-то сказку. Стоя, женщина закинула обильные и густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли; было слышно, как под ударами ее ног гудели струны.

Вошли двое: седоволосая старуха в очках и человек во фраке; старуха села, одновременно обнажив свои желтые зубы и двуцветные косточки клавиш, а человек во фраке поднял к плечу скрипку, сощурил рыжий глаз, прицелился, перерезал скрипку смычком, и в басовое пение струн рояля ворвался тонкий, свистящий голос скрипки. Нагая женщина волнисто выпрямилась, тряхнула головою, волосы перекинулись на ее нахально торчавшие груди, спрятали их; она закачалась и запела медленно, негромко, в нос, отдаленным, мечтающим голосом.

Все молчали, глядя на нее, приподняв вверх головы, лица у всех были одинаковые, глаза — слепые. Женщина пела нехотя, как бы в полусне, ее очень яркие губы произносили непонятные слова, масленые глаза смотрели пристально через головы людей. Артамонов никогда не думал, что тело женщины может быть так стройно, так пугающе красиво. Поглаживая ладонями грудь и бедра, она всё встряхивала головою, и казалось, что и волосы ее растут, и вся она растет, становясь пышнее, больше, всё закрывая собою так, что кроме ее уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было. Артамонов хорошо помнил, что она ни на минуту не возбудила в нем желания обладать ею, а только внушала страх, вызывала тяжкое стеснение в груди, от нее веяло колдовской жутью. Однако он понимал, что, если женщина эта прикажет, он пойдет за нею и сделает всё, чего она захочет. Взглянув на людей, он убедился в этом.

«Всякий пойдет, все».

Он трезвел, и ему хотелось незаметно уйти. Он окончательно решил сделать это, услыхав чей-то громкий шёпот:

— Чаруса. Омут сстества. Понимаешь? Чаруса.

Артамонов знал, что чаруса — лужайка в болотистом лесу, лужайка, на которой трава особенно красиво шелковиста и зелена, но если ступить на нее — провалишься в бездонную трясину. И все-таки он смотрел на женщину, прикованный неотразимой, покоряющей силой ее наготы. И когда на него падал ее тяжелый масленый взгляд, он шевелил плечами, сгибал шею и, отводя глаза в сторону, видел, что уродливые, полупьяные люди таращат глаза с тем туповатым удивлением, как обыватели Дремова смотрели на маляра, который, упав с крыши церкви, разбился насмерть.

Черный, кудрявый Степа, сидя на подоконнике, распустив толстые губы свои, гладил лоб дрожащей рукою, и казалось, что он сейчас упадет, ударится головою в пол. Вот он зачем-то оторвал расстегнувшийся манжет рубашки и швырнул его в угол.

Движения женщины стали быстрее, судорожней; она так извивалась, как будто хотела спрыгнуть с рояля и— не могла; ее подавленные крики стали гнусавее и злей; особенно жутко было видеть, как волнисто извиваются ее ноги, как резко дергает она головою, а густые волосы ее, взметываясь над плечами, точно крылья, падают на грудь и спину звериной шкурой.

Вдруг музыка оборвалась, женщина спрыгнула на пол, черный Степа окутал ее золотистым халатом и убежал с нею, а люди закричали, завыли, хлопая ладонями, хватая друг друга; завертелись лакеи, белые, точно покойники в саванах; зазвенели рюмки и бокалы, и люди начали пить жадно, как в знойный день. Пили и ели они нехорошо, непристойно; было почти противно видеть головы, склоненные над столом, это напоминало свиней над корытом.

Явилась толпа цыган, они раздражающе пели, плясали, в них стали бросать огурцами, салфетками — они исчезли; на место их Степа пригнал шумный табун женщин; одна из них, маленькая, полная, в красном платье, присев на колени Петра, поднесла к его губам бокал шампанского и, звонко чокнувшись своим бокалом, предложила:

— Выпьем, рыжий, за здоровье Мити!

Была она легкая, как моль, звали ее — Пашута. Она очень ловко играла на гитаре и трогательно пела:

Снилось мне утро лазурное, чистое

— и когда звонкий голосок ее особенно печально выговаривал:

Снилась мне юность моя, невозвратная

— Артамонов дружески, отечески гладил ее голову и утешал:

— Не скули! Ты еще молодая, не бойся...

А ночью, обнимая ее, он крепко закрывал глаза, чтоб лучше видеть другую, Паулу Менотти.

В редкие трезвые часы он с великим изумлением видел, что эта беспутная Пашута до смешного дорого стоит ему, и думал:

«Экая моль!»

Поражало его умение ярмарочных женщин высасывать деньги и какая-то бессмысленная трата ими заработка, достигнутого ценою бесстыдных, пьяных ночей. Ему сказали, что человек с собачьим лицом, крупнейший меховщик, тратил на Паулу Менотти десятки тысяч, платил ей по три тысячи каждый раз, когда она показывала себя голой. Другой, с лиловыми ушами, закуривал сигары, зажигая на свече сторублевые билеты, совал за пазухи женщин пачки кредиток.

— Бери, немка, у меня много!

Он всех женщин называл немками. Артамонов же стал видеть в каждой из них неприкрытое бесстыдство густоволосой Паулы, и все женщины,— глупые и лукавые, скромные и дерзкие,— чувствовал он, враждебны ему; даже вспоминая о жене, он и в ней подмечал нечто скрыто враждебное.

«Моль»,— думал он, присматриваясь к цветистому хороводу красивых юных женщин, очень живо и ярко воскрешаемых памятью.

Он не мог понять: что же это, как же? Люди работают, гремят цепями дела, оглушая самих себя только для того, чтоб накопить как можно больше денег, а потом — жгут деньги, бросают их горстями к ногам распутных женщин? И всё это большие, солидные люди, женатые, детные, хозяева огромных фабрик.

«Отец, пожалуй, так же бы колобродил»,— почти уверенно думал он. Самого себя он видел не участником этой жизни, этих кутежей, а случайным и невольным зрителем. Но эти думы пьянили его сильнее вина, и только вином можно было погасить их. Три недели прожил он в кошмаре кутежей и очнулся лишь с приездом Алексея.

Артамонов старший лежал на полу, на жиденьком, жестком тюфяке; около него стояло ведро со льдом, бутылки кваса, тарелка с квашеной капустой, обильно сдобренной тертым хреном. На диване, открыв рот и, как Наталья, подняв брови, разметалась Пашута, свесив на пол ногу, белую с голубыми жилками и ногтями, как чешуя рыбы. За окном тысячами жадных пастей ревело всероссийское торжище.

Сквозь похмельный гул в голове и ноющую боль отравленного тела Артамонов угрюмо вспоминал события и забавы истекшей ночи, когда вдруг, точно из стены вылез, явился Алексей. Прихрамывая, постукивая палкой, он подошел и рассыпался словами:

— Что — опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал, да к утру сам завертелся.

Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду; подскочил к дивану, пошлепал Пашуту по плечу.

— Вставай, барышня!

Не сразу открыв глаза, барышня проворчала:

— К чёрту. Отстань.

— Это ты пойдешь к чёрту,— не сердито сказал Алексей, приподнял ее за плечи, посадил, потряс и указал на дверь:

— Брысь!

— Не тронь ее,— сказал Петр; брат усмехнулся, успокоил:

— Ничего; позовем — придет.

— О, черти,— сказала женщина, уже покорно надевая кофту.

Алексей командовал, как доктор:

— Вставай, Петр, сними рубаху, вытрись льдом!

Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела ее на встрепанную голову, но, посмотрев в зеркало над диваном, сказала:

— Очень прекрасная королева!

И, швырнув шляпку на пол, под диван, длительно зевнула:

— Ну, прощай, Митя! Помни: я — в номерах Симанского, номер тринадцать.

Петру стало жалко ее, не вставая с пола, он сказал брату:

— Дай ей.

— Сколько?

— Ну... пятьдесят.

— Э! Много.

Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил ее, плотно притворил дверь.

— Скупо дал,— вызывающе заметил Петр.— Она вчера за шляпу больше заплатила.

Алексей сел в кресло, сложил руки на палке, опершись на них подбородком и сухо, начальнически спросил:

— Ты что же делаешь?

— Пью,— задорно ответил старший, встал и начал обтирать тело льдом, покрякивая.

— Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что?

— А что?

Алексей подошел к нему и, глядя, как на незнакомого, тихим голосом, с присвистом спросил:

— Забыл? На тебя жалоба подана, ты адвокату морду разбил, полицейского столкнул в канал...

Он так долго перечислял проступки, что Артамонову старшему показалось:

«Врет. Пугает».

Он спросил:

— Какому адвокату? Ерунда.

— Не ерунда, а — черному, этому — как его?

— Мы с ним и раньше дрались,— сказал Петр, трезвея, но брат еще строже продолжал:

— А за что ты излаял почтенных людей? И своих?

— Я?

— Ты, вот этот! Жену ругал, Тихона, меня, мальчишку какого-то вспомнил, плакал. Кричал: Авраам, Исаак, баран! Что это значит?

Петра обожгло страхом, он опустился на стул.

— Не знаю. Пьян был.

— Это — не причина! — почти крикнул Алексей, подпрыгивая, точно он скакал на хромой лошади.— Тут — другое: «что у трезвого на уме, у пьяного — на языке», вот что тут! О семейном в кабаках не кричат. Почему — Авраам, жертвоприношение и прочая дрянь? Ты ведь дело конфузишь, ты на меня тень наводишь. Что ты, как в бане, разделся? Хорошо еще, что был при скандале этом Локтев, приятель мой, и догадался свалить тебя с ног коньяком, а меня вот телеграммой вызвал. Он и рассказал мне всё это. Сначала, говорит, все смеялись, а потом начали вслушиваться,— что такое человек орет?

— Все орут,— пробормотал Петр, подавленный и снова пьянея от слов брата, а тот говорил почти шёпотом:

— Все — об одном, а ты — обо всем! Ладно, что Локтев догадался напоить всех в лоск. Может — забудут. Но ведь наше дело политическое: сегодня Локтев — друг, а завтра — лютый враг.

Петр сидел на стуле, крепко прижав затылок к стене; пропитанная яростным шумом улицы, стена вздрагивала; Петр молчал, ожидая, что эта дрожь утрясет хмельной хаос в голове его, изгонит страх. Он ничего не мог вспомнить из того, о чем говорил брат. И было очень обидно слышать, что брат говорит голосом судьи, словами старшего; было жутко ждать, что еще скажет Алексей.

— Что с тобой? — допытывался он, всё подпрыгивая.— Сказал, что едешь к Никите...

— Я у него был.

— И я был. Когда на депешу ответили, что тебя там нет, я, конечно, туда поскакал. Испугались все; ведь — на земле живем, могут и убить.

— Завелась во мне какая-то дрянь,— тихо, виновато сознался Петр.

— Так ее на люди выносить надо? Пойми: ты на дело наше тень бросаешь! Какое там у тебя жертвоприношение? Что ты — персиянин? С мальчиками возишься? Какой мальчик?

Приглаживая волосы на голове и бороду обеими руками, Петр сказал сквозь пальцы:

— Илья... всё из-за него...

И медленно, нерешительно, точно нащупывая тропу в темноте, он стал рассказывать Алексею о ссоре с Ильей; долго говорить не пришлось; брат облегченно и громко сказал:

— Ф-фу! Ну, это — ничего! А Локтев понял по-азиатски, скандально. Значит — Илья? Ну, брат, ты прости, только это — неразумно. Купечество должно всему учиться, на все точки жизни встать, а ты...

Он очень долго и красноречиво говорил о том, что дети купцов должны быть инженерами, чиновниками, офицерами. Оглушающий шум лез в окно; подъезжали экипажи к театру, кричали продавцы прохладительных напитков и мороженого; особенно невыносимо грохотала музыка в павильоне, построенном бразильцами из железа и стекла, на сваях, над водою канала. Удары барабана напоминали о Пауле Менотти.

— Какая-то дрянь завелась во мне,— повторил Артамонов старший, щупая ухо, а другою рукой наливая коньяку в стакан лимонада; брат взял бутылку из руки его, предупредив:

— Смотри, опять напьешься. Вот у меня Мирон учится на инженера — сделай милость! За границу хочет ехать — пожалуйста! Всё это — в дом, а не из дома. Ты — пойми, наше сословие — главная сила...

Петру ничего не хотелось понимать. Под оживленный говорок брата он думал, что вот этот человек достиг чем-то уважения и дружбы людей, которые богаче и, наверное, умнее его, они ворочают торговлей всей страны, другой брат, спрятавшись в монастыре, приобретает славу мудреца и праведника, а вот он, Петр, предан на растерзание каким-то случаям. Почему? За что?

— А за распутство ты обругал почтенных людей — напрасно! — говорил Алексей уже как-то мягко, вкрадчиво.— Это — не от распутства, это от избытка силы. Адвокат — шельма, но он правильно понимает, он умный! Конечно — люди пожилые, даже старики, а озорства у них, как у мальчишек, да ведь мальчишки-то озоруют тоже от силы роста. И то возьми в расчет, что бабы у нас пресные, без перца, скучно с ними! Я не про Ольгу мою говорю, она — особенная! Есть такие глупо-

мудрые бабы, они как бы слепы на тот глаз, который плохое видит, Ольга вот из эдаких. Ее обидеть — нельзя, она плохого не видит, злому — не верит. Ты про Наталью эдак не скажешь, а людям верно сказал про нее: домашняя машина!

— Так и сказал? — угрюмо осведомился Петр.

— Не сам же Локтев выдумал эти слова.

Хотелось еще о многом спросить брата, но Петр боялся напомнить ему то, что Алексей, может быть, уже забыл. У него возникало чувство неприязни и зависти к брату.

«Всё умнеет, бес...»

Он видел в брате нечто рысистое, нахлестанное и лисью изворотливость. Раздражали ястребиные глаза, золотой зуб, блестевший за верхней, судорожной губою, седенькие усы, воинственно закрученные, веселая бородка и цепкие, птичьи пальцы рук, особенно неприятен был указательный палец правой руки, всегда рисовавший в воздухе что-то затейливое. А кургузый, железного цвета пиджачок делал Алексея похожим на жуликоватого ходатая по чужим делам.

Ему вдруг захотелось, чтоб Алексей ушел.

— Поспать надо мне,— сказал он, прикрыв глаза.

— Это — разумно,— согласился брат.— Ты уж сегодня не ходи никуда.

«Как мальчишку, он меня учит»,— обиженно подумал Петр, проводив его. Пошел в угол к умывальнику и остановился, увидав, что рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и красной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале, над диваном, потом жалобно усмехнулся и снова стал вытирать куском льда лицо, шею, грудь.

«Найму извозчика, поеду в город»,— решил он, одеваясь, но, сунув руку в рукав пиджака, сбросил его на стул и крепко прижал пальцем костяную кнопку звонка.

— Чаю; завари крепче! — сказал он слуге.— Соленого дай. Коньяку.

Посмотрел из окна, широкие двери лавок были уже заперты, по улице ползли люди, приплюснутые жаркой тьмою к булыжнику; трещал опаловый фонарь у подъезда театра; где-то близко пели женщины.

«Моль».

— Можно убрать,— сказали за спиною; он круто обернулся: в двери стояла старуха с одним глазом, с половой щеткой и тряпками в руках. Он молча вышел в коридор и наткнулся на человека в темных очках, в черной шляпе; человек сказал в щель неприкрытой двери:

— Да, да, больше ничего!

Всё было нехорошо, заставляло думать, искать в словах скрытый смысл. Потом Артамонов старший сидел за круглым столом, перед ним посвистывал маленький самовар, позванивало стекло лампы над головою, точно ее легко касалась чья-то невидимая рука. В памяти мелькали странные фигуры бешено пьяных людей, слова песен, обрывки командующей речи брата, блестели чьи-то мимоходом замеченные глаза, но в голове все-таки было пусто и сумрачно; казалось, что ее пронзил тоненький дрожащий луч и это в нем, как пылинки, пляшут, вертятся люди, мешая думать о чем-то очень важном.

Он пил горячий крепкий чай, глотал коньяк, обжигая рот, но не чувствовал, что пьянеет, только возрастало беспокойство, хотелось идти куда-то. Позвонил. Явился какой-то туманно сгруящийся человек, без лица, без волос, похожий на палку с костяным набалдашником.

— Ликеру зеленого принеси, Ванька; зеленого, знаешь?

— Так точно, шартрез.

— Ты разве Ванька?

— Никак нет, Константин.

— Ну, ступай.

Когда лакей принес ликер, Артамонов спросил:

— Солдат?

— Никак нет.

— А говоришь, как солдат.

— Должность сходная, повиноваться надо.

Артамонов подумал, дал ему рубль и посоветовал:

— А ты — не повинуйся. Пошли всех к..., а сам торгуй мороженым. И больше ничего!

Ликер был клейкий, точно патока, и едкий, как нашатырный спирт. От него в голове стало легче, яснее, всё как-то сгустилось, и, пока в голове происходило это сгущение, на улице тоже стало тише, всё уплотнилось, образовался мягкий шумок и поплыл куда-то далеко, оставляя за собою тишину.

«Повиноваться надо? — размышлял Артамонов.— Кому? Я — хозяин, а не лакей. Хозяин я или нет?»

Но все размышления внезапно пресеклись, исчезли, спугнутые страхом: Артамонов внезапно увидал пред собою того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живет Алексей, как живут другие, бойкие люди; мешал ему широколицый бородатый человек, сидевший против него у самовара; он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы; а по краю бороды, около левого глаза, шевелилась большая муха; вот она переползла, точно по лицу покойника, на висок, остановилась над бровью, заглядывая в глаз.

— Что, сволочь? — спросил Артамонов врага своего; тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами.

— Ревешь? — злорадно заорал Петр Артамонов.— Запутал меня, подлец, а сам плачешь? Самому жалко? У-у...

Схватив со стола бутылку, он с размаха ударил того по лысоватому черепу.

На треск разбитого зеркала, на грохот самовара и посуды, свалившихся с опрокинутого стола, явились люди, их было немного, но каждый раскалывался надвое, расплывался; одноглазая старуха в одну и ту же минуту сгибалась, поднимая самовар, и стояла прямо.

Сидя на полу, Артамонов слышал жалобные голоса:

— Ночь, все спят.

— Зеркальце разбили.

— Это, знаете, не фасон...

Артамонов, разводя руками, плыл куда-то и мычал:

— Муха..

На другой день к вечеру, рысцой, прибежал Алексей, заботливо, как доктор — больного или кучер — лошадь, осмотрел брата, сказал, расчесывая усы какой-то маленькой щеточкой:

— Неестественно ты разбух; в этом образе домой являться — нельзя! К тому же ты мне здесь можешь оказать помощь. Бороду следует подстричь, Петр. И купи ты себе сапоги другие, сапоги у тебя — извозчичьи!

Стиснув челюсти, покорно Артамонов старший шел за братом к парикмахеру,— Алексей строго и точно объяснял, насколько надо остричь бороду и волосы на голове; в магазине обуви он сам выбрал Петру сапоги. После этого, взглянув в зеркало, Петр нашел, что он стал похож на приказчика, а сапоги жали ему ногу в подъеме. Но он молчал, сознавая, что брат действует правильно; и волосы постричь и сапоги переменить — всё это — нужно. Нужно вообще привести себя в порядок, забыть всё мутное, подавляющее, что осталось от кутежа и весомо, ощутимо тяготило.

Но сквозь туман в голове и усталость отравленного, измотанного тела, он, присматриваясь к брату, испытывал всё более сложное чувство, смесь зависти и уважения, скрытой насмешливости и вражды. Этот рысистый человек, тощий, с палочкой в руке, остроглазый, сверкал и дымил, пылая ненасытной жадностью к игре делом. Завтракая, обедая с ним в кабинетах лучших трактиров ярмарки, в компании именитых купцов, Петр с немалым изумлением видел, что Алексей держится как будто шутом, стараясь смешить, забавлять богачей, но они, должно быть, не замечая шутовского, явно любили, уважали Алексея, внимательно слушали сорочий треск его речей.

Огромный тугобородый текстильщик Комолов грозил ему пальцем цвета моркови, но говорил ласково, выкатив бычьи глаза, сочно причмокивая:

— Ловок ты, Олеша, хитер, лиса! Обошел ты меня...

— Ермолай Иванович! — восторженно кричал Алексей.— Соревнование — так?

— Верно. Не зевай, ходи тузом козырей!

— Ермолай Иванович,— учусь!

Комолов соглашался:

— Учиться — надо.

— Господа! — так же восторженно, но уже вкрадчиво говорил Алексей, размахивая вилкой.— Сын мой, Мирон, умник, будущий инженер, сказывал: в городе Сиракузе знаменитейший ученый был; предлагал он царю: дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну!

— Ишь ты, серопузый...

— Переверну, говорит! Господа! Нашему сословию есть на что опереться — целковый! Нам не надо мудрецов, которые перевертывать могут, мы сами — с усами; нам одно надобно: чиновники другие. Господа! Дворянство — чахнет, оно — не помеха нам, а чиновники у нас должны быть свои и все люди нужные нам — свои, из купцов, чтоб они наше дело понимали,— вот!

Седые, лысые, дородные люди весело соглашались:

— Верно, серопузый!

А одноглазый, остроносый, костлявенький старичок, дисконтер Лосев, вежливенько хихикая, говорил:

— У Алексея Ильича умишко — мышка; всё знает: где — сало, где — мало, и грызет, грызет! Его здоровье!

Поднимали бокалы, Алексей радостно чокался со всеми, а Лосев, похлопывая детской ручкой по крутому плечу Комолова, говорил:

— Умненькие среди нас заводятся.

— Всегда были! — гордо отвечал Комолов.— Родитель мой из грузчиков в люди вышел...

— Родитель твой с того начал, говорят, что богатого армянина зарезал,— посмеиваясь, сказал Лосев, а тугобородый текстильщик, захохотав, как барабан, ответил:

— Враки! Это у нас по глупости говорят: если — счастлив, значит — грешен! И про тебя, Кузьма, нехороши слухи бегают...

— И про меня,— подтвердил Лосев, вздыхая.— Слухи — мухи, эх!

Артамонов старший слушал, покрякивая, много ел, старался меньше пить и уныло чувствовал себя среди этих людей зверем другой породы. Он знал: все они — вчерашние мужики; видел во всех что-то разбойное, сказочное, внушающее почтение к ним и общее с его отцом. Конечно, отец был бы с ними и в деле и в кутежах, он, вероятно, так же распутничал бы и жег деньги, точно стружку. Да, деньги — стружка для этих людей, которые неутомимо, со всею силой строгают всю землю, друг друга, деревню.

Но брат был чем-то не похож на этих больших людей, и порою, несмотря на неприязнь к нему, Петр чувствовал, что Алексей острее, умнее их и даже — опаснее.

— Господа! — исступленно, как одержимый, кричал он.— Подумайте, какая неистощимая сила рук у нас, какие громадные миллионы мужика! Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? Нигде нет! И не надобно нам никаких немцев, никаких иноземцев, мы всё сами!

— Верно,— соглашались с ним подпившие, горластые люди.

Он говорил о необходимости повысить пошлины на ввоз иностранных товаров, о скупке помещичьих земель, о вредности дворянских банков, он всё знал, и со всем, что он говорил, люди восторженно соглашались, к удивлению Артамонова старшего.

«Верно Никита сказал, этот умеет жить»,— думал он с завистью.

Несмотря на слабость своего здоровья, Алексей тоже распутничал. У него была, видимо, постоянная и давняя любовница, москвичка, содержавшая хор певиц, дородная, вальяжная женщина с медовым голосом и лучистыми глазами. Говорили, что ей уже сорок лет, но по лицу ее, матово-белому, с румянцем под кожей, казалось, что ей нет и тридцати.

— Алешинька, сокол,— говорила она, показывая острые, лисьи зубы, и закрывала Алексея собою, как мать ребенка.

Она должна была знать, что Алексей не брезгует и девицами ее хора, она, конечно, видела это. Но отноше-

ние ее к брату было дружеское, Петр не однажды слышал, как Алексей советуется с нею о людях и делах, это удивляло его, и он вспоминал отца, Ульяну Баймакову.

«Бес»,— думал он, глядя на брата.

Даже озорство его имело какой-то особенно затейливый характер. Толстый клоун, немец Майер, показывал в цирке свинью; одетая в длиннополый сюртук, в цилиндре, в сапожках бутылками, она ходила на задних ногах, изображая купца. Публику это очень забавляло, смеялось и купечество, но Алексей отнесся иначе — он обиделся и уговорил компанию приятелей выкрасть свинью. Подкупили конюха, выкрали свинью, и купечество торжественно съело ее мясо, приготовленное под разными соусами искуснейшим поваром гостиницы Барбатенко. Петр Артамонов смутно слышал, что клоун повесился с горя *. Всё, что он подметил в Алексее на ярмарке, вызвало у него очень тревожные мысли.

«Жулик. Без совести. Может по миру пустить меня и сам этого не заметит. И не из жадности разорит, а просто — заиграется».

Сознание этой опасности, отрезвив его, поставило на ноги. Домой он возвращался один, Алексей проехал в Москву. Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дремову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, ямские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник, строгими рядами, недвижимо охранявший узкую полосу болотистой дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков, так же серо и скучно было в похмельной голове. Артамонов как будто похоронил кого-то очень близкого, но кто все-таки надоел ему. Было жалко покойника, но было и приятно знать, что его уже больше не встретишь; перестал он смущать неясностью своих требований, немых упреков и всем тем, что мешало жить настоящему, живому человеку.

«Дело делать надо, больше ничего! — убеждал он себя.— Все люди делом живы. Да».

---

* Факт описан П. Д. Боборыкиным в газете «Русский курьер», относится к 80-м годам.

Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Спокойно пошли ясные дни бабьего лета, сменяясь грустным сиянием лунных ночей.

Просыпаясь в жемчужном сумраке утренних зорь осени, Артамонов старший слышал требовательный гудок фабрики, а через полчаса начинался ее неугомонный шорох, шёпот, глуховатый, но мощный и привычный уху шум работы. С рассвета до позднего вечера у амбаров кричали мужики и бабы, сдавая лен; у трактира, на берегу Ватаракши, открытого одним из бесчисленных Морозовых, звучали пьяные песни, визжала гармоника. По двору ходил тяжелый, аккуратный, как машина, строгий к людям Тихон Вялов с метлой, с лопатой в руках, с топором; он, не торопясь, мел, копал, рубил, покрикивал на мужиков, на рабочих. Мелькал голубой, всегда чистенький Серафим. В доме, тоже как машина, действовала Наталья, очень довольная богатыми подарками, которые муж привез ей с ярмарки, и еще больше — его молчаливым, ровным спокойствием. Всё шло гладко, казалось прочно слаженным; фабрика, люди, даже лошади — всё работало, как заведенное на века. И быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяца, слагались в годы.

Быком, наклоня голову, Артамонов старший ходил по корпусам, по двору, шагал по улице поселка, пугая ребятишек, и всюду ощущал нечто новое, странное: в этом большом деле он являлся почти лишним, как бы зрителем. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и, кажется, увлечен им; его поведение не только отвлекало от мыслей о старшем сыне, но даже примиряло с Ильей.

«Обойдусь и без тебя, ученый. Учись».

Сытенький, розовощекий, с приятными глазами, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные пузыри, Яков солидно носил круглое тело свое и, хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. Работницы ласково улыбались ему, он ворковал с ними, прищуриваясь сладостно, и ходил около них как-то боком, не умея скрыть под напускной солидностью задор молодого петуха. Отец дергал себя за ухо, ухмылялся и думал:

«Паулу бы тебе показать, дурачок...»

Ему нравилось, что Яков, бывая у дяди, не вмешивался в бесконечные споры Мирона с его приятелем, отрепанным, беспокойным Горицветовым. Мирон стал уже совершенно не похож на купеческого сына; худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, какими-то вензелями на плечах, он напоминал мирового судью. Ходил и сидел он прямо, как солдат, говорил высокомерно, заносчиво, и хотя Петр понимал, что племянник всегда говорит что-то умное, все-таки Мирон не нравился ему.

— Ну, брат, это хилософия,— поучительно говорил он, держа руки фертом, сунув их в карманы курточки.— Это мудрствование от хилости, от неумелости.

Артамонову старшему казалось, что и Горицветов тоже говорит не плохо, не глупо. Маленький, в черной рубахе под студенческим сюртуком, неприглядно расстегнутый, лохматый, с опухшими глазами, точно он не спал несколько суток, с темным, острым лицом в прыщах, он кричал, никого не слушая, судорожно размахивая руками, и наскакивал на Мирона:

— Вы достигнете того, что солнце будет восходить в небеса по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот, из лесов по зову машин, но — что сделаете вы с человеком?

Мирон поднимал брови, морщился и, поправляя очки, долбил сухо, мерно:

— Это — хилософия, это — стишки! Это языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь — борьба; лирика, истерика неуместны в ней и даже смешны...

Слова спорщиков были приметны, как белые голуби среди сизых; Артамонов старший думал:

«Да, вот оно: новые птицы — новые песни».

Суть спора он понимал смутно и, наблюдая за Яковом, с удовольствием видел, что сын разглаживает светлый пух на верхней губе своей потому, что хочет спрятать насмешливую улыбочку.

«Так,— думал Петр.— А что сказал бы Илья?»

Горицветов кричал:

— Заковав землю и людей в железо, сделав человека рабом машины...

Покачивая носом, Мирон говорил ему:

— Человек, о котором ты заботишься,— бездельник. Он погибнет, если завтра не поймет, что его спасение в развитии промышленности...

«У которого — правда? Который лучше?» — догадывался Петр Артамонов.

Горицветов не нравился ему еще более, чем племянник, в нем было что-то жидкое, ненадежное, он явно чего-то боялся, кричал. Бесцеремонен, как пьяный, он садился к обеденному столу раньше хозяев, судорожно перекладывал ножи и вилки, ел быстро, неблагопристойно, обжигаясь, кашляя; в нем, как в Алексее, было что-то подпрыгивающее, лишнее и, кажется, злое. Темные зрачки его воспаленных глаз смотрели слепо, с Петром Артамоновым он здоровался молча, непочтительно совал ему шершавую, горячую руку и быстро отдергивал ее. В конце концов, это был какой-то ненужный человек и нельзя понять: зачем он Мирону?

— Ты, Степа, ешь, а не говори, — советовала ему Ольга, он трескуче отвечал:

— Не могу, здесь проповедуют пагубную ересь!

Петра изумляло молчаливое внимание Алексея к спорам студентов, он лишь изредка поддерживал сына:

— Правильно! Где сила, там и власть, а сила — в промышленниках, значит...

Ольга, с лучистыми морщинками на висках, с красненьким кончиком носа, отягченного толстыми, без оправы, стеклами очков, после обеда и чая садилась к пяльцам у окна и молча, пристально, бесконечно вышивала бисером необыкновенно яркие цветы. У брата Петр чувствовал себя уютнее, чем дома, у брата было интересней и всегда можно выпить хорошего вина.

Возвращаясь домой с Яковом, отец спрашивал его:

— Понимаешь, о чем спорят?

— Понимаю,— кратко отвечал сын.

Чтоб скрыть от него свое непонимание, Артамонов старший строго допытывался:

— А о чем?

Яков всегда отвечал неохотно, коротко, но понятно; по его словам выходило, что Мирон говорит: Россия должна жить тем же порядком, как живет вся Европа,

а Горицветов верит, что у России свой путь. Тут Артамонову старшему нужно было показать сыну, что у него, отца, есть на этот счет свои мысли, и он внушительно сказал:

— Если б иноземцы жили лучше нас, так они бы к нам не лезли...

Но — это была мысль Алексея, своих же не оказывалось. Артамонов обиженно хмурился. А сын как будто еще углубил обиду, сказав:

— Можно прожить и не хвастаясь умом, без этих разговоров...

Артамонов старший промычал:

— Можно и без них...

Он всё чаще испытывал толчки маленьких обид и удивлений. Они отодвигали его куда-то в сторону, утверждая в роли зрителя, который должен всё видеть, обо всем думать. А всё вокруг незаметно, но быстро изменялось, всюду, в словах и делах, навязчиво кричало новое, беспокойное. Как-то, за чаем, Ольга сказала:

— Правда — это когда душа полна и больше ничего не хочешь.

— Верно,— согласился Петр.

Но Мирон, сверкнув очками, начал учить мать:

— Это — не правда, а — смерть. Правда — в деле, в действии.

Когда он ушел, унося с собою толстый лист бумаги, свернутый в трубу, Петр заметил Ольге:

— Груб с тобой сын.

— Нисколько.

— Вижу, груб!

— Он — умнее меня,— сказала Ольга.— Я ведь необразованна, я часто глупости говорю. Дети вообще умнее нас.

В это Артамонов не мог поверить, усмехаясь, он ответил:

— Верно, ты говоришь глупости. А вот старики были умнее нас, стариками сказано: «От сыновей — горе, от дочерей — вдвое»,— поняла?

Ее слова об уме детей очень задели его, она, конечно, хотела намекнуть на Илью. Он знал, что Алексей помогает Илье деньгами, Мирон пишет ему письма, но из гордо-

сти он никогда не расспрашивал, где и как живет Илья; Ольга сама, между прочим, искусно рассказывала об этом, понимая гордость его. От нее он узнал, что Илья зачем-то уехал жить в Архангельск, а теперь живет за границей.

— Ну, и пускай живет. Умнее будет — поймет, что был глуп.

Порою, думая об Ильe, он удивлялся упрямству сына; все кругом умнеют, чего он ждет, Илья?

Он нередко встречал в доме брата Попову с дочерью; всё такую же красивую, печально спокойную и чужую ему. Она говорила с ним мало и так, как, бывало, он говорил с Ильей, когда думал, что напрасно обидел сына. Она его стесняла. В тихие минуты образ Поповой вставал пред ним, но не возбуждал ничего, кроме удивления; вот, человек нравится, о нем думаешь, но — нельзя понять, зачем он тебе нужен, и говорить с ним так же невозможно, как с глухонемым.

Да, всё изменялось. Даже рабочие становятся всё капризнее, злее, чахоточнее, а бабы всё более крикливы. Шум в рабочем поселке беспокойней; вечерами даже кажется, что все там воют волками и даже засоренный песок сердито ворчит.

У рабочих заметна какая-то непоседливость, страсть бродяжить. Никем и ничем не обиженные парни вдруг приходят в контору, заявляя о расчете.

— Куда это вы? — спрашивал Петр.

— Поглядеть, что в других местах.

— Чего они бесятся? — спрашивал Артамонов старший брата,— Алексей с лисьими ужимочками, посмеиваясь, говорил, что рабочие волнуются везде.

— Еще у нас — хорошо, тихо, а вот в Петербурге... Чиновники, министры у нас не те, каких надо...

И дальше он говорил уже нечто такое дерзкое, глупое, что старший брат угрюмо поучал его:

— Ерунда это! Это господам выгодно власть отнять у царя, господа беднеют. А мы и безвластно богатеем. Отец у тебя в дегтярных сапогах по праздникам гулял, а ты заграничные башмаки носишь, шёлковые галстуки. Мы должны быть работники царю, а не свиньи. Царь — дуб, это с него нам золотые жёлуди.

Алексей, слушая, усмехался и этим еще более раздражал. Артамонов старший находил, что все вообще люди слишком часто усмехаются; в этой их новой привычке есть что-то и невеселое и глупое. Никто из них не умел, однако, насмешничать так утешительно и забавно, как Серафим-плотник, бессмертный старичок.

Артамонов очень подружился с Утешителем. Время от времени на него снова стала нападать скука, вызывая в нем непобедимое желание пить. Напиваться у брата было стыдно, там всегда торчали чужие люди, и он особенно не хотел показать себя пьяным Поповой. Дома Наталья в такие дни уныло сгибалась, угнетенно молчала; было бы лучше, если б она ругалась, тогда и самому можно бы ругать ее. А так она была похожа на ограбленную и, не возбуждая злобы, возбуждала чувство, близкое жалости к ней. Артамонов шел к Серафиму.

— Выпить хочу, старик!

Веселый плотник улыбался, одобрял:

— Это — обыкновенное дело, как солнышко летом! Устал ты, значит, притомился. Ну, ну, подкрепись! Дело твое — не малое, не бородавка на щеке!

Он держал для хозяина необыкновенного вкуса настойки, наливки, доставал из всех углов разноцветные бутылки и хвастался:

— Сам выдумал, а совершает одна дьяконица, вдова, перец-баба! Вот, отведай, эта — на березовой серьге с весенним соком настояна. Какова?

Присаживался к столу и, потягивая свое, «репное», болтал:

— Да, так вот, дьяконица! Разнесчастная женщина. Что ни любовник, то и вор. А без любовников — не может, такое у нее нетерпение в жилах...

— Нет, вот я видел одну на ярмарке,— вспоминал Артамонов.

— Конечно! — спешил подтвердить Серафим.— Там отборные товары со всей земли. Я знаю!

Серафим всех и всё знал; занятно рассказывал о семейных делах служащих и рабочих, о всех говорил одинаково ласково и о дочери своей, как о чужой ему:

— Остепенилась, шельма. Живет со слесарем Седовым и ведь хорошо живет, гляди-ко! Да, всякая тварь свою ямку находит.

Хорошо было у Серафима в его чистой комнатке, полной смолистого запаха стружек, в теплом полумраке, которому не мешал скромный свет жестяной лампы на стене.

Выпив, Артамонов жаловался на людей, а плотник утешал его:

— Это — ничего, это хорошо! Побежали люди, вот в чем суть! Лежал-лежал человек, думал-думал, да встал и — пошел! И пускай идет! Ты — не скучай, ты человеку верь. Себе-то веришь?

Петр Артамонов молчал, соображая: верит он себе или нет? А бойкий голосок Серафима, позванивая словами, утешительно пел:

— Ты не гляди, кто каков, плох, хорош, это непрочно стоит, вчера было хорошо, а сегодня — плохо. Я, Петр Ильич, всё видел, и плохое и хорошее, ох, много я видел! Бывало — вижу: вот оно, хорошее! А его и нет. Я — вот он я, а его нету, его, как пыль ветром, снесло. А я — вот! Так ведь я — что? Муха между людей, меня и не видно. А — ты...

Серафим, многозначительно подняв палец, умолкал.

Слушать его речи Артамонову было дважды приятно; они действительно утешали, забавляя, но в то же время Артамонову было ясно, что старичишка играет, врет, говорит не по совести, а по ремеслу утешителя людей. Понимая игру Серафима, он думал:

«Шельмец старик, ловок! Вот Никита эдак-то не умеет».

И вспоминал разных утешителей, которых видел в жизни: бесстыдных женщин ярмарки, клоунов цирка и акробатов, фокусников, укротителей диких зверей, певцов, музыкантов и черного Степу, «друга человеческого». В брате Алексее тоже есть что-то общее с этими людями. А в Тихоне Вялове — нет. И в Пауле Менотти тоже нет.

Пьянея, он говорил Серафиму:

— Врешь, старый чёрт!

Плотник, хлопая ладонями по своим острым коленям, говорил очень серьезно:

— Не-ет! Ты сообрази: как мне врать, ежели я правды не знаю? Я же тебе из души говорю: правды не знаю я, стало быть — как же я совру?

— Тогда — молчи!

— Али я немой? — ласково спрашивал Серафим, и розовое личико его освещалось улыбкой.— Я — старичок,— говорил он,— я мое малое время и без правды доживу. Это молодым надо о правде стараться, для того им и очки полагаются. Мирон Лексеич в очках гуляет, ну, он насквозь видит, что к чему, кого — куда.

Артамонову старшему было приятно знать, что плотник не любит Мирона, и он хохотал, когда Серафим, позванивая на струнах гусель, задорно пел:

Ходит дятел по заводу,
Смотрит в светлые очки,
Дескать, я тут — самый умный,
Остальные — дурачки!

— Верно! — одобрял Артамонов.

А плотник, тоже пьяненький, притопывая аккуратной ножкой, снова пел:

То не ястреб, то не сыч
Щиплет птичек гоже,
Это — Алексей Ильич,
Угодничек божий!

Артамонову старшему и это нравилось; тогда Серафим бесстыдно пел о Якове:

Яша Машу обнимает,
Ничего не понимает...

Так они забавлялись иногда до рассвета, потом в дверь стучал Тихон Вялов, будил хозяина, если он уже уснул, и равнодушно говорил:

— Домой пора, сейчас гудок будет; рабочие увидят вас,— нехорошо!

Артамонов кричал:

— Что — нехорошо? Я — хозяин!

Но подчинялся дворнику, шел, тяжело покачиваясь, ложился спать, иногда спал до вечера, а ночью снова сидел у Серафима.

Веселый плотник умер за работой; делал гроб утонувшему сыну одноглазого фельдшера Морозова и вдруг свалился мертвым. Артамонов пожелал проводить старика в могилу, пошел в церковь, очень тесно набитую рабочими, послушал, как строго служит рыжий поп Александр, заменивший тихого Глеба, который вдруг почему-то расстригся и ушел неизвестно куда. В церкви красиво пел хор, созданный учителем фабричной школы Грековым, человеком, похожим на кота, и было много молодежи.

«Воскресенье»,— объяснил себе Артамонов обилие народа.

Небольшой, легкий гроб несли тоже молодые ткачи; более солидные рабочие держались в стороне; за гробом шагала, нахмурясь, но без слез, Зинаида в непристойно пестрой кофте, рядом с нею широкоплечий, чисто одетый слесарь Седов, в стороне тяжело мял песок Тихон Вялов. Ярко сияло солнце, мощно и согласно пели певчие, и был заметен в этих похоронах странный недостаток печали.

— Хорошо хоронят,— сказал Артамонов, отирая пот с лица; Тихон остановился, глядя под ноги себе, подумал, потом сказал:

— Приятен был; игровой, как эта...

Он повертел рукою в воздухе.

— Ее старик по улице носил, а девчонка пела... Утешал.

Взглянув на хозяина с непочтительной, возмутившей Артамонова строгостью, он добавил:

— С толку он сбивал людей: никого не обижает, а живет — неправедно.

— Праведно, праведно! — передразнил его хозяин.— Ты к этим мыслям на цепь посажен. Гляди — сбесишься, как Тулун...

И, круто отвернувшись от дворника, Артамонов пошел домой.

Было еще рано, около полудня, но уже очень жарко; песок дороги и синь воздуха становились всё горячее.

К вечеру солнце напарило горы белых облаков, они медленно поплыли над краем земли к востоку, сгущая духоту. Артамонов погулял в саду, вышел за ворота. Тихон мазал дегтем петли ворот; заржавев во время весенних дождей, они скверно визжали.

— Что ж ты сегодня, в праздник, мажешь? — лениво спросил Артамонов, присев на лавку, — Тихон косо взглянул на него белками глаз и сказал вполголоса:

— Серафим был вредный.

— Чем это?

В ответ Артамонову черными тараканами поползли странные слова:

— Памятлив был, помнил много. Всё помнил, что видел. А — что видеть можно? Зло, канитель, суету. Вот он и рассказывал всем про это. От него большая смута пошла. Я — вижу.

Тыкая помазком в пятки петель, он продолжал всё более ворчливо:

— Вышибить надо память из людей. От нее зло растет. Надо так: одни пожили — померли, и всё зло ихнее, вся глупость с ними издохла. Родились другие; злого ничего не помнят, а добро помнят. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу. А — где покой? В беспамятстве покой-то...

Никогда еще Тихон не говорил сразу так много и раздражающе. Глупые, как всегда, слова его в этот час почему-то были особенно враждебны Артамонову; разглядывая клочковатую бороду дворника, его жидкие, расплывшиеся зрачки, измятый морщинами каменный лоб, Артамонов удивлялся всё растущему уродству этого человека. Морщины были неестественно глубоки, точно складки на голенище сапога, скуластое лицо, оголенное старостью, приняло серый цвет пемзы, нос — ноздреватый, как губка.

«Одряхлел,— думал Артамонов, и это было приятно ему.— Заговариваться стал. Не работник, надо рассчитать. Дам награду».

Держа в одной руке квач, а в другой ведерко дегтя, Тихон подвинулся к нему и, указывая квачом на темно-красное, цвета сырого мяса, здание фабрики, ворчал:

— Ты послушал бы, что они там говорят, Седов-щеголь, кривой Морозов, брат его Захарка, Зинаидка тоже,— они прямо говорят: которое дело чужими руками строится — это вредное дело, его надо изничтожить...

— Будто — твои мысли,— насмешливо сказал хозяин.

— Мои? — Тихон отрицательно мотнул головой.— Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет, никакого зла. А они говорят: всё — от нас пошло, мы — хозяева! Ты гляди, Петр Ильич, это верно: всё от них! Они тебя впрягли в дело, ты вывез воз на ровную дорогу, а теперь...

Артамонов солидно крякнул, встал, сунул руки в карманы и решительно, хотя несколько путаясь в словах, заговорил, глядя через голову Тихона, в облака:

— Вот что: я, конечно, понимаю, ты всю жизнь со мной прожил, это — так! Ну, однако, ты стар, тебе уж трудно...

— А Серафим поддакивал в этом,— сказал Тихон, видимо, не слушая хозяина.

— Подожди! Тебе пора на отдых...

— Всем — пора. А как же?

— Постой... Характер у тебя — тяжелый...

Тихон Вялов не удивился, услыхав о расчете, он спокойно пробормотал:

— Ну, что ж...

— Я тебя, конечно, награжу,— обещал Артамонов, несколько смущенный его спокойствием. — Тихон промолчал, смазывая дегтем свои пыльные сапоги; тогда Артамонов сказал со всей твердостью:

— Значит — прощай!

— Ладно,— ответил дворник.

Артамонов пошел на реку, надеясь, что там прохладнее; там под сосною, где он поссорился с Ильей, Серафим построил ему из белых сучьев березы нечто вроде трона. Оттуда хорошо было видно всю фабрику, дом, двор, поселок, церковь, кладбище. Льдисто сверкали большие окна фабричной больницы, школы; маленькие люди челноками сновали по земле, ткали бесконечную ткань дела, люди еще меньше бегали по песку фабричного поселка.

Около церковной ограды, среди серых стволов ольхи, паслось игрушечное стадо коз; их развел одноглазый фельдшер Морозов, внук древнего ткача Бориса,— фабричные бабы много покупали козьего молока для детей. А за больницей, на лысом квадрате земли, обнесенном решеткой, паслись мелкие люди в желтых халатах и белых колпаках, похожие на сумасшедших. Вокруг фабрики развелось много птиц: воробьев, ворон, галок, трещали сороки, торопливо перелетая с места на место, блестя атласом белых боков; сизые голуби ходили по земле, особенно много было птиц около трактира на берегу Ватаракши, где останавливались мужики, привозя лен.

Но с некоторого времени всё это большое хозяйство уже не возбуждало ни удовольствия, ни гордости Артамонова, оно являлось для него источником разнообразных обид. Обидно было видеть, как брат, племянник и разные люди, окружающие их, кричат, размахивают руками, точно цыгане на базаре, спорят, не замечая его, человека старшего в деле. Даже говоря о фабрике, они забывали о нем, а когда он им напоминал о себе, люди эти слушали его молча, как будто соглашались с ним, но делали всё по-своему и в крупном и в мелком. Это началось давно, еще с той поры, как они, против его желания, построили на фабрике электрическую станцию; Артамонов старший быстро убедился, что это и выгоднее и безопасней, но все-таки не мог забыть обиду. Мелких обид было много, и они всё увеличивались в числе, становились острее.

Особенно дерзко и противно вел себя племянник; он кончил учиться, одевался в какие-то нерусские, кожаные курточки, весь, от золотых очков до желтых ботинок, блестел, щурился, морщился и говорил:

— Это, дядя, старо. Не то время, дядя.

Казалось, он боится времени, как слуга — строгого хозяина. Но только этого он и боялся, во всем же остальном — невыносимо дерзок. Однажды он даже сказал:

— Поймите, дядя, с такими людями, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить.

Это настолько крепко ударило Артамонова, что он даже не спросил: почему? Оскорбленный, ушел и не-

сколько недель не ходил к брату, не разговаривал с Мироном, встречая его на фабрике.

Мирон собирался жениться на дочери Веры Поповой, такой же высокой и стройной, как ее поседевшая, замороженная мать. Как все, эта девица тоже неприятно усмехалась. Она дергала шеей, присматривалась ко всему упорным взглядом больших, бесстыдно открытых глаз, должно быть, ни во что не верующих, и, напевая сквозь зубы, жужжа, как муха, с утра до вечера портила полотно, размазывая на нем пестрые картинки. Ее соломенная шляпа, привязанная лентой за шею, всегда болталась на спине, волосы у нее были тоже соломенного цвета; одевалась неаккуратно, ноги были видны из-под юбки, почти до колен.

Противен был бездельник Горицветов; он мелькал, как стриж, неожиданно являлся, исчезал, снова являлся и, наскакивая на всех злой, маленькой собачкой, кричал свое:

— Вы хотите превратить богато одухотворенную Россию в бездушную Америку, вы строите мышеловку для людей...

В этих криках Артамонов слышал иногда что-то верное, но чаще — нечто общее с глупостью Тихона Вялова, хотя он не знал людей, более различных, чем этот обожженный, судорожный прыгун и тяжелый, ко всему равнодушный Тихон. Горицветов подбегал к Елизавете Поповой и кричал на нее:

— Почему вы молчите, вы, человек духа?

Она улыбалась; лицо у нее было надменно и неподвижно, улыбались только ее серые, осенние глаза. Артамонов старший слышал какие-то неслыханные, непонятные слова.

— Агония романтизма,— говорил Мирон, тщательно протирая куском замши стекла очков.

Алексей летал где-то в Москве; Яков толстел, держался солидно в стороне, он говорил мало, но, должно быть, хорошо: его слова одинаково раздражали и Мирона и Горицветова. Яков отпустил окладистую татарскую бородку, и вместе с рыжеватой бородою у Якова всё заметнее насмешливость; приятно было слышать, когда сын лениво говорил бойким людям:

— Слдете вы в лужу по дороге в господа! Жили бы проще.

Старшему Артамонову и — он видел — Якову было очень смешно, когда Елизавета Попова вдруг уехала в Москву и там обвенчалась с Горицветовым. Мирон обозлился и не мог скрыть этого; покручивая острую, не купеческую бородку, вытягивая из нее нить сухих слов, он говорил явно фальшиво:

— Такие люди, как Степан Горицветов,— люди вымирающего племени. Нигде в мире нет людей настолько бесполезных, как он и подобные ему.

Яков сказал, подзадоривая:

— Однако ж один эдакий ловко стащил из-под твоего носа кусок, облюбованный тобою!

Приподняв плечи, Мирон ответил:

— Я — не романтик.

— Чего? Кто это? — спросил Артамонов старший, и Мирон отчеканил, точно судья, читающий приговор свой:

— Никто не понимает, что такое романтик, вам этого тоже не понять, дядя. Это — нечто для красоты, как парик на лысую голову, или — для осторожности, как фальшивая борода жулику.

«Ага, прищемил нос»,— подумал Артамонов старший с удовольствием.

Эти маленькие удовольствия несколько примиряли его со множеством обид, которые он испытывал со стороны бойких людей, всё более крепко забиравших дело в свои цепкие руки, отодвигая его в сторону, в одиночество. Но и в одиночестве он нашел, надумал нечто горестно приятное, одиночество знакомило его с новым, хотя уже смутно знакомым,— с Петром Артамоновым иного рисунка, иного характера.

Это — хороший человек, и он жестоко обижен; жизнь обращалась с ним несправедливо, как мачеха с пасынком. Он начал жизнь покорным, бессловесным слугою своего отца, который не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену и взвалил на плечи его большое, тяжелое дело. Да, жена любила его, и первый год жизни с нею был не плох, но теперь он знал, что даже распутная шпульница Зинаида умеет любить

забавнее, жарче. И уж лучше не вспоминать о ловких, бешеных женщинах ярмарки. Жена всю жизнь боялась, сначала — Алексея, керосиновых ламп, потом электрических; когда они вспыхивали, Наталья отскакивала и крестилась. Она сконфузила его на ярмарке, в магазине граммофонов.

— Ой, не надо, не покупай! — просила она.— Может, в этой штуке прокчятый кричит, душа его спрятана!

Теперь она боялась Мирона, доктора Яковлева, дочери своей Татьяны и, дико растолстев, целые дни ела. Из-за нее едва не удавился брат. Дети не уважали ее. Когда она уговаривала Якова жениться, сын советовал ей насмешливо:

— Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь.

Она отвечала покорно и неуверенно:

— Да я как будто уж не хочу.

И снова ела.

Отец сказал Якову:

— Ты что насмехаешься над матерью? Жениться тебе пора!

— Не время связывать себя семьей,— деловито ответил Яков.

— Да что вы все боитесь времени? — рассердился отец; сын, не ответив, пожал плечами.

Он тоже говорил:

— Вы, папаша, не понимаете.

Он говорил это мягко, но все-таки ведь не может быть, чтоб отец понимал меньше сына. Люди живут не завтрашним днем, а вчерашним, все люди так живут.

Старший сын, любимый, пропал, исчез. Из любви к нему пришлось сделать такое, о чем не хочется вспоминать.

Старшая дочь Елена, широколицая, широкобедрая баба, избалованная богатством и пьяницей мужем, была совершенно чужим человеком; она изредка приезжала навестить родителей, пышно одетая, со множеством колец на пальцах. Позванивая золотыми цепочками, брелоками, глядя сытыми глазами в золотой лорнет, она говорила усталым голосом:

— Как у вас пахнет нехорошо; дом весь протух,

сгнил; вы бы новый построили. И кто же теперь живет рядом с фабрикой!

Артамонов случайно слышал, как она говорила матери:

— А папаша всё такой же? Как, должно быть, скучно с ним! Мой — пьяница, шалун, а — веселый.

У нее была какая-то особенно раздражавшая страсть к чистоте: садясь на стул, она обмахивала его платочком, от нее так крепко пахло духами, что хотелось чихать; ее бесцеремонная, обидная брезгливость ко всему в доме вызывала у Артамонова желание возместить дочери за всё, чем она раздражала его; он при ней ходил по дому и даже по двору в одном нижнем белье, в неподпоясанном халате, в галошах на босую ногу, а за обедом громко чавкал и рыгал, как башкир. Дочь возмущалась:

— Что это, папаша?

Именно этого возмущения он и добивался.

— Извините, барыня! — говорил он.— Я ведь мужик.

И рыгал, чавкал еще более свирепо.

Дочь бывала за границей и вечерами лениво, жирненьким голоском рассказывала матери чепуху: в каком-то городе бабы моют наружные стены домов щетками с мылом, в другом городе зиму и лето такой туман, что целый день горят фонари, а все-таки ничего не видно; в Париже все торгуют готовым платьем и есть башня настолько высокая, что с нее видно города, которые за морем.

С младшей сестрою Елена спорила и даже ругалась. Татьяна росла худенькой, темнокожей и обозленной тем, что она неприглядна. В ней было что-то, напоминавшее дьячка; должно быть, ее коротенькая коса, плоская грудь и синеватый нос. Она жила у сестры, не могла почему-то кончить гимназию, боялась мышей и, соглашаясь с Мироном, что власть царя надо ограничить, недавно начала курить папиросы. Приезжая летом на фабрику, кричала на мать, как на прислугу, с отцом говорила сквозь зубы, целые дни читала книги, вечером уходила в город, к дяде, оттуда ее приводил золотозубый доктор Яковлев. По ночам не спала от девичьей

тоски и била туфлей комаров на стенах, как будто стреляя из пистолета.

Всё вокруг становилось чуждо, крикливо, вызывающе глупо, всё — от дерзких речей Мирона до бессмысленных песенок кочегара Васьки, хромого мужика с вывихнутым бедром и растрепанной, на помело похожей, головою; по праздникам Васька, ухаживая за кухаркой, торчал под окном кухни и, подыгрывая на гармонике, закрыв глаза, орал:

Стала ты теперь несчастна-я,
Моя привычка!
Хочу видеть ежечасно
Твое, морда, личико!

И давно уже Ольга ничего не рассказывала про Илью, а новый Петр Артамонов, обиженный человек, всё чаще вспоминал о старшем сыне. Наверное, Илья уже получил достойное возмездие за свою строптивость, об этом говорило изменившееся отношение к нему в доме Алексея. Как-то вечером, придя к брату и раздеваясь в передней, Артамонов старший слышал, что Мирон, возвратившийся из Москвы, говорит:

— Илья — один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади.

«Врешь»,— подумал Артамонов, находя что-то утешительное во враждебном отзыве племянника.

Алексей спросил:

— Он — одной партии с Горицветовым?

— Он — вреднее,— ответил Мирон.

Входя в комнату, Артамонов старший мысленно пригрозил им:

«Погодите, воротится он — покажет вам кое-что...»

Мирон тотчас начал рассказывать о Москве, сердито жаловаться на бестолковость правительства; приехала Наталья с сыном — Мирон заговорил о необходимости строить бумажную фабрику, он давно уже надоедал этим.

— У нас, дядя, деньги зря лежат,— сказал он. Наталья, покраснев так, что у нее даже уши вспухли, крикливо возразила:

— Где это они лежат, у кого лежат?

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где всё знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. Эта внезапная, телесная скука являлась откуда-то извне, туманом; затыкая уши, ослепляя глаза, она вызывала ощущение усталости и пугала мыслями о болезни, о смерти.

— Надоели вы мне,— сказал он.— Когда я отдохну от вас?

Яков проворчал:

— Довольно возни и с тем, что есть...

А Наталья кричала:

— И так развели рабочих до того, что выйти некуда! Пьянство, матерщина...

Артамонов подошел к окну,— в саду стоял Тихон Вялов и, задрав голову, указывал пальцем на яблоню какой-то девчонке.

«Ишь ты, Адам»,— подумал Петр Артамонов, стряхнув скуку; такие, отдаленные думы не часто, мышами, пробегали мимо него, он всегда рад был их внезапности, он даже любил их за то, что они не тревожили, мелькнет, исчезнет и — только.

Вот тоже Тихон; жестоко обиделся Петр Артамонов, увидав, что брат взял дворника к себе после того, как Тихон пропадал где-то больше года и вдруг снова явился, притащив неприятную весть: брат Никита скрылся из монастыря неизвестно куда. Петр был уверен, что старик знает, где Никита, и не говорит об этом лишь потому, что любит делать неприятное. Из-за этого человека Артамонов старший крепко поссорился с братом, хотя Алексей и убедительно защищал себя:

— Подумай: человек всю жизнь работал на нас, а мы его выкинули,— ну, хорошо это?

Петр знал, что это нехорошо, но еще хуже для него было присутствие Тихона в доме. Жена тоже, кажется, первый раз за всю жизнь встала на сторону Алексея; с необычной для нее твердостью она говорила:

— Нехорошо, Петр Ильич, хоть бей меня, а — нехорошо!

Они и Ольга уговорили и успокоили его. Но обиженный человек торжествовал:

«Что? Твоя воля — никому не закон... Видишь?»

Обиженный человек становился всё виднее, ощутимее Артамонову старшему. Осторожно внося на холм, под сосну, свое отяжелевшее тело, Петр садился в кресло и, думая об этом человеке, искренно жалел его. Было и сладостно и горько выдумывать несчастного, непонятого, никем не ценимого, но хорошего человека; выдумывался он так же легко, так же из ничего, как в жаркие дни над болотами, в синей пустоте, возникал белый дым облаков.

Глядя на фабрику и на всё, рожденное ею, человек этот внушал:

«Можно бы жить иначе, без этих затей».

Фабрикант Артамонов возражал ему:

«Тихоновы мысли».

«Поп Глеб то же говорил, и Горицветов, и еще многие. Да, мухами в паутине бьются люди».

«Дешево — не проживешь»,— нехотя возражал фабрикант.

Иногда этот немой спор двух людей в одном разгорался особенно жарко, и обиженный человек, становясь беспощадным, почти кричал:

«Помнишь, ты, пьяный, на ярмарке, каялся людям, что принес в жертву сына, как Авраам Исаака, а мальчишку Никонова вместо барана подсунули тебе, помнишь? Верно это, верно! И за это, за правду, ты меня бутылкой ударил. Эх, задавил ты меня, погубил! И меня ты в жертву принес. А — кому жертва, кому? Рогатому богу, о котором Никита говорил? Ему? Эх ты...»

В минуты столь жестоких споров фабрикант Артамонов старший крепко закрывал глаза, чтоб удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились, он стирал их со щек и бороды ладонями, потом досуха тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие, багровые руки свои. И пил мадеру большими глотками, прямо из горлышка бутылки.

Но, несмотря на эти горестные слезы, выжимаемые им, обиженный человек был приятен и необходим Артамонову старшему, как банщик, когда тот мягкой и в меру горячей, душисто намыленной мочалкой трет кожу

спины в том месте, где самому человеку нельзя почесать,— не достает рука.

...Вдруг где-то далеко, за Сибирью, поднялся крепкий кулак и стал бить Россию.

Алексей подпрыгивал, размахивая газетой, кричал:

— Разбой! Грабеж! — и, поднимая птичью лапу к потолку, свирепо шевелил пальцами, шипел:

— Мы их... мы им...

Златозубый доктор, сунув руки в карманы, стоял, прислонясь к теплым изразцам печи, и бормотал:

— Возможно, что и они нас.

Этот большой медно-рыжий человек, конечно, усмехался, он усмехался всегда, о чем бы ни говорилось; он даже о болезнях и смертях рассказывал с той же усмешечкой, с которой говорил о неудачной игре в преферанс; Артамонов старший смотрел на него, как на иноземца, который улыбается от конфуза, оттого, что не способен понять чужих ему людей; Артамонов не любил его, не верил ему и лечился у городского врача, молчаливого немца Крона.

Озабоченно покручивая бородку, морщась, точно у него болел висок, Мирон журавлем шагал из угла в угол и поучал всех:

— Дело надо было начинать в союзе с англичанами...

— Да — какое дело-то? — допытывался Артамонов старший, но ни бойкий брат, ни умный племянник не могли толково рассказать ему, из-за чего внезапно вспыхнула эта война. Ему было приятно наблюдать смятение всезнающих, самоуверенных людей, особенно смешным казался брат, он вел себя так непонятно, что можно было думать: эта нежданная война задевала, прежде всех, именно его, Алексея Артамонова, мешая ему делать что-то очень важное.

По городу пошел крестный ход. Бородатое купечество, важно и благочестиво утаптывая тяжелыми ногами обильно выпавший снег, тесным стадом быков шагало за кряжистым, золотым духовенством; несло иконы, хоругви; соединенный хор всех церквей города громогласно и внушительно пел:

— Спаси, го-осподи, люди твоя-а...

Слова молитвы, похожей на требование, вылетали из круглых ртов белым паром, замерзая инеем на бровях и усах басов, оседая в бородах нестройно подпевавшего купечества. Особенно пронзительно, настойчиво и особенно не в лад хору пел городской голова Воропонов, сын тележника; толстый, краснощекий, с глазами цвета перламутровых пуговиц, он получил в наследство от своего отца вместе с имуществом и неукротимую вражду ко всем Артамоновым.

Они, семеро, шли все вместе; впереди прихрамывал Алексей, ведя жену под руку, за ним Яков с матерью и сестрой Татьяной, потом шел Мирон с доктором; сзади всех шагал в мягких сапогах Артамонов старший.

— Нация,— негромко говорил Мирон.

— Парад сил,— ответил доктор.

Мирон снял очки, стал протирать их платком, а доктор добавил:

— Увидите — вздуют!

— Н-ну, это сырье не скоро загорится...

— Перестань,— сказал Артамонов старший племяннику, тот искоса взглянул на него и повесил очки на свой длинный нос, предварительно пощупав его пальцами.

— Спас-си, господи, люди твоя! — требовал Воропонов подчеркнуто громко, с присвистом вывизгивая слово «люди», волком оборачивался назад, оглядывая горожан, и зачем-то махал на них бобровой шапкой.

Хорошо, густо пела сорокалетняя, но свежая, круглая, грудастая дочь Помялова, третий раз вдова и первая в городе по скандальной, бесстыдной жизни. Петр Артамонов слышал, как она вполголоса советовала Наталье:

— Ты бы, кума, отправила мужа-то на войну, он у тебя страховидный, от него враги побегут.

И спрашивала Якова:

— Ты что, крестник, не женишься, петух?

Артамонов старший тряхнул головою, слова, как мухи, мешали ему думать о чем-то важном; он отошел в

сторону, стал шагать по тротуару медленнее, пропуская мимо себя поток людей, необыкновенно черный в этот день на пышном, чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром, точно кипящие самовары.

Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом; снежинки искрятся на ее седых волосах; белые, в инее, ресницы ее дрогнули, когда она кивнула пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел ее:

«Глупая. Впряглась уток пасти».

Прокатилась длинная волна стриженых голов; это ученики двух городских училищ; тяжелой, серой машиной продвинулась полурота солдат, ее вел знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин: он ежедневно купался в Оке, начиная с половодья и кончая заморозками, и, как было известно, жил на деньги Помяловой, находясь с нею в незаконной связи.

Важно, сытым гусем, шел жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, а его больная жена шла под руку с братом своим, Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода; про Житейкина говорили, что хотя он распутничает с монахинями, но прочитал семьсот книг и замечательно умеет барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству.

Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей зятем своим и косоглазой дочерью; темной кучей долго двигался мелкий народ: мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнаженные головы, издали доносился неутомимо требующий крик Воропонова:

— Спаси, господи, люди твоя...

«А на что богу эти люди? Понять — нельзя»,— подумал Артамонов. Он не любил горожан и почти не имел в городе связей, кроме деловых знакомств; он знал, что и город не любит его, считая гордым, злым, но очень уважает Алексея за его пристрастие украшать город, за то, что он вымостил главную улицу, украсил площадь посадкой лип, устроил на берегу Оки сад, бульвар. Мирона и даже Якова боятся, считают их свыше меры

жадными, находят, что они всё кругом забирают в свои руки.

Осматривая медленный ход задумавшихся людей, Артамонов хмурился,— много незнакомых лиц и слишком много разноцветных глаз смотрят на него с одинаковой неприязнью.

У ворот дома Алексея ему поклонился Тихон. Артамонов спросил:

— Воюем, старик?

Молча, знакомым движением тяжелой руки, Тихон погладил скулу. Первый раз за всю жизнь с ним Артамонов спросил этого человека с доверием к нему:

— Ты что думаешь?

— Пустяковина,— тотчас ответил Вялов, как будто он ждал вопроса.

— У тебя — всё пустяки,— неопределенно сказал Артамонов.

— А — как же? Собаки, что ли? Не звери мы.

Артамонов пошел дальше сквозь мелкий, пыльный снег. Снег падал всё гуще и уже почти совсем скрыл толпу людей вдали, в белых холмах деревьев и крыш.

Теперь, после смерти Серафима Утешителя, Артамонов старший ходил развлекаться к вдовой дьяконице Таисье Параклитовой, женщине неопределенных лет, худенькой, похожей на подростка и на черную козу. Она была тихая и всегда во всем соглашалась с ним:

— Так, милый! — говорила она.— Да, да, милый, да!

Пил Артамонов много, но хмелел медленно, и его раздражало, что навязчивые, унылые думы так долго не тают, не тонут в крепких, вкусных водках Таисьи. Первые минуты опьянения были неприятны, хмель делал мысли Петра о себе, о людях еще более едкими, горькими, окрашивал всю жизнь в злые, зелено-болотные краски, придавал им кипучую быстроту; Артамонову казалось, что это кипение вертит, кружит его, а в следующую минуту перебросит через какой-то край. Скрипя зубами, он вслушивался, всматривался в темный бунт внутри себя, потом кричал дьяконице:

— Ну, что молчишь? Говори что знаешь!

Женщина козой прыгала на колени к нему, она была удивительно легкая и теплая; раскрыв пред собою невидимую книгу, она читала:

— Поручика Маврина Помялова отчислила от себя, он опять проиграл в карты триста двадцать; хочет она векселя подать ко взысканию, у нее векселя на него есть. А жандарм потому жену свою держит здесь, что завел в городе любовницу, а не потому, что жена больная...

— Это всё — дрянь,— говорил Артамонов.

— Дрянь, милый, и — какая дрянь!

Ее рассказы о дрянненьких былях города путали думы Артамонова, отводили их в сторону, оправдывали и укрепляли его неприязнь к скучным грешникам, горожанам. На место этих дум вставали и двигались по какому-то кругу картины буйных кутежей на ярмарке; метались неистовые люди, жадно выкатив пьяные, но никогда не сытые глаза, жгли деньги и, ничего не жалея, безумствовали всячески в лютом озлоблении плоти, стремясь к большой, ослепительно белой на черном, бесстыдно обнаженной женщине...

Петр Артамонов молча сосал разноцветные водки, жевал скользкие, кисленькие грибы и чувствовал всем своим пьяным телом, что самое милое, жутко могучее и настоящее скрыто в ярмарочной бесстыднице, которая за деньги показывает себя голой и ради которой именитые люди теряют деньги, стыд, здоровье. А для него от всей жизни осталась вот эта черная коза.

— Раздевайся! — рычал он.— Пляши!

— Как же я без музыки-то? — говорит дьяконица, расстегиваясь.— Носкова бы позвать, охотника, он на гармонии хорошо играет...

В этих забавах время шло незаметно, иногда из потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое: зимою пришли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя.

Тихон Вялов ворчал:

— Еще и церкви рассыплют. А — как же? Народ — не железный.

Летом стали говорить, что по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам,— Тихон сказал:

— А — как же? Навыкли воевать.

По городу снова пошли с иконами. Воропонов в рыжем сюртуке нес портрет царя и требовал:

— Спаси, господи, люди твоя-а-а!

В этот раз он кричал еще громче и даже злее, но все-таки в его — а-а! — призыв на помощь звучал тревожно.

Житейкин, с двухствольным ружьем в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шел во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал:

— Ребята! Не дадим жидам Россию! Чья Россия? Наша!

— Наша,— согласно кричали кожевники, тоже нетрезвые, и, встречая ткачей, врагов своих, затевали с ними драки, ударили палкой доктора Яковлева, бросили в Оку старика аптекаря; Житейкин долго гонялся по городу за сыном его, дважды разрядил вслед ему ружье, но — не попал, а только поранил дробью спину портного Брускова.

Фабрика перестала работать, молодежь, засучивая рукава рубах, бросилась в город, несмотря на уговоры Мирона и других разумных людей, несмотря на крики и плач баб.

Фабрика опустела, обездушела и точно сморщилась под ветром, который тоже бунтовал, выл и свистел, брызгая ледяным дождем, лепил на трубу липкий снег, потом сдувал его, смывал.

Сидя у окна, Артамонов старший тупо смотрел, как из города и в город муравьями бегут темненькие фигурки мужчин и женщин; сквозь стекла были слышны крики, и казалось, что людям весело. У ворот визжала гармоника, в толпе рабочих хромой кочегар Васька Кротов пел:

Стало тесно на земле:
Деремся с японами!
Они бьют нас по скуле,
А мы их — иконами!

Ветер приносил из города ворчливый шумок, точно там кипел огромный самовар, наполненный целым озером воды. На двор въехала лошадь Алексея, на козлах экипажа сидел одноглазый фельдшер Морозов; выскочила Ольга, окутанная шалью, Артамонов испугался и, забыв о боли в ногах, вскочил, пошел встречу ей.

— Что случилось?

Встряхиваясь, точно курица, она сказала:

— Окна побили у нас кожевники...

Артамонов, уступая ей дорогу, усмехнулся, проворчал:

— Ну, вот... Доболтались! Орали на меня, а — вот оно как! Нет, царь...

И вдруг он услыхал гневный, необычный для Ольги, громкий ответ:

— Отстань! Нечестный человек это, твой царь!

— Много ты понимаешь в царях,— смущенно сказал он, дотрагиваясь до своего уха.

Его изумил гнев маленькой старушки в очках, всегда тихой, никого не осуждавшей, в ее словах было что-то поражающе искреннее, хотя и ненужное, жалкое, как мышиный писк против быка, который наступил на хвост мыши, не видя этого и не желая. Артамонов сел в свое кресло, задумался.

Он давно, несколько недель, не видел Ольгу, избегал встреч с ее сыном, поссорившись с ним. Еще в конце лета, когда Петр Артамонов лежал в постели с отекшими ногами, к нему явился торжественный и потный Воропонов и, шлепая тяжелыми синими губами, предложил ему подписать телеграмму царю — просьбу о том, чтоб царь никому не уступал своей власти. Артамонова очень удивила дерзкая затея городского головы, но он подписал бумагу, уверенный, что это будет неприятно брату, Мирону, да, наверное, и Воропонов получит хороший выговор из Петербурга: не суйся, дурак толстогубый, не в свое дело, не заносись высоко!

Положив бумагу в карман сюртука, застегнувшись на все пуговицы, Воропонов начал жаловаться на Алексея, Мирона, доктора, на всех людей, которые, подзуживаемы евреями, одни — слепо, другие — своекорыстно, идут против царя; Артамонов старший слушал его

жалобы почти с удовольствием, поддакивал, и только когда синие губы Воропонова начали злобно говорить о Вере Поповой, он строго сказал:

— Вера Николаевна тут ни при чем.

— Как это — ни при чем? Нам известно...

— Ничего тебе не известно.

— Доиграетесь до беды,— пригрозил голова и ушел.

А вечером на Артамонова собаками бросились племянник, дочь, бросились и залаяли, не щадя его старость.

— Что вы делаете, папаша? — кричала Татьяна, и на ее некрасивом лице прыгали сумасшедшие глаза. Яков стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами; Артамонову казалось, что и сын против него, а Мирон едко спрашивал:

— Вы читали, что там написано в этой бумаге?

— Не читал! — сказал Артамонов.— Не читал, а — знаю: написано, чтоб щенкам воли не давать!

Ему было приятно видеть, как сердятся Мирон и Татьяна, но молчание Якова — смущало, он верил деловитости сына, догадывался, что поступил против его интересов, а вовлечь Якова в этот спор, спросить: как он думает? — не позволяло самолюбие. Он лежал и огрызался, рычал, а Мирон долбил, качая носом:

— Поймите: царь окружен шайкой мошенников, и нужно, чтоб их сменили честные люди...

Артамонов знал, что именно Мирон метит в честные люди и что отец его ездил в Москву хлопотать, чтоб Мирона кто-то там назначил кандидатом в государеву Думу. И смешно и опасно представить этого журавля-племянника близко к царю. Вдруг вбежал растрепанный, расстегнутый Алексей и запрыгал, затрещал:

— Что ж ты делаешь, безумный человек?

Он кричал, как на служащего.

— К чёрту! — взревел Артамонов старший.— Учить меня? Провалитесь все к чёрту! Вон!..

Он даже сам был испуган внезапным взрывом своего гнева.

Теперь, сидя в углу, слушая беззлобный рассказ Ольги о бунте в городе, он вспоминал эту ссору и пытался понять: кто же прав, он или эти люди?

Его особенно смутили детски гневные слова Ольги. Вот она уже спокойно, даже умиленно говорит:

— Милые люди ткачи у нас! Как они живо прогнали воропоновских рабочих и кожевников. Остались там, охраняют дом...

А Наталья, очень испуганная, сердито хныкает:

— От вашего дома и пошла смута. Так и надо вам! Всё — от вас.

Явился Мирон и, не здороваясь, расхаживая по комнате пружинной походкой, стал грозить:

— Все эти Воропоновы и Житейкины дорого заплатят за то, что обучают народ бунтовать. Это им даром не пройдет, это отзовется! Вполне достаточно уроков мятежа со стороны друзей Ильи Петровича Артамонова, а если еще и эти начнут...

Артамонов старший промолчал.

После скандала с петицией Воропонова Мирон стал для него окончательно, непримиримо противен, но он видел, что фабрика всецело в руках этого человека, Мирон ведет дело ловко, уверенно, рабочие слушают его или боятся; они ведут себя смирнее городских.

Ветер притих, зарылся в густой снег. Снег падал тяжело и прямо, густыми хлопьями, он занавесил окна белым занавесом, на дворе ничего не видно. Никто не говорил с Артамоновым старшим, и он чувствовал, что все, кроме жены, считают его виновным во всем: в бунтах, в дурной погоде, в том, что царь ведет себя как-то неумело.

— А где же Яша? — тревожно спросила мать.— Яша-то, говорю, где?

Мирон брезгливо сморщил нос и сказал, не глядя на тетку:

— Вероятно, спрятался в городе, в своем курятнике.

— Чего? В каком? — пугливо забормотала Наталья.

Артамонов подумал:

«Пожалуй, не знает, дура, что у Якова любовница».

И вдруг сказал твердо:

— Ну, вот что: живите, как хотите! Делайте. Да. Действительно — не понимаю я. Стар. А — тут... Тут чёрт играет. Жил — жил — ничего не понимаю...

IV

До двадцати шести лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей, но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную, бесчестную игру. Началось это в апреле, ночью, года три спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ.

Яков лежал на диване и курил, наслаждаясь ощущением насыщенности, исключающей все желания; это ощущение он ценил выше всего в жизни, видя в нем весь ее смысл. Оно являлось одинаково приятным и после вкусного обеда и после обладания женщиной.

Женщина, кругленькая и стройная, стояла среди комнаты у стола, задумчиво глядя на сердитый лиловый огонь спиртовки под кофейником; ее голые руки и детское лицо, освещенные огнем лампы под красным абажуром, окрашивались в цвет вкусно поджаренной корочки пирога. Растрепанные темные волосы картинно осыпали шею и плечи. На голом теле Полины золотисто-желтый бухарский халат, на ногах — зеленые сафьяновые туфли. В ней есть что-то очень легкое, не русское; у нее милая рожица подростка-мальчишки; пухлые губы, задорные глаза, круглые, как вишни; даже в этот час, когда Яков сыт ею, она приятна ему. Она, конечно, несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, и была бы совершенно хороша, если б не ее глупый характер.

— Я не хочу кофею, Апельсинчик,— сказал Яков, сквозь густую пелену дыма папиросы; Полина, не взглянув на него, спросила:

— А — я?

— Не знаю, чего ты хочешь,— ответил Яков, устало зевнув.

— Нет, знаешь,— схватив его слова на лету и встряхнув головою, заговорила женщина ломким голосом; послушав минуту, две ее царапающие, крючковатые слова, Яков сел, бросил папиросу на пол и, надевая ботинки, сказал, вздохнув:

— Не понимаю твоей привычки портить хорошее настроение! Ведь ты знаешь: я не могу жениться, пока отец не помер...

Тут, как всегда, Полина осыпала его обидными словами:

— Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение! Я знаю: ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да! Ты — бесчестный человек...

Яков особенно не любил, когда она именовала его пауком, в ласковые минуты у нее было для него другое забавное имя — Солененький. И ему казалось, что уж сегодня-то она могла бы воздержаться от ссоры: за два часа пред этим он дал ей сто рублей.

— Криком ты ничего не добьешься,— спокойно предупредил он ее, надев шляпу, протягивая руку.— До свидания!

— Свинья! И опять окурков на пол набросал...

По улице метался сырой ветер, тени облаков ползали по земле, как бы желая вытереть лужи, на минуту выглядывала луна, и вода в лужах, покрытая тонким льдом, блестела медью. В этот год зима упрямо не уступала место весне; еще вчера густо падал снег.

Яков Артамонов шел не торопясь, сунув руки в карманы, держа под мышкой тяжелую палку, и думал о том, как необъяснимо, странно глупы люди. Что нужно милой дурочке Полине? Она живет спокойно, не имея никаких забот, получает немало подарков, красиво одевается, тратит около ста рублей в месяц, Яков знал, чувствовал, что он ей нравится. Ну, что же еще? Почему она хочет венчаться?

«Глупо, как мышь в банке варенья»,— заключил он любимой, им самим придуманной поговоркой. Жизнь казалась ему простой, не требующей от человека ничего, кроме того, чем он уже обладает. В сущности, ведь ясно: все люди стремятся к одному и тому же, к полноте покоя; суета дня — это только мало приятное введение к тишине ночи, к тем часам, когда остаешься один на один с женщиной, а потом, приятно утомленный ее ласками, спишь без сновидений. В этом — всё действительно

значительное и настоящее. Люди — глупы уже потому, что почти все они, скрыто или явно, считают себя умнее его; они выдумывают очень много лишнего; возможно, что они делают это по силе какой-то слепоты, каждый хочет отличиться от всех других, боясь потерять себя в людях, боясь не видеть себя.

Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще тогда, когда он учился в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Много обидного видел от него Яков, а теперь вот, недавно, пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь. Невыносимо, хотя и смешно, глупа мать; еще более невыносимо и тяжко глуп угрюмый отец, старый медведь, не умеющий жить с людями, пьяный и грязный. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей; ему хочется попасть в Государственную думу, ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми в городе и заигрывает с рабочими фабрики, точно старая, распутная баба. Особенно же и как-то подавляюще, страшно глуп этот носатый дятел Мирон; считая себя самым отличным умником в России, он, кажется, видит себя в будущем министром и уже теперь не скрывает, что только ему одному ясно, что надо делать, как все люди должны думать. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завел библиотеку, он хочет прикормить волков морковью.

Рабочие ткут великолепное полотно, одеваясь в лохмотья, живя в грязи, пьянствуя; они в массе околдованы тоже какой-то особенной глупостью, дерзко открытой, лишенной даже той простенькой, хозяйственной хитрости, которая есть у каждого мужика. О рабочих Якову Артамонову приходилось думать больше, чем о всем другом, потому что он ежедневно сталкивался с ними и давно, еще в юности, они внушили ему чувство вражды,— он имел тогда немало резких столкновений с молодыми ткачами из-за девиц, и до сего дня некоторые из его соперников, видимо, не забыли старых обид. Когда он был еще безбородым, в него дважды по ночам бросали камнями. Матери тогда не однажды приходилось откупаться деньгами от скандалов и бабьего визга, при этом она смешно уговаривала его:

— Что уж это ты, как петух! Подождал бы, когда женишься, или уж заведи одну и — живи! Пожалуются на тебя отцу, так он тебя, как Илью, прогонит...

За два, три мятежных года Яков не заметил ничего особенно опасного на фабрике, но речи Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой, злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе,— всё это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, что он уже научился искусно скрывать это чувство под мелкой уступчивостью их требованиям, под улыбками и шуточками. Но в общем всё шло не плохо, хотя иногда внезапно охватывало и стесняло какое-то смущение, как будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него, давно живет и надоел им, они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать:

«Что ж ты не уходишь? Пора!»

В часы, когда он испытывал это, у него являлось смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него, лично для него.

Яков был уверен, что человек — прост, что всего милее ему — простота и сам он, человек, никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека, и, заражаясь ими, он становится тревожно непонятным. Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли. Но, будучи враждебен этим мыслям, Яков чувствовал их наличие вне себя и видел, что они, не развязывая тугих узлов всеобщей глупости, только путают всё то простое, ясное, чем он любил жить.

Умнее всех людей, которых он знал, ему казался старик Тихон Вялов; наблюдая его спокойное отношение к людям, его милостивую работу, Яков завидовал дворнику. Тихон даже спал умно, прижав ухо к подушке, к земле, как будто подслушивая что-то.

Он спросил старика:

— Ты сны видишь?

— Зачем? Я не баба,— сказал Тихон, и под словами его Яков почувствовал что-то густое, устоявшееся, непоколебимо сильное.

«Бабьи сны»,— думал Артамонов младший, слушая споры и речи в доме дяди Алексея, думал и внутренно усмехался.

Вообще же он думал трудно, а задумываясь, двигался тяжело, как бы неся большую тяжесть, и, склонив голову, смотрел под ноги. Так шел он и в ту ночь от Полины; поэтому и не заметил, откуда явилась пред ним приземистая серая фигура, высоко взмахнула рукою, Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил; выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю.

Лишь после этого Яков почувствовал, что он смертельно испуган, испуган так, что хотел закричать и не мог; руки его дрожали и ноги не послушались, когда он хотел встать с колен. В двух шагах от него возился на земле, тоже пытаясь встать, этот человек, без шапки, с курчавой головою.

— Застрелю, сволочь,— хрипло сказал Яков, вытягивая руку с револьвером,— человек повернул к нему широкое лицо и пробормотал:

— Застрелили уж...

Тут Яков узнал его, тоже забормотал изумленно:

— Носков? Ах, подлец! Ты?

Страх Якова быстро уступал чувству, близкому радости, это чувство было вызвано не только сознанием, что он счастливо отразил нападение, но и тем, что нападавший оказался не рабочим с фабрики, как думал Яков, а чужим человеком. Это — Носков, охотник и гармонист, игравший на свадьбах, одинокий человек; он жил на квартире у дьяконицы Параклитовой; о нем до этой ночи никто в городе не говорил ничего худого.

— Так вот чем ты занимаешься! — сказал Яков и встал на ноги, оглядываясь; было тихо, только ветер встряхивал сучки деревьев над забором.

— А — чем я занимаюсь? — вдруг громко спросил Носков.— Я пошутить хотел, попугать вас, больше ничего! А вы сразу — бац! За это — не похвалят, глядите! Я сам испугался...

— Ах, вот как? — насмешливо, тоном победителя, сказал Артамонов.— Ну, вставай, идем в полицию.

— Идти я не могу, вы меня изувечили.

Носков поднял шапку и, глядя внутрь ее, прибавил:

— А полиции я не боюсь.

— Ну, там — увидим. Вставай!

— Не боюсь,— повторил Носков.— Чем вы докажете, что я на вас напал, а не вы на меня, с испуга? Это — раз!

— Так. А — два? — спросил Яков, усмехнувшись, но несколько удивляясь спокойствию Носкова.

— Есть и два. Я для вас человек полезный.

— Это — сказка. Это из сказки!

И, направив револьвер в лицо гармониста, Яков с внезапной злостью пригрозил:

— Вот я тебе башку размозжу!

Носков поднял глаза и, снова опустив их в шапку, сказал внушительно:

— Не затевайте скандала. Доказать вы ничего не можете, хотя и богатый. Я говорю: пошутить хотел. Я папашу вашего знаю, много раз на гармонии играл ему.

Он резким жестом взбросил шапку на голову, наклонился и стал приподнимать штанину, мыча сквозь зубы, потом, вынув из кармана платок, начал перевязывать ногу, раненную выше колена. Он всё время что-то бормотал невнятно, но Яков не слушал его слов, вновь обескураженный странным поведением неудачного грабителя.

С необыкновенной для него быстротой Яков Артамонов соображал: конечно, надо оставить Носкова тут у забора, идти в город, позвать ночного сторожа, чтоб он караулил раненого, затем идти в полицию, заявить о нападении. Начнется следствие, Носков будет рассказывать о кутежах отца у дьяконицы. Может быть, у него есть друзья, такие же головорезы, они, возможно, попытаются отомстить. Но нельзя же оставить этого человека без возмездия...

Ночь становилась всё холодней; рука, державшая револьвер, ныла от холода; до полицейского управления — далеко, там, конечно, все спят. Яков сердито сопел, не зная, как решить, сожалея, что сразу не застрелил этого коренастого парня, с такими кривыми ногами, как будто он всю жизнь сидел верхом на бочке. И вдруг он услыхал слова, поразившие его своей неожиданностью:

— Я вам прямо скажу, хотя это — секрет,— говорил Носков, всё возясь с ногою своей.— Я тут для вашей пользы живу, для наблюдения за рабочими вашими. Я, может быть, нарочно сказал, что хотел напугать вас, а мне на самом-то деле надо было схватить одного человека и я опознался...

— Ч-чёрт,— сказал Яков.— Как?

— Да, вот так... Вы — не знаете, а у дьяконицы в бане собираются социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают...

— Врешь,— тихо сказал Яков, веря ему.— А — кто? Кто собирается?

— Этого я не могу сказать. Арестуют, узнаете.

Носков, держась за доски забора, встал и попросил:

— Дайте мне палку, без нее я не дойду...

Наклонясь, Яков поднял палку, подал ему и оглянулся, тихо спрашивая:

— Но тогда как же ты, зачем же вы набросились на меня?

— Я — не набрасывался. Я — опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы всё это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что...

И, придерживаясь за забор, опираясь на палку, Носков начал медленно переставлять кривые ноги, удаляясь прочь от огородов, в сторону темных домиков окраины, шел и как бы разгонял холодные тени облаков, а отойдя шагов десять, позвал негромко:

— Яков Петрович!

Яков подошел к нему очень быстро, Носков сказал:

— Вы об этом случае — никому, ни словечка! А то... Сами понимаете.

Он взмахнул палкой и пошел дальше, оставив Якова отупевшим. Приходилось думать сразу о многом, и нуж-

но было сейчас же решить: так ли он поступил, как следовало? Конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный, даже необходимый человек, а — если он наврал, обманул, чтоб выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Он врет, что опознался и что хотел напугать, врет, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Среди ткачей на фабрике была большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Крикунов, Маслов и другие, сами недавно требовали, чтоб контора рассчитала одного из наиболее неукротимых безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно ли рассказать об этом Мирону?

Яков не мог представить, что будет, если рассказать о Носкове Мирону; но, разумеется, брат начнет подробно допрашивать его, как судья, в чем-то обвинит и, наверное, так или иначе, высмеет. Если Носков шпион — это, вероятно, известно Мирону. И, наконец, все-таки не совсем ясно — кто ошибся: Носков или он, Яков? Носков сказал:

«Скоро увидите, что я говорю правду».

Он смотрел вслед охотнику до поры, пока тот не исчез в ночных тенях. Как будто всё было просто и понятно: Носков напал с явной целью — ограбить, Яков выстрелил в него, а затем начиналось что-то тревожно-запутанное, похожее на дурной сон. Необыкновенно идет Носков вдоль забора, и необыкновенно густыми лохмотьями ползут за ним тени; Яков впервые видел, чтоб тени так тяжко тащились за человеком.

Задерганный думами, устав от них, Артамонов младший решил молчать и ждать. Думы о Носкове не оставляли его, он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться: кто из них социалист? Неужели — кочегар Васька, чумазый, хромой, научившийся у плотника Серафима ловко складывать насмешливые частушки?

Через несколько дней Артамонов младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидал на опушке леса жандарма Нестеренко, в шведской куртке, в длинных сапогах,

с ружьем в руке и туго набитым птицей ягдташем на боку. Нестеренко стоял лицом к лесу, спиною к дороге и, наклоня голову, подняв руки к лицу, раскуривал папиросу; его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной. Яков тотчас решил, что нужно делать, подъехал к нему, торопливо поздоровался:

— А я не знал, что вы здесь!

— Третий день; жене моей, батенька, всё хуже, да-с!

Это печальное сведение Нестеренко сообщил очень оживленно и тотчас, хлопнув рукою по ягдташу, прибавил:

— А я — вот! Не плохо, а?

— Вы знаете Носкова, охотника? — спросил Яков негромко; рыжеватые брови офицера удивленно всползли кверху, его китайские усы пошевелились, он придержал один ус, сощурился, глядя в небо, всё это вызвало у Якова догадку: «Соврет. Но — как?»

— Носков? Кто это?

— Охотник. Курчавый, кривоногий...

— Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко... А — что?

Теперь офицер смотрел в лицо Якова пристальным, спрашивающим взглядом серых глаз с какой-то светленькой искрой в центре зрачка; Яков быстро рассказал ему о Носкове. Нестеренко выслушал его, глядя в землю, забивая в нее прикладом ружья сосновую шишку, выслушал и спросил, не подняв глаз:

— Почему же вы не заявили полиции? Это — ее дело, батенька, и это ваша обязанность.

— Я же говорю: он будто бы шпионит за рабочими, а это — ваше дело...

— Так,— сказал жандарм, гася папиросу о ствол ружья, и, снова глядя прищуренными глазами прямо в лицо Якова, внушительно начал говорить что-то не совсем понятное; выходило, что Яков поступил незаконно, скрыв от полиции попытку грабежа, но что теперь уж заявлять об этом поздно.

— Если б вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну — дело ясное! Но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Ранен? Ба!

В человека можно выстрелить с испуга... Случайно, по неосторожности...

Яков чувствовал, что Нестеренко хитрит, путает что-то, даже как бы хочет запугать и отодвинуть его или себя в сторону от этой истории; а когда офицер сказал о возможности выстрела с испуга, подозрение Якова упрочилось:

«Врет».

— Да-с, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает.

И, положив руку на плечо Якова, офицер сказал:

— Вот что: вы мне дайте честное слово, что всё это останется между нами. Это — в ваших интересах, понимаете? Итак: честное слово?

— Конечно. Пожалуйста.

— Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу,— вы действительно не говорили еще им? Ну вот. Предоставим это дело его внутренней логике. И — никому ни звука! Так? Охотник сам себя ранил, вы тут ни при чем.

Яков улыбался: с ним говорил другой человек, веселый, добродушный.

— До свидания,— говорил он.— Помните: честное слово!

Артамонов младший возвратился домой несколько успокоенный; вечером дядя предложил ему съездить в губернию, он уехал с удовольствием, а через восемь дней, возвратясь домой и сидя за обедом у дяди, с новой тревогой слушал рассказ Мирона:

— Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал, он и в городе поймал троих: учителя Модестова и еще каких-то.

— А у нас? — спросил Яков.

— У нас: Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Хотя арестовывать приезжали жандармы из губернии, но, разумеется, это дело Нестеренко, и, таким образом, жена его хворает с явной пользой для нас. Да, он — не глуп. Боится, чтоб его не кокнули...

— Теперь — перестали убивать,— заметил Алексей.

— Н-ну,— сказал Мирон.— Да! В городе арестован еще этот, охотник...

— Носков? — тихо, испуганно спросил Яков.

— Не знаю. Он жил у дьяконицы, у нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее — и с нею — забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение — дрянненькое...

— Да уж,— сказал Алексей, мотнув лысой головою.— Что с ним делать?

У Якова потемнело в глазах, и он уже не мог слушать, о чем говорит дядя с братом. Он думал: Носков арестован; ясно, что он тоже социалист, а не грабитель, и что это рабочие приказали ему убить или избить хозяина; рабочие, которых он, Яков, считал наиболее солидными, спокойными: Седов, всегда чисто одетый и уже немолодой; вежливый, веселый слесарь Крикунов; приятный Абрамов, певец и ловкий, на все руки, работник. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги его?

Ему показалось также, что за эти дни в доме дяди стало еще более крикливо и суетно. Золотозубый доктор Яковлев, который никогда ни о ком, ни о чем не говорил хорошо, а на всё смотрел издали, чужими глазами, посмеиваясь, стал еще более заметен и как-то угрожающе шелестел газетами.

— Да,— говорил он, сверкая зубами,— шевелимся, просыпаемся! Люди становятся похожи на обленившуюся прислугу, которая, узнав о внезапном, неожиданном ею возвращении хозяина и боясь расчета, торопливо, нахлестанная испугом, метет, чистит, хочет привести в порядок запущенный дом.

— Двусмысленно говорите вы, доктор,— заметил Мирон, поморщившись.— Этот ваш анархизм, скептицизм...

Но доктор говорил всё громче, речи его становились длиннее, слова внушали Якову тревогу. Казалось, что и все чего-то боятся, грозят друг другу несчастиями, взаимно раздувают свои страхи, можно было думать даже так, что люди боятся именно того, что они сами же и делают,— своих мыслей и слов. В этом Яков видел нарастание всеобщей глупости, сам же он жил страхом не выдуманным, а вполне реальным, всей кожей чувст-

вуя, что ему на шею накинута петля, невидимая, но всё более тугая и влекущая его навстречу большой, неотвратимой беде.

Его страх возрос еще более месяца через два, когда снова в городе явился Носков, а на фабрике — Абрамов, гладко обритый, желтый и худой.

— Возьмете меня, старика? — спросил он, улыбаясь,— Яков не посмел отказать ему.

— Что, трудно в тюрьме? — спросил он. Абрамов ответил всё с тою же улыбкой:

— Тесно очень! Если б тиф не помогал начальству,— не знаю, куда бы оно сажало народ!

«Да,— подумал Яков, проводив ткача,— ты улыбаешься, а я знаю, что ты думаешь...»

В тот же вечер Мирон из-за Абрамова устроил ему оскорбительную сцену, почти накричал на него, даже топнул ногою, как на лакея:

— Ты с ума сошел? — кричал он, и нос его покраснел со зла.— Завтра же дай расчет...

А через несколько дней, когда он утром купался в Оке, его застигли поручик Маврин и Нестеренко, они подъехали в лодке, усатой от множества удилищ, хладнокровный поручик поздоровался с Яковом небрежным кивком головы, молча, и тотчас же отъехал на середину реки, а Нестеренко, раздеваясь, тихо сказал:

— Вы напрасно не приняли Абрамова, очень жалею, что не мог предупредить вас.

— Это — Мирон,— пробормотал Артамонов младший, чувствуя, что слова офицера крепко пахнут спиртом.

— Да? — спросил Нестеренко.— Это не от вас зависело?

— Нет.

— Жаль. Парень этот был бы полезен. Приманка. Живец.

И, глядя на Якова глазами соучастника, голый, золотистый на солнце, блестя кожей, как сазан чешуей, офицер снова спросил:

— А приятеля вашего — видели? Охотника?

Нестеренко засмеялся тихим смехом самодовольного человека.

— Знаете, что его побудило охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Всё — страсти, батенька, страсти руководят людями, да-с! Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло, благодаря его ошибке с вами...

— Какая же ошибка, когда вы говорите...

— Ошибка, сударь мой, ошибка! — настойчиво повторил офицер и, разбрызгивая воду, крестя голую грудь, пошел в реку, шагая, как лошадь.

«Чёрт вас всех побери»,— уныло подумал Яков.

Вдруг — точно дверь закрыли в комнату; где был шум,— пришла смерть.

Среди ночи Якова разбудила, всхлипывая, мать:

— Вставай скорее, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался!

Яков вскочил, забормотал:

— Как же это! Он и не хворал ведь...

Пошатываясь, тяжко дыша, в дверь влез отец.

— Тихон,— ворчал он.— Где Тихон, там уж добра не жди! Вот, Яков, а? Вдруг...

Босый, в халате, накинутом на ночное белье, он дергал себя за ухо, оглядывался, точно попал в незнакомое место, и ухал:

— Ух...

— Как же это? — недоумевал Яков.

— Без покаяния,— сказала мать, похожая на огромный мешок муки.

Поехали на бричке; Яков сидел за кучера, глядя, как впереди подпрыгивает на коне Тихон, а сбоку от него по дороге стелется, пляшет тень, точно пытаясь зарыться в землю.

Ольга встретила их на дворе, она ходила от сарая к воротам туда и обратно, в белой юбке, в ночной кофте, при свете луны она казалась синеватой, прозрачной, и было странно видеть, что от ее фигуры на лысый булыжник двора падает густая тень.

— Вот и кончилась моя жизнь,— тихонько сказала она. Черная собака Кучум неотвязно шагала вслед за нею.

На скамье, под окном кухни, сидел, согнувшись, Мирон; в одной его руке дымилась папироса, другою он

раскачивал очки свои, блестели стекла, тонкие золотые ниточки сверкали в воздухе; без очков нос Мирона казался еще больше. Яков молча сел рядом с ним, а отец, стоя посреди двора, смотрел в открытое окно, как нищий, ожидая милостыни. Ольга возвышенным голосом рассказывала Наталье, глядя в небо:

— Не заметила я, когда... Вдруг плечико у него стало смертно холодное, ротик открылся. Не успел, родной, сказать мне последнее слово свое. Вчера пожаловался: сердце колет.

Рассказывала Ольга тихо, и от слов ее тоже как будто падали тени.

Мирон, бросив погасшую папиросу, боднул Якова головою в плечо и тихонько провыл:

— Т-ты не знаешь, какой он хороший...

— Что ж делать? — ответил Яков, не находя иных слов. Надобно было сказать что-нибудь и тетке, а — что скажешь? Он замолчал, глядя в землю, шаркая ногою по ней.

Отец, крякнув, осторожно пошел в дом, за ним на цыпочках пошел и Яков. Дядя лежал накрытый простынею, на голове его торчал рогами узел платка, которым была подвязана челюсть, большие пальцы ног так туго натянули простыню, точно пытались прорвать ее. Луна, обтаявшая с одного бока, светло смотрела в окно, шевелилась кисея занавески; на дворе взвыл Кучум, и, как бы отвечая ему, Артамонов старший сказал ненужно громко, размашисто крестясь:

— Жил легко и помер легко...

Из окна Яков видел, что теперь по двору рядом с теткой ходит Вера Попова, вся в черном, как монахиня, и Ольга снова рассказывает возвышенным голосом:

— Во сне скончался...

— Не дури! — тихо крикнул Вялов; он, вытирая лошадь клочками сена, мотал головою, не давая коню схватить губами его ухо; Артамонов старший тоже взглянул в окно, проворчал:

— Орет, дурак; ничего не понимает...

«Ничего не надо говорить»,— подумал Яков, выходя на крыльцо, и стал смотреть, как тени черной и бе-

лой женщин стирают пыль с камней; камни становятся всё светлее. Мать шепталась с Тихоном, он согласно кивал головою, конь тоже соглашался; в глазу его светилось медное пятно. Вышел из дома отец, мать сказала ему:

— Никите Ильичу депешу бы послать, Тихон знает, где он.

— Тихон знает! — сердито повторил отец.— Пошли, Мирон.

Мирон встал, пошел, задел плечом косяк двери и погладил косяк ладонью.

— Илье тоже пошли,— сказал Артамонов старший вслед ему; из темной дыры, прорезанной в стене, Мирон ответил:

— Илья не может приехать.

— Ведь я с ним тридцать лет прожила,— рассказывала Ольга и точно сама удивлялась тому, что говорит.— Да еще до венца четыре года дружились. Как же теперь я буду?

Отец подошел к Якову.

— Илья — где?

— Не знаю.

— Врешь?

— Не время теперь говорить об Илье, папаша.

Во двор поспешно вошел доктор Яковлев, спросил:

— В спальне?

«Дурак,— подумал Яков. — Ведь не воскресишь».

Его угнетала невозможность пропустить мимо себя эти часы уныния. Всё кругом было тягостно, ненужно: люди, их слова, рыжий конь, лоснившийся в лунном свете, как бронза, и эта черная, молча скорбевшая собака. Ему казалось, что тетка Ольга хвастается тем, как хорошо она жила с мужем; мать, в углу двора, всхлипывала как-то распущенно, фальшиво, у отца остановились глаза, одеревенело лицо, и всё было хуже, тягостнее, чем следовало быть.

В день похорон дяди Алексея на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита.

«Вот еще»,— подумал Яков, разглядывая угловатую

фигуру монаха, прислонившуюся к стволу березы, им же и посаженной.

— Опоздал ты,— сказал ему отец, подходя к брату, вытирая слезы с лица,— монах втянул, как черепаха, голову свою в горб. Вид у него был нищий; ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого жестяного ведра, сапоги стоптаны. Пыльное его лицо опухло, он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бороденка. Яков исподлобья оглянулся,— монаха любопытно щупали десятки глаз, наверное, люди смотрят на уродливого брата и дядю богатых людей и ждут — не случится ли что-нибудь скандальное? Яков знал, что город убежден: Артамоновы спрятали горбуна в монастырь для того, чтоб воспользоваться его частью наследства после отца.

Толстый, благодушный священник отец Николай тенористо уговаривал Ольгу:

— Не станем оскорблять стенанием и плачем господа бога нашего, ибо воля его...

А Ольга отвечала возвышенным голосом:

— Да ведь я не плачу, не жалуюсь я!

Руки у нее дрожали, она странно судорожными жестами ошаривала юбку свою, хотела спрятать в карман мокрый от слез комочек платка.

Тихон Вялов умело засыпал могилу, помогая сторожу кладбища, у могилы, остолбенело вытянувшись, стоял Мирон, а горбатый монах тихо, жалобно говорил Наталье:

— Ой, какая ты стала,— не узнать!

И, ткнув пальцем в передний горб свой, прибавил неуместно, ненужно:

— Меня — нельзя не узнать. Этот — твой, Яков? А тот, высокий, Алешин, Мирон? Так, так! Ну, пойдемте, пойдемте...

Яков остался на кладбище. За минуту пред этим он увидал в толпе рабочих Носкова, охотник прошел мимо его рядом с хромым кочегаром Васькой и, проходя, взглянул в лицо Якова нехорошим, спрашивающим взглядом. О чем думает этот человек? Конечно,

он не может думать безвредно о человеке, который стрелял в него, мог убить.

Подошел Тихон, стряхивая ладонью песок с поддевки, и сказал:

— Ведь вот, уж как старался Алексей Ильич, а все-таки... И Никита Ильич слабенек...

— Тут есть,— вдруг сказал Яков и оборвал слова свои.

— Чего?

— Рабочие жалеют дядю.

— А — как же?

— Тут есть один — Носков, охотник,— снова начал Яков.— Я бы тебе сказал про него...

— Лошадь падет, и ту — жаль,— раздумчиво говорил Тихон.— Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался. Как ушибся обо что. А еще за день до смерти говорил мне...

Яков замолчал, поняв, что его слова не дойдут до Тихона. Он решил сказать Тихону о Носкове потому, что необходимо было сказать кому-либо о этом человеке; мысль о нем угнетала Якова более, чем всё происходящее. Вчера в городе к нему откуда-то из-за угла подошел этот кривоногий, с тупым лицом солдата, снял фуражку и, глядя внутрь ее, в подкладку, сказал:

— Имею должок за вами, обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер, так что — как бы на помин души. А у меня случай есть — замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши...

Яков ошеломленно смотрел на него и молчал. Тогда Носков поучительно и настойчиво прибавил:

— И как я служу вашей пользе, против недругов России...

— Сколько? — спросил Яков.

Носков, не сразу, ответил:

— Тридцать пять рублей.

Яков дал ему деньги и быстро пошел прочь, возмущенный, испуганный. «Он меня дураком считает, он думает, что я его боюсь, подлец! Нет, погоди же...»

И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь

о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно, желающего подвести его, как быка, под топор.

Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно:

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

Степан Барский, когда его мягкое, точно пуховая подушка, тело втискивали в экипаж, громко похвалил:

— Ну, Петр Ильич, воистину — любил ты брата! Такие поминки долго не забыть!

Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо:

— Ты скоро всё забудешь, лопнешь скоро.

Житейкина, Барского, Воропонова и еще несколько человек почтенных горожан отец пригласил сам, против желания Мирона, и Мирон был явно возмущен этим; посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушел, шагая, как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тетка Ольга, потом скрылся и монах, которому, видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. А отец вел себя так, как будто хотел обидеть всех людей, и всё время, до конца поминок, Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами.

Мать, оскорбленная тем, что за теткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой, а отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Всё это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и еще более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел на двор и под окном кухни на скамье увидал рядом с Тихоном черную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским; он держал в руке стакан, а на скамье, рядом с ним, стояла бутылка кваса.

— Это — кто? — тихонько спросил он и тотчас сам ответил: — Это — Яша. Посиди со стариками, Яша!

И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нем. Луна спряталась за колокольней, окутав ее серебряным туманным светом и этим странно выдвинув из теплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пес Кучум; ходил, нюхал землю и вдруг, подняв голову в небо, негромко вопросительно взвизгивал.

— Цыц, Кучум,— вполголоса сказал Тихон.

Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то.

— Чувствует,— заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтоб не думать.

— Понимает, говорю,— настойчиво повторил он,— дворник тихо отозвался:

— А — как же?

— В Суздале монастырская собака воров по запаху узнавала,— вспомнил монах.

— О чем беседуете? — спросил Яков; монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и беззубо заговорил, точно с лестницы идя:

— Тихон вот замечает: опять к мятежу люди склонны. Оно — похоже! Очень задумались все...

— Дела замучили,— вставил Тихон, играя ушами собаки.

— Прогони собаку,— приказал Яков,— блохи от нее.

Дворник снял Кучумовы лапы с колен своих, отодвинул собаку ногой; она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на нее, и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем ее хозяина, зарытого в землю.

— Бунт — будет,— сказал Яков и осторожно посмотрел в темные углы двора.— Помнишь, Тихон, арестовали Седова с товарищами?

— А — как же?

Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку,

достал из нее щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику:

— Вот, табачок нюхаю. Глазам помогает это, плохо видеть стали.

Чихнув, он продолжал:

— Арестуют даже и в деревнях...

— Шпионы завелись,— сказал Яков, стараясь говорить просто.— Подсматривают за всеми.

Тихон проворчал:

— Ежели не подсматривать — ничего не узнаешь.

А Яков, нерешительно ворочая языком, пожимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шёпотом:

— И у нас есть. Про Носкова, охотника, нехорошие слухи... Будто он донес на Седова и на всех в городе...

— Ишь ты, дурак,— не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил ее на колено, а Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту, и зачем-то предупредил Тихона:

— Ты, однако, не говори про Носкова.

— Зачем говорить? Он меня некасаемый. Да и некому говорить, никто никому не верит.

— Да,— сказал монах,— веры мало; я после войны с солдатами ранеными говорил, вижу: и солдат войне не верит! Железо, Яша, железо везде, машина! Машина работает, машина поет, говорит! Железному этому заводу жития и люди другие нужны — железные. Очень многие понимают это, я таких встречал. «Мы, говорят, вам, мякишам, покажем!» А некоторые другие обижаются. Когда человек командует — к этому привыкли, а когда железный металл — обидно! К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно,— привыкли, а тут вещь — сто пудов, однако как живая.

Тихон крякнул и, незнакомо Якову, неслыханно им,— засмеялся, говоря:

— Вперед лошади телега бежит. Эх, черти!

— И многие — обозлились,— продолжал монах очень тихо.— Я три года везде ходил, я видел: ух как обозлились! А злятся — не туда. Друг против друга злятся; однако — все виноваты, и за ум и за глупость. Это мне поп Глеб сказал: очень хорошо!

— Поп-то жив? — спросил Тихон.

— Попа — нет,— ответил Никита.— Он расстригся, он теперь по сельским ярмаркам книжками торгует.

— Хороший поп,— сказал Тихон.— Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся попом из бедности своей, а по-настоящему в бога не верил, так думаю.

— Нет, он — веровал во Христа. Каждый по-своему верует.

— Оттого и смятение,— твердо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся: — Додумались...

На крыльцо бесшумно вышел Артамонов старший, босиком, в ночном белье, посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном:

— Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут...

Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в темную дыру открытого окна, должно быть, ожидая, когда хозяин позовет ее.

— А ты, Тихон, всё свое долбишь! — заговорил Артамонов.— Вот, Яков, гляди: наткнулся мужик на одну думу — как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?

— Слышал.

— Да. Прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал, а — куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как...

— Алексей божий человек также,— тихо напомнил Никита.

Артамонов старший поднял руку к виску, помолчал и пошел в сад, сказав Якову:

— Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может, я там засну.

Грузный, в белом весь, с растрепанными волосами на голове, с темно-бурым опухшим лицом, он был почти страшен.

— О машинах ты, Никита, зря говорил,— сказал он, остановясь среди двора.— Что ты понимаешь в машинах? Твое дело — о боге говорить. Машины не мешают...

Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь:

— От машин жить дороже и шуму больше.

Артамонов старший отмахнулся от него и медленно пошел в сад, а Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал:

«Родные: отец, дядя,— а зачем они мне? Они помочь не могут».

Отец не пригласил брата жить к себе, монах поселился в доме тетки Ольги, на чердаке, предупредив ее:

— Я немножко поживу, я уйду скоро...

Жил он почти незаметно и, если его не звали вниз,— в комнаты не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людями тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем, дома молился мало и говорить о боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров.

Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова, и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствованиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал еще более заносчив, сух, распоряжался по фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего.

На расплывшееся, красное лицо Натальи монах смотрел так же ласково, как на все и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими, да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Ее отупевшие глаза остановились, лишь изредка в их мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироном и любовная радость при виде толстенького, солидного Якова. С Тихоном монах был в чем-то несогласен, они ворчали друг на друга, и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых.

В жизнь Якова угловатая черная фигура дяди внесла еще одну тень, вид монаха вызывал в нем тяжелые предчувствия, его темное, тающее лицо заставляло думать о смерти. Яков Артамонов смотрел на всё, что творилось дома, с высоты забот о себе самом, но хотя заботы всё возрастали, однако и дома тоже возникало всё больше новых тревог. Чутье мужчины, опытного

в делах любви, подсказывало ему, что Полина стала холоднее с ним, а хладнокровный поручик Маврин подтверждал подозрения Якова; встречаясь с ним, поручик теперь только пренебрежительно касался пальцем фуражки и прищуривал глаза, точно разглядывая нечто отдаленное и очень маленькое, тогда как раньше он был любезней, вежливее и в общественном собрании, занимая у Якова деньги на игру в карты или прося его отсрочить уплату долга, не однажды одобрительно говорил:

— У вас, Артамонов, фигура артиллериста.

Или говорил что-нибудь другое, тоже приятное. Якову льстило грубоватое добродушие этого точно из резины отлитого офицера, удивлявшего весь город своим презрением к холоду, ловкостью, силой и несомненно скрытой в нем отчаянной храбростью. Он смотрел в лица людей круглыми, каменными глазами и говорил сиповато, командующим голосом:

— Я мужчина хладнокровный и терпеть не могу преувеличений.

Поссорившись за картами с почтмейстером Дроновым, больным, но ехидного ума старичком, которого все в городе боялись, Маврин сказал ему:

— Преувеличивать не стану, но вы — старый дурак!

Подозревая в нем соперника, Яков Артамонов боялся столкновений с поручиком, но у него не возникало мысли о том, чтоб уступить Маврину Полину,— женщина становилась всё приятнее ему. Все-таки он уже не однажды предупреждал ее:

— Смотри, если замечу что-нибудь между тобой и Мавриным — брошу!

Рядом с этим росла тревога, которую вызывал в нем охотник Носков. Он подстерегал Якова на окраине города, у мостика через Ватаракшу, внезапно вырастал из земли и настойчиво, как должного, просил денег, глядя в свою фуражку.

Было что-то странное, нехорошее в том, что охотник появлялся всегда на одном и том же месте, выходя из крапивы и репейника, из густой заросли сорных трав под двумя кривыми ветлами. Года два тому назад на

этом месте стоял дом огородника Панфила; огородника кто-то убил, дом подожгли, ветлы обгорели, глинистая земля, смешанная с углем и золою, была плотно утоптана игроками в городки; среди остатков кирпичного фундамента стояла печь, торчала труба; в ясные ночи над трубою, невысоко в небе, дрожала зеленоватая звезда. Носков не торопясь, шурша крапивой, выходил из-за трубы, медленно стаскивал с головы своей фуражку и бормотал:

— Я вам заслужу. Тут у вас снова заводится компания...

— Эти компании не мое дело,— сердито говорил Яков и слышал в ответе Носкова явное нахальство:

— Конечно, не вы организуете, но дело-то касается вас.

«Жаль, не пристрелил я его тогда»,— в десятый раз сожалел Яков и, давая деньги шпиону, говорил:

— Ты, смотри, осторожнее!

— Я знаю.

— Меня не впутай.

— Зачем же? Будьте покойны.

«Да, конечно, он считает меня дураком...»

Понимая, что Носков человек полезный, Яков Артамонов был уверен, что кривоногий парень с плоским лицом не может не отомстить ему за выстрел. Он хочет этого. Он запугает или на деньги, которые сам же Яков дает ему, подкупит каких-нибудь рабочих и прикажет им убить. Якову уже казалось, что за последнее время рабочие стали смотреть на него внимательнее и злей.

Мирон всё чаще говорил: рабочие бунтуют не ради того, чтоб улучшить свое положение, но потому, что им со стороны внушается нелепейшая, безумнейшая мысль: они должны взять в свою волю банки, фабрики и вообще всё хозяйство страны. Говоря об этом, он вытягивался, выпрямлялся, шагал по комнате длинными ногами и вертел шеей, запуская палец за воротник, хотя шея у него была тонкая, а воротник рубашки достаточно широк.

— Это уж даже и не социализм, а чёрт знает что! И вот сторонником этой выдумки является твой родной брат. Наше правительство старых ворон...

Яков понимал, что всё это говорится Мироном для того, чтоб убедить слушателей и себя в своем праве на место в Государственной думе, а все-таки гневные речи брата оставляли у Якова осадок страха, усиливая сознание его личной беззащитности среди сотен рабочих. Он даже испытал нечто близкое припадку ужаса: как-то утром его разбудил вой и крик на фабричном дворе, приподняв голову с подушки, он увидал, что по белой, гладкой стене склада мчится буйная толпа теней, они подпрыгивают, размахивая руками, и, казалось, двигают по земле всё здание склада. Он, сразу весь вспотев, думал, безмолвно кричал:

«Бунт...»

Этот поток теней, почему-то более страшных, чем люди, быстро исчез, Яков понял, что у ворот фабрики разыгралась обычная в понедельник драка,— после праздников почти всегда дрались, но в памяти его остался этот жуткий бег темных, воющих пятен. Вообще вся жизнь становилась до того тревожной, что неприятно было видеть газету и не хотелось читать ее. Простое, ясное исчезало, отовсюду вторгалось неприятное, появлялись новые люди.

Сестра Татьяна вдруг привезла из Воргорода жениха, сухонького рыжеватого человечка в фуражке инженера; легкий, быстрый на ногу, очень веселый, он был на два года моложе Татьяны, и, начиная с нее, все в доме сразу стали звать его Митя. Он играл на гитаре, пел песни, одна из них, которую он распевал особенно часто, казалась Якову обидной для сестры и очень возмущала мать.

Жена моя в гробу.
Рабу
Устрой, господь, твою
В раю!

Но сестра не обижалась; ее, как всех, забавлял этот человек, и даже мать нередко умиленно говорила ему:

— Ах ты, чижик! Да ты поешь, паяц!

Есть Митя мог, точно голубь, бесконечно много; Артамонов старший разглядывал его, как сон, удивленными глазами, мигая, и спрашивал:

— При таком характере ты должен пить. Пьешь?

— Могу,— ответил зять и за ужином доказал, что пить он может тоже изрядно. Он везде бывал: на Волге и на Урале, в Крыму и на Кавказе, он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек; казалось, что он прибежал из какой-то веселой, беспечной страны.

— Жизнь — красавица! — говорил он и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела, понравился рабочим, молодежь смеялась, старики ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывал языком улыбки со своих тонких губ. Вот он идет рядом с Мироном по двору фабрики к пятому корпусу, этот корпус еще только вцепился в землю, пятый палец красной кирпичной лапы; он стоит весь опутанный лесами, на полках лесов возятся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Мирона, он вытягивает руку, точно генерал на старинной картинке ценою в пятачок, Митя, кивая головою, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю.

Яков смотрит на них из окна конторы. Зять нравится и ему, с ним весело, забываешь многое, что тяготит; Яков даже завидует характеру этого человека, но чувствует к нему странное недоверие: кажется, что этот человек ненадолго, до завтра, а завтра он объявит себя актером, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нем было еще одно хорошее качество,— он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяной, хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьянина хитрость. Но отец, трезвый, ворчал:

— Вот на какого рыженького работал я...

И Мирон женился.

— Позвольте представить вам жену мою,— сказал он, приехав из Москвы, и поставил пред собою голубоглазую пухленькую куколку с кудрявой, свернутой набок головкой. Его жена была игрушечно маленьких размеров, но сделана как-то особенно отчетливо, и это придавало ей в глазах Якова вид не настоящей женщины, а сходство с фарфоровой фигуркой, прилепленной

к любимым часам дяди Алексея; голова фигурки была отбита и приклеена несколько наискось; часы стояли на подзеркальнике, и статуэтка, отворотясь от людей, смотрела в зеркало. Мирон объявил, что жену его зовут Анна и что ей восемнадцать лет, но умолчал, что в придачу к ней ему дали четверть миллиона и что она единственная дочь фабриканта бумаги.

— Вот как женятся,— ворчал отец, глядя на Якова красными глазами.— А ты путаешься чёрт знает с какой. А Илью вымели из обихода, как сор.

Отец ходил с трудом, тяжело раскачивая обмякшее, вялое тело. Якову казалось, что тело это злит отца и он нарочно выставляет напоказ людям угнетающее безобразие старческой наготы; он щеголял в ночном белье, в неподпоясанном халате, в туфлях на босую ногу, с раскрытой оплывшей грудью, так же, как ходил перед дочерью Еленой, чтобы позлить ее. Иногда он являлся в контору, долго сидел там и, мешая Якову, жаловался, что вот он отдал все свои силы фабрике, детям, всю жизнь прожил запряженный в каменные оглобли дела, в дыму забот, не испытав никаких радостей.

Сын слушал и молчал, видя, что эти жалобы, утешая отца, раздувают, увеличивают его до размеров колокольни,— утром солнце видит ее раньше, чем ему станут заметны дома людей, и с последней с нею прощается, уходя в ночь. Но из этих жалоб Яков извлекал для себя поучительный вывод: жить так, как жил отец,— бессмысленно.

И всегда он видел, что после насыщения жалобами отцом овладевает горячий зуд, беспокойное желание обижать людей, издеваться над ними. Он шел к старухе жене, сидевшей у окна в сад, положив на колени ненужные руки, уставя пустые глаза в одну точку; он садился рядом с нею и зудел:

— О чем думаешь? Толста, а не видно тебя. Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елена-то забыла, не приезжает, а? Видно, опять нового любовника завела. А Илья — где?

Но жену дразнить было скучно, ее багровое лицо быстро потело слезами, казалось, что слезы льются не

только из глаз ее, но выступают из всех точек туго надутой кожи щек, из двойного, рыхлого подбородка, просачиваются где-то около ушей.

— Ну, рассохлась,— брезгливо ворчал старик и уходил, отмахиваясь от нее, как от дыма. Нет, она не забавляла.

Якова он не дразнил, но сыну всегда казалось, что отец смотрит на него с обидной жалостью. Иногда он вздыхал:

— Эх ты, пустоглазый...

Мирон был недоступен насмешкам, отец явно и боязливо сторонился его; это было понятно Якову. Мирона все боялись и на фабрике и дома, от матери и фарфоровой его жены до Гришки, мальчика, отворявшего парадную дверь. Когда Мирон шел по двору, казалось, что длинная тень его творит вокруг тишину.

Смеяться над рыженьким зятем не было удовольствия, этот сам себя умел высмеивать, он явно предпочитал ударить сам себя раньше, чем его побьет другой. Татьяна, беременная, очень вспухла, важно надула губы, после обеда лежала, читая сразу три книги, потом шла гулять; муж бежал рядом с нею, как пудель.

Артамонов старший приказывал запрячь лошадь и ехал в город дразнить брата и Тихона; Яков неоднократно слышал, как он делает это.

— Что, студент в клобуке, проюрдонил бога-то? — привязывался он к монаху.

Никита двигал горбом, крепко гладил ладонями длинных рук острые колена свои и тихо, жалобно говорил:

— Ой, напрасно это...

— Как — напрасно? Ты не ту шляпу носишь, эта у тебя шляпа фальшивая. Вся твоя одёжа фальшивая. Какой ты монах?

— Моей души дело.

— Табак нюхаешь. Нет, проиграл ты, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте, она бы тебе благодарно детей родила, был бы ты теперь, как я, дед. А ты допустил — помнишь?

Медленно, как огромная черепаха, монах отползал прочь, а Петр Ильич Артамонов шел к Ольге, расска-

зывал ей о кутежах Алексея на ярмарке. Но это тоже не забавляло его; маленькая старушка после смерти мужа заразилась какой-то непоседливостью, она всё ходила, передвигая мебель, переставляя вещи с места на место, поглядывая в окна. Ходила, держа голову неподвижно, и хотя на носу ее красовались очки с толстыми стеклами, она жила на ощупь, тыкая в пол палкой, простирая правую руку вперед. А на злые рассказы старика она, усмехаясь, отвечала:

— Что хочешь говори; к такому, каким я знаю Алешу, ничего худого не пристанет, хорошего не прибавится.

— Верно сказал он про тебя: ты одним глазом смотришь.

— Обоими почти не вижу,— сказала Ольга.— Не вижу, вчера любимый его стакан фарфоровый разбила сослепа.

Пробовал Артамонов старший дразнить Тихона Вялова, но это было тоже трудно. Тихон не сердился, он, глядя вбок, покрякивал, отвечая кратко и спокойно.

— Долго ты живешь,— говорил Артамонов, Тихон резонно ствечал:

— Живут и больше.

— А вот зачем ты жил, а? Ты говори!

— Все живут.

— Верно, да — не всякий целую жизнь дворы метет, сор убирает...

У Тихона были свои мысли.

— Родился, ну и живи до смерти,— говорил он, но Артамонов, не слушая его, продолжал:

— Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это — почему? Тебе еще отец мой другое место давал, а ты — не захотел, отвергся. Это что же за упрямство у тебя?

— Опоздал спросить, Петр Ильич,— ответил Тихон, глядя в сторону.

Сердясь, Артамонов настойчиво зудел:

— Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили...

— Копил, копил да чёрта и купил,— сказал Тихон, особенно кругло́ и густо произнося о́.

Яков ждал, что отец рассердится, обругает Тихона, но старик, помолчав, пробормотал что-то невнятное и отошел прочь от дворника, который хотя и линял, лысел, становился одноцветным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищрениям старости, был всё так же крепок телом, даже приобретал некое благообразие, а говорил всё более важно, поучающим тоном; Якову казалось, что Тихон говорит и ведет себя более «по-хозяйски», чем отец.

Сам Яков всё яснее видел, что он лишний среди родных, в доме, где единственно приятным человеком был чужой — Митя Лонгинов. Митя не казался ему ни глупым, ни умным, он выскальзывал из этих оценок, оставаясь отличным от всех. Его значительность подтверждалась и отношением к нему Мирона; черствый, властный, всеми командующий Мирон жил с Митей дружно и хотя часто спорил, но никогда не ссорился, да и спорил осторожно. В доме с утра до вечера звучал разноголосый зов:

— Митя! — кричала Татьяна.

— Где Митя? — спрашивала мать, и даже отец рычал, высунувшись в окно:

— Митрий,— обедать пора!

Митя бегал по фабрике лисьим бегом и ловко заметал пушистым хвостом смешных слов, веселых шуточек сухую, обидную строгость Мирона с рабочими и служащими. Рабочих он называл друзьями.

— Дружище, это — не так! — говорил он бородатому, солидному десятнику плотников, выхватывал из кармана книжечку в красной коже, карандаш или чертил что-то на доске и спрашивал:

— Видишь? Так? И — так? И вот так? Вышло?

— Правильно,— соглашался десятник.— А мы всё по старинке, как привыкли...

— Нет, милая личность, надо привыкать к новому — выгоднее!

Десятник соглашался:

— Правильно.

Своею бойкой игрой с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нем незаметно было хозяйской жадности, веселым балагурством он весьма напоминал плотника Серафима, это было замечено и отцом; как-то во время ужина, когда Митя размел, рассеял сердитое настроение за столом, отец, ухмыляясь, проворчал:

— Вот тоже, был у нас Утешитель, Серафим... да!

Яков слышал, как однажды, после обычного столкновения отца с Мироном, Митя сказал Мирону:

— Соединение страшненького и противненького с жалким — чисто русская химия!

И тотчас же утешил:

— Но — ничего! Это скоро пройдет, изживется. Мы — очищаемся...

Праздничным вечером, в саду за чаем, отец пожаловался:

— Я без праздника прожил!

Зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:

— Это — ваша ошибка и ничья больше! Праздники устанавливает для себя человек. Жизнь — красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры, жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости.

Говорил он долго, ловко, точно на дудочке играя, и все за столом примолкли; всегда бывало так, что, слушая его, люди точно засыпали; Яков тоже испытывал обаяние его речей, он чувствовал в них настоящую правду, но ему хотелось спросить Митю:

«Зачем же ты женился на некрасивой, глупой девице?»

Яков видел в его отношении к жене нечто фальшивое, слишком любезное, подчеркнутую заботливость; Якову казалось, что и сестра чувствует эту фальшь, она жила уныло, молчаливо, слишком легко раздражалась и гораздо чаще, оживленнее беседовала о политике с Мироном, чем с веселым мужем своим. Кроме политики, она не умела говорить ни о чем.

Иногда Яков думал, что Митя Лонгинов явился не из веселой, беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной, темной ямы, дорвался до незнакомых, но-

вых для него людей и от радости, что наконец дорвался, пляшет пред ними, смешит, умиляется обилию их, удивлен чем-то. Вот в этом его удивлении Яков подмечал нечто глуповатое; так удивляется мальчишка в магазине игрушек, но — мальчишка, умно и сразу отличающий, какие игрушки лучше.

Из всех людей в доме и на фабрике двое определенно не любили Татьянина мужа: дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова: как ему нравится Митя? — дворник спокойно ответил:

— Неверный.

— Чем?

— Муха. На всякую дрянь садится.

Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного:

— Сам видишь, Яков Петров,— сказал он.— Видишь ведь: человек фигуры выдумывает.

Дядя, монах, сказал почти то же.

— Пылит,— сказал он, вздохнув.— Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему: горох, а он тебе: горы, ох... Да, да.

Было странно слышать, что этот кроткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно не свойственной ему. И еще более удивляло единогласие Тихона и дяди в оценке мужа Татьяны,— старики жили несогласно, в какой-то явной, но немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков еще раз видел надоевшую ему человеческую глупость: в чем могут быть не согласны люди, которых завтра же опрокинет смерть?

Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упреками:

— Я весь век жил в людях волом, а ты — живешь котом. Все заботятся устроить тебе потеплее, помягче и даже будто не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой? Я всю жизнь...

Втягивая голову в горб, монах просил, покашливая:

— Ты — не сердись.

Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову, это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе:

«Отец. От него я родился».

Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город как бы для того, чтоб наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов старший влезал на чердак и садился у постели монаха, уставив на него воспаленные, красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок; руки у него стали беспокойны, он всё одергивал рясу, обирал с нее что-то невидимое. Иногда он вставал, задыхаясь от кашля.

— Хрустишь? — спрашивал брат.

Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев; ряса висела на нем, как парус на сломанной мачте; садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад и в даль, на темную, сердитую щетину леса.

— Ну, отдохни,— говорил брат, дергая дряблую мочку уха, спускался вниз и оповещал Ольгу:

— Хрустит. Скоро уж...

Приезжал толстый монах, отец Мардарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу:

— После отвезете туда, когда умру.

И жалобно, трижды попросил:

— Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давила. Уж не забудьте!

Умер он за четыре дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь:

— Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть.

Утром, в день смерти его, Яков помог отцу подняться на чердак, отец, перекрестясь, уставился в темное, испепеленное лицо с полузакрытыми глазами, с про-

валившимся ртом; Никита неестественно громко сказал:

— Прости меня.

— Ну, что ты? За что? — проворчал Петр Артамонов.

— За дерзость мою...

— Меня прости,— сказал старший.— Я тут, иной раз, шутил с тобой...

— Бог шутку не осудит,— шёпотом уверил монах, а брат, помолчав, спросил:

— Вот, как ты теперь?.. Куда?

— Забыл я,— торопливо заговорил монах, прервав брата.— Ты, Яша, скажи Тихону, спилил бы он кленок у беседки, не пойдет кленок, нет...

Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески поднявшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей, покрытых черным, в руках, державших поморский медный крест. Жалко было дядю, но все-таки думалось: зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех?

Подождав, не скажет ли брат еще чего, отец ушел под руку с Яковом, молчаливо, опустив голову. Внизу он сказал:

— Умирает.

— Да? — спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты; спросив, он не отвел от нее глаз, но затем бросил газету на стол и сказал в угол жене:

— Я был прав,— читай!

Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила:

— Неужели, Мирон, неужели война?

— Вот и второй Артамонов,— громко напомнил Петр.

— Врут, конечно,— сказал Мирон жене или Якову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая: чем всё это грозит ему? Артамонов старший, махнув рукою, пошел на двор, там солнце до того накалило булыжник, что тепло его

проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапогов. Из окна сыпались сухонькие, поучающие слова Мирона; Яков, стоя с газетой в руках у окна, видел, как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком.

На третий день, рано утром, приехали монахи; их было семеро, все разного роста и объема, они показались Якову неразличимыми, как новорожденные. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и неподобающим ни монаху, ни случаю громким, веселым голосом, тот, который шел впереди всех с большим черным крестом в руках, как будто не имел лица: был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп; он пел на три голоса: «Святый боже»,— низко, почти басом; «святый крепкий»,— выше, тенористо, а «Святый бессмертный, помилуй нас!» — так пронзительно, что мальчишки, забегая вперед, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трехголосого рта.

Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными, солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат, его освещало солнце; конусообразные попы и дьякона стояли тоже золотыми истуканами, они таяли, плавились на солнце, сияние риз тоже падало на поручика Маврина; впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою.

Трехголосый монах, покачивая черным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал:

— Расступитесь!

Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей, длинной лошадью Экке, помощника исправника,— взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперек улицы и закричал упрекающе, обиженно:

— К-куда? Что вы, не видите? Назад!

Монах, подняв крест, затянул:

— Святый бо-о...

— Ур-ра! — крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъяренно рявкнул:

— Ур-рра-а...

А Экке, привстав на стременах, тоже кричал:

— Петр Ильич, пож-жалуйста, переулочком! В обход! Мирон Алексеевич — прошу вас! Тут — воодушевление, а вы,— как же это?

Артамонов старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаемый женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб:

— Сворачивайте, отцы...

И, всхлипнув, добавил:

— Последний раз, видно, распоряжаюсь...

Всё это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным, но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидал ее быстро шагающей встречу похоронам, она шла в белом платье, под розовым зонтиком, и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь.

«Мавриным любоваться идет»,— тотчас же сообразил он и задохнулся пылью, раздражением. Монахи пошли быстрее, чернобородый стал петь тише, задумчивей, а хор певчих и совсем замолчал. За городом, против ворот бойни, стояла какая-то странная телега, накрытая черным сукном, запряженная парой пестрых лошадей, гроб поставили на телегу и начали служить панихиду, а из улицы, точно из трубы, доносился торжественный рев меди, музыка играла «Боже царя храни», звонили колокола трех церквей и притекал пыльный, дымный рык:

— Р-р-р-а-а!

Якову казалось, что он слышит команду поручика Маврина:

— Р-но-о!

После панихиды пришлось ехать в дом тетки, долго сидеть за поминальным столом, слушая сердитую воркотню отца:

— Какой дурак распорядился поставить лошадей против бойни, а?

— Полиция, полиция,— успокаивал Митя и объяснял: — Неудобно, знаете: национальное воодушевление, а тут — похоронные дроги! Не совпадает...

Мирон, слизнув улыбку с губ своих, говорил доктору Яковлеву, который был особенно заметен в тяжелые, неприятные дни:

— Но если мы дружно навалимся брюхом, как Митька в «Князе Серебряном»... В конце концов — всё на свете решается соотношением чисел...

— Техникой,— возразил доктор.

— Техника? Ну, да... Но...

Только вечером, в десятом часу, Яков мог вырваться из этой скучной канители и побежал к Полине, испытывая тревогу, еще никогда до этого часа не изведанную им, предчувствуя, что должно случиться нечто необыкновенное. Конечно, это и случилось.

— Ох,— сказала кухарка Полины, когда Яков, пройдя двором, вошел в кухню, сказала и грузно опустилась на скамью у печи.

— Сводня, подлая,— ответил Яков и остановился пред дверью в комнату, прислушиваясь к четким солдатским шагам и знакомому военному голосу:

— Так вот, надо сообразить — так или не так?.. Сообразите же!

«На вы говорит,— сообразил Яков,— может быть, еще ничего не было».

Но, открыв дверь, стоя на пороге ее, он тотчас убедился, что всё уже было: хладнокровный поручик, строго сдвинув брови, стоял среди комнаты в расстегнутом кителе, держа руки в карманах, из-под кителя было видно подтяжки, и одна из них отстегнута от пуговицы брюк; Полина сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, чулок на одной ноге спустился винтом, ее бойкие глаза необычно круглы, а лицо, густо заливаясь румянцем, багровеет.

— Н-ну-с? — спросил хладнокровный поручик и вопросом своим окончательно утвердил все подозрения Якова. Он шагнул вперед, бросил шляпу на стул и сказал незнакомым себе, сорвавшимся голосом:

— Я — с похорон... с поминок...

— Да-с? — вопросительно, тоном хозяина отозвался поручик, Полина, затянувшись так, что папироса затрещала, сказала с дымом, но не виновато, а небрежно:

— Ипполит Сергеевич уговаривает меня идти в сестры милосердия...

— В сестры? М-да,— произнес Яков, усмехаясь,— тогда хладнокровный поручик, шагнув к нему, отчетливо спросил:

— Что значит эта усмешка? Прошу помнить: я преувеличений н-не люблю-с! Не терплю!

В эти две—три минуты Яков испытал, как сквозь него прошли горячие токи обиды, злости, прошли и оставили в нем подавляющее, почти горестное сознание, что маленькая женщина эта необходима ему так же, как любая часть его тела, и что он не может позволить оторвать ее от него. От этого сознания к нему вновь возвратился гнев, он похолодел, встал, сунув руку в карман.

— Не подходи! — предупредил он поручика, чувствуя, что у него выкатываются глаза так, что им больно.

— Эт-то почему? — спросил поручик и шагнул еще. Его противная манера удваивать буквы в словах всегда не нравилась Якову, а в эту минуту привела его в бешенство, он хотел выдернуть руку из кармана, крикнул:

— Убью!

Поручик Маврин схватил его за руку, мучительно сжал ее у кисти, револьвер глухо выстрелил в кармане, затем рука Якова с резкой болью как бы сломалась в локте, вырвалась из кармана, поручик взял из его пальцев револьвер и, бросив его на кресло, сказал:

— Не вышло!

— Яша, Яша! — слышал Артамонов громкий шёпот.— Ипполит Сергеевич,— господа! Вы с ума сошли? Из-за чего? Ведь это — скандал! Из-за чего же?

— Н-ну,— оглушительно сказал хладнокровный поручик, взяв Якова за бороду, дергая ее вниз и этим заставляя кланяться ему: — Проси — прощенья — дурак!

С каждым словом, и рассекая длинные надвое, он дергал бороду вниз, потом легким ударом в подбородок заставлял поднимать ее.

— Ой, как стыдно, ой! — шептала Полина, хватая поручика за локоть.

Яков не мог двигать правой рукою, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой; он мычал, по щекам его текли слезы унижения.

— Не сметь меня касаться! — рявкнул поручик и, оттолкнув его, посадил в кресло, на револьвер. Тогда Яков, закрыв лицо руками, скрывая слезы, замер в полуобмороке, едва слыша, сквозь гул в голове, крики Полины:

— Боже мой, как это неблагородно! И это вы, вы! Такой скандал! За что?

— Идите к чёрту, барышня! — сказал поручик чугунным голосом.— Вот вам целковый за удовольствие,— эт-того достаточно! Я не выношу преувеличений, но вы самая обыкновенная...

Растаптывая пол тяжелыми ударами ног, поручик, хлопнув дверью, исчез, оставив за собой тихий звон стекла висячей лампы и коротенький визг Полины. Яков встал на мягкие ноги, они сгибались, всё тело его дрожало, как озябшее; среди комнаты под лампой стояла Полина, рот у нее был открыт, она хрипела, глядя на грязненькую бумажку в руке своей.

— Сволочь,— сказал Яков.— Зачем ты это сделала? А — говорила... Убить надо тебя...

Женщина взглянула на него, бросила бумажку на пол и хрипло, с изумлением, протянула:

— Ка-акой негодяй...

Она опустилась в кресло, согнулась, схватив руками голову, а Яков, ударив ее кулаком по плечу, крикнул:

— Пусти! Дай револьвер...

Не шевелясь, она всё так же изумленно спросила:

— Так ты меня любишь?

— Ненавижу!

— Врешь! Любишь теперь!

Она прыгнула на него так быстро, что Яков не успел оттолкнуть ее, она обняла его за шею и, с яростной

настойчивостью, обжигая кусающими поцелуями, горячо дыша в глаза, в рот ему, шептала:

— Врешь, любишь, любишь. И я тоже — на! Ах ты, мягкий, Солененький мой...

Солененький — ее любимое ласкательное словечко, она произносила его только в минуты исключительно сильного возбуждения, и оно всегда опьяняло Якова до какого-то сладостного и нежного зверства. Так случилось и в эту минуту; он мял, щипал, целовал ее и бормотал, задыхаясь:

— Дрянь. Паскудница. Ведь знаешь...

Через час он сидел на кушетке, она лежала на коленях у него; покачивая ее, он с удивлением думал:

«Как быстро всё прошло!..»

А она утомленно говорила:

— Озлилась я, хотела бросить тебя. Ты всё хлопочешь о своих, хоронишь, а мне скучно. И я не знала: любишь ты меня? Теперь будешь крепче любить, ревновать будешь потому что. Когда есть ревность...

— Уехать бы отсюда,— устало сказал Яков.

— Да. В Париж. Я могу говорить по-французски.

Огня они не зажгли, в комнате было темно и душно, на улице кричали запасные солдаты, бабы, хотя было поздно, за полночь.

— Теперь за границу не уедешь, там — война,— вспомнил Яков.— Война, чёрт их возьми...

Женщина снова заговорила о своем:

— Без ревности только собаки любят. Ты посмотри: все драмы, романы — всё из ревности...

Яков усмехнулся, вздрогнув:

— Хорошо выстрелил револьвер, пуля могла в ногу мне попасть, а вот только на брюках дырочка.

Полина сунула в дырочку палец и вдруг, всхлипнув, сказала с тихой, но лютой злобой:

— Ах, жалко, что ты не успел выстрелить в него! В тугой бы, в резиновый живот ему!

— Молчи! — сказал Яков, сильно тряхнув ее, но она продолжала, присвистывая сквозь зубы и всё так же люто:

— Подлец! Как обругал меня! Какие вы все... Ничего вы не понимаете в женщине!

И, вздернув распухшие губы, показывая крепко сжатые лисьи зубы, она дополнила:

— Ведь если женщина изменила, это вовсе не значит, что она уже не любит!

— Молчи, говорю! — крикнул Яков и тиснул ее так, что она застонала:

— Ой, вот я чувствую, любишь! Яша, Солененький мой...

Он ушел от нее на рассвете легкой походкой, чувствуя себя человеком, который в опасной игре выиграл нечто ценное. Тихий праздник в его душе усиливало еще и то, что когда он, уходя, попросил у Полины спрятанный ею револьвер, а она не захотела отдать его, Яков принужден был сказать, что без револьвера боится идти, и сообщил ей историю с Носковым. Его очень обрадовал испуг Полины, волнение ее убедило его, что он действительно дорог ей, любим ею. Ахая, всплескивая руками, она стала упрекать его:

— Почему ты не сказал мне об этом?

И тревожно размышляла:

— Конечно, это очень интересно — сыщик! Вот, например, Шерлок Холмс,— ты читал? Но ведь у нас, наверное, и сыщики — тоже негодяи?

— Конечно,— подтвердил Яков.

Отдавая ему револьвер, она захотела проверить, хорошо ли он стреляет, и уговорила Якова выстрелить в открытую печку, для чего Якову пришлось лечь животом на пол; легла и она; Яков выстрелил, из печки на них сердито дунуло золой, а Полина, ахнув, откатилась в сторону, потом, подняв ладонь, тихо сказала:

— Смотри!

В крашеной половице была маленькая, косо и глубоко идущая дырка.

— Как подумаешь, что туда ушла смерть! — сказала Полина, вздыхая, нахмурив тонко вычерченные брови.

И никогда еще Яков не видел ее такой милой, не чувствовал так близко к себе. Глаза ее смотрели по-детски удивленно, когда он рассказывал о Носкове, и ничего злого уже не было на ее остреньком лице подростка.

«Не чувствует вины»,— с удивлением подумал Яков, и это было приятно ему.

Провожая его, она говорила, гладя бороду Якова:

— Ах, Яша, Яша! Так вот как, значит! Мы — серьезно? Ах, боже мой... Но этот подлец!

Сжала пальцы рук в один кулак и, потрясая им, негодуя, пожаловалась:

— Господи, сколько подлецов!

Но вдруг, схватив руку Якова, задумчиво нахмурилась, тихонько говоря:

— Постой, постой! Тут есть одна барышня, ах, разумеется!

Просияла и, перекрестив Якова, отпустила его:

— Иди, Солененький!

Утро было прохладное, росистое; вздыхал предрассветный ветер, зеленовато-жемчужное небо дышало запахом яблоков.

«Конечно, она это со зла наблудила, и надо жениться на ней, как только отец умрет»,— великодушно думал он и тут же вспомнил смешные слова Серафима Утешителя:

«Всякая девица — утопающая, за соломину хватается. Тут ее и лови!»

Тревожила мысль о хладнокровном поручике, он не похож на соломинку, он обозлился и, вероятно, будет делать пакости. Но поручика должны отправить на войну. И даже о Носкове Якову Артамонову думалось спокойнее, хотя он, подозрительно оглядываясь, чутко прислушивался и сжимал в кармане ручку револьвера,— чаще всего Носков ловил Якова именно в эти часы.

Но прошло недели две, и страх пред охотником снова обнял Артамонова чадным дымом. В воскресенье, осматривая лес, купленный у Воропонова на сруб, Яков увидал Носкова, он пробирался сквозь чащу, увешанный капканами, с мешком за спиною.

— Счастливая встреча для вас,— сказал он, подходя, сняв фуражку; носил он ее по-солдатски: с заломом верхнего круга на правую бровь и, снимая, брал не за козырек, а за верх.

Не отвечая на его странное приветствие, в котором чувствовалась угроза, Яков сжал зубы и судорожно стиснул револьвер в кармане. Носков тоже молчал с минуту, расковыривал пальцем подкладку фуражки и не смотрел на Якова.

— Ну? — спросил Артамонов; Носков поднял собачьи глаза и, приглаживая дыбом стоявшие, жесткие волосы, проговорил отчетливо:

— Ваша любовь, то есть Пелагея Андреевна, познакомилась с дочерью попа Сладкопевцева, так вы ей скажите, чтобы она это бросила.

— Почему?

— Так уж...

И, послушав звон колоколов в городе, охотник прибавил:

— Даю совет от души, желая добра. А вы мне подарите рубликов...

Он посмотрел в небо и сосчитал:

— Тридцать пять...

«Застрелить, собаку!» — думал Яков Артамонов, отсчитывая деньги.

Охотник взял бумажки, повернулся на кривых ногах, звякнув железом капканов, и, не надев фуражку, полез в чащу, а Яков почувствовал, что человек этот стал еще более тяжко неприятен ему.

— Носков! — негромко позвал он, а когда тот остановился, полускрытый лапами елок, Яков предложил ему:

— Бросил бы ты это!

— Зачем? — спросил Носков, высунув голову вперед, и Артамонову показалось, что в пустых глазах Носкова светится что-то боязливое или очень злое.

— Опасное дело,— объяснил Яков.

— Надо уметь,— сказал Носков, и глаза его погасли.— Для неумеющего — всё опасно.

— Как хочешь.

— Против своей пользы говорите.

— Какая же тут польза, во вражде,— пробормотал Яков, жалея, что заговорил со шпионом.

«Туда же,— рассуждает, идиот...»

А Носков поучительно сказал:

— Без этого — не живут. У всякого — своя вражда, своя нужда. До свидания!

Он повернулся спиною к Якову и вломился в густую зелень елей. Послушав, как он шуршит колкими ветвями, как похрустывают сухие сучья, Яков быстро пошел на просеку, где его ждала лошадь, запряженная в дрожки, и погнал в город, к Полине.

— Вот — подлец! — почти радостно удивилась Полина.— Уже узнал, что она приходит ко мне? Скажите, пожалуйста!

— Зачем ты знакомишься с такими? — сердито упрекнул Яков, но она тоже сердито, дергая желтый газовый шарфик на груди своей, затараторила:

— Во-первых — это надо для тебя же! А во-вторых — что же мне кошек, собак завести, Маврина? Я сижу одна, как в тюрьме, на улицу выйти не с кем. А она — интересная, она мне романы, журналы дает, политикой занимается, обо всем рассказывает. Я с ней в гимназии у Поповой училась, потом мы разругались...

Тыкая его пальцем в плечо, она говорила всё более раздраженно:

— Ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши,— нужна, когда грязно, вот! У нее роман с вашим доктором, и они это не скрывают, а ты меня прячешь, точно болячку, стыдишься, как будто я кривая или горбатая, а я — вовсе не урод...

— Погоди,— сказал Яков,— женюсь! Серьезно говорю, хотя ты и свинья...

— Еще вопрос, кто из нас свиноватее! — крикнула она и ребячливо расхохоталась, повторяя: — Свиноватее, виноватее,— запуталась! Солененький мой... Милый ты, не жадный! Другой бы — молчал; ведь тебе шпион этот полезен...

Как всегда, Яков ушел от нее успокоенный, а через семь дней, рано утром табельщик Елагин, маленький, рябой, с кривым носом, сообщил, что на рассвете, когда ткачи ловили бреднем рыбу, ткач Мордвинов, пытаясь спасти тонувшего охотника Носкова, тоже едва не утоп и лег в больницу. Слушая гнусавый доклад, Яков сидел,

вытянув ноги для того, чтоб глубже спрятать руки в карманы, руки у него дрожали.

«Утопили»,— думал он и, представляя себе добродушного Мордвинова, человека с мягким, бабьим лицом, не верил, чтоб этот человек мог убивать кого-то.

«Счастливый случай»,— думал он, облегченно вздыхая. Полина тоже согласилась, что это — счастливый случай.

— Конечно,— лучше так,— сказала она серьезно нахмурясь,— потому что, если б как-нибудь иначе убивали его,— был бы шум.

Но — пожалела:

— Было бы интереснее поймать его, заставить раскаяться и — повесить или расстрелять. Ты читал...

— Ерунду говоришь, Полька,— прервал ее Яков.

Прошло несколько тихих дней, Яков съездил в Ворогород, возвратился, и Мирон, озабоченно морщась, сказал:

— У нас еще какая-то грязная история; по предписанию из губернии Экке производит следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовал Мордвинова, Кирьякова, кочегара Кротова, шута горохового,— всех, кто ловил рыбу с охотником. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое... Не в надорванном ухе, конечно...

Он остановился у рояля, раскачивая пенсне на пальце, глядя в угол прищуренными глазами. В измятой шведской куртке, в рыжеватых брюках и высоких, по колено, пыльных сапогах он был похож на машиниста; его костистые, гладко обритые щеки и подстриженные усы напоминали военного; малоподвижное лицо его почти не изменялось, что бы и как бы он ни говорил.

— Идиотское время! — раздумчиво говорил он.— Вот, влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости; воевать с глупостью — не умеем, нет сил. А все наши задачи пока — внутри страны. В крестьянской земле рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии — купеческий сын Илья Артамонов, человек сословия, призванного совершить великое дело промышленной и тех-

нической европеизации страны. Нелепость на нелепости! Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление, в сущности — это государственная измена... Я понимаю какого-нибудь интеллигента, Горицветова, который ни с чем не связан, которому некуда девать себя, потому что он бездарен, нетрудоспособен и может только читать, говорить; я вообще нахожу, что революционная деятельность в России — единственное дело для бездарных людей...

Якову казалось, что брат говорит, видя пред собою полную комнату людей, он всё более прищуривал глаза и наконец совсем закрыл их. Яков перестал слушать его речь, думая о своем: чем кончится следствие о смерти Носкова, как это заденет его, Якова?

Вошла беременная, похожая на комод, жена Мирона, осмотрела его и сказала усталым голосом:

— Поди, переоденься!

Мирон покорно взбросил пенсне на нос и ушел.

Через месяц приблизительно всех арестованных выпустили; Мирон строго, не допускающим возражений голосом, сказал Якову:

— Рассчитай всех.

Яков давно уже, незаметно для себя, привык подчиняться сухой команде брата, это было даже удобно, снимало ответственность за дела на фабрике, но он все-таки сказал:

— Кочегара надо бы оставить.

— Почему?

— Веселый. Давно работает. Развлекает людей.

— Да? Ну, пожалуй, оставим.

И, облизнув губы, Мирон сказал:

— Шуты действительно полезны.

Некоторое время Якову казалось, что в общем всё идет хорошо, война притиснула людей, все стали задумчивее, тише. Но он привык испытывать неприятности, предчувствовал, что не все они кончились для него, и смутно ждал новых. Ждать пришлось не очень долго, в городе снова явился Нестеренко под руку с высокой дамой, похожей на Веру Попову; встретив на улице Якова, он, еще издали, посмотрел сквозь него, а подойдя, поздоровавшись, спросил:

— Можете зайти ко мне через час? Я — у тестя. Знаете — жена моя умирает. Так что я вас попрошу: не звоните с парадного, это обеспокоит больную, вы — через двор. До свидания!

Час был тяжел и неестественно длинен, и когда Яков Артамонов устало сел на стул в комнате, заставленной книжными шкафами, Нестеренко тихо и прислушиваясь к чему-то сказал:

— Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что: дама вашего сердца, Пелагея Назарова, знакома с девицей Сладкопевцевой, на днях арестованной в Воргороде. Знакома?

— Не знаю,— сказал Яков и сразу весь вспотел, а жандарм поднес руку свою к носу и, рассматривая ногти, сказал очень спокойно:

— Знаете.

— Кажется — знакома.

— Вот именно.

«Что ему надо?» — соображал Яков, исподлобья рассматривая серое, в красных жилках, плоское лицо с широким носом, мутные глаза, из которых как будто капала тяжкая скука и текли остренькие струйки винного запаха.

— Я говорю с вами не официально, а как знакомый, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы,— слышал Яков сиповатый голос.— Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой... стрелок! — Жандарм усмехнулся, помолчал и объяснил:

— Я говорю — стрелок, потому что мне известен еще один случай неудачного пользования вами огнестрельным оружием. Да, так вот, видите ли: девица Сладкопевцева знакома с Назаровой, дамой вашего сердца.. Теперь — сообразите: род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я — исключаюсь из этой цепи знакомств. Носков был не глуп, хотя — вял и...

Нестеренко, вздохнув, посмотрел под стол:

— Ничто не вечно. Остаетесь — вы...

Якову Артамонову казалось, что изо рта офицера тянутся не слова, но тонкие, невидимые петельки, они

захлестывают ему шею и душат так крепко, что холодеет в груди, останавливается сердце и всё вокруг, качаясь, воет, как зимняя вьюга. А Нестеренко говорил с медленностью — явно нарочитой:

— Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах, да? Вспомните-ка!

— Нет,— тихо сказал Яков, опасаясь, как бы голос не выдал его.

— Так ли? — спросил офицер, размахнув усы красными пальцами.

— Нет,— повторил Яков, качая головою.

— Странно. Очень странно. Однако — поправимо. Вот что-с: Носкова нужно заменить таким же человеком, полезным для вас. К вам явится некто Минаев, вы наймете его, да?

— Хорошо,— сказал Яков.

— Вот и всё. Кончено. Будьте осторожны, прошу вас! Никаким дамам — ни-ни! Ни слова. Понимаете?

«Он говорит как с мальчишкой, с дураком»,— подумал Яков.

Потом жандарм говорил о близости осеннего перелета птиц, о войне и болезни жены, о том, что за женою теперь ухаживает его сестра.

— Но — надо готовиться к худшему,— сказал Нестеренко и, взяв себя за усы, приподнял их к толстым мочкам ушей, приподнялась и верхняя губа его, обнажив желтые косточки.

«Бежать,— думал Яков.— Запутает он меня. Уехать».

«Чёрт вас всех возьми,— думал он, идя берегом Оки.— На что вы мне нужны? На что?»

Мелкий дождь, предвестник осени, ленивo кропил землю, желтая вода реки покрылась рябью; в воздухе, теплом до тошноты, было что-то еще более углублявшее уныние Якова Артамонова. Неужели нельзя жить спокойно, просто, без всех этих ненужных, бессмысленных тревог?

Но, как обоз в зимнюю метель, двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные необычно тревожным.

Пришел с войны один из Морозовых, Захар, с георгиевским крестом на груди, с лысой, в красных язвах, обгоревшей головою; ухо у него было оторвано, на месте правой брови — красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный, мертвый глаз, а другой глаз смотрел строго и внимательно. Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым, и хромой ученик Серафима Утешителя запел, заиграл:

Эх, ветер дует, дождь идет,
Я лежу в окопе.
Помогаю, идиёт,
Воевать Европе!

Яков спросил Морозова:

— Что, Захар, плохо воюем?

— Хорошо-то нечем,— ответил ткач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара.

— Хозяина нет у нас, Яков Петрович,— говорил он в лицо хозяину.— Хозяйствуют жулики.

Этот человек и Васька кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажженные во тьме осенней ночи. Когда веселый Татьянин муж нарядился в штаны с широкой, до смешного, мотней и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель, кочегар посмотрел на него и запел:

Вот так брючки для растяп!
Сразу видно разницу:
Одни — голову растят,
А другие — задницу!

К удивлению Якова, зять не обиделся на эту насмешку, а захохотал, явно поощряя кочегара на дальнейшее словесное озорство. Рабочие тоже смеялись, и особенно хохотала фабрика, когда Захар Морозов привел на двор мохнатого кутенка, с пушистым, геройски загнутым на спину хвостом, на конце хвоста, привязан мочалом, болтался беленький георгиевский крест. Мирон не стерпел этого озорства, Захара арестовала полиция, а кутенок очутился у Тихона Вялова.

По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всячески изломанные люди в солдатских шинелях, и всё вокруг окрашивалось в гнойный цвет их одежды. Изломанных, испорченных солдат водили на прогулки городские дамы, дамами командовала худая, тонкая, похожая на метлу, Вера Попова, она привлекла к этому делу и Полину, но та, потряхивая головою, кричала, жаловалась:

— Ой, нет, я не могу! Это безобразие! Ты посмотри, Яша, они все молодые, здоровые и все изувечены, и такой запах от них — не могу! Послушай — уедем!

— Куда? — уныло спрашивал Яков, видя, что его женщина становится всё более раздражительной, страшно много курит и дышит горькой гарью. Да и вообще все женщины в городе, а на фабрике особенно, становились злее, ворчали, фыркали, жаловались на дороговизну жизни, мужья их, посвистывая, требовали увеличения заработной платы, а работали всё хуже; поселок вечерами шумел и рычал по-новому громко и сердито.

Среди рабочих мелькал солидный слесарь Минаев, человек лет тридцати, черный и носатый, как еврей. Яков боязливо сторонился его, стараясь не встречаться со взглядом слесаря, который смотрел на всех людей темными глазами так, как будто он забыл о чем-то не может вспомнить.

Грязным обломком плавал по двору отец, едва передвигая больные ноги. Теперь на его широких плечах висела дорожная лисья шуба с вытертым мехом, он останавливал людей, строго спрашивая:

— Куда идешь?

А когда ему отвечали, махал рукою, бормотал:

— Ну, ступай. Бездельники. Клопы, моей кровью живете!

Его лиловатое, раздутое лицо брезгливо дрожало, нижняя губа отваливалась; за отца было стыдно пред людями. Сестра Татьяна целые дни шуршала газетами, тоже чем-то испуганная до того, что у нее уши всегда были красные. Мирон птицей летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратясь, топал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал

о пьяном, распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю.

— В живого такого мужика — не верю! — упрямо говорила полуслепая Ольга, сидя рядом со снохой на диване, где возился и кричал ее двухлетний сын Платон.— Это нарочно выдумано, для примера...

— Это — замечательно! — возглашал веселый Татьянин муж.— Это — изумительно! Деревня — мстит! Ага?

Он радостно потирал жирненькие руки свои, обросшие рыжей шерстью. Он один уверенно ждал какого-то праздника.

— Боже мой! — с досадой восклицала Татьяна.— Что тебя радует? Не понимаю!

Удивленно открыв рот, Митя каркал:

— Ка-ак? Ты — не понимаешь? Так — пойми же! За всё, что она претерпела, деревня — мстит! В лице этого мужика она выработала в себе разрушающий яд...

— Позвольте! — морщась, сказал Мирон.— Еще недавно вы говорили иное...

Но Митя почти исступленно, захлебываясь словами, говорил проникновенным шёпотом:

— Это — символ, а не просто — мужик! Три года тому назад они праздновали трехсотлетний юбилей своей власти и вот...

— Чепуха,— резко сказал Мирон, доктор Яковлев, как всегда, усмехался, а Яков Артамонов думал, что если эти речи станут известны жандарму Нестеренке...

— Зачем вы всё это говорите? — спрашивал он.— Какой толк?

И уговаривал:

— Перестаньте!

Он замечал, что и Мирон необыкновенно рассеян, встревожен, это особенно расстраивало Якова. В конце концов из всех людей только один Митя оставался таким же, каким был, так же вертелся волчком, брызгал шуточками и по вечерам, играя на гитаре, пел:

Жена моя в гробу...

Но Татьяне уже не нравились его песенки.

— Фу, как это надоело! — говорила она и шла к детям.

Митя ловко умел успокаивать рабочих; он посоветовал Мирону закупить в деревнях муки, круп, гороха, картофеля и продавать рабочим по своей цене, начисляя только провоз и утечку. Рабочим это понравилось, а Якову стало ясно, что фабрика верит веселому человеку больше, чем Мирону, и Яков видел, что Мирон всё чаще ссорится с Татьяниным мужем...

— Вы хотите держать нос по ветру? — четко, не скрывая злобы, спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает:

— Воля народа... право народа...

— Я спрашиваю: кто же, собственно, вы? — кричит Мирон.

— Будет вам орать,— ворчит Артамонов старший, но Яков видит в тусклых глазах отца искорки удовольствия, старику приятно видеть, как ссорятся зять и племянник, он усмехается, когда слышит раздраженный визг Татьяны, усмехается, когда мать робко просит:

— Налей мне, Таня, еще чашечку...

Всё новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Вдруг совершенно ослепшая тетка Ольга простудилась и через двое суток умерла, а через несколько дней после ее смерти город и фабрику точно громом оглушило: царь отказался от престола.

— Что ж теперь — республика будет? — спросил Яков брата, радостно воткнувшего нос в газету.

— Республика, конечно! — ответил Мирон, склонясь над столом; он упирался ладонями в распластанный лист газеты так, что бумага натянулась и вдруг лопнула с треском. Якову это показалось дурным предзнаменованием, а Мирон разогнулся, лицо у него было необыкновенное, и он сказал не свойственным ему голосом, крикливо, но ласково:

— Начнется выздоровление, обновление России — вот что, брат!

И размахнул руками, как бы желая обнять Якова, но тотчас одну руку опустил, а другую, подержав про-

тянутой, поднял, поправил пенсне, снова протянул руку, стал похож на семафор и заявил, что завтра же вечером едет в Москву.

Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик, он кричал:

— Теперь всё пойдет отлично; теперь народ скажет, наконец, свое мощное слово, давно назревшее в дупе его!

Мирон уже не спорил с ним, задумчиво улыбаясь, он облизывал губы; а Яков видел, что так и есть: всё пошло отлично, все обрадовались, Митя с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге, рабочие кричали ура, потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок, в большой мяч, и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе, казалось, что у него отрываются и руки и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих, и огромный, жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему:

— Митрий Павлов, ты — удобный человек, удобный,— понял? Ребята — уру ему!

Кричали ура, а кочегар Васька, приплясывая, блестя лысоватым черепом, орал, точно пьяный:

Эх,— далеко люди сидели
От царева тропа!
Подошли да поглядели —
На троне — ворона!

— Делай, Вася! — поощряли его.

Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх,— не подхватят на руки, и тогда он расшибется о землю. А вечером, сидя в конторе, он услыхал на дворе под окном голос Тихона:

— Зачем отнял кутенка? Ты продай его мне. Я из него хорошую собаку сделаю.

— Э, старик, разве теперь время собак воспитывать? — ответил Захар Морозов.

— А ты чего делаешь? Продай, возьми целковый, ну?

— Отстань.

Яков, выглянув из окна, сказал:

— Царь-то, Тихон, а?

— Да,— отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул.

— Свергли царя-то!

Тихон наклонился, подтягивая голенище сапога, и сказал в землю:

— Разыгрались. Вот оно, Антоново слово: потеряла кибитка колесо!..

Выпрямился и пошел за угол дома, покрикивая негромко:

— Тулун, Тулун...

Хороводом пошли крикливо веселые недели; Мирон, Татьяна, доктор да и все люди стали ласковее друг с другом; из города явились какие-то незнакомые и увезли с собою слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная и жаркая.

— Послушай, Солененький,— говорила Полина,— я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, солдат всех перебили, изувечили; полицию разогнали, командуют какие-то штатские,— как же теперь жить? Всякий чёрт будет делать всё что хочет, и, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он и все другие, кто ухаживал за мной и кому я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все заодно, жить здесь, я должна жить там, где меня никто не знает! И потом: ведь уж если это сделано — революция и свобода,— то, конечно, для того, чтоб каждый жил, как ему нравится!

Полина говорила всё настойчивее, всё многословней, Яков чувствовал в ее речах нечто неоспоримое и успокаивал:

— Подожди немного, утрясется это, тогда...

Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится, он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Человек, который привык бояться, всегда найдет причину для страха; Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова,— Захар ходил царьком, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой, Митя летал вокруг него ручной

сорокой. В самом деле, Морозов приобрел сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах; сожженная кожа на голове его, должно быть, полопалась, он иногда обертывал голову, как чалмой, купальным, мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя; огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом; шагал он важно, как толстый помощник исправника Экке, большие пальцы держал за поясом отрепанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал:

— Товарищи — порядок!

Он судил троих парней за кражу полотна; громко, так что было слышно на всем дворе, он спрашивал воров:

— Вы понимаете, у кого украли?

И сам же отвечал:

— Вы украли у себя, у всех нас! Разве можно теперь воровать, сукины дети?

Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы, а Васька кочегар исступленно пел, приплясывая:

Вот как нынче насекомых секут!
Вот какой у нас праведный судья...

Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и вдруг крикнул:

Спаси, господи, люди твоя!

Митя закричал:

— Браво-о!

Митя бегал в сереньких брючках, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, на рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная, зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою; Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шёпот, а потом несдерживаемый крик Татьяны:

— Вы — клоун! Вы — бесчестный человек! Ваши убеждения? У нищих — нет убеждений. Ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения... Довольно! Завтра я уезжаю в город, к сестре... Да, дети со мной...

Это не удивило Якова, он давно уже видел, что рыженький Митя становится всё более противным человеком, но Яков был удивлен и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадежность рыженького. А теперь даже мать, еще недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала:

— Что уж это, какой он стал несогласный, будто жиденок! Вот, корми их...

Митя кричал:

— Всё — превосходно! Жизнь — красавица, умница! Но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами — это надо забыть, Татьяна Петровна! С этим — опоздали!

Мирон озлобленно и сухо спросил его:

— А что вы скажете завтра?

— Что жизнь подскажет! Да! Ну-с, дальше?

Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно, точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество свое: три больших связки книг и корзину с бельем.

Всюду Яков наблюдал бестолковую, пожарную суету, все люди дымились дымом явной глупости, и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням.

— Ну,— сказал он Полине,— я решил: едем! Сначала — в Москву, а там — подумаем...

— Наконец-то! — обрадовалась женщина, обнимая, целуя его.

Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождем, нагретой солнцем. Было хорошо, но грустно.

Сняв со своей шеи горячие, влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал:

— Прикрой грудь... Вообще — оденься! Надо — серьезно.

Она соскочила на пол с колен его, в два прыжка подбежала к постели, окуталась халатом и деловито села рядом с ним.

— Видишь ли,— заговорил Яков, растирая ла-

донью бороду по щеке так, что волоса скрипели.— Надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно. Где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот!

— Конечно,— сказала Полина.

— Всё надо делать осторожно. Мирон говорит: поезда набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться...

— Только ты возьми с собой побольше денег.

— Ну да, разумеется. Я уеду так, чтоб мои не знали — куда. Я будто в Воргород поеду,— понимаешь?

— А — зачем скрывать? — удивленно и недоверчиво спросила Полина.

Он не знал — зачем; эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это — хорошая мысль.

— Ну, знаешь — отец, Мирон, расспросы... Это всё — не нужно. Деньги — в Москве, денег я могу достать много, хороших...

—Только — скорее! — просила Полина.— Ты видишь: жить — нельзя. Всё дорого, и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что — как жить?

Оглянувшись на дверь, она шептала:

— Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне, почему же не зарезать, если всё так спуталось? Вчера слышу — перешептывается с кем-то. «Боже мой! — думаю,— вот!» Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленках и — рычит! Ужас!

— Подожди,— остановил Яков быстрый поток ее тревожного шёпота.— Сначала уеду я...

— Нет,— громко сказала она, ударив кулачком своим по колену.— Сначала — я! Ты дашь мне денег и...

— Что ж ты — не веришь мне? — обиженно и сердито спросил мужчина и получил твердо сказанный ответ:

— Не верю. Я — честная, я говорю прямо: нет! Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили и всему изменяют? Ты — кому веришь?

Она говорила убедительно, и еще более убедительно говорила грудь ее из складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей; решили, что она завтра

же начнет собираться, поедет в Воргород и там подождет его.

На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове, это было весьма правдоподобно; за последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели. И через восемь дней он ехал по дороге от города на станцию; тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин, в них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная трещинами. Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а впереди из мягкой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце.

Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, разглядывая ладонь свою:

— Должен сообщить тебе нечто печальное: в Москве ко мне явилась эта пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди — гм, какие теперь люди? — избили его и выбросили из вагона...

— Нет! — крикнула Татьяна, попробовав встать со стула.

— На ходу поезда. Через двое суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки.

Татьяна молча прижала платок к своим глазам, ее острые плечи задрожали, черное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять.

Мирон поправил пенсне, хрустнул пальцами, потирая руки, послушал звон одинокого колокола, благовест ко всенощной, затем, шагая по комнате, сказал:

— Что же плакать? Между нами — он был совершенно бесполезный человек. И — неприлично глуп, прости! Разумеется — жалко. Да.

— Боже мой,— сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками, и, помуслив палец, пригладила брови.

— Эта бойкая девица,— говорил Мирон, сунув руки в карманы,— весьма искусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что —

ясно: она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда.

Татьяна отрицательно мотнула головою.

— Нет? Я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом, пусть думают, что Яков жив. Так?

— Да, это лучше,— согласилась Татьяна.

— Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает, но мать утопила бы себя в слезах...

Покачав головою, Татьяна сказала:

— Скоро мы все погибнем.

— Возможно, если останемся здесь. Но я немедля отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов... Итак: мы старикам ничего не скажем. Ну, извини меня, еду домой, жена нездорова...

Длинной рукою своей он встряхнул руку сестры и ушел, сказав:

— Невероятно трудно ездить теперь, дороги — в ужаснейшем состоянии!

Артамонов старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон, всё более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна; за окном голубая пустота, иногда ее замазывали облака; в зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой серой бородою. Артамонов смотрел на свое лицо и думал:

«Хорош комар».

Приходила жена, наклонялась над ним, тормошила и хныкала:

— Уехать надо, лечиться надо...

— Уйди,— лениво говорил Артамонов.— Уйди, лошадь. Надоела. Дай покою.

И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде. А фабрика — молчит.

Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек,— исчез, умер. И хорошо сделал,— думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бес-

полезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все: Яков, Татьяна, зять?

Иногда он спрашивал жену:

— Илья — воротился?

— Нет.

— Нет еще?

— Нет.

— А — Яков?

— И Яков.

— Так. Гуляют. А дело Мирошка сосет.

— Ты не думай про это,— советовала Наталья.

— Уйди.

Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые, она похудела, оплыла, как сальная свеча.

Изредка, но всё чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме: являлись какие-то чужие люди, он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слышал вопли жены:

— Господи, да — что же это? За что? Ведь это — хозяин, хозяева мы! Ну, дайте я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему! Да — позвольте же увезти-то...

«Спрятать хочет. А — чего прятать? — соображал Артамонов.— Дура. Весь век свой дурой жила. Яков — в нее родился. И — все. А Илья — в меня. Вот он воротится — он наведет порядок...»

Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель.

Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке; сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо, казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукою.

— Есть хочу,— сказал Артамонов; ему не ответили.

Синеватая сырая мгла наполняла сад; перед беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серая и темная; на скамье за ними сидел

человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок.

— Наталья,— слышишь? Есть давай...

Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась, она всегда была где-то близко а сегодня — нет ее.

«Неужто? — подумал Артамонов, и в голове его стало яснее.— Или — захворала?»

Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело, потом оказалось, что это ружье со штыком за спиною зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал:

— Вы что, товарищи,— шутите? Разве так лошадей держат? Так — свиней не держат! А почему сено не убрано и намокло? А в баню, под замок — хочешь?

Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата:

— Явился еси, с небеси, чёрт его унеси.

— Командиров стало больше прежнего,— ответил солдат.

— И кто их, дьяволов, назначает?

— Сами себя. Теперь, браток, всё само собой делается, как в старухиной сказке.

Человек подошел к лошадям, взял их за гривы,— Артамонов старший крикнул как мог громко:

— Эй, позови жену!

— Молчи, старик,— ответили ему.— Ишь ты, жену захотел...

Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастекленной стены беседки, под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздьями, как рябина; лежать было жестко; он покрыт своей изношенной лисьей шубой, и на нем толстый зимний пиджак. Но — не жарко. Нельзя понять — зачем он тут? Может быть — в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем лошади в саду и солдат у бани? И кто это орет на дворе: «Вы, товарищ,— бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать — рано! Без дураков...»?

Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум

в голове. И ног как будто нет; от колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор; он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме.

В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внес холодную тень и густой запах дегтя.

— Это — Тихон?

— А как же...

Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развел руками, точно поплыл над скрипучим полом.

— Кто это орет?

— Захарка Морозов.

— А — солдат к чему тут?

— Война.

Помолчав, Артамонов спросил:

— И сюда враг дошел?

— Это — против тебя война, Петр Ильич...

Хозяин строго сказал:

— Ты, старый дурак, не шути, я тебе не товарищ!

Он услыхал спокойный ответ:

— Последняя война, больше не хотят. И теперь — все товарищи. А для дурака я действительно стар.

Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапку. На дворе сиповато, сорванным голосом, командуют:

— И чтобы после восьми часов на улицах — никаких фигур!

— Где жена? — спросил Артамонов.

— Ушла хлеба искать.

— Как это — искать?

— А как же? Хлеб — не кирпич, на земле не валяется.

Сумрак в саду становился всё гуще, синее; около бани зевнул, завыл солдат, он стал совсем невидим, только штык блестел, как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал; всё равно у Тихона ничего не поймешь. К тому же и вопросы както прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть.

Тихон заворчал:

— Дурак, а правду понял раньше всех. Вот оно,

как повернулось. Я говорил: всем каторга! И — пришло. Смахнули, как пыль тряпицей. Как стружку смели. Так-то, Петр Ильич. Да. Чёрт строгал, а ты — помогал. А — к чему всё? Грешили, грешили,— счета нет грехам! Я всё смотрел: диво! Когда конец? Вот наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом всё это... Потеряла кибитка колесо...

«Бредит»,— сообразил Артамонов, но все-таки спросил:

— Зачем я тут?

— Выгнали из дома.

— Мирон?

— Всех.

— А... Яков?

— Его давно нет.

— Где Илья?

— Слышно — с этими. Надо быть, потому ты и жив, что он — с ними, а то...

«Бредит,— уверенно решил Петр Артамонов и замолчал, думая: — Выжил из ума, старичишко. Так и надо было ждать».

Мелкие, тускленькие звезды высыпались в небо; раньше как будто не было таких звезд. И не было их так много.

Тихон снял шапку и, тиская ее в руках, снова заворчал:

— Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим — легче.

Вдруг, иным голосом, он спросил:

— Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то?

— Ну? Так — что?

Петр Артамонов не мог понять: испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос? Но он тотчас понял, как только Тихон сказал:

— Убил ты его, как Захар кутенка. А на что убил?

Артамонову стало ясно: Тихон наконец все-таки донес на него, и вот он, больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорей возмутило нечеловеческой глупостью. Он оперся локтями, приподнял голову, заговорил тихо, с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту:

— Это ты — врешь! И — для каждого проступка есть срок, давность! А ты — все сроки пропустил. Да! И — сошел с ума. И — забыл, что сам видел, сам сказал тогда...

— А — что я сказал? — перебил его старик.— Я, конешно, не видел, ну — я понял! Сказал, чтоб поглядеть: что ты будешь делать? Я — лжу сказал, а ты — рад, схватился за лжу. Я глядел-глядел, ждал-ждал... И все вы — такие. Алексей Ильич научил тестя своего, пьяницу, трактир Барского поджечь, а твой отец догадался об этом, устроил, что убили пьяницу до смерти. Никита Ильич знал это, он тоже до всего доходил умом. Ему бы молчать, а он, со зла на тебя, мне сказал. Я говорю: «Ты монах, тебе всё это забыть надо, а я — буду помнить». Запугали вы его делами вашими. Послали его в петлю, а после в монастырь: молись за нас! А ему за вас и молиться страшно было — не смел! И оттого — бога лишился...

Казалось, Тихон может говорить до конца всех дней. Говорил он тихо, раздумчиво и как будто беззлобно. Он стал почти невидим в густой, жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он всё более убеждался, что этот непонятный человек сошел с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал всё так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное:

— Веры вы, Артамоновы, и меня лишили. Никита Ильич сбил меня из-за вас, сам обезбожел и меня... Ни бога, ни чёрта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь — всё видно: раздели вас...

С трудом пошевелив тело свое, Артамонов сбросил на пол страшно тяжелые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе. Это — испугало его, он схватился руками за плечо Тихона.

— Куда? — спросил дворник, грубо стряхнув его руки.— Не тронь. Силы у тебя нет, не задушишь. У отца

твоего — была сила,— хвастовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси...

Артамонов всё сильнее хотел есть, и его очень пугали ноги.

«Неужто — умираю? Мне еще семидесяти пяти нет. Господи...»

Он снова попробовал лечь, но не хватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону:

— Помоги, подними ноги мои!

Положив на скамью мертвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукою в шапку, в руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся: это игла, Тихон в темноте ушивал шапку, утверждая этим свое безумие. Над ним мелькала серая ночная бабочка. В саду, в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал:

— Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас...

Тихон заглушил этот голос:

— Тоже и отец твой; он брата моего убил.

— Врешь,— невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил: — Когда?

— Вот те и когда...

— Что ты всё врешь, безумный? — вдруг возмутился Артамонов, ощущая, как голод сосет и сушит его.— Что тебе надо? Совесть мне ты, судья? Зачем ты молчал тридцать лет с лишком?

— Вот и молчал. Значит — думал!

— Злобу копил? Эх... Ну, ступай, донеси полиции.

— Полиции — нет.

— Скажи — вот, он меня всю жизнь поил, кормил — судите его! Так ведь донес уж! Чего же надо, ну? Прижми, припугни меня,— денег требуй, ну?

— Денег у тебя нет. Ничего у тебя нет. И — не было. А на судей мне — наплевать. Я — сам себе судья.

— Так чем ты грозишь, бредовой человек?

Но Тихон как будто не грозил, Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал:

— Конец всем Каинам. За что брата убили?

— Врешь про брата!

Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга.

— Я — вру? Я с ним был тогда...

— С кем?

— С братом. Я убежал, когда отец твой кокнул его. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то?

— Опоздал ты...

— Ну, вот — опрокинули вас, свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне...

— Безумным остался...

Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где всё неразличимо, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил:

— Опоздал ты. Брата — врешь — не было у тебя, у таких, как ты,— ничего не бывает...

— Совесть бывает.

— Ты сам сбил мне с толку сына, Илью!

— Это вы, Артамоновы, сбили меня с толку, Никита Ильич разбередил!

— А он говорил — ты его!

— Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хряснул... Вы — хитрые...

— Ты сам...

— Серафима завели. Он тоже мутил меня: никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде — хитрости...

— Кто идет? К-куда? — сердито, громко крикнули во тьме.— Сказано вам, гадам,— после восьми не двигаться?

Тихон встал, подошел к двери и вывалился из нее во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как сквозь три полосы масленого света в саду промелькнуло широкое, черное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного.

— Достала? — спросил Тихон кого-то.

— Вот — всё!

Это — голос жены. Где была она, зачем она оставила его с этим стариком?

Артамонов открыл глаза, приподнялся на локтях, глядя в дверь, заткнутую двумя черными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват пред ним, по чьей вине жизнь его была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас всё это стало ясно.

Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала:

— Ну, слава тебе, господи...

— Вот, Тихон, кто виноват во всем! — решительно сказал Артамонов и облегченно вздохнул.— Она жадничала, она меня настраивала, да!

Он с торжеством зарычал:

— Из-за нее и брат Никита пропал. Ты сам знаешь, да...

Артамонов задохнулся. Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукою волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала:

— Тихонько, не кричи, тут — злые все...

— Есть давай...

Жена сунула в руку его огурец и тяжелый кусок хлеба; огурец был теплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто.

Артамонов изумился:

— Это — что? Мне? Всё?

— Тише, Христа ради,— шептала Наталья,— ведь — нет ничего! И солдатики тоже...

— Это ты мне — за всё? За весь страх, за всю жизнь?

Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимо, смертельно оскорбительное, в чем даже и она, Наталья, не виновата.

Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твердо:

— Не хочу.

Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришептывая:

— Кушай, кушай, не сердись...

Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:

— Не хочу. Прочь.

II

МИХАИЛ ВИЛОНОВ

Один из хороших советских поэтов, Дмитрий Семеновский, в стихотворении своем «Слава злобе», напечатанном, если не ошибаюсь, в одном из номеров «Прожектора» за прошлый год, сказал:

Мне тяжело, когда, подобя
Людей зверям, слепая кровь
Темнит их взор. Но — слава злобе,
Воинствующей за любовь!

Если б это четверостишие говорило не о злобе, а о более глубоком и творческом чувстве, чем она,— о ненависти,— я мог бы взять его эпиграфом к моему воспоминанию о Михаиле Вилонове. Был такой Человек; думаю, что те из товарищей, которые встречались с ним, четко помнят его.

Он был создан природой крепко, надолго, для великой работы. Монументальная, стройная фигура его была почти классически красива.

— Какой красивый человек! — восхищались каприйские рыбаки, когда Вилонов, голый, грелся на солнце, на берегу моря.

Правильно круглый череп покрыт темным бархатом густых, коротко остриженных волос, смуглое лицо хорошо освещено большими глазами, белки — синеваты, зрачки — цвета спелой вишни; взгляд этих глаз сначала показался мне угрюм и недоверчив. Лицо его нельзя было назвать красивым: черты слишком крупны и резки, но, увидав такое лицо однажды, не забываешь никогда. На бритых щеках зловеще горел матовый румянец туберкулеза.

Вилонов был рабочий, большевик; несколько раз сидел в тюрьме; после 1906 года тюремщики, где-то на Урале, избили его и, бросив в карцер, облили нагого, израненного, круто посоленной водою. Восемь дней он купался в рассоле, валяясь на грязном холодном асфальте; этим и было разрушено его могучее здоровье.

В первые дни знакомства он вызвал у меня впечатление человека мрачного, угнетенного болезнью, очень самолюбивого, зачитавшегося книг не по силе его уму и подавленного книжностью. Мне рассказывали легенды о его партийной работе в пятом-шестом годах, о его бесстрашии, нечеловеческой выносливости, и я подумал, что человеку этому естественно было устать и что живет он по инерции, автоматически, как многие жили в ту пору.

Ошибиться было легко: я так много видел людей нервно истерзанных, озлобленных до бешенства, до отчаяния, почти до безумия,— побежденных и смертельно уставших людей. Были и такие побежденные, которые, казалось, завидуют «торжеству победителей» гораздо сильнее, чем ненавидят их. Люди этого типа, помня поговорку «победителей не судят», с явным и злым пристрастием несчастливых игроков судили своих товарищей, тоже побежденных, но оказавшихся неспособными сложить оружие.

Вилонов на первых же выступлениях своих по организации преподавания в Каприйской школе обнаружил удивительную страстность, прямоту мысли и непоколебимую уверенность в правильности отрицательного отношения Владимира Ильича к школе. Говорил он глуховатым голосом человека с больными легкими, иногда вскрикивая несколько истерически, но я заметил, что он кричит книжные слова лишь тогда, когда у него не хватает своих.

Меня, привыкшего слышать личные выпады и едкие колкости нервозных людей, Вилонов очень радостно удивил сочетанием в нем пламенной страстности с совершенным беззлобием.

— Ну, а чего же злиться? — спросил он меня в ответ на мое замечание.— Это уж пусть либералы злятся,

меньшевики, журналисты и вообще разные торговцы старой рухлядью.

Помолчал и довольно сурово прибавил:

— Революционный пролетариат должен жить не злостью, а — ненавистью.

Затем, хлопая ладонью по колену своему, сказал с явным недоумением:

— Тут, у вас, какая-то чёртова путаница: идея воспитания профессиональных революционеров — идея Ленина, а его — нет здесь! Против этой идеи могут спорить только шляпы и сапоги, а ведь тут...

Не договорив, он ушел.

Разговориться с ним трудно мне было: первые дни он не очень ладил со мной, смотрел на меня недоверчиво, как на некое пятно неопределенных очертаний. Но както само собою случилось, что однажды, кончив занятия в школе, он остался обедать у меня, а после обеда, сидя на террасе, заговорил с добродушной суровостью:

— Пишете вы — не плохо, читать вас я люблю, а — не совсем понимаю. Зачем это возитесь вы с каким-то человеком, пишете его с большой буквы даже? Я эту штуку, «Человек», в тюрьме читал, досадно было. Человек с большой буквы, а тут — тюрьма, жандармы, партийная склока! Человека-то нет еще. Да и быть не может — разве вы не видите?

Когда я сказал ему, что для меня вот он, Вилонов, уже Человек с большой буквы, он, нахмурясь, отмахнулся рукой и протянул:

— Ну-у, что там? Таких, как я,— сотни, мы — чернорабочий народ в революции, у нас еще не всё... в порядке. А отдельные фигуры, вроде Ленина, Бебеля,— не опора для вашего оптимизма. Нет, не опора.

Он отрицательно покачал бархатной головою, закрыл глаза и потише, отрывисто произнес:

— Мастеров, практиков, художников революции, как Ленин, Бебель, да еще двое, трое... и — всё тут! А человека — нет еще. Нельзя быть человеком. И жить ему негде, не на чем. Почвы нет. Он явится тогда, когда Ленин и вообще мы — расчистим ему место. Да.

Встал и начал шагать по террасе, возбужденно жестикулируя. Оказалось, что он весьма склонен фило-

софствовать о будущем, и я бы сказал, что у него было развито чувство осязания будущего. Он видел, нащупывал,— хотя как бы сквозь туман, сквозь темноту,— какие-то своеобразные формы общественности, каких-то особенно оригинальных людей. Помню, я не очень понимал его, да, кажется, и не очень внимательно слушал: меня в нем интересовало не это. Но я понимал, что его представления независимы от социалистов-утопистов и что он видит в будущем человечество сильных, человечество героев, развившееся до степени космической силы. Впоследствии я не один раз наблюдал романтизм революционеров-рабочих,— романтизм, который как будто конфузит их и о котором они разрешают себе говорить лишь в минуты исключительные.

Меня особенно заинтересовали его слова о злости и ненависти, он часто, в разных формах, повторял эти слова, и чувствовалось, что за ними скрыта основная тема, вокруг которой вьются все мысли этого большого человека, молодого, сильного, но уже осужденного на смерть идиотами и скотами.

Я чувствовал, что Вилонов — человек, как-то своеобразно ненавидящий. Ненависть была как бы его органическим свойством, он насквозь пропитан ею, с нею родился, это чувство дышало в каждом его слове. Совершенно лишенная признаков «словесности», театральности, фанатизма, она была удивительно дальнозоркой, острой и тоже совершенно лишена мотивов личной обиды, личной мести. Меня удивила именно чистота этого чувства, его спокойствие, завершенность, полное отсутствие в нем мотивов, посторонних общей идее, вдохновлявшей ненависть. А удивило это меня потому, что после пятого-шестого годов я увидел очень много революционеров, которые были таковыми Христа ради, из авантюризма, по «увлечениям молодости», по мести за карьеру, испорченную случайным арестом, из романтизма, даже из страха пред революцией и еще по многим мотивам, весьма личным, очень далеким от идеи революционного социализма, видел, наконец, и революционеров, бывших таковыми «скуки ради».

Вилонов, человек безукоризненно правдивый в своем отношении к людям, прямодушный до резкости, говорил:

— Вы, может, думаете, что побои имели какое-то значение для меня? Никакого. Здоровья, конечно, жаль. Но не могу же я винить палку за то, что меня ударили ею. Меня били не один раз. И ведь всё равно, кто бьет: отец, мать или чужие. Бить человека — это в порядке жизни. Да и — что мне побои? Вот я какой!

Забыв о своем туберкулезе, он медленно поднял руку на уровень головы и опустил ее до колена, указывая на свое стройное тело.

— Когда тюремщики топтали меня ногами, я, конечно, чувствовал и боль и обиду, но, право же, гораздо больше — страх: что, если б на моем месте оказался другой товарищ, не такой крепкий, как я?

И, покашливая, задыхаясь, он продолжал потише, нахмурив густые брови:

— Ведь они всякого могут растоптать, попади им в злую минуту Ленин, они и его... Вот где ужас! Главное-то и непростительное преступление классового общества в том, что оно воспитало в людях страсть к мучительству, какое-то бешенство. С наслаждением мучают, сукины дети, это я очень знаю! Вот наслаждение-то и есть преступность, которую уж никак, никто не оправдает. В природе такой гадости — нет! Кошка мышью играет, так она, кошка,— зверь и никаких подлостей лицемерных, вроде гуманизма, не выдумала.

Он долго говорил на эту тему, рассказывал об истязаниях в Орловском централе, о страшных драмах на Амурской колесной дороге и заставил меня почувствовать, что ему знаком лишь один страх — страх за жизнь товарища.

А к себе он относился так, как будто не понимал, насколько опасно болен, хотя однажды сказал очень спокойно:

— Ну, меня ненадолго хватит.

В праздничный день школа поехала осматривать Неаполитанский музей, Вилонов остался, пришел ко мне и сердито попросил:

— Дайте почитать что-нибудь легкое. Плохо чувствую себя, душит, и голова чугунная.

Взял «Простое сердце» Флобера и ушел читать в сад.

Дул горячий, раздражающий нервы ветер из Африки — сирокко. Над морем опаловое небо, как бы пропыленное знойной пылью; море цвета снятого молока и кипит, рычит, бухая в камень острова высокой волной. Яростно трещали цикады, сухо шумел жесткий лист олив,— в такие дни юг Италии особенно богат различными драмами.

Вечером я сидел на берегу, в серых горячих камнях; за островом Искией опускалось солнце, окрасив море в неестественный, лиловатый цвет. Волна била в камни, брызги ее сверкали радужно. Медленно, тяжелыми шагами подошел Вилонов, сел рядом со мной, положил на колени мне книгу.

— Прочитали?

— Ну да.

— Понравилось?

Он снял шляпу с бархатной своей головы, тщательно укрепил ее в трещине камня, чтобы ветром не сдуло. Покашлял, вытер пот с лица и спросил:

— Ведь если я скажу: хорошо, а — не нравится, так вы мне не поверите?

Я ответил, что не очень тороплюсь верить, но хотел бы понять, а он согнулся, зачерпнул ковшом широкой ладони горсть мелкой гальки и долго молчал, бросая отшлифованные камешки в брызги воды. Потом ворчливо заговорил:

— Не люблю жалостной литературы! В каких людях она рассчитывает пробудить жалость и прочие добрые чувства? Он «чувства добрые лирой пробуждал», а его застрелили. Командующие классы властвуют посредством насилия,— на кой чёрт нужны им добрые чувства? Что же — это мы, что ли, должны заразиться жалостью к бессчастным и всяким униженным? Слезой грязи не смоешь. Тем более не смоешь крови. А задача — смыть с людей кровь и грязь.

Взяв книгу из моих рук, он поднял ее, как бы показывая ее кому-то вдали, в пустоте.

— Это — хорошо! Как он мог написать глупую кухарку столь... убедительно? Даже странно, как будто видишь ее. Интересный фокус.

Пересыпая гальку с ладони на ладонь, он продолжал задумчиво и тихо:

— Как-то... обидно видеть, что книги лучше людей, а ведь это верно: лучше! Как можно, будучи явным буржуем, написать «Углекопов», «Разгром» или «93-й год»? Непонятно.

Бросил камешком в книгу на колене моем и спросил:

— Знаете, что тут хорошо? Ненависть автора, правда ненависти. Вот так и надо: спокойно, решительно, без оглядки!! Когда говорят или пишут о святой, великой и еще какой-то там правде, я понимаю это только как правду ненависти. Никакой другой правды не может быть. Всякая другая — ложь. Вот — Ленин это понимает.

Помолчав, он прибавил:

— Пожалуй, он один и понимает.

Вилонов бросил гальку, встал, встряхнулся:

— Уйдемте отсюда, тут — оглохнешь, да и сыро.

Доро́гой, медленно шагая в гору, спросил:

— А что, есть какая-нибудь формула ненависти?

— Не знаю.

— Я где-то прочитал, что чувство ненависти стремится в корне уничтожить не только всё, что ее возбуждает, но даже и самую мысль о возможности существования таких возбудителей. Там как-то мудрено было сказано...

Он задыхался, но, когда я сказал, что вредно ему говорить, поднимаясь в гору, он не обратил внимания на мои слова, продолжая:

— Классовая ненависть — самая могучая творческая сила. Читали вы «Государство будущего»? По-моему, Бебель в этой книжке недалеко смотрит. Это — ремонт, а не новая постройка.

И, остановясь, сказал с усмешкой:

— Надо отдохнуть. Эдакий идиотский ветер!

В другой раз он засиделся со мною до поздней ночи; весь день ожесточенно спорил, возбуждение его

разрешилось кровохарканием, и он был несколько угнетен этим. Сидели мы на маленьком дворике, залитом цементом, на каменных ступенях лестницы в сад, разбитый по горе, среди скал.

Вилонов снова говорил на свою тему о единой правде — правде ненависти, но говорил как будто не для меня, а для того, чтоб еще раз послушать свои мысли. Потом надолго задумался, замолчал, отмахиваясь от комаров веткой акации, и, наконец, предложил:

— Вот я расскажу вам одну историю, может быть, пригодится, напишете когда-нибудь.

Пересел ступени на две выше меня, прислонился плечом к стене и рассказал:

— Где-то на Урале,— помнится, на Сергино-Уфалейских заводах,— была семья рабочих: отец-старовер, два сына и две дочери, одна — замужем за конторщиком — жила с отцом, другая отбилась от семьи и работала в заводской школе помощницей учительницы. Она ввела старшего брата в кружок рабочих, а старший скоро потянул за собою и младшего. Через некоторое время среди рабочих появились листки, затем последовал обыск в школе; отец доглядел, что старший сын прячет что-то в бане, на чердаке; нашел спрятанное, прочитал, позвал сына. «Ты — что? Против царя?» Тот ответил честно. «Ну,— сказал отец,— я тебе приказываю: брось это!» — «А если не брошу?» — «А если не бросишь, так я вот эти бумаги сам начальству объявлю, понял? И сестре скажи, чтобы не смела пакостничать, голову оторву ей!» Сын был тоже неподатлив характером, угроза отца не испугала его. Сестру ненадолго арестовали, а выпустив, запретили ей учительствовать и отдали, конечно, под надзор полиции, принудив ее жить в доме отца. Отец, старшая сестра, зять — стали всячески травить ее, дважды жестоко избили, братья вступились за нее, и в доме началась жизнь адова. В январе, накануне своих именин, дочь — ее звали Татьяна — внезапно умерла. Старик отказался похоронить ее в одной ограде с матерью, заявив: «Я не знаю, отчего она сдохла, может, сама на себя руки наложила». Братья были уверены, что старшая сестра, с благословения отца, отравила Татьяну, но доказа-

тельств этому не было, да братья и не решались искать их. Отец очень приблизил к себе старшую сестру и зятя, братьев всячески стесняли, следили за каждым их шагом. Старший, не стерпев, ушел из дому, а младший был еще несовершеннолетен и хотя вспыльчив, но характером нетверд. Отец и зять в несколько месяцев забили его до идиотизма и немоты,— во время побоев парень перекусил себе язык, рана заросла плохо, и парень стал говорить так, что его уже трудно было понимать. А старший брат начал пьянствовать, буянить, с завода его рассчитали, он ушел куда-то и пропал без вести.

Как сейчас пред собою вижу маленький дворик виллы Спинола, с пальмой посредине его; беспощадно ярко светит луна, придавая цементу двора блеск оксидированного серебра; шумят, качаются деревья в саду над головами нашими. Темно-серая стена поросла мхами, покрыта вьющимися розами, к ней прижался большой круглоголовый человек с суровым, спокойным лицом. Он — в синей сатиновой рубахе, и сатин светится, как шёлк.

Рассказывал Вилонов бесстрастно, без лишних слов, покашливал и отирал рот платком, оставляя на нем темные пятна крови.

— Вот как отстаивают они себя, свое,— сказал он, вздохнув со свистом, обрывая с ветки акации ее мелкий лист, подбрасывая его на ветер.— Я, конечно, старика понимаю, что ж? Дед, отец его всю жизнь работали, сам он лет сорок работал, дом хороший, в два этажа, садишко, огород, две коровы, свиньи и вообще — хозяйство, будь оно проклято! По бревнышку, по кирпичику, по копейке создавалось, да! И, кроме его, никакой иной правды человек не знает, да и узнал бы, так не принял ее. А дети, сразу трое, пошли против этой правды, грозят разрушить ее, говорят о какой-то отдаленной, неведомой, непонятной. Ну, конечно, злые враги, и щадить их — нечего. Да, я старичка понимаю! Но, будь я на месте старшего брата, я бы за сестренку да за младшего горячо заплатил отцу. Тоже — не пощадил бы!

Вилонов крепко постучал кулаком по колену.

— Много я, товарищ, таких историй знаю и слы-

шал. Ну, не таких уж... страшненьких, поскромнее, а суть-то — одна! Может быть, скромные-то истории еще злее по скрытым чувствам, по ядовитым думам в бессонные ночи. Иной раз даже как будто жалко людей: до какого озлобления доведены, и — ведь чем? Только жадностью к делу рук своих да к меновому знаку — копейке. А тут вы, писатели, подсказываете: жалей! Задумаешься над книгой: а может, недоглядел чего-то, не понял, не дочувствовал? Потом — встряхнешься: нет, одна только правда есть — правда ненависти к старому миру. Одна...

Он тяжело встал, опираясь рукою в камень стены.

— Спать пора. Пойду.

И, пожимая широкой ладонью руку мою, сказал мне простодушный, хороший комплимент:

— Слушаете вы хорошо. И спрашиваете тоже хорошо.

Ушел, сопровождаемый своей тенью, очень темной и густой в эту светлую ночь.

Его разногласия с организаторами школы всё обострялись, и через несколько дней он и еще, кажется, двое товарищей,— из которых один был агент полиции,— уехали в Париж к Владимиру Ильичу.

Из этой поездки Вилонов возвратился на Капри уже почти совсем без сил, но еще более твердым ленинцем. Его пришлось отправить в Давос, где он вскоре и умер.

Долго, как видите, берег я память о нем, всё хотелось написать как-то особенно хорошо. Но очень трудно писать о людях такого типа, да и не привыкло перо русского литератора изображать настоящих героев.

Но вот к пятнадцатилетию работы «Правды» я счел за лучшее всяких поздравлений рассказать ее неутомимым работникам о Человеке, который, на мой взгляд, так хорошо понимал и чувствовал правду ненависти.

ИЗ ПРОШЛОГО

На Крутую я был переведен зимой 1889 или 90 года со станции Борисоглебск, где заведовал починкой брезентов и мешков, руководя работой веселых казачек, которые работали очень лениво, но ловко воровали мешки для своих хозяйственных нужд и превосходно пели донские песни. Очень помню Серафиму Бодягину, бойкую «жолнерку»; она обладала голосом редчайшей густоты,— итальянцы зовут такие голоса «бассо профундо» — глубокий бас,— владела она им отлично, и любимой песней ее была такая:

Поехал казак на чужбину далече,
На борзом своем, вороном он коне,

эти слова Серафима пела задумчивым говорком — «речитативом», а хор, голосов двадцать, подхватывал:

Свою он кручину навеки покинул,
Ему не вернуться в отеческий дом.

Работали в открытом пакгаузе, на холоде; со степи набегал резкий ветер, царапал бабам лица, точно рашпилем; мимо пакгауза двигались вагоны с хлебом, жмыхом, с подсолнечным маслом; пыхтели, посвистывали, маневрируя, паровозы, а казачки, работая за три гривенника в день, пели торжественно и печально:

Напрасно казачка его молодая
И утро и вечер до полночи ждет,
Всё ждет, поджидает: с далекого края
Когда ее милый казак прилетит.

Красивые песни были у них; я записал десятка три, но один приятель взял их у меня «почитать» и потерял.

А Серафима понесла чиненые мешки в кладовую и попала под пассажирский поезд. Ей отрезало колесами левую руку с плечом и голову.

На Крутую меня назначили «весовщиком», но вешать там нечего было, и обязанность моя заключалась в проверке грузов, которые шли на Поворино Грязе-Царицынской дороги и на Калач Волго-Донской ветки. Из вагонов назначения на Калач нужно было перегружать в вагоны на Поворино товары с персидского берега из Астары, Узун-Ада и др., это я делал вместе со сторожем Черногоровым-Крамаренком. Но это случалось не так часто, а главным делом моим была проверка бочек рыбы, которая шла с Волжской через Крутую на Поворино. Обычно с Волжской приходило от четырнадцати до двадцати поездов в сутки, состава не более, кажется, шестнадцати платформ. Пока паровоз маневрировал, я бегал с платформы на платформу с накладными в руках, а ночью — еще с фонарем у пояса. Работа требовала некоторого знания акробатического искусства, потому что машинист дергал состав весьма бесцеремонно, а бочки — скользкие или обмерзли, прыгать с одной на другую было неудобно, особенно же неудобно зимними ночами, в метель.

Проверять грузы необходимо было, потому что от Волжской на Крутую по подъему поезда шли медленно и этим очень пользовалось удалое казачество,— бочки сельдей, севрюги, бочата икры фокусно исчезали. В ту пору Грязе-Царицынская дорога до того прославилась воровством на ней, что начальнику товарного отдела М. Е. Ададурову разрешено было пригласить на службу «политически неблагонадежных», как людей, которые не умеют и не станут воровать.

Почему-то мне кажется, что на Крутой всегда, зимою и летом, буйствовал ветер, а в тихие летние ночи людей истязали комары. Станция стояла «на пустом месте», как говорил ее начальник; кроме станционных зданий, никаких жилищ вокруг ее не было, и не было

никаких людей, кроме служащих. По направлению к Волге, верстах, если не ошибаюсь, в двух, существовала деревня Пéски, а версты на четыре в степь — небольшая казацкая станица, забыл — какая. Ежедневно на Крутой стояли по минуте пассажирские поезда Калач — Царицын; каждый час вползали с Волжской товарные, катились пустые вагоны и платформы из Калача, с Поворина. День и ночь по путям станции двигались, фыркали, посвистывали локомотивы, стучали буфера вагонов, бегали стрелочники, два великомученика; дико орал длинный смазчик Мирославский, бывший семинарист; работал богобоязненный «составитель» Егоршин; бабы и девицы из Пéсок чистили пути, но вся эта суета была однообразна, люди всегда одни и те же. И хотя в двенадцати верстах был богатый уездный город, со множеством пароходных пристаней, с двумя вокзалами, но по ночам я все-таки чувствовал себя заброшенным «к чёрту на кулички», в какую-то шумную бестолковщину, среди которой, однако, нужно было «держать ухо востро». Уже в первые дни Мирославский предложил мне, очень просто и как нечто обычное, «вступить в долю», получать «полтину» с каждой краденой бочки сельдей и по трешнице «с места персидского груза». А когда я сказал, что не пойду на это,— он очень искренно удивился и спросил:

— На кой же чёрт нужен ты?

Товарищ по работе, милый человек Крамаренко, предупреждал:

— Ты, Максимыч, осторожно ходи-говори, тебя жандарм не любит. Он с Тихомировым обыск делал в казарме, Тихомиров ему книжки-тетрадки твои читал.

А через некоторое время предупредил и сам жандарм, толстый, равнодушный старик Петров:

— Тихомиров жалуется, что ты в бога не веришь. Гляди — за это не хвалят.

Жандарм, машинист водокачки Мицкевич, Егоршин и старший телеграфист Тихомиров жили дружно, играли в карты. Помощник начальника станции Ковшов страдал запоем, запоем же читал уголовные романы; он очень берег книги, никому не давал, но в свое де-

журство увлеченно рассказывал телеграфистам, мне и всем, кто хотел слушать, приключения парижских воров и сыщиков. Он был человек болезненно самолюбивый, злой и любил похвастаться неудачами и несчастиями своей жизни. Среднего роста, но коротконогий и толстый, он казался маленьким, а лицо у него было серое, как студень, с круглыми и неглупыми глазами, с едкой усмешечкой на толстых губах. Тихомиров, мрачный брюнет, бритый досиня, был глуп, седьмой год учился играть на скрипке, но играл всё еще только гаммы; он терпеть не мог людей, которые читают книги, и убеждал Ковшова:

— От книг ты и пьешь.

Было на станции еще несколько уже совсем бесцветных людей, о которых ничего не скажешь. Были женщины, почему-то все беременные, но детей я не замечал, дети прятались по квартирам. У начальника станции две дочери-девицы и тощенькая сердитая жена. Всех этих людей ветер зимою солил снегом, летом — горячим песком, и Черногоров, принюхиваясь к ветру, говорил мне:

— Этот — с Уральска. А этот — с верха Волги. Из Красноярска песок.

Черногоров обошел Каспий кругом.

— Как муха по краям тарелки ополз-ошагал,— говорил он.

Был он одним из тех русских одиноких людей, которые живут как бы поневоле, углубясь в какую-то неисчерпаемую думу. Ко всем окружающим он относился внимательно и ласково, как большой к маленьким, но никогда никого не учил. Нередко, ночами, я видел, что он на ходу точно спотыкался обо что-то и, остановясь, с минуту смотрел под ноги себе.

Начальником станции был Захар Ефимович Басаргин. Служебную карьеру свою он начал стрелочником на станции Царицын. Это был недюжинный человек, один из тех талантливых русских «самородков», которыми всегда была богата, а особенно теперь может гордиться наша удивительная страна.

Когда я попал под его крепкую и безжалостную руку, ему было лет полсотни, но — сухонький, крепкий, ловкий — он казался значительно моложе. Лицо у него — копченое, темнокожее, в сероватой растрепанной бородке; под густыми бровями, в глубоких ямах — горячие, острые глаза янтарного цвета. Походка легкая, быстрая, на ходу он как-то подпрыгивал, жесты — резкие, голосок — сиповат, но — властный. Меня он встретил подозрительно и даже враждебно,— я был прислан из Борисоглебска, от управления дороги и, может быть, прислан для шпионажа.

Как человек, прошедший тяжелую школу жизни, он превосходно умел эксплуатировать людей, заставлял их работать так, что только косточки трещали. Станцию держал в образцовом порядке, и скоро я отметил, что хотя служащие уважают его, но боятся, не любят. Они, с первых же дней, стали настраивать меня против него, но я уже достаточно повертелся «в людях» и не верил, когда мне говорили о человеке слишком плохо. Ангелов на путях моих я не встречал, сам тоже был мало похож на ангела.

Боевые мои отношения с Басаргиным начались с того, что он отказался дать мне комнату в одном из станционных зданий. По должности «весовщика» я имел право на эту комнату, а Басаргин отправил меня жить в казарму, где жили сторожа и куда часто приходили ночевать бабы и девицы из Пёсок, очищавшие пути от снега. Казарма была далеко от станции, примерно в полуверсте. Ночами к этим гостьям приходила холостежь станции, не брезговали и женатые. Конечно, выпивали, веселились. Среди казармы стояла огромная неуклюжая печь, я помещался между нею и стеной, построив себе нару и стол, а на печи повизгивали бабы. Хотя я был молод и здоров, но энергия моя поглощалась размышлениями над Спенсером и Михайловским; бабы очень мешали мне размышлять, к тому же они еще взяли привычку издеваться надо мною, а это было уже совсем плохо. И, когда одна из девиц, рябая красавица с зелеными глазами, стащив у меня тетрадь, куда я записывал мои соображения по социологии, содрала с нее обложку и, сделав из нее подруге и себе козырьки

на глаза, уничтожила записи мои, я рассердился и решительно потребовал у Басаргина:

— Комнату!

Он тоже рассердился, воткнул в меня глаза, как два шила, показал мне кукиш, и было ясно, что ему хочется избить меня. Но вместо этого он сказал:

— Идем!

И привел меня в маленькую, очень светлую и теплую комнату с двумя окнами в палисадник и во двор; вся комната с пола и почти до потолка была заставлена горшками цветов.

— Ну, куда же я цветы помещу, верблюд? — с тоской и с яростью спросил он меня.— Куда? Ты что — барин? Тебе, чёрту, может пуховую перину еще нужно?

И великолепно, со страстью, он рассказал мне, что третий год уже выводит новый вид трехцветной виолы.

— Виола триколор — понимаешь? — шептал он мне.— Отстань ты от меня!

В цветоводстве я ничего не понимал, но понял, что от комнаты надо отказаться,— на глазах Басаргина стояли слезы. С этого часа мы подружились, и скоро я почувствовал к Басаргину искреннее уважение, потому что увидел: он умеет не только заставлять работать других, но изумительно эксплуатирует и все свои способности.

Его квартира была обставлена удобной, прекрасно сделанной мебелью, всю ее он сделал своими руками, искусно украсив «рыбьим зубом»,— в песках вокруг станции ветер обнажал множество каких-то трехугольных костей, действительно похожих на зубы акулы. Он занимался гончарным делом,— все цветочные банки делал сам, обжигая их в печи казармы; изобрел поливу, расплавляя бутылочное стекло, подкрашивая его суриком и еще чем-то ярко-синим. Увидав у Грекова, начальника станции Волжская, «Аристон», модный в то время музыкальный ящик, он сам сделал и аристон. Чинил гармоники, усовершенствовал токарный станок, на котором работал; варил нефть с графитом, добиваясь сделать мазь, которая бы предохраняла шпалы

от гниения, мечтал сконструировать «буксу», чтобы сократить трение оси. Эта букса особенно сводила его с ума, он рисовал ее мне пальцем в воздухе, царапал ногтем на стенах, чертил карандашом, пером и жаловался:

— Эх, если б не служба, не дочери! Сделал бы я эту штуку. Сделал бы...

Он ложился спать в полночь, вставал в пять часов, а остальные девятнадцать вертелся, как обожженный, бегал от гончарного круга к верстаку, пилил, строгал, клеил, пересаживал цветы, варил в котелке на костре какие-то мази, на ходу командовал, ругался, рассказывал злые анекдоты о начальстве; всегда, зимою и летом, в парусиновом пальто, промасленном нефтью, запачканном красками.

Весною он бешено обрадовался: расцвели его «виолы», и цветы их оказались поразительно похожи на бородатое человечье лицо с широким синим носом и круглыми глазами.

— Видал, чёрт? Ага! — кричал он, подпрыгивая.

Он высадил цветы в клумбы вокзального палисадника, а через несколько дней какое-то важное начальство проездом в Калач, присмотревшись к цветам, захохотало:

— Но,— посмотрите, ведь это — рожа Ададурова.

Басаргин тоже визгливо и радостно засмеялся, и с той поры не только все на Крутой, но и проезжие служаки так и стали называть цветы: «Рожа Ададурова».

К весне на Крутой образовался «кружок самообразования», в него вошло пятеро: младший телеграфист Юрин, горбатый, злоумный парень; телеграфист с Кривой Музги Ярославцев; «монтер весов», а проще сказать — слесарь Верин, разъезжавший по станциям проверять точность весов «Фербенкс», и царицынский наборщик, он же переплетчик — Лахметка, переплетавший книги Ковшова, человек необыкновенной душевной чистоты. Он был старше всех нас по возрасту и моложе всех душой; тоненький, стройный, светловолосый, с голубыми глазами, глаза его ласково и ра-

достно улыбались всему на свете, хотя он, «подкидыш», безродный человек, прожил на земле уже двадцать семь очень трудных лет.

По характеру моей работы я не мог ни на час отлучиться со станции, и связь с Царицыном была возложена на Лахметку. Я познакомил его с «поднадзорными» города,— в то время там жили М. Я. Началов, бывший ялуторовский ссыльный, Соловьева — невеста сидевшего в тюрьме казанского марксиста Федосеева, студент Подбельский, убитый в Якутске во время известного «вооруженного сопротивления властям», саратовцы — братья Степановы, только что приехавшие из Березова, из ссылки, поручик Матвеев и еще несколько человек. Эти люди снабжали нас книгами. Каждую субботу Лахметка приезжал на Крутую, Верин и Ярославцев тоже являлись более или менее аккуратно, и по ночам, в телеграфной, мы читали брошюру А. Н. Баха «Царь-Голод», «Календарь Народной воли», литографированные брошюры Л. Толстого, рассуждали по Михайловскому о «прогрессе , о том, какова «роль личности в истории». Лахметке эта роль была особенно понятна: существует на земле, в России, в Царицыне, какая-то обидная и непонятная чепуха, теснота, и всё это необходимо уничтожить. Начинать надобно с истребления сусликов, саранчи, комаров и вообще всего, что извне мешает людям жить. А очистив землю от различных пустяков, расселить по ней городских жителей, чтобы они не теснились, не мешали друг другу.

— Чтоб каждый гадил на своей земле, а не у соседа,— объяснял злоумный Юрин.

У меня не было такого разработанного плана спасения людей от плохой жизни, но я с Лахметкой не спорил: всё равно, с чего начать дело, лишь бы поскорее начать! Не спорил и потому еще, что Лахметка был совершенно глух к возражениям; когда с ним не соглашались, он смотрел на несогласного так красноречиво, что было ясно: уступить он ни в чем не может, хоть на огне его жарь!

Иногда к нам заходил Черногоров и, постояв, послушав, решительно говорил:

— Все эти разговоры-словоторы — никуда, парни!

Мала пчела, а и та без бога не живет, а вы хотите — без бога.

Но с богом у него отношения были тоже неладные: не нравилось ему, что бог скормил медведям сорок человек детей за то, что они посмеялись над лысиной пророка Елисея, и хотя я, «ученый», сомневался в том, чтобы медведи водились там, где гулял пророк,— Черногоров, отмахиваясь от меня, увещевал:

— А ты — брось это! Не маленький, пора перестать книжкам верить.

Но еще больше, чем богова жестокость к детям, смущал его тот факт, что бог, неизвестно для чего, создал землю не везде одинаково плодородной и слишком обильно посыпал ее песком.

— По тот бок Каспия песку насыпано — и-и — бугры! Конца-краю нет пескам. Это я не понимаю — зачем же?

Это с ним, с Черногоровым, произошел случай, описанный мною в рассказике «Книга».

Да, так вот мы и жили. Чтение и беседы наши прерывались стуком телеграфного ключа, и по треску этому мы знали, когда соседняя станция спрашивает:

— Могу ли отправить поезд №...?

Через некоторое время на станцию вкатывался поезд, и я бежал считать бочки.

Басаргин о наших ночных чтениях знал, и, если ему, в жаркие ночи, не спалось, приходил к нам в ночном белье, босой, встрепанный, напоминая сумасшедшего, который только что убежал из больницы.

— Ну,— катай, катай,— я не мешаю! — говорил он, присаживаясь в конторе перед окошком телеграфа, но не мешал минуты три, пять, а затем, положив волосатый подбородок на полочку перед окошком, спрашивал нас, насмешливо поблескивая глазами:

— Будто — понимаете что-нибудь? Врете. Я впятеро умнее вас, да и то ни слова не понимаю. Чепуху читаете. Вы лучше послушайте настоящее...

«Настоящее» было очень далеко от «теории прогресса» и Спенсерова учения о «надорганическом раз-

витии», настоящее бойко рассказывало о том, как «личность» — стрелочник Захар Басаргин — лезла сквозь дикие заросли невероятно оскорбительной и трудной действительности к своей цели.

— Каждый должен жить, как в церкви,— учил он нас.— Чтобы всё вокруг блестело, и сам гори, как свеча! Трудов — не бойся!

Слушать его живую, напористую речь было не менее интересно, чем разбираться в трудной словесности Спенсера и Михайловского. Я слушал жадно. Человек — нравился мне, а дела его — не очень. Вероятно, Захар Басаргин был одним из первых людей, наблюдая которых, я укреплялся в убеждении, что сам по себе человек хорош, даже очень хорош, а вот делишки его, жизнь его... так себе. Делишки-то могли бы лучше быть.

Теперь я дожил до времени, когда у всех людей есть возможность, а у многих и охота делать большие дела, и вот — я вижу — делают! Значит — не ошибся я: человек особенно хорош, когда он понимает, что, кроме его самого, никаких чудес на земле — нет и что всё хорошее на ней создается его волею, его воображением, его разумом.

Большинство людей на Крутой относилось ко мне враждебно. Ковшов подозревал, что Басаргин хочет женить меня на своей старшей дочери и продвинуть на его, Ковшова, место. Тихомирову я мешал, потому что он сам давно прицеливался на место Ковшова, а кроме того, он привык видеть себя умнейшим человеком на станции, с людями разговаривал снисходительно, и с ним никто, кроме Басаргина, не спорил. Но мне часто и легко удавалось доказать поклонникам его ума, что он — невежда и враль, а люди типа Тихомирова считают разоблачение их вранья — кровным оскорблением. Машинист водокачки, страстный, но несчастливый картежник, имел дурную привычку бить свою чахоточную жену и косоглазенькую племянницу Юлию, которую все звали Жуликом за то, что она год тому назад похитила у кого-то печеное яйцо; с машинистом у меня

«произошло столкновение на кулаках, после чего оба публично разодрались», как написал в рапорте жандарм Петров, медленно умиравший от сахарного мочеизнурения и поэтому равнодушный ко всем людям на станции. Егоршин благочестиво ненавидел меня за безбожие, а еще больше за то, что я дружил с Крамаренком, который тихо и упрямо ухаживал за его молодой, но до истерики замученной женою.

Однако враги мои не могли не признать за мной некоторых достоинств: я научил всех баб станции печь хлеб лучше, чем они пекли, научил их делать сдобное тесто, варить пельмени и многим другим кулинарным премудростям. Я заливал худые резиновые галоши, вставлял стекла в рамы и вообще немножко помогал бабам жить, кое в чем помогал и мужьям, делая это от избытка силы и от скуки однообразных трудовых дней. Было признано, что я «образованнее» Тихомирова, о котором Басаргин говорил:

— Никуда эта дубина не годна, кроме как жениться. В его года Христа уже распяли, Скобелев генералом был, а он всё еще в дураках стоит.

Ежедневно по три часа Тихомиров играл гаммы,— Басаргин уговаривал его:

— Ты бы пожалел скрипку-то, лучше пилил бы старые шпалы на дрова.

Тихомиров, делая каменное лицо, урчал:

— Вы не можете музыку ценить, у вас уши волосами заросли.

А меня прямодушный Захар Ефимович убеждал:

— Сюртука нету у тебя? Плюнь на сюртук. Умишко — есть? Работать можешь? Выбери девицу, женись и делай жизнь по вкусу.

Программа эта не улыбалась мне, хотя между мной и старшей дочерью Басаргина уже возникла взаимная симпатия; девушка уже несколько раз слушала ночные наши беседы и чтения, сидя в саду под окном телеграфной,— входить к нам ей запрещала мать, очень сердитая женщина.

Всё это благополучие кончилось неожиданно и необыкновенно. Старые служаки Грязе-Царицынской дороги всячески старались «подсиживать ададуровцев»,

мешавших воровству в товарном отделе; пускались на различные хитрости и подлости, чтоб замарать «неблагонадежных», поднадзорных. Начальником станции Калач был некто Артобалевский, кажется — бывший полицейский чиновник, а смотрителем товарных складов на Калаче служил киевлянин Амвросий Кулеш, бывший ссыльный, маленький, суетливый и не совсем душевно здоровый человечек лет сорока. Амвросий Семенович очень любил птиц, и однажды Артобалевский застал его, когда он, доставая из распоротого мешка горстями просо, кормил им голубей и воробьев. Артобалевский послал на него донос в правление дороги, обвиняя в порче и хищении груза. Кулеш был вытребован в Борисоглебск для объяснений, поехал и — пропал.

А через несколько дней в «Царицынском листке» появилась корреспонденция, сообщавшая, что между станциями,— если не ошибаюсь — Грибановка и Терновка,— найден труп, по документам при нем установлено, что это — смотритель товарных складов станции Калач А. С. Кулеш, а в записке, найденной при трупе, сказано, что Кулеш покончил с собой, будучи оскорблен несправедливым обвинением. «Ададуровцы» и все «порядочные» люди возмутились, начальник дороги Надеждин заставил духовенство Борисоглебска служить панихиду по самоубийце и атеисте, в Царицыне решили сделать то же самое.

За мною приехал на Крутую Лахметка, и вот мы с ним отправились в город, идем по улице, а по другой ее стороне навстречу нам бойко шагает покойник Кулеш.

— Вот, чёрт, до чего на Кулеша похож! — удивленно пробормотал Лахметка, но в следующую минуту мы оба убедились, что не «похож», а — воскрес из мертвых, снял шляпу и, превесело улыбаясь, размахивает ею.

Затем он встал перед нами, настоящий, живой, с бородкой, в розовом галстуке и, радостно смеясь, спросил:

— Испугались?

И весьма оживленно сообщил нам, что корреспон-

денцию о смерти своей он сам написал и послал в листок.

— Чтоб всем сукиным детям стыдно было,— убили человека за горсть проса!

Его худенькое счастливое лицо было лицом человека явно и радостно безумного.

Панихида, конечно, не состоялась, но разыгрался большой скандал на удовольствие всех врагов «поднадзорных», хотя Кулеша отправили куда-то в лечебницу. История эта немедленно стала известна по всей дороге, на Крутой меня стали немножко травить. А потом явился инспектор движения Сысоев, бывший офицер гвардии, большой, толстый, синещекий, потевший голубым жиром. Тыкая меня пальцем в плечо, он ядовито храпел:

— Ну, что, а? Нигилисты, а? Просо воруете? Честные люди! Хо-хо-о!

После этого меня, с благословения начальства, начали травить уже, как собаки кошку, и я решил уйти.

— Терпи! Обойдется! — утешал и уговаривал меня милейший Захар Ефимович Басаргин.

Но способность терпеть у меня слабо развита, и, сложив свои книжки в котомку, отказавшись от бесплатного билета до Царицына, вечером дождливого дня я отправился пешечком с Крутой в Москву.

Вот и всё.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Приехал ко мне из Рима большой, крепкий человек, с лицом, как будто выкованным из металла, с умными, зоркими глазами; никогда я не встречал его, ничего не слышал о нем, а он приехал и через час заставил почувствовать его близким и любимым родственником.

Очень просто, в том спокойном и веселом тоне, каким рассказывают о знакомом и интересном парне, он сообщил о себе: сын казака-кубанца, солдат царской армии, активнейший участник гражданской войны, организатор партизанских отрядов, ранен был шесть раз, побывал в «белых» руках, ему дали 72 удара по животу раскаленными шомполами, вообще он испытал много различных физических и моральных страданий. Слушая его эпически простой рассказ, в котором я не уловил ни одной фальшивой или хвастливой ноты, я не без чувства зависти подумал: «Вот бы написать всё это так, как он рассказывает!»

И посоветовал ему:

— Вы, товарищ, должны написать это!

— Так я напишу,— сказал он и этими словами внушил мне уверенность: напишет, чёрт! И хорошо напишет. Он — из людей, которые и опытом своим и, должно быть, природой приспособлены к тому, чтобы всё делать хорошо. После боевой своей жизни он года три занимался «мирной», хозяйственной работой в партии, затем оказалось, что он обладает сильным и красивым голосом. Ему предложили учиться петь. Человек удачливый, он нашел себе подругу в лице ценительницы музыки, женщины, тоже немало испытавшей на своем веку, такой же простой, как сам он, влюбленной

в музыку, обладающей сумасшедшей и оригинальной техникой. Через три года он уже пел на сцене Большого театра Москвы.

Всё это весьма похоже на сказку, но из тех, которые не сочиняются, а делаются. Дальше сказка принимает размеры еще более значительные. ВЦИК командирует певца и его учительницу в Италию для завершения музыкального образования. Здесь профессора пения говорят певцу, что голос его поставлен совершенно правильно.

— Кто ставил вам голос?

— А вот, она.

Профессора удивлены и не очень верят. Затем бывший солдат Литовского полка дает в Риме концерт, и одиннадцать газет печатают о нем восторженные рецензии. Одна из них озаглавила свою рецензию так: «Будущий Шаляпин?»

Тогда этот солдат, партизан, «землеустроитель», человек «некультурный» печатает в газете письмо, в котором говорит, что его смущает «преувеличенность похвал» и что Шаляпин, каково бы ни было его поведение как человека, «как артист остается недосягаемым идеалом для всякого певца».

Он дал в Риме три концерта, все с одинаковым художественным успехом, но, разумеется, без материального, ибо иностранец платит тройной налог и по пяти лир в сутки за афишу, триста афиш стоили бы 1500 л., затем нужно оплатить помещение, мелкие расходы и т. д. После этого в кармане не остается ни одного чентезима. К тому же певец — русский, а русских из Союза Советов почему-то не очень любят в «культурных» государствах. Восхищаются, но не любят.

Спекулирующие на искусстве люди уже предлагают певцу: не хочет ли он дать им возможность нажить на его голосе деньжонок? Он знает, что ему нужно учиться, он хочет — и может — петь артистически, он не хотел бы подвергаться эксплуатации спекулянтов. Но он живет в условиях, материально крайне тяжелых. Стипендия ВЦИК недостаточна для двоих: он и его жена-учительница помещаются в маленькой сырой комнате, плохо едят, у них нет приличных костюмов, не хватает

денег для посещения музеев, театра. Был случай, когда «будущего Шаляпина» не пустили в оперу, потому что у него плох костюм.

Певец говорит обо всем, что мешает ему жить и учиться, без раздражения, без жалоб. Он вообще не из тех, кто умеет жаловаться и думает, что жалобы могут помочь. Он хорошо чувствует свою артистическую ценность и свое человеческое достоинство. Голос у него действительно превосходный, насколько я могу судить, мощный, мягкий, чарующий голос. Арию хана Кончака из «Князя Игоря» он поет уже как хороший артист. Он — один из тех удивительных русских людей, которых история последнего десятилетия русской жизни выдвигает всё более часто и обильно.

III

НЕ ПУБЛИКОВАВШЕЕСЯ АВТОРОМ, НЕЗАКОНЧЕННОЕ

ЗАПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Чем больше живу, тем всё более заманчиво интересными кажутся люди.

Грустно, что у меня уже нет времени написать книгу, в которой была бы подробно изображена жизнь десяти тысяч русских людей. Я уверен, что такая книга была бы значительнее «Анабазиса», ибо мои десять тысяч отступали бы по крайней мере в двух направлениях: небольшая часть — от всего, что заложено в человеке его животной природой, остальные же — от всего, что внушает выработанная первыми логика истории культуры.

Десять тысяч резко очерченных личностей, и каждая, так или иначе, стремится помешать наибольшему количеству ближних, окружающих ее. При этом проявляются различные напряжения ловкости и подлости, хитроумия и фанатизма, даже страсти. У каждого человека свой тон речи, свои, любимые, словечки; каждый наделен той или иною долей самомнения, это делает каждого оригинально глупым; каждый искусно выточил из своей большой зоологической глупости маленький разум, порою — убийственно острый, каждый талантлив в том или ином.

Я давно убежден: все люди талантливы, русские — особенно. Да, да — русские — особенно, и, может быть, именно здесь скрыта одна из причин их неуменья жить.

Бесконечной вереницей встают предо мною десятки, сотни анекдотически странных людей, встреченных мною на извилистом пути моем к забвению о них и о себе.

Глупые и умные, подлые и почти святые, разнообразно несчастные, всё это — милые сердцу люди; мне

кажется, что я неплохо понимаю их, и душа моя полна неугасающим интересом к ним. Многие из тех, кого я знал, уже умерли; я боюсь, что, кроме меня,— некому рассказать о них так, как я хотел бы, и боюсь: выйдет так, как будто этих людей не было на земле.

А я уж — не могу; десять тысяч таких людей нелегко выдумать; для этого необходима тысячелетняя фантастически тяжкая история, а лично мне — еще пятьдесят лет жизни.

Сказав «выдумать», я не обмолвился, ибо всё это — люди именно выдуманные и не целиком мною,— мы ведь все выдумываем друг друга,— нет, это они сами выдумали себя для того, чтоб жизнь была интереснее, хотя бы и сложнее, трудней.

Я очень верю, что люди, все вообще, стремятся к тому, чтоб в мире не существовало ни одного человека, о котором совершенно невозможно было бы сказать чего-нибудь значительного, забавного, хотя бы скверного, наконец! Вероятно, отчасти поэтому люди так охотно и усердно лгут и клевещут друг на друга.

Я особенно люблю людей недоделанных, не очень «мудрых», немножко сумасшедших, «безумных», люди же «здравомыслящие» мало интересны мне. Не трогает меня человек «законченный», совершенный, как дождевой зонтик. Я ведь призван и обречен рассказывать, а что мог бы я сказать о дождевом зонтике кроме того, что в солнечную погоду он бесполезен?

Человек немножко «безумный» не только более приятен лично мне, но и вообще он более «правдоподобен», более гармонирует с общим тоном жизни, явлением непонятного, фантастического, что и делает жизнь такой адски интересной.

Среди этой массы людей был бы Павел Петрович Дьяконов, акцизный чиновник, он говорил сам о себе:

— Я, извините, человек, каких, может быть, никогда не существовало,— я самый скромный человек в Европе-с!

Маленький, лысый, с какими-то жемчужными глазками на желтом, костяном лице, он ходил по земле на

тонких ножках мелкими шагами, осторожно ходил, как по скользкому льду, и так же осторожно прикасался к вещам, точно боясь, что они рассыплются прахом под его неверной, дрожащей рукою. Здороваясь со знакомыми, он никогда не пожимал их рук, а ждал, когда они пожмут его холодные пальцы, ждал, вопросительно и смущенно мигая,— казалось, он боится, чтоб и его рука не рассыпалась пылью. Глядя на мир и людей сквозь стекла очков, он до смешного часто по всякому поводу и без повода просил:

— Извините!

Он семь лет работал над сочинением «Жизнь и психология комнатной мухи» и всем знакомым рассказывал с ужасом о фантастической плодовитости и совершенно невероятной глупости мух. Всегда был молчаливо задумчив и лишь о мухах говорил оживленно, с увлечением, в котором звучало нечто близкое сладострастию:

— Извините, но — представьте же, какое недоумение должна испытывать муха, когда она с разлета ударяется о невидимое, не отличимое от воздуха, но непроницаемое стекло!

Умирала его сестра, вдова, горбатая и злая, но очень любимая им; он кружился по комнате, искоса поглядывая в угол, где, на постели, хрипел в агонии человек; потом, остановясь у окна, указал доктору на луну и шёпотом сообщил ему:

— Астрономы, конечно, преувеличивают настоящие размеры ее, потому что, извините, очень трудно определить издали точный объем блестящего предмета. Например: самовар издали кажется больше, чем вблизи. Так же и всякая другая медь, если она хорошо вычищена и блестит. Это, извините, шутки солнца...

Через несколько минут сестра его перестала хрипеть, успокоилась. Он сложил руки ее на выгнутой горбом груди, но руки, еще не успевшие окоченеть, съехали с горба; тогда он связал кисти их полотенцем, поцеловал желтый лоб усопшей, тихо посоветовал ей:

— Ну, лежи...

И, отерев слезы свои платком, сжатым в тугой комок, снова возвратился к философии:

— Роль солнца я — извините — нахожу вообще подозрительной...

Знакомые считали его полуумным и, разумеется, жестоко высмеивали его.

Всю свою жизнь, сорок семь лет, он прожил одиноко, холостяком, и, кажется, не имел ни одного друга, кроме сестры своей да доктора А. Н. Алексина. Читал всегда две книги: «Космос» Гумбольдта и Дрепэрову «Историю умственного развития Европы»; обе эти устарелые книги он знал почти наизусть, как правоверный татарин знает Коран. Умер он, отравившись соленой рыбой, и, умирая, сказал доктору:

— Решительно не согласен с физиками!

— Почему?

Задыхаясь от боли, пред тем как погрузиться в коматозное состояние, Павел Дьяконов, собрав остатки жизненной силы, пробормотал:

— Поверьте,— вселенная чем-то ограничена...

«Жизнь и психология комнатной мухи» имела неожиданно странный подзаголовок: «Вымышленное» и оказалась тетрадкой в 113 страниц, исписанной крупным, четким почерком, короткими скучными фразами. Молодой московский философ Викторов оценил это сочинение весьма кратко,— он сказал:

— Чепуха.

Леонид Андреев нашел, что это неудачная пародия на «ученый труд», и упрекнул меня:

— С какими пустяками ты возишься!

Мне показалось, что семилетняя работа Дьяконова выражает настроение человека, который, придя в гости, не встретил у людей того внимания, на какое он рассчитывал и, по его убеждению, имел право. Это обидело его, он отвернулся от людей, сел у окна и тихонько барабанит пальцами по стеклу, а за стеклом — черная, мокрая ночь осени, шелковистый тоскливый шорох дождя, домой идти человеку еще не хочется и далеко ему идти.

Знал я и еще одного жителя, в жизни которого мухи тоже играли немалую роль, впрочем — не одни мухи, но и тараканы.

Это — Яков Васильевич Еремин, сорокалетний великан, угрюмый пьяница, охотник по перу, очень сведущий орнитолог, ученик Мензбира, искуснейший препаратор птиц. С его красного усатого лица смотрели на мир огромные, круглые глаза теленка. В юности он сидел в тюрьме и был сослан в Петрозаводск «за оскорбление его величества». Он до самой смерти своей, девятнадцать лет, мстил его величеству тем, что, вырывая из старых календарей и журналов портреты царя, его предков и родственников, смазывал портреты патокой и спачала употреблял их как бумагу «Смерть мухам», а затем нашел для иконографии Романовых употребление того позорнее. Мух же и тараканов стал ловить на олеографии, изображавшие Христа, богородицу, святых и события Библии, чаще других на «Жертвоприношение Авраама». Смажет «Жертвоприношение» густым слоем патоки, прилепит картинку в кухне, на стену, и через двое-трое суток вся она сплошь покрыта трупами тараканов и мух.

Был он пессимист; однажды я сидел с ним на берегу Клязьмы, он жевал копченую колбасу, пил водку и рычал, убеждая меня:

— Решительно говорю: зря беспокоитесь,— из России никогда никакого толка не будет, потому что она не участвовала в Крестовых походах, и оттого вышло, что Европа училась жить у арабов, а мы — у монгол. Чему научишься у монгола?

Над рекою, радостно звеня, учились летать молодые стрижи, и один из них особенно форсил, показывая ловкость свою: сложит крылья и гвоздем падает на воду, а в каком-то вершке от зеркала ее легко и фокусно взмоет вверх, точно вихрем подхвачен, и снова режет голубой воздух капризно изломанными полетами, дерзко рисуя запутанные петли и узлы, озорниковато чертя по воде острым крылом.

Огромный, тяжелый, до костей проспиртованный человек, последив за смелою игрой молодого стрижа, сказал рычащим голосом:

— Это он, дурак, перед барышнями своими извивается. Вот и я, в юности, тоже так мелькал пред одной р-рыженькой.

На святках 906 года Еремина, пьяного, убили в трактире сапожники, вообразившие себя монархистами.

Вспоминается Александр Васильевич Панов, один из тех людей, которые всю жизнь свою, все силы затратили скромно и бесшумно на то, чтоб подготовить социально-геологический переворот в России. Я знал его, когда он одиноко и беспомощно валялся в маленькой, до потолка набитой книгами комнате, задыхаясь в водянке, развившейся на почве туберкулеза. Всю жизнь Панова — как многих, подобных ему — гоняли из города в город, из тюрьмы в тюрьму, но где бы он ни останавливался, хотя ненадолго, он немедленно обрастал книгами. Казалось, книги падали к нему с небес, выскакивали из-под земли, и в большинстве это были те, «изъятые из обращения», книги, в которых наиболее ярко блестела свободная и тем самым всегда революционная мысль. Этот костер книг, вытесняя из комнаты воздух, которого легким Панова и без того не хватало, привлекал к поднадзорному, окруженному шпионами человеку десятки юношей и девиц, «взыскующих света истины». Они являлись к нему по ночам, иногда — перелезая через забор, проникая в комнату его через окно, сидели у него до утра, а он, похлопывая ладонью по страницам, задыхаясь, кашляя, сиповатым голосом учил их читать между строк. Распухшие ноги его были обвязаны влажными тряпками, кожа на них лопалась, сочилась водою, он полулежал на койке, едва двигая руками, его синеватое, отечное лицо уже казалось мертвым, но на нем упрямо, неугасимо горели глаза аскета и святого.

Книга для него была священным фетишем, он относился к ней ревниво, бережно, и когда один из мальчиков-читателей потерял какую-то редкую книгу, Панов, взволнованный утратой, сокрушенно сказал ему:

— Как же это, а? Эх, вы! Поймите: ведь через тридцать, сорок лет вы умрете, а эта книга — вечная, вечная!

Он обладал высшей степенью неизбежной для проповедника веры в монументальную вечность книж-

ных истин и, казалось, физически, пальцами ощущал гранит и бронзу слов: «Мысль и свобода — прежде всего!»

Страстная нетерпимость пророка соединялась в нем с удивительной нежностью к молодежи и вообще к людям. Возбуждая интеллект на борьбу с тяготением инстинкта к покою, он бывал суров, беспощаден, но это не мешало ему быть удивительно терпимым к ошибкам и заблуждениям слабовольных.

К нему проник некто Веткин, белобрысый робкий юноша, но после нескольких бесед с ним сказал:

— Я больше к вам не приду, я — шпион, служу в жандармском управлении; я обязан ходить к вам, но — не могу, сил нет...

Панов очень удивился, забормотал:

— Как же это? Зачем это вы? И совсем не похожи вы на шпиона...

Потом решил:

— Нет, вы все-таки ходите ко мне, а то как же вы откажетесь? Это может повредить вам, а ко мне приставят другого, хуже вас. Нет, уж вы ходите и учитесь понемножку, потом будете порядочным человеком служить народу...

Шпион расплакался, ушел и вскоре исчез из города.

— Ужасно рано умираю я,— жаловался Панов.— Так досадно. Безобразие...

Было совершенно ясно, что эта жалоба выражает не предсмертную тоску, а лишь обиду человека, который хорошо знает, что его работа необходима, но — вот, надо умирать. Нелепо.

Жандармский полковник Попов говорил о нем водочному заводчику Долгову:

— Мы знаем, что это — вреднейший человек, и его надо ликвидировать, но — болен он и вообще — руки не поднимаются на него. Впрочем, надеемся, что скоро умрет.

Панов очень скоро оправдал надежду полковника.

Хорошо бы рассказать о почтмейстере Павлове, который выдумал чёрта, поместил его у себя в кабинете

на книжном шкафе и пять месяцев, каждую ночь, пил с ним коньяк, дружески беседуя.

— Само собою разумеется, что в существование чертей я не верю,— объяснялся он другу и зятю своему, учителю физики.— Но, видишь ли, в каждом человеке я наблюдаю тяготение к таинственному; этому качеству я всегда завидовал, у меня его совершенно нет. Вот я и решил искусственно создать чёрта для личной моей надобности. Будто бы чёрт сломал себе ногу и валяется на улице, а я иду ночью из гостей, наткнулся на него, взял к себе, поместил на шкафе и вылечил. Затем — сдружились и вот живем. Да, да, ничего подобного не было и нет, но, видишь ли, скучно, я хочу, чтобы что-нибудь особенное было, вот оно и есть! Знаешь: страшно надоело всё, и хочется обмануть себя или действительное; вообще — хочется обмануть кого-то.

Высокий, тощий, с клинообразным серым лицом, в темных очках, он обладал уродливо вздутым животом и ходил по земле осторожными шагами человека, у которого стеклянные ноги. Достигая угла улицы, он останавливался на секунду и заглядывал за угол, вытягивая шею. Я видел, как однажды он, наступив на осколок кирпича, подпрыгнул, отскочил прочь, остановился и, рассмотрев осколок, погрозил ему пальцем, а потом возвратился к нему и дважды, гусиным шагом, обошел осколок кругом.

На шестой месяц дружбы с чёртом почтмейстера отвезли в Австрию лечиться; там, в санатории, он и помер, видимо, убитый тоскою о друге. Незадолго до смерти он писал зятю своему:

«Всякая дрянь имеет право проезда по железным дорогам, а честному, безобидному чёрту, единственному, кого я люблю и кому верю, не дают заграничного паспорта».

Говорили, что о разрешении русскому чёрту поездки за границу он посылал прошение губернатору П. Ф. Унтербергеру.

Этот губернатор тоже был странный человек. Инженер по образованию, казачий генерал по чину, а по

рождению немец, он мыслил оригинально глупо. Я имел удовольствие беседовать с ним один раз и услышал от него такое, очень памятное, суждение:

— Вы, революционеры, забываете, что каждое новое поколение людей входит в жизнь со своими требованиями, поэтому ни революции, ни реформы никогда пе удовлетворят всех. Если будут удовлетворены ваши требования, это обидит меня и — наоборот. Мы все поступим наиболее разумно, признав, что лучше существующего сегодня ничего не может быть.

Затем он сообщил мне, что рабочее движение выдумано немцами для того, чтоб пугать им других.

— Это всё — Бисмарк придумал, Бисмарк и агент его — еврей Лассаль.

СЛУЧАЙ С ЛУЗГИНЫМ

Козьма Сергеевич Лузгин, владелец кожевенного завода, рыжебородый крепкий человек с недоверчивыми глазами, благополучно закончив дела свои, пожелал, перед отъездом домой, осмотреть Москву и пошел гулять по суетливым ее улицам. В Москве люди ходят быстро, нахлестанно, невежливо, толкают друг друга, и вид у людей таков, как будто они бегут от несчастья, угрожающего им со всех сторон. Муравьиная суматоха была не по душе жителю тихого уездного городка, где почти все люди знакомы, ходят солидно и не боятся опоздать прийти в срок туда, куда они следуют. Лузгину показалось, что он разучился ходить тою походкой, которой ходил по земле сорок семь лет, возникло смущающее чувство недовольства собою, он свернул в узкий, кривой проулок, свернул еще раз и остановился перед окном лавки торговца старыми вещами. В окне, среди пыльной посуды, опираясь на скрипку без струн, стояла небольшая, мелко написанная картина — очень синяя вода, и на ней серо дымят шесть игрушечных судов. С угла на угол картину перегораживала толстая и хотя старая, но хорошая трость с костяной ручкой. Лузгин спросил себя:

— Купить?

Мимо него быстро шмыгнул озабоченный человек, остановился в пяти шагах, проворчал:

— Эх, забыл...— тотчас же побежал обратно, наклоня голову, наскочил на Лузгина, пошатнув его, и еще быстрей пошел дальше тихим, безлюдным переулком. Лузгин, обругав его, потер ушибленный бок и увидал: у пуговицы жилета болтался коротенький

обрывок золотой цепи, а часы исчезли из кармана. Крича «Стой!» — Лузгин тяжело побежал вслед за вором; тот оглянулся через плечо, скользнул в приоткрытую калитку, тотчас выскочил из нее, пиная воздух ногою, взмахивая руками, колотя по чьей-то руке, державшей его за ворот. Лузгин подбежал, ударил его по шее:

— Отдай часы!

Карманник был тощенький, со стиснутыми висками, с красной болячкой на подбородке; от удара по шее он вобрал голову в плечи, выгнул спину горбом и тотчас же подал Лузгину часы. А держал его за ворот длинный парень в синей рубахе, в мягкой черной шляпе, под шляпой голое скуластое лицо и широкий, некрасивый нос, густо обрызганный веснушками. Когда Лузгин, ругаясь, выхватил часы из трясущейся руки вора, парень разжал пальцы, вор встряхнулся и отпрыгнул, побежал и в минуту скрылся за невидимым углом. Парень заботливо сбивал ладонью пыль со своих брюк, тучноватый Лузгин, присев на лавочку у калитки, возмущенно отдувался.

— Зачем же вы его отпустили?

— А куда его?

— В полицию.

Парень поднял нос в небо и сказал:

— Ну, в полицию всякий дурак сведет, а отпустит вора не всякий.

— Значит — воруй, сколько хошь?

Сняв шляпу, парень осмотрел ее, надел на прямые светлые волосы и ответил:

— До свидания.

Он пошел по узкой панели, покачиваясь валкой походкой и не торопясь, как человек гуляющий. Лузгин двинулся вслед за ним, идя на шаг сзади.

— Все-таки — покорно благодарю! Кабы не вы...

— Срезал? — спросил парень, обернувшись к нему.— У них эдакие щипчики есть, перекусывают. Поступок обыкновенный.

Лузгин увидал голубоватый глаз, холодный и серьезный, жиденькую светлую бровь над ним.

— Вы чем же занимаетесь?

— Сушеным грибом торгую. И — маринованным. С братом.

— Хорошее дело?

— Торговля — не дело,— скучновато ответил парень и, мотнув голым подбородком вверх, на крышу одноэтажного дома, где кровельщик оглушительно бил деревянным молотком по листу железа, сказал:

— Вот дело.

«Дурак, должно быть»,— подумал Лузгин, идя нога в ногу с парнем и чувствуя в нем что-то забавное.

Было жарко. Утомляла густая духота московских переулков, насыщенная особенной смесью множества неразличимых запахов.

— Пивка — не выпьем? — спросил Лузгин; его спутник вынул из кармашка на широком поясе большие черные часы, взглянул на них и сказал:

— Можно.

Через несколько шагов они спустились по трем ступенькам в темненькую прохладную комнату полуподвала, пожилая женщина с прискорбным лицом поставила перед ними две бутылки, стаканы, блюдечко соленых сухарей, ушла за стойку и, через плечо, сказала кому-то в дверь, за ее спиной:

— Напрасно ты его дразнишь...

Лузгин подумал: о чем бы спросить парня? И спросил:

— А как ваше имя?

— Громов,— ответил парень так быстро, как будто ждал именно этого вопроса; снял шляпу, вытер потный лоб платком и вздохнул:

— Конечно,— с такой фамилией не грибами торговать.

— Почему же?

— Так уж.

— Не студент будете?

— Я? Никогда. Я студентов не люблю...

— Скандалят?

— Везде. В театре, например: кто всех больше хлопает? Они. А я себя глупее их не считаю. Однако — я стараюсь жить умеренно.

«Нет, он как будто не глуп»,— сообразил Лузгин,

внимательно разглядывая голое и несколько пухлое лицо. Над верхней губою Громова торчали светленькие усики почти одного цвета с кожей, и, не будь их,— лицо казалось бы детским, еще неоформленным. И голубые глаза его смотрели по-детски серьезно.

«Ничего парень. Приятный»,— размышлял Лузгин.— Который вам год? — спросил он.

— Двадцать пятый.

Выпив еще стакан пива, Громов вдруг заговорил:

— Я — поступками интересуюсь. Всякий поступок должен, по-моему, иметь свой предел. Например: дайте нищему пятачок,— это пичего! Это — в пределах доброты. А нуте-ка, дайте ему пять целковых? Так это уже не токмо всех людей, а даже и нищего беспредельно удивит. Верно?

— Верно! — согласился Лузгин.— Очень верно и приятно слышать от молодого человека...

— Нельзя писать без точек, никто ничего не поймет. И говорить без точек — нельзя. А поступки — без точек.

— Это вы по какому-нибудь случаю говорите? — осведомился Лузгин и спросил еще пива.

— По всем случаям и по любому,— ответил Громов, глядя, как рыжеватая струя пива льется в его стакан и образует белую пену. Вздохнув, он откинулся на спинку стула, прикрыл глаза:

— Старший брат мой в припадке яростной ревности проломил жене своей голову. Теперь: он — в сумасшедшем доме на испытании его чувств, а она — в клинике лежит, и язык у нее отнялся...

Беседа становилась всё интересней, Лузгин подвинул стул свой ближе к столу, удобно облокотился, спросил:

— Ревновал-то к кому — к вам?

Сложив руки на груди, приподняв брови, отчего глаза стали еще больше и светлей, Громов ответил не сразу, как бы припоминая:

— К регенту.

Его простодушная откровенность, тронув рыжебородого купца, вызвала у него желание сказать собеседнику приятное.

— Так,— сказал он.— А то и вы достойны ревности...

— У меня — невеста.

«Чудак»,— подумал Лузгин и поучительно, не без хвастовства, объяснил:

— Невеста — не помеха. Даже — наоборот. Бывает, что накануне свадьбы женихи пробуют себя с какой-нибудь бабенкой.

— Варя — не какая-нибудь,— нахмурясь и строго заметил Громов. Он этим несколько сконфузил Лузгина.

— Я говорю: это — как рюмка водки перед обедом, какая то ни будь. Надобно знать себя.

Громов утвердительно кивнул головою.

— Это верно. Надо.

— Что ж она — красивая?

Громов заговорил снова так, как будто вспоминал очень отдаленное, полузабытое.

— Она — тонкая женщина, с фантазией. На гитаре играла, пела. Отец у нее — фотограф был. Очень боялась сквозного ветра.

— Сквозняков боялась, а бога — не боялась? — вставил Сергей Козьмич Лузгин, усмехаясь, а Громов, не обратив внимания на слова его, продолжал тихо и вдумчиво:

— Фантазия и мешала ей найти предел поступкам,— так я думаю. Например,— улыбаться любила и улыбалась всем без различия.

— Неосторожно,— заметил Лузгин.

— А брат — человек озабоченный. Для него все люди — жулики, и продавцы и покупатели. Беспредельно охотятся на чужое. Так что улыбки сердили его.

— Понимаю,— твердо сказал Лузгин.

— Ну, и вообще... Он ее бил...

Сергей Козьмич повел плечом и сказал, немножко нахмурясь:

— Что поделаешь? Женщина — до сорока годов всё еще дитя.

Приятная беседа настраивала его так мягко и будила желание тоже рассказать собеседнику что-нибудь значительное и задушевное. Но ничего такого не вспо-

миналось. Посидели минуты две, три молча. В пивную ввалился с улицы грузный человек, косо посмотрел на них, шумно вздохнул и медленно скрылся в двери ⟨за⟩ стойкой,— точно туча прошла. В пивной стало еще более душно. Лузгин наблюдал, как мухи пьют пиво, пролитое на стол, и чувствовал, что в голове его ворочаются незнакомые мысли. В слова они не укладывались, но темнили привычную ясность в голове. Громов, вынув черные свои часы, положив ладонь на стол, взглянул на циферблат, снова сунул часы в живот себе и заговорил вполголоса:

— Действительно: надо знать себя. Не в нашем смысле, насчет женщин, а вообще. Предел поступков надо в точности знать.

И, глядя в лицо Лузгина, он подчеркнуто повторил:

— Поступки очень интересуют меня. Даже — до смешного. Иной раз, на улице где-нибудь, вдруг захочется встать и что-нибудь крикнуть.

— Вот как?

— Да. Или внезапно остановить незнакомого и напугать: — Вы куда идете, а? — Громов не сильно пристукнул кулаком по столу, а С⟨ергей⟩ К⟨озьмич⟩ резонно заметил:

— Скандал будет, конечно. Человек просто идет по своим делам... Или в гости...

Неодобрительно взглянув на собеседника, Громов сказал:

— Брат мой шел из гостей и видит: на крыльце богатого дома какой-то господин целует женщину. Ночь — лунная, ясно, что женщина — чужая ему. И тут же коляска стоит, кучер, лошади. Так брат, придя домой, дня два успокоиться не мог, всё укорял Варю за слабость женщин.

Лузгин засмеялся, говоря:

— Что же — и в гости не ходить? Чудак вы...

И тотчас же он подумал, что этот гололицый парень не в своем уме. Эта мысль немедленно туго натянулась, и стало очень удобно нанизывать на нее всё дальнейшее. Лицо Громова было необыкновенно: пора бы отрастить бороду, а у него только какой-то серенький пух на верхней губе. И глаза подозрительны: говорит он дет-

скую чепуху, а глаза смотрят неприятно серьезно. Вспомнилось, что Громов ни разу не улыбнулся.

— Я — о пределах говорю,— размышляет Громов, покачиваясь вместе со стулом, глядя в стену. — О пределе всякого дела. Американцы строят дома в 50 этажей. Это ведь всё равно, как если целую улицу поставить на дыбы. Вавилонская башня: начало на земле, а конец — в небе. Учатся летать по воздуху, и — даже некоторые выучились.

— Конечно, это глупости,— осудил Лузгин.

Громов вопросительно взглянул на него, продолжая:

— И много еще... разного.

— Беспокойно?

— Человек должен вести себя соответственно окружающему его, а окружающее, как река весной, выходит из берегов. И, действительно, получается житейское море...

Лузгин вздохнул. Нет, парень этот едва ли полуумный. И — пожалел: парень стал менее понятен.

СНЫ

⟨I⟩

Сквозь снежный вихрь, по улице, где все дома, не имея окон и дверей, разрезаны узкими щелями, сквозь которые человек не может пройти,— по этой кошмарной улице медленно текут тысячи людей, играя на медных трубах причудливых форм.

Впереди шагает тоненький и стройный мальчик,— у него самая большая труба, она возвышается над головою мальчика, и пасть ее уродливо широка. Она похожа на чудовищный медный цветок, стебель его обвивает грудь и плечи музыканта, а мундштук точно головка змеи против его рта. Мальчику тяжело, он идет, качаясь, и кричит:

— Раз-тра-там, два-тра-там!

Останавливается и, приложив губы к мундштуку, страшно трубит; тогда из толпы людей стремительно выбегают четверо черных, они несут гроб, похожий на лодку, один из них падает, тотчас же его место занимает другой, и раздается общий крик:

— Умер!

Труба мальчика перестает реветь, и снова он, качаясь, шагает сквозь снег, по бесконечной улице, впереди неисчислимой толпы.

— Р-раз-тра-там, два-á-тра-там!

Потом — снова останавливается, трубит, и снова один из людей, несущих гроб, умирает, и так без конца...

⟨II⟩

В пальто и в шляпе я стою в левом приделе нижегородской церкви Трех святителей. Вечерняя служба очень странная: служат вполголоса, но необычно быстро

и весело. Особенно весел дьякон — высокий, стройный, безбородый юноша в шапке светлых кудрявых волос, лицо радостное, движения танцующие. Народа в храме немного, я знаю всех присутствующих, но — позабыл их имена. Вижу Е. Д. Кускову, она бегает по всей церкви и даже забегает в алтарь. Дьякон, улыбаясь, говорит мне:

— Снимите шляпочку и пальтецо — жарко! Пожалуйте...

Он ведет меня сквозь стену в тайный какой-то придел, без окон, с высоким куполообразным потолком. У стены — огромное, покрытое парчою ложе, высотою по плечо мне, я вижу — и даже знаю,— что под парчой лежит накрытый с головою труп какого-то великана. В голове и в ногах его стоят с кадилами четыре ангела, один из них — дьякон, остальные тоже знакомы мне, но я не чувствую желания вспомнить имена их. Под углом этому ложу — другое, из пышных перин и множества подушек, в них утопает по плечи желтолицая уродливая женщина с лицом идиотки — подпрыгивая, она размахивает недоразвитыми ручками и бормочет что-то, блаженно ухмыляясь. Типичная «дурочка», я видел десятки подобных ей, видел, кажется, и эту. Маленький священник с лицом ястреба начинает служить молебен, все люди встают на колени и взывают, простирая руки к дурочке:

— Преподобная дева Евдокия, моли бога о нас!

Дурочка оглушительно визжит, а четыре ангела, точно окаменев, неподвижно смотрят на труп гиганта, как бы ожидая воскресения его. Меня враждебно окружают люди, шепчут:

— Вы зачем здесь?

Выводят на паперть, одевают, я иду сквозь вьюгу, меня останавливает Вл. Ив. Немирович-Данченко:

— Почему вы одеты в женское пальто?

Да, на плечах у меня болтается, раздуваясь, коричневая женская мантия со множеством пуговиц, они бьются друг о друга и стучат. Возвращаюсь к церкви, чтобы переодеться, но церковь качается, так что я не могу взойти на ступени паперти, церковь плавает в снежном воздухе, как будто стремясь оторваться от

земли. Изнутри ее раздаются веселые голоса молящихся и радостный визг дурочки.

Я стою, соображая, как делал бы это наяву: церковь Трех святителей — в России, в Нижнем, а я живу в Германии, под Фрейбургом, Е. Д. Кускова — в Берлине, а Немирович-Данченко, кажется, уехал в Нью-Йорк, или — в Москве. Разбудил меня стук в дверь: пришел почтальон.

⟨III⟩

Гуськом, безмолвно и бесшумно, ко мне подошли тринадцать безголовых людей, окружили меня и, связав медной проволокой, повели, как лошадь, по узенькой каменистой тропе в гору. На вершине горы, плоской, лишенной растительности, стоял в кольце гранитных стен какой-то безгласный город, за темными зубцами стен возвышались островерхие крыши, колокольни, висели флаги. Безголовые, бросив меня на землю, быстро побежали вокруг стен, опутывая их стальным канатом, а опутав, развязали меня, накинули на грудь и плечи мне что-то вроде хомута, и я, согнувшись, тяжело повез весь город к обрыву горы, к темной пропасти. Над нею, точно маятник часов, качалась луна, величиною с арену цирка. И по окружности луны, бледной, серебристо-прозрачной, суетливо металась ярко-красная лиса. Когда луна катилась направо, лиса бежала налево, встречу ее движению, луна влево — лиса направо. Пышный хвост ее искрился, как Млечный путь.

— Едва ли этот мальчик долго проживет! — громко сказал кто-то сзади меня.

Я подтащил город к самому краю горы, взглянул вниз,— по воздуху в мутной дыре мелькали какие-то серебряные полосы, напоминая движение рыб. А безголовые, столкнув город вниз, в туман, бросили вслед за ним и меня. Я проснулся весь в холодном поту, в странном оцепенении.

⟨IV⟩

На фабрике Кувшинова Н. З. Васильев с инженерами по ночам играл в карты, я несколько раз наблюдал игру, безуспешно стараясь понять премудрость «винта». Игры не понял, но увидел жуткое сновидение:

Четверо человекоподобных существ в шерсти медведей, с глазами точно из бронзы, сидя вокруг огромного кубического камня, играли людьми, расплющенными, точно карты. Игроки держали фигурки людей в пальцах совершенно так, как держат карты, и так же шлепали ими по камню. Люди были живые, они шевелились в пальцах игроков...

[Сон мой здоров и крепок, сновидения редко посещают меня, и, должно быть поэтому, очень памятны мне. Странно, что во сне я чаще всего другого вижу пустыни, пустоту. Вот сновидения истекшей ночи:

Я — один на краю плоского круга пустоты, она покрыта сводом мутно-серенького неба, в центре его над темной каменной землей, извиваясь, колеблется — не падает — кусок черной материи, какая-то]

[Сон М. И.

Ночлежка. Койки. Невидимое чтение. Люди в подрясниках и котелках. Их иропические поклоны, ехидные улыбочки.

— Это — неучтиво!

Единственные слова, кот⟨орые⟩ она могла сказать.]

ФОТОГРАФ ИЗ СИМБИРСКА

В 17-м году пришел ко мне на Кронверкский с просьбой помочь ему в чем-то и с жалобой на какого-то швейцарского профессора, который оспаривает право приоритета Гордина на изобретение аппарата, усиливающего зрение. Коренастый, здоровый, самоуверенный, в общем — малообразованный, но — человек цепкого и трудолюбивого ума. Хорошо поговорили.

Месяца через три явился снова, с палочкой в руке и с погашенными глазами. Полуслепой.

— Как это случилось?

Рассказал, что тогда, уйдя от меня, он зашел в одну из чайных около народного дома и там «первый раз в жизни» выпил стакан денатурата. Уже на вторую неделю почувствовал, что зрение слабеет.

— Вот какое странное дело,— говорил он, уставив на меня полумертвые, почти окаменевшие глаза.— Зрение у меня было отличное, а все-таки я как будто знал, что ослепну. И хоша изобретал много,— автоматический кран и еще кое-что,— но всегда думал об аппарате для слепых. Таинственно толкало в эту сторону.

Помолчал.

— Полагаю, что в человеке есть качество предвидения своей судьбы. В разумном человеке,— добавил он.

— Как же вы теперь будете работать над аппаратом?

— Обязательно — буду. Цель жизни, предуказанная мне,— в этом. Внутренно-то я ведь вижу, что надобно делать. Вот и вы увидите: сделаю!

Говорил он совершенно спокойно и ни единым словом не пожаловался на судьбу. Настоящий человек.

СКВОЗЬ СТЕНЫ

В Московском комитете по делам изобретений запатентовано изобретение слепого Е. Е. Горина, представляющее исключительный интерес.

«Устройство для видения на расстоянии», как называет изобретатель свой прибор, обладает громадными возможностями. Новое изобретение наделяет человека сказочной способностью видеть сквозь стены на весьма большие расстояния. Изображения, передаваемые с помощью электрических проводов или по радио, проектируются на экране с совершенной точностью и отчетливостью. Таким образом, человек, снабженный таким прибором, может, не выходя из своей комнаты, видеть движение на дальних улицах, театральные зрелища, жизнь других городов и т. д.

Но изобрел-то он, кажется, не то, что хотел.

ПРАВДИВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЧАЯ С ПОЧТМЕЙСТЕРОМ ПАВЛОВЫМ

Предваряю: всё, изложенное ниже, суть голая правда и может быть подтверждено многочисленными свидетелями, среди коих окажутся также лица, имущие власть. Да.

Однако ж сие сказано не с тайным намерением угрозы, а лишь того ради, чтоб предрасположить легкомысленных читателей к доверию истине, без обладания коей жизнь наша лишена смысла.

За сим начинаю изложение.

Воргородский почтмейстер Яков Петрович Павлов, статский советник и кавалер, вышед из клуба, не спеша и одиноко направлялся в морозной тишине к своей, казенной, квартире. Было уже поздно, за некоторые минуты пред этим часы на колокольне Василия Великого гулко отсчитали двенадцать ударов зимней полуночи.

Как вдруг некое существо, стремительно обогнав почтмейстера и забежав на десяток шагов пред его, поскользнулось на тротуаре и упало, неестественно взвизгнув.

Не ускоряя важность шага, Яков Петрович, подойдя, склонился, посмотрел: у ног его простиралось нечто среднее между большою собакой и мальчишком из нищей братии.

— Что, дрянь, ушибся? — благосклонно спросил почтмейстер и внезапно услышал обиженный ответ:

— Я — не дрянь, но чёрт.

— Это — глупо, мальчик, глупо, даже несмотря на святки,— поучительно заметил Яков Петрович и вновь услышал ворчливо-непочтительные слова:

— Я не мальчик, а постарше вас...

Тогда, присмотревшись более внимательно и помимо воли мигнув, статский советник Павлов заявил:

— В чертей не верю.

— Это дело ваше,— ответило ему необыкновенное существо и затем простонало:

— Ногу я сломал!

Тут Яков Петрович, вздрогнув, задумался:

— Ногу? Гм...

Он вспомнил, что даже материалисты неоднократно предвещали: чёрт ногу сломит. Вот это и случилось, явно подтверждая бытие Чёрта.

«Чрезвычайно странно,— думал почтмейстер, чувствуя себя весьма смущенным.— Совершенно недопустимо: XX век, а черти ноги ломают. Разумеется, его заберут в полицию, завтра о нем осведомлены будут репортеры обеих газет, наверное телеграфируют в столицу, начнется противуестественная и скандальнейшая чепуха, и снова Европа станет издеваться над нами, эмигранты же, революционеры, не преминут, конечно, извлечь отсюда свои злые выгоды...»

— Послушайте,— может, вы ряженый?

— Ах, отвяжитесь,— со стоном выговорил неведомый.

Вспотев, почтмейстер снял шапку и посмотрел внутрь ее, как бы надеясь найти там некую, менее тревожную мысль.

— Вы — серьезно сломали ногу?

Яков Петрович получил вполне разумный ответ:

— Ну кто же ноги себе ломает шутки ради?

— Да... Но, может быть, вы еврей и притворяетесь?

Неведомый удивился:

— Странный оборот мысли!

И, с озлоблением, сказал богохульство:

— Вы должны бы знать, что евреи не притворяются после того, как один из них неудачно притворился сыном Саваофа.

Почтмейстер Павлов надел шапку, говоря:

— Но ведь если вы действительно... И если случай этот станет известен либеральной прессе... многие будут весьма смущены...

— Конечно, — согласился тот и болезненно взныл: — Да идите вы к богу! Что вам нужно?

«Ему — больно, а я веду себя нелепо»,— сообразил Яков Петрович, и вдруг его осенила благочестивая мысль:

«Допустимо, что для многих будет полезен факт этот; так, например, сомневающиеся в бытии божием, убедясь в реальности врага его, должны будут признать и господа, ибо тень возможна лишь при наличии света, и порок не существовал бы, не будь добродетели».

Увлеченный правильной этой мыслью, почтмейстер заявил:

— Я хочу помочь вам...

— Вот и попробуйте,— получил он в ответ.

Тогда, осторожно подняв чёрта, он окутал его шубой и понес, как ребенка, говоря разумно:

— Вы не обижайтесь, но всё это не так! То есть я хочу сказать, что не верю в вас... хотя и признаю. Это не совсем точно, я хотел сказать, что вообще в наш век черти совершенно излишни. Впрочем, они и всегда были ненужны...

— Вам — не нужны, а вот Мильтону, Тирсо де Молина, Гёте, Марлоу, Лермонтову, Клингеру и десяткам других утешителей ваших — нужны. И отцам церкви нужны.

Остановясь и глядя за пазуху себе, почтмейстер сказал, как бы упрашивая:

— Конечно, постольку, поскольку вы плод...

— Любви несчастной...

— Воображения, то...

— Посадите меня на тумбу и ступайте домой.

— Нет, не могу,— сказал Яков Петрович, тяжко вздыхая. — Не могу, памятуя пример милосердного самарянина. На тумбе вы можете замерзнуть. И необходимо, чтобы всё это осталось между нами. Я — патриот и не желаю сенсаций, которые могут компрометировать Россию в глазах Европы. О нас и так чёрт знает что пишут.

— Послушайте,— раздался голос из-за пазухи,— может быть, вас успокоит, если вы вообразите, что я

Чёрт из категории тех, которые употребляются только для святочных рассказов?

Отрадно вздохнув, Яков Петрович бережно и даже нежно прижал Чёрта ко груди своей, говоря:

— Вот — благодарю вас! Этим всё превосходно разрешается. Вы очень милый, право! Оч-чень! И, разумеется, вы простой чёрт из святочного рассказа. Чудесно!

— Ну, вот и устроились,— пробормотал Чёрт, а почтмейстеру захотелось даже погладить это существо, лишь внешне похожее на чёрта лубочных картин и неощутимо легкое.

Придя домой, он незаметно пронес найденыша в кабинет свой и сначала устроил его на кресле в углу, за книжным шкафом, но, подумав, что утром горничная, дочь или зять, увидав необыкновенного гостя, начнут расспрашивать, кто это, и будет очень трудно убедить их в том, что это Чёрт воображаемый,— решил:

«Никаких сенсаций! Это — строго личное дело!»

Устроив на книжном шкафе ложе из старых газет, он водрузил туда Чёрта, прикрыв его картой Европы, наклеенной на коленкор.

— Удобно?

— Вполне,— сонно ответил Чёрт и попросил: — Дайте две, три книги потяжелее!

Почтмейстер дал ему Библию Дорэ, «Весь Петербург» Суворина, Четьи-Минеи,— Чёрт, покрякивая, обложил книгами сломанную ногу и примолк, видимо, заснув, а почтмейстер сел к столу, думая, что воображаемый Чёрт не должен бы занимать места в пространстве. Но сия несколько тревожная мысль быстро уступила место очень ясной другой: ничего невозможно вообразить вне пространства.

Затем подумал, что если б он был славолюбив,— завтра же имя его гремело бы по всей земле, и, может быть, Главное управление почт и телеграфов, найдя способ утилизировать Чёрта в интересах ведомства, например, для перлюстрации писем, выдало бы ему, Павлову, денежную награду или почтило бы еще одним орденом. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что если существует Чёрт, то несомненно и бытие бога.

«Так, так,— соображал Яков Петрович, всё более увлекаясь этой благочестивой мыслью. —Доказав — от противного — существование господа, я попробую довести Чёрта до того состояния, в которое некогда впал Мурин, древний сатир, уверовавший во Христа, нареченный при крещении Моисеем и впоследствии признанный святым».

Увлекательная эта мысль позволила статскому советнику сладостно почувствовать себя столпом и утверждением истины, так сказать, Атлантом веры православной, и вовлекла его в сверкающий вихрь того более превосходных соображений.

Вращаясь в этом вихре, он прожил несколько недель непрерывного вознесения в сферы ослепительных радостей, откуда, взирая, он видел мир окончательно и совершенно благоустроенным и покорным единой, высшей воле.

Чёрт же, пребывая на книжном шкафе, под картою Европы, вел себя отлично: скромно, тихо; в разговоры с Яковом Петровичем не вступал без вызова со стороны последнего и лишь изредка мечтательно насвистывал лирическое из Рубинштейнова «Демона».

Когда же гуманный хозяин заботливо предлагал ему:

— Руки помыть не хотите?

— Благодарю вас,— отвечал Чёрт,— я за шкаф.

И хотя такая примитивность воспитания несколько коробила почтмейстера, но благовония мыслей его отнюдь не нарушала. На вопрос, как случилось, что Чёрт не успел своевременно спуститься в преисподнюю, он объяснил:

— У меня тут сердечное дело с одной весьма интеллигентной дамой, и вот по причине ее пристрастия к антропософическим разговорам я, опоздав в ад, остался на крыше его.

Объяснение это вполне удовлетворило почтмейстера, ибо он тоже знал женщин, достичь сущности которых возможно было, лишь пройдя чащу терновника различных вопросов, вызванных к жизни суемудрием моды,

Иногда, для успокоения некоторой внезапной и неясной тревоги, Яков Петрович раскладывал пасьянс,

а Чёрт, высунув черненькую голову из-под Европы, внимательно следил, изредка предрекая:

— Не выйдет.

И действительно — не выходило.

Иногда же, осторожно подходя к цели своей, Яков Петрович начинал дипломатично:

— А как вы относитесь к православию?

Чёрт, не менее дипломатически, отвечал:

— Установление вполне достойное.

— Не правда ли?

— Да.

— А что именно да?

— Полезное учреждение.

«Мал, а — хитер»,— думал почтмейстер и после одной из таких не вполне удачных бесед решил посоветоваться со священником тюремной церкви, отцом Феофилом, который отличался столь примерным благочестием, что даже его превосходительство начальник губернии и многие другие значительнейшие лица исповедовались у него, хотя либералы и вольнодумцы утверждали, что причиною сего доверия начальствующих к скромности священника являлось отнюдь не благочестие Феофилово, а его почти совершеннейшая глухота.

Когда почтмейстер Павлов изложил отцу Феофилу историю пленения Духа тьмы, Феофил, довольно подумав, сказал строго:

— Молиться надо.

И еще подумав, добавил:

— Поститься надо.

И затем, как бы провидя грядущее:

— Крепиться надо, ибо соблазны многи суть довлеют нам, сокрушая дух в угоду окаянства плоти.

Будучи неудовлетворен советами сими, Яков Петрович составил и послал докладец преосвященнейшему владыке Назарию:

«Имею высокую честь донести благоутробию Вашему, Владыко, что благодаря исключительно счастливой случайности я вовлечен в непосредственное общение с одним из Духов тьмы, именуемых в просторечии чертями, каковой Дух вот уже третий месяц пребывает

на иждивении моем в кабинете, на книжном шкафе, под картою Европы. Отличаясь скромностью поведения и сосредоточенностью, Чёрт обнаруживает, хотя еще и робкий, но, видимо, искренний интерес к вопросам догматического и критического богословия, хотя я и воздерживаюсь беседовать с ним по вопросам этого порядка. Не решаясь указать глубочайшей мудрости Вашей, Владыко, на значение сего феномена для торжества православия и, в частности, для повсеместного в мире утверждения веры в бытие божие, прошу указаний и распоряжений Вашего Преосвященства».

И — подпись.

К величайшему смущению и даже обиде Якова Петровича владыко, очевидно, по силе обременения своего заботами о благодействии епархии, прислал не священно-церковнослужителя, как ожидал Яков Петрович, но известного в городе маленького черненького и даже несколько горбатого психиатра Трунина, который, кроме всего прочего, часто бывал партнером почтмейстера по игре в винт.

Будучи, как это само собой разумеется, материалистом и невером, психиатр этот пожелал, конечно, убедиться в факте физического наличия Чёрта, для чего, встав на стул, снял со шкафа карту Европы и, встряхнув оную, объявил:

— Ничего нет.

На что Яков Петрович иронически заметил:

— А ты, дурак, думал, что там брусника растет?

Но психиатр, ослепленный ложным блеском науки своей, утверждал:

— А на шкафе — пыль вековая, книгам же лежать на нем не надлежало бы!

И снова Яков Петрович поразил его сарказмом, сказав:

— А ты за шкафом понюхай!

В кратких словах говоря, сила заблуждений века нашего такова, что из визита этого добра получиться, конечно, не могло, а потому и не получилось.

Дочь же Якова Петровича и тюремный инспектор, зять его, начали уговаривать отца и тестя ехать в Саксонию, в один из тамошних санаториумов, сиречь —

мастерских для починки людей, чье воображение признается медициной якобы расстроенным, медицина же эта, как известно, признает сумасшедшими всех людей, величие души и глубина откровений которых ей, медицине, недоступны, непонятны и превыше всех ее спекуляций. О чем смотри лженаучные сочинения харьковского сумасшедшего Ковалевского, дерптского Чижа и других двуногих без перьев.

Настояниям дочери и зятя Яков Петрович не подчинился бы, но они, по неразумию возраста и заблуждению скороспелых умов, прибегли к помощи начальства, и тогда статский советник Павлов, кавалер орденов Станислава и Анны, уже не мог, конечно, позволить себе сопротивляться предуказаниям власти.

Но со скорбию, хотя и покорно, согласясь отбыть в Саксонию, Яков Петрович выговорил, чтоб Чёрт был отправлен с ним для дальнейшего воспитания в духе самодержавия, православия и народности.

Тогда запаковали Чёрта в желтый кожаный чемодан, в верхней крышке его почтмейстер незаметно проколол перочинным ножом несколько дырочек, дабы облегчить доступ воздуха в нутро чемодана и тем не дать Чёрту задохнуться.

Но, прибыв в саксонское заведение и распаковав чемодан, Яков Петрович нашел в нем лишь три пары егеровского белья, привычный резиновый пузырь, необходимый каждому смертному, печень коего не в полном порядке, любимую клизму, две колоды карт для пасьянса и еще несколько вещей, столь же необходимых для любознательного путешественника. Чёрта же в чемодане не оказалось.

Поняв, что он гнусно обманут зятем, Яков Петрович тотчас отправил депешу по-русски, но латинским шрифтом:

«Россия. Святая Русь. Воргород.

Тюремному инспектору, скучнейшему материалисту Недыхайло Сизому. Прошу немедленно дослать Чёрта, необходим для спокойствия души и как явное доказательство дуализма».

И — подпись.

Ответ пришел почтой, был он многословен, но не-

вразумителен, и единственно серьезное, что усвоил Яков Петрович в хаосе слов, было зятево указание на то, что его высокопревосходительство начальник губернии не дает Чёрту заграничного паспорта, на том якобы основании, что железные дороги не имеют специальных помещений для перевозки чертей.

— Да,— воскликнул Яков Петрович, искренно огорченный,— либералы правы: мы действительно некультурная страна!

И, отличаясь энергией, немедля послал огорченное прошение на имя губернатора П. Ф. Унтербергера.

«Ваше Высокопревосходительство!

Глубокоуважаемый Павел Федорович, извещен я, что Вы воспрещаете Чёрту, принадлежащему мне, отъехать в Саксонию, против чего всемерно протестую. Означенный Чёрт совершенно необходим для утверждения истины. Буде основными Законами Империи или распоряжением Таможенного Ведомства вывоз чертей из России воспрещается, я умоляю Вас удовлетворить просьбу мою не в пример прочим и послать мне Чёрта дипломатическим багажом. Оцените всесторонне тот неизмеримо значительный факт, что лишь наше Государство и наша Церковь способна превращать чертей в покорных слуг и верноподданных Его Величества, а также в членов Святой Кафолической церкви. Лично же я, не имеющий потомства, кроме дочери, замужней и бездетной, прошу о разрешении усыновить Чёрта, что облегчит мне задачу его воспитания в истинно русском духе. В. П.! Вообразите, как сокрушителен будет удар по атеистам, когда они воочию убедятся, что черти не токмо существуют, но один из них — верноподданный Государя нашего и во всем, кроме внешности, подобен человеку. Рога можно удалить путем применения хирургии, шерсть же я обязуюсь собственноручно сбривать по мере ее отрастания и даже ежедневно, если Вы, В. П., того пожелаете».

И — подпись.

Но — увы! Начальник губернии Павел Федорович Унтербергер был по происхождению — немец, по образованию — инженер, по чину — казацкий генерал, а по природе — человек неумный и, долгое время служа

в Приморском крае, быта исконно русского не мог понять. Губернатором же он был по недоразумению, а также по отсутствию у высшей власти достойной оценки русских талантливых людей и вследствие печального предрассудка, что талантливый русский — обязательно пьяница, хотя о пьянстве Сусанина или Козьмы Минина история умалчивает. Одним словом — губернатор Якову Петровичу не ответил ни лично от себя, ни официально *.

Подождав некоторое время, Яков Петрович послал срочную депешу Константину Петровичу Победоносцеву, сему рыцарю церкви без страха и упрека и обер-прокурору Святейшего синода:

«В Воргороде живет Чёрт, готовый принять православие. Прошу выслать его дипломатическим багажом Саксонию санаториум Баумгартена игумену Почт и Телеграфов для окончательного наставления в правилах веры. Издержки принимаю на свой счет».

И — подпись.

Но и Константин Петрович не ответил на вопль души почтмейстера, очевидно, уже залеченного действительно до безумия, до чего и прежде неоднократно немецкая наука доводила русские умы.

И тогда душа почтмейстера Павлова огорченно покинула его заслуженное, орденами украшенное тело, возвратясь туда, куда все мы со временем отыдем, где найдем успокоение тревог наших и где «несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная» ожидает нас в воздаяние за дни и труды наши. Аминь.

Иннокентий Параклитов диакон, член Живой церкви.

---

* Офис — слово древнегреческое и по-русски обозначает — змий, но не тот, который пресмыкается, а Демиург, сиречь — Сатана, побудивший праматерь Еву на известный поступок против закона божия.

СОН

⟨I⟩

Зое было двенадцать лет, когда ее мать сошлась с музыкантом.

Это случилось неожиданно, как болезнь: вечером из города скатился в слободу плотный человечек, прошел в сад и крепко сел там под липою, за стол. На столе сиял ярко вычищенный Зоей самовар, перед ним сидела мать, парадно одетая в сиреневое платье с широкими рукавами, и безжалостные руки ее особенно неприятно плавали над столом, разливая чай, подвигая гостю тарелки с едою.

В этот вечер мать стала непохожа на себя, вдруг похудела, подобрала пышные тяжелые груди; важно надув мармеладные губы, говорила мало, осторожно; она казалась чем-то обиженной, но не вздыхала, как всегда, длительно и тоскливо, а в карих глазах ее явилось что-то тревожное.

Человечек же непрерывно говорил масленым голосом, непонятными словами; его маленькие, круглые и темные, как вишни, глазки улыбались, и вокруг их некрасиво дрожали рыжеватые щетинки ресниц. Сытые щеки лоснились, между ними торчал тупой, деревянный нос, под носом топырились рыжие усы. Человечек был неприятно смешной, да и одет нехорошо: в полосатую рубаху «фантазия», в белый пиджак, на затылке — соломенная шляпа, а штаны — солдатские.

Когда он напился чаю, съел множество коржиков с маком, глаза его сделались мутными, точно у пьяного, он обильно вспотел и увел мать в лагери слушать музыку.

Убрав самовар и посуду, Зоя долго стояла под липой, глядя в поле, на станцию, там, под багровыми тучами, посвистывая, двигались толстые черви поездов, бегали,

фыркая паром и дымом, локомотивы, стояли красные вагоны, точно стадо коров. За станцией в желтовато-зеленой гриве камыша поблескивала ржавая вода степной речки, дальше— уходила под тучи неоглядная степь, и ее пустота, высасывая думы, всегда наполняла сердце Зои тихой приятной грустью. Девочка почувствовала, что с этого вечера начнется для нее жизнь новая и еще более тяжелая, чем жизнь этих двух лет после смерти отца.

Так и случилось.

Мать приплыла из лагерей усталая, лениво разделась и, сидя в одной рубахе, упираясь ладонями в колена, похожая на большую гирю, спросила:

— Понравился?

— Медный какой-то...

— Что это?

— Медный поросенок.

— Дура ты,— сказала мать и, облизнув толстые малиновые губы, добавила, дразня:

— А я вот повенчаюсь с ним.

Зоя не любила плакать, она уже много плакала и ей надоело это, но когда мать, тяжело встав на ноги, принялась месить тесто для бубликов, а ее заставила делать пряники, Зоя, работая, с великой грустью вспомнила отца, и на глазах ее явились немые обильные слезы, капая в сладкое тесто. Какой хороший, добрый и веселый был отец! И лошадь у него была хорошая, ласковая. Вот умер он,— мать взяла ее из школы, заставила работать, бьет более часто, чем била при отце. А в школе было так интересно; вторая учительница, толстенькая и мягкая, приглашала Зою и еще двух девочек к себе, в чистенькую комнату, угощала чаем с медом и рассказывала интересные истории о царях и казацких атаманах, о страданиях казаков в турецком плену, о гетмане Мазепе...

Исподлобья, искоса взглянув, как болтаются над ларем некрасивые, похожие на дыни, груди матери, Зоя сказала, вздохнув:

— Не нашла ты лучше-то этого...

— А чем он плох? Отец твой был просто извозчик, а этот — музыкант.

— Губы-то у него какие.

— Чего?

— Губы-то как оттопырены.

Мать выпрямилась, замотала головою, отирая пот со щек о плечи, и, шумно, угрожающе вздохнув, крикнула:

— Про губы тебе рано думать, стерва!

Зная, что после такого вздоха мать начнет колотить ее, Зоя отодвинулась к окну, чтоб вовремя выпрыгнуть в сад, но, против обычая, мать не бросилась на нее, а, стирая мукою тесто с рук, сердито объяснила:

— Он играет на всяких трубах, оттого и губы такие.

Через несколько дней музыкант привез на извозчике зеленый сундук, мешок из ковра, две затейливо изогнутых трубы и крепко, точно гвоздь в доску, забился в комнату матери. Мать тотчас вся обмякла, разленилась, ее глаза заволокло влагой, она начала мычать, как пьяная, зазорно наваливалась плечом и боком на крепкое, плотное тело музыканта, а он, взвизгивая, щекотал ее под мышками. Теперь почти вся работа легла на Зою, она с утра до вечера ставила подбойки, месила тесто, делала бублики, пряники, мать же только пекла. Рано утром она неохотно отправлялась на базар, толкая пред собою двухколесную тележку с товаром, а музыкант, полуголый, долго и бесстыдно ходил по пекарне, всюду неряшливо плескал водою, аккуратно одевался, тщательно приглаживал рыжие вихры и всё время неприятно шутил с Зоей.

Потом, чистенький и гладкий, напившись чаю, он шел в лагерь учить солдат музыке, а после обеда, выспавшись, сам дул в трубы свои, смешно и сердито выкатывая глаза, но трубы его только ухали неприлично, играть же на них Медный не умел. Иногда он, гуляя в саду, округлял красные щеки и бухал негромко:

— Пум-бум-эс-тра-та; пум-бум...

Так, в непрерывной скучной работе, быстро миновал для Зои с лишком год. От ежедневных упражнений рук и плеч у нее набухли красивой формы груди и она стала казаться старше своих лет. Здоровая, крупная, она ловко носила гибкое тело свое на стройных ногах, ее пухлые детские губы соблазнительно улыбались, открывая эмалевую полоску мелких зубов. Ей трудно было

возиться с тестом: тонкая, почти невидимая мучная пыль набивалась в глаза, нос, уши, волосы, оклеивала кожу плотной корою, противными, липкими шариками скатывалась в пахах, под мышками, раздражая почти до слез. А для того чтоб часто мыться, нужно было бегать за водою вниз, к роднику, на что не хватало времени. Но ей нравилось видеть себя главной рабочей силой и почти хозяйкой дома, хотя она чувствовала себя всё более чужой в нем.

Мать люто и ревниво любила Медного музыканта, она как бы ослепла и озверела от любви, а Медный стал зорко присматриваться к Зое, и когда она видела, как шевелятся щетинки его ресниц, ей казалось, что они колко щекочат лицо ее, шею, грудь.

Вечерами, по праздникам, наиболее смелые слободские парни, схватив Зою где-нибудь в укромном уголке, насильно целовали, щупали ее, вызывая в теле девочки тревожное томление. От этих поцелуев и грубых прикосновений она испытывала стыдно раздражающую жаркую дрожь, у нее кружилась голова, а иногда это так мучило ее, что она со страхом ждала — вот-вот что-то взорвется внутри ее и обожгет болью. Пугая ее, это ожидание наполняло девочку томительной печалью.

Однажды утром, когда мать ушла на базар, музыкант, полуодетый, схватил Зою и, поглаживая груди ее тяжелой рукой, стал просить, чтоб девочка поцеловала его. Всегда неприятный, в эту минуту он стал особенно противен, даже страшен, Зоя ударила его коленом в живот и кулаком в подбородок. Ляскнув зубами, Медный отскочил, зажмурился и, помолчав, сказал тихо:

— Так.

Оделся, ушел, унося под мышкой трубу, похожую на измятый самовар а через день мать нашла в тесте с десяток мелких гвоздей. Освирепев, она дала Зое пощечину, девочка свалилась с ног и, задыхаясь от обиды, крикнула:

— Что ты бьешь меня? Это Медный подложил гвозди за то, что я его не целую.

Тогда мать, ослепленно мигая, быстро забормотала:

— Что это, господи, что это?

И, взвизгнув собакой, навалилась на Зою, схватила ее за косу, хрипя:

— Х-хак?..

Никогда еще она, щедрая на побои, не била дочь так безжалостно; Зоя до того испугалась, что даже не могла кричать, катаясь по полу, защищая лицо от пинков. Сквозь шум возни она услыхала голос Медного:

— Та-ак, не заигрывай с вотчимом!

Он стоял без рубахи, в синих полосатых кальсонах и смотрел в ручное зеркало, трогая пальцем усы. Девочка отчаянно крикнула:

— Врешь, подлый!

Медный засмеялся.

Зою так избили, что она не могла работать и до вечера лежала в саду, на скамье, под липой, тупо слушая, как в доме кричит и воет мать, ухает и рычит медная труба, а на станции призывно посвистывают паровозы. Стаями гусей плыли в небе мелкие облака, заманивая в степь.

«Убежать надо»,— подумала Зоя.

Вечером, когда мать грубо позвала ее работать, а Зоя отказалась, мать, схватив ее за косу, повела в пекарню, говоря сквозь зубы со свистом:

— Дождешься, что мать родная убьет тебя.

В уме девочки гулким эхом отдалось:

«Убьет».

На ночь мать снова побила ее, а утром, заставив работать, сказала:

— Каторгу сделаю тебе, красавица, каторгу!

Для Зои началась мучительная и обидная жизнь собаки, не любимой хозяевами. С вечера Медный отворял дверь комнаты, где он спал, и девочка со стыдом, со страхом слушала, как мать стонет, мычит, чмокает мармеладными губами, а Медный гогочет и говорит гадости. Его грязные слова гасили разгоравшееся половое любопытство и воображение девочки, вызывая у нее тошноту. Иногда музыкант, соскочив с постели, проходил, голый, мимо ларя, на котором лежала Зоя, пил воду в сенях и, не спеша, возвращался,— в лунные ночи Зоя видела медную шерсть на его зеленоватом теле.

И снова, утром, когда она месила тесто, Медный

неожиданно подкрался, крепко обнял ее сзади, под мышки и почти ласково стал уговаривать:

— Дурочка, тебе со мной хорошо будет. Ты видела, какой я красивый? Мать сначала не догадается, а потом — привыкнет. Она — уже старая, она неприятная мне, а тебя я буду честно любить...

Оторвав ее от пола, он понес Зою к себе, но она, барахтаясь, ударила его рукою, выпачканной тестом, по лицу, залепила глаза, Медный скверно выругался, бросил ее на пол и слепо пошел в сени мыться, а Зоя, встав у открытого окна, сказала ему, что закричит, позовет соседей, если только он дотронется до нее.

— Дура дикая,— сказал он из сеней.

«Убегу»,— решительно подумала Зоя.

И в ту же ночь, когда мать и Медный заснули, она оделась в свое лучшее платье, взяла из кошелька матери пять рублей, тихонько вылезла в окно, прошла в сад, перелезла через плетень на улицу и, крадучись, точно кошка за воробьями, направилась к станции. Она спокойно могла бы выйти в дверь, пройти на улицу двориком, но ей подумалось, что бегство будет удачнее, если она вылезет через окно.

По дороге она решила взять билет второго класса, потому что, если Медный, проснувшись, погонится за нею, он уж наверное будет искать ее в третьем. Так она и сделала, взяв билет до ближайшего уездного города,— недалеко от него был знаменитый женский монастырь, чудотворная икона божией матери привлекала к нему десятки тысяч богомольцев; там, конечно, можно хорошо спрятаться от матери и Медного музыканта, там она будет работать в пекарне, а когда вырастет,— сделается монашенкой и, под черным платьем, проживет жизнь тихонько, как мышь.

II

Зоя стояла в коридоре вагона, когда локомотив, тяжко вздохнув, дернул поезд и с грохотом повлек его сквозь пар и дым по черной земле, изрезанной линиями рельс.

Кто-то сильно толкнул девочку, она едва устояла

на ногах, но легкая рука осторожно поддержала ее, и тихий голос ласково сказал:

— Извините.

Впервые слышала она это слово обращенным к ней. Крестясь, она искоса взглянула вбок; рядом стоял барин в золотых очках, с маленькой и острой полуседой бородкой. От него пахло чем-то вкусным, как миндальные пряники.

Поезд, виляя на путях, торопливо пробежал грязный вагонный двор, выкатился на свои рельсы, снова шумно вздохнул; теперь он скользил вперед более быстро и плавно, и уже не так оглушительно взвизгивали и гремели колеса.

Теплый пыльный ветер влетал в окно, заставляя Зою жмуриться, но ей не хотелось уйти от окна, было интересно смотреть, как по земле, вместе с дымом и паром, влачатся тени, а сама земля как бы тает и льется рекою.

Все шире развертывалась в лунной мгле степная ночь. В серебристо-серой равнине, среди мягких нив, вспухали хутора, зажигались и летели золотыми звездами красноватые огоньки, качались проволоки телеграфа, точно струны огромной гитары; порою земля взметывала в небо черные фонтаны тополей, а вдали, низко над землею, разноцветно сверкала большая ласковая звезда, — к ней и катился поезд.

Человек в очках спросил Зою, далеко ли она едет, потом спросил еще о чем-то и еще; он улыбался, шутливые его слова приставали к Зое, точно паутинки, беспокоя ее, но вскоре она почувствовала что-то приятно-заманчивое в ласковом голосе человека, охотно разговорилась, а когда устала стоять у окна, вошла в его купе, заваленное множеством чемоданов.

Открыв один из них, человек этот разложил по столику много свертков в промасленной бумаге, поставил серебряную фляжку, черную бутылку и предложил Зое закусить с ним. От свертков исходил острый запах, возбуждая аппетит; человек двигался мягко, он был такой кругленький, с розовыми щеками, за стеклами очков блестели, улыбаясь, добрые глаза; полуседая бородка и усики казались чужими на его пухлом лице.

В нем не было ничего, что возбуждало бы инстинктивную осторожность Зои, знакомой с тайнами половой жизни, испытавшей грубое требование мужчины. Она нашла даже, что лицо у него смешное, бабье. И что-то робкое было в этом ласковом человеке,— он часто и осторожно поглядывал на неприкрытую дверь купе и всё прислушивался. Он предложил Зое кусок масленно-розовой рыбы; такую рыбу она видела на окнах магазинов, но никогда не ела; вкусно-соленое мясо странно, сразу разожгло ее аппетит; конфузясь, она попросила еще.

И — улыбнулась: приятно было видеть радость, с которой этот человек засуетился, угощая ее. Ловко, пухлыми пальцами маленьких рук, он раскладывал по столу и крышке чемодана куски ветчины, цыпленка, ломтики сыра, налил из черной бутылки в серебряный стаканчик и предложил Зое выпить, сказав, что это легкое, вкусное вино.

Зоя отказалась, но он неотразимо убедил ее:

— Я — доктор,— сказал он.— Я знаю, что вредно и что полезно.

Вино было густое, как масло, и жгуче сладкое, вкуснее вишневой наливки, которой мать угощала Зою на Пасхе. Доктор не ел, он только выпил три стопки чего-то из серебряной фляжки и стал еще более ласков. Тихим голосом, улыбаясь темными глазами, он пожаловался, что не может спать в поезде и очень рад посидеть, поговорить.

Потом он предложил ей еще вина, и, когда девочка, закрыв глаза, медленно высосала вкусную влагу, ей показалось, что тело ее пронизали горячие, светлые лучи, и оно так славно закачалось на мягком диване, как будто потеряло свой вес. Испытывая неведомое ей блаженство легкой, не отягощающей сытости, она тихонько засмеялась, доктор тоже ответил ей тихим смехом, подошел к двери, плотно прикрыл ее, щелкнув чем-то, и сказал Зое:

— Теперь вы лягте, а я посижу с вами.

Девочка вытянула ноги на диване, чувствуя, что воздушность, легкость тела ее всё растет. Сладко кружилась голова, одолевала дремота, а поезд неустанно

катился всё дальше в ночь, к большой звезде, и когда паровоз споткнулся на станции, встряхнул вагон, Зое показалось, что она продолжает плыть по воздуху.

Сквозь дрему она ощущала легкие прикосновения рук доктора к ее грудям, но это не мешало ей дремать, не возбуждало знакомых чувств страха и стыда, ей даже казалось, что и груди и всё ее тело сами поднимаются встречу нежным поглаживаниям рук. Отуманенное сознание, вспыхнув, напомнило ей грубые ласки Медного, она сказала сквозь сон:

— Не трогайте... не надо...

И услышала тихий шёпот:

— Я знаю, что надо делать. Я хочу, чтоб вам было приятно.

Да, он это знал. Его легкие ласки были совершенно не похожи на безжалостные объятия Медного, на дерзкие и стыдные прикосновения слободских озорников. Вздыхая, улыбаясь под его руками, Зоя теряла различие между явью и сном, наслаждалась томительно тревожным ощущением полета, чувствуя, как в ней растет, накопляется сила, грозя взорвать ее крепкое, здоровое тело, и не боясь этого. Сухие, горячие поцелуи щекотали ее ноги, вызывая дрожь.

Вдруг ее пронизала и обожгла жгучая боль, вскрикнув, она судорожно извилась, но, крепко прижав ее грудью к дивану, доктор шептал, всхрапывая, как лошадь:

— Молчи... милая, молчи...

Ей все-таки удалось вырваться из рук доктора; заплакав от боли и обиды, ругаясь, она стала грозить, что пожалуется жандарму, но говорить ей было трудно, горло ее сжимала судорога.

А доктор, растрепанный, с измятой, скосившейся набок бородкой, смотрел на нее со страхом, глаза его были необыкновенно велики, губы тряслись, и, оправляя неверными руками свой костюм, он шептал:

— Я — не знал... я не думал... Сколько вам лет?

Зоя озлобленно сказала:

— Четырнадцатый, дурак...

Тогда он отшатнулся от нее, сел на диван и замолчал, глядя на нее. Девочка вспомнила, что вот таким

же испуганным и жалким видела она вора, пойманного на дворе соседей, вор так же дрожал и такими же полуумными глазами смотрел на людей, окружавших его. Когда вора начали бить, Зое стало жалко его и она, заплакав, убежала.

Тихонько, шёпотом, точно молясь, бессильно разводя руками, доктор бормотал: он принял ее за одну из тех девушек, которые ночами промышляют по вагонам. Он судорожно хватал ее за колени, гладил ноги, он говорил, точно жалуясь:

— Вы такая красивая, такая крупная... Господи, вы же красивая...

Из глаз девочки непрерывно текли слезы. Режущая, садкая боль, подавляя озлобление, вызывала тупую грусть. За окном плыло предрассветное зеленоватое небо, текли, кружились темно-зеленые пятна трав и хлебов, неохотно гнулись тополя.

Доктор совал в руки Зои стакан воды, замутив ее какими-то каплями, и, обливая платье девочки, уговаривал, спрашивал:

— Успокойтесь, выпейте. Кто же вы?

Зоя выпила горьковатую, сильно пахучую воду, а он опустился на колени пред нею.

Не для того, чтоб ответить ему, но чтоб напомнить себе о действительности, Зоя кратко рассказала, кто она, и — удивилась: доктор шумно вздохнул, страх исчез из его глаз, они сияли снова весело и радостно, ловкие руки снова стали крепко гладить ее тело, он говорил:

— О, тогда — всё хорошо! Милая, вы меня простите, и всё будет хорошо. Необыкновенно хорошо!

Он увезет ее далеко, в красивый город на берегу моря, там ее никогда не найдут ни мать, ни вотчим. Он достанет ей паспорт, даст денег, и она будет жить, как захочет. Доктор улыбался, под верхней губой его блестели два золотых зуба, а на груди болталась толстая золотая цепь.

От лекарства, выпитого ею, или от его ласковых речей Зоя, забывая боль и обиду, слушала радостно всхлипывающие слова и возвращалась к тому, впервые изведанному ею, что испытала она прежде, чем этот че-

ловек изнасиловал ее,— к состоянию, похожему на сон.

Она слышала, что за насилие над подростком людей судят, но — знала несколько случаев, когда слободских девушек портили безнаказанно. И знала, что, останься она дома, Медный неизбежно изнасиловал бы ее.

Мысли текли сквозь ее мозг так же быстро, как стремительно мелькали за окном поля, деревья, дорожные будки, люди и степные холмы. Мысли скользили поверх какого-то нового чувства, его возбуждал этот человек, лаская ее неслыханными словами:

— Красота моя, радость, милый подарок судьбы.

Ни слободские парни, ни Медный не могли бы сказать так хорошо. Могла ли она думать, что в жизни ее настанет чудесная ночь, таинственно и неустанно бегущая встречу солнцу, что пред нею, бедной, избитой девчонкой, будет стоять на коленях ласковый человек с жемчужной булавкой в галстухе, с неисчислимым запасом сердечных слов на языке?

Он сделал ей больно, за это она отругала его. Приятно было вспоминать, как доктор испугался, обидев ее: те, наверное, не испугались бы. Зоя вспомнила, что мать, избив ее, ее же еще заставляла просить прощения, и это было всегда обиднее побоев. А — доктор, вот он снова дает ей вкусного вина и ласково говорит:

— Тебе надо уснуть, выпей и — усни...

Конечно, лучше ехать с ним, чем в монастырь. Зоя уже чувствовала желание сделать ему что-нибудь приятное,— погладить его седоватые волосы или пухлые щеки, но инстинктивная осторожность зверюшки запрещала ей сразу и явно обнаружить перелом отношения к нему. Надув губы, мысленно следя за тем, чтоб лицо ее не изменило выражения печали и обиды, Зоя смотрела в окно. Сон сгибал ее утомленное тело, склеивал глаза, равномерные толчки вагона укачивали, баюкали. Мимо окна летела золотисто-розовая пыль, по краю степи катилось, ослепляя, солнце, точно огненное колесо, и всё звучал шёлковый шёпот, запоминались необыкновенные слова:

— Любовью живет весь мир.

Эти слова вызвали у девочки невольное движение

к доктору; покровительственно протянув руки, она застегнула пуговицу его жилета и, гладя пальцем жемчужину галстуха, сказала, утомленно закрыв глаза:

— Потом купите мне мороженого...

III

Проснувшись, она сквозь ресницы увидела, что доктор сиротливо прижался в угол дивана, точно прячась от кого-то в дыму папиросы. Было жарко, поезд стоял, за окном шумели люди, в коридоре вагона возились и топали и кто-то рычал, кашляя.

Вскочив на ноги, Зоя сонно спросила:

— Приехали?

Доктор тоже испугался, быстро усадил ее на диван и, гладя плечо, начал негромко бормотать:

— Нет, нет...

Они приедут только послезавтра рано утром, а это просто большая станция, но мороженого здесь не продают.

— Усни еще,— тихо просил он,— ляг, усни!

Движение ее тела, вызвав боль, напомнило Зое о том, что случилось ночью, она сердито сказала:

— Больно мне.

Прижимая ее в угол, доктор ласково шептал: он даст ей лекарства, и боль сейчас же пройдет, потом они будут кушать, а если в купе сядет еще пассажир и спросит, кто она, Зоя должна сказать, что она дочь няньки его детей и едет с ним к матери в город Петровск; это нужно сказать потому, что у нее нет паспорта, ее могут арестовать жандармы и отправить домой с ворами, убийцами, переводя из тюрьмы в тюрьму.

— Понимаешь? Да?

Испуганно кивнув головою, девочка тоже шёпотом спросила:

— И вас арестуют?

Не успев ответить, доктор откачнулся от нее,— вагон резко дернуло, мимо пыльного окна поплыли, расширяясь, лица людей, длинный бородатый сердито заглянул в окно, доктор быстро сказал:

— Причешись.

А когда она послушно распустила косу и темно-золотые волосы осыпали ей плечи, грудь, упали на колени, он вздохнул, говоря:

— Какая ты красавица!

Это польстило Зое и, желая сделать приятное доктору, она обещала ему:

— Погодите, еще лучше буду. Я еще девчонка.

Он засмеялся и стал целовать ее волосы, мешая заплести косу, потом начал кормить ее заботливо, как ребенка, эта заботливость очень нравилась Зое, возбуждала в ней игривую нежность котенка, девочка разрешала себе маленькие капризы, не забывая, однако, следить, как это действует на доктора, и видела, что ее капризные ужимки радуют его.

Поезд катился золотой степью, точно под гору, в небе, ярко-синем, кружились кудрявые облака. Легкими тенями являлись и быстро таяли маленькие мысли; хотелось спросить доктора — почему он говорит так тихо и так боязливо оглядывается на дверь, когда по коридору проходят пассажиры? Но он непрерывно плел ласковую паутину слов, голос его как будто гладил Зою, интересно рисуя необыкновенное.

— Вот так — город, а так — море,— говорил он и строил руками в воздухе какие-то фигуры.

Поглядывая в окно на степь, красноватую в косых лучах заката, на длинные тени от каждой былинки, девочка пыталась представить себе столько зеленой воды, как много степи, и не могла.

— Сначала ты будешь жить у одного старика,— оживленно рассказывал доктор,— он очень забавный и добрый, потом...

Он поперхнулся каким-то словом, выпил вина и, замолчав, суетливо завертелся на диване. Зое хотелось, чтоб он говорил еще, она строго напомнила ему:

— Вот вы тоже не молодой, а балуетесь...

Взмахнув бровями, он наклонился к ней, и снова посыпались его ладные слова: нет, он не старый, он только поседел раньше времени от горя. И, как взрослой, как человеку, способному понять странно запутанные сказки жизни, он стал рассказывать одну из таких ска-

зок, интересную сказку о том, как трудно жить хорошим, нежадным людям, как много неудач подстерегает их на всех путях. Тихие его слова нежно и грустно трогали сердце девочки, и ей было приятно думать, что вот человек, еще вчера чужой, говорит с нею так, как будто она ровня ему.

— Если б ты знала, как плохо живут люди, как мало они берегут друг друга!

— Я — знаю! — сказала Зоя тоном взрослой, согласно кивнув головою.

Потом он сказал очень простые слова из тех, что остаются в памяти на всю жизнь.

— Должна быть любовь без тени, без боли,— тогда жизнь пройдет, как светлый летний день.

Играя косою своей, глядя в степь, богато окрашенную красками вечерней зари, на землю, как она забегала вперед поезда и потом стремилась встречу ему, Зоя слушала человеческое, и ей казалось, что она сама без слов уже давно думала об этом: о любви без боли, о жизни светлой, как летний день. В открытое окно, вместе с теплой пылью, врывался хмельной запах степных трав, во рту как бы прилипло воспоминание о необыкновенном вкусе выпитого вина, сердце сладко щемило, и всё казалось таким же хорошим, как хороша речь доктора.

— Вот я бросился на тебя, точно пьяный, безумный,— почему? Это — голод, голод о счастье, все так голодны, и, может, в тебе скрыто счастье, которого я искал всю жизнь.

Острым сердцем женщины Зоя почувствовала гордость, она испытывала это чувство и раньше, когда ей особенно хорошо удавалось выпечь пряники, но сейчас оно вспыхнуло в силе, незнакомой ей, наполнило и согрело девочку ощущением своей значительности. Опустив голову, стирая концом косы слезинки с глаз, она глубоко вздохнула, освобождаясь от некой неприятной тяжести, и погладила колено доктора так же, как он гладил ее ноги.

Схватив ее руку, он сказал:

— Вот и руки у тебя нежные.

— Это — от теста,— объяснила Зоя.

Так, в ласковых словах, которые не оставляли Зое времени задуматься о ее завтра, питаясь незнакомо вкусной пищей, запивая ее сладким вином, от которого приятно кружилась голова, девочка снова встретила ночь, душную и темную, в синем блеске молнии, в красном трепете зарниц. И когда все в вагоне заснули, а доктор, уложив Зою на диван, стал раздевать ее, она покорно вздохнув, сказала ему строго, но почти ласково:

— Только, чтобы не больно...

Ей все-таки было и больно и стыдно, горло снова сжимала спазма отвращения, но когда этот человек, прерывисто дыша и всхлипывая, положил, точно ребенок, свою круглую голову на грудь ей,— волна нового неведомого чувства охватила Зою, побеждая тягостное ощущение физической тошноты.

Человек плакал и шептал:

— Милая, милая...

Было так странно приятно видеть человека благодарным, почти беспомощным, бессильным. Положив руку на голову ему, Зоя облегченно вздохнула, снова ее властно обняло чувство гордости, чувство дающего, и, тихонько гладя полуседые мягкие волосы, девочка сказала:

— Ну, спите, миленький...

Утром, подняв занавес окна, Зоя невольно вскрикнула:

— Ой, что это?

Мимо окна тяжело двигалось темное, угловатое, мокрое, красные пятна солнца придавали этому страшный вид,— как будто застыли огромные костры огня и облака дыма.

— Это — горы, Кавказ,— сказал полуодетый доктор, обнял ее, посадил на колени себе и стал щекотно целовать грудь, но Зоя вырвалась из его рук, сердито крикнув:

— Не трогайте!

Быстро одеваясь, она тревожно смотрела в окно, изумленная мрачной массой исковерканных камней, красноватых, черных, темно-лиловых; двигаясь мимо окна, они как будто падали бесшумно и в то же время

лезли вверх, громоздясь один на другой. Мокрые, они казались мягкими. Поезд катился всё глубже в темную щель, она суживалась, грозя раздавить его, шум колес звучал теперь особенно гулко и тревожно, казалось, что поезд чего-то испугался и, как железный червь, зарывается в каменную землю или сорвался с пути и падает в глубь земли, задыхаясь дымом и паром.

— Еще то ли увидишь,— сказал доктор, как будто угрожая и насмехаясь.

Зоя пошла в уборную умываться и там горько заплакала, тихонько завыла. Пол дергало во все стороны; стукаясь головою и плечами о стены, Зоя вся облилась, умываясь слезами и теплой рыжеватой водою с кислым запахом железа. Сквозь слезы она увидала в зеркале свое лицо, оно смотрело на нее откуда-то издалека и казалось страшно измененным: щеки измяты, в красных рубцах, под глазами синие пятна, а длинные ресницы, всегда загнутые вверх, теперь уныло измяты, опустились. Даже мать хвасталась пред соседями красотою глаз ее и ресниц, а старуха-гадалка памятно сказала Зое:

— В глазах — счастье твое!

Зоя торопливо начала расправлять ресницы пальцами, и это несколько успокоило ее, хотя, проходя коридором в купе, она видела, что изломанная, изорванная земля подвинулась почти вплоть к вагону, висит над ним, и острые углы камней так высупились, как будто хотят выбить стекла в окнах.

Старичок-проводник, чистенький и ловкий, принес чайник кипятку, доктор, покачиваясь на ногах, заваривал чай, раскладывал бесчисленные свои пакетики, и всё было, как вчера, но — сумрачно, жутко и наполняло грудь томительной тревогой.

И вдруг стекло окна ослепительно вспыхнуло, земля точно разорвалась, выбросив поезд в широкую долину, где среди шелков и бархатов ярчайшей зелени, точно кирпичики, прятались под тополями маленькие домики без крыш, а около них, синевато сверкая, быстро бежит по камням широкий ручей.

— Ах, господи,— тихонько крикнула Зоя, закрыв глаза, не веря, и снова раздались странные слова доктора:

— Я говорю — то ли еще будет!

Зоя схватила ладонями щеки его и поцеловала в губы.

Гора, изрезанная темными трещинами, быстро уплывала влево, уступая место ярко-голубому небу, солнцу, пышной зелени долины, капризному течению серебряной воды, но вскоре к поезду снова придвинулись камни, полезли вверх, и всё светлое, яркое исчезло, как сон.

Так, то с воем углубляясь в темные, глухие трещины земли, то выскакивая в долины, красиво покрытые синим небом, поезд стремительно катился весь день.

Степной городок, где родилась и жила девочка, лежал, как маленький кусочек хлеба на огромном блюде, и, бегая по степи, Зоя в минуты скуки и усталости чувствовала себя мухой на стекле окна — пред бесконечной и непроницаемой пустотой. А теперь она видела иную землю, и на всю жизнь в памяти Зои остались волнующие страхом и радостью неожиданные смены жутких провалов в темноту — солнечными размахами земли, красивой, яркой, богатой деревьями, всегда новой.

— Смотрите, смотрите,— кричала она доктору.

Он курил, смотрел на нее синими глазами и что-то рассказывал ей, но она не слушала его, увлеченная ожиданием новых картин, жадно глядя в окно, и сознание ее, почти не отмечая остановок на станциях, сладко утомлялось непрерывностью движения. И когда поезд зарывался в сумрак узких каменных щелей, где железный грохот звучал глуше и грознее, она, зная, что это ненадолго, уверенно ждала простора и солнца.

Странно быстро наступила ночь, но и во тьме ее девочка всё еще видела потоки света, а потом ей приснился огромный человек в широкой серой одежде, он смеялся, его длинная борода тряслась.

— Эта? — спрашивал он, фыркая, как лошадь. Взял Зою на руки, точно куклу, и поставил ее куда-то высоко, откуда она сонными глазами увидала внизу, в бесцветном сумраке, небо, очень темное и далеко — чуть тронутое первыми лучами зари. Затем, как бы оступясь, она трясно покатилась куда-то.

Разбудил ее знакомый звук,— где-то близко точили ножи.

Она лежала на низеньком и очень широком диване, у стены, завешенной красиво пестрым ковром; по краям ковра скакали зеленые и желтые олени, а средина его густо заткана множеством невиданных красных цветов. Зоя погладила зеленого оленя рукою,— ковер был приятен на ощупь, как бархат. Стены маленькой комнатки сплошь покрыты коврами, и даже квадратное окно высоко над полом занавешено шёлковым ярко-синим платком. С потолка спускался фонарь, сделанный из медных кружев, под ним, на полу, три подушки, а среди них игрушечно маленький столик, черный и весь покрытый жемчужными бляшками.

Необыкновенно красиво было в этой кукольной комнате, наполовину занятой диваном, но Зою смутили две кривые сабли, скрещенные на узенькой двери,— за этой дверью жужжал точильный станок и что-то рычало. Несколько минут девочка лежала неподвижно, присматриваясь к вещам, ожидая, что дверь откроется и придет ласковый доктор, потом осторожно поднялась, тихонько подошла к двери, приотворила ее, заглянула в узенькую щель.

Сердце ее пугливо вздрогнуло: за дверью, пред открытым окном, стоял у станка, вращая колесо его босою ногой в туфле, тот бородатый старик, которого она видела во сне,— огромный, в длинном сером халате, в белой шапочке на голове; рядом с ним, на столе, лежала груда небольших камней; вот он перестал качать ногою, поднес к длинной бороде своей камень и, как будто нюхая его, заворчал, зарычал:

— М-мы р-рож-ден-ны...

Это напомнило Зое Сашку Гуся, отчаянного парня.

— Мор-рожен-ное! — орал он, возя по улицам слободы скрипучую свою тележку, орал и всегда говорил девушкам скверные слова, всегда щипал их.

На полу, у стены, стояло два невысоких ящика, в них разноцветные камни были уложены кругами, которые, заходя один в другой, создавали пестрый узорный вихрь синего, желтого и красного.

Старик закрыл ладонью рот свой и обернулся к двери; глаза его были скрыты стеклами темных очков, и как всё вокруг, очки были необыкновенны, с темными

сеточками по бокам. Зоя тихонько охнула, увидав безглазое лицо седого колдуна, а он, тяжело топая, двумя шагами подошел к двери, открыл ее и, вытянув длинную пыльную руку, сказал так оглушительно гулко, точно слова его ударялись в бубен:

— Ага, маркиза, проснулась? Умываться — там! И всё прочее — там!

Он вдруг сорвал с большого красного носа очки, выпрямился, закинул голову и, страшно сморщив лицо, закрыв глаза, басом начал петь:

— И-о-а...

Онемев от испуга, Зоя дико смотрела в его волосатый рот, полный белых зубов, а он, втянув голову в плечи, трижды чихнул:

— Хим. Хим. Хим.

И уставился на девочку с таким удивлением, как будто он чихал первый раз за всю свою жизнь.

— Бр-рр,— здорово! — сказал он, отирая пыльную бороду пестрым платком, и, цепкими пальцами взяв Зою за плечо, повернул, толкнул ее:

— Марш!

Девочка тихо и жалобно вскрикнула, увидав себя на полке, висевшей высоко в воздухе; пред глазами ее ослепительно сияла пустота; распростерлись два неба: одно синее, чистое, другое — темнее, в белых мелких стружках облаков; в глубочайшей дали их соединял тонкой чертою едва различимый шов, это было похоже на огромный мешок, в котором, сверкая, горело пойманное солнце. Ослепленная, испуганная, Зоя закрыла глаза, ожидая, что сейчас сорвется и полетит в эту бездонную синюю пропасть. Тяжелая рука трясла ее, схватив за плечо, голос дьякона спрашивал:

— В чем дело?

Схватив одной рукою балахон старика, а другою — косяк двери, она вздохнула:

— Боюсь.

— Чего? Обыкновенное море... ну — небо. Меня? Я же старик добрый... Ну, открой глаза.

Послушно, но не вдруг Зоя подняла веки, взгляд ее поймал в голубой пустоте серую птицу; взмахивая изогнутыми крыльями, она плыла вправо, и, следя

за нею, Зоя увидала там высокую темную гору, зеленые потоки садов на ней, а у подножия ее — белые пятна, они напоминали памятники кладбища.

— Это — кладбище?

Старик засмеялся бухающим смехом, говоря:

— Ну, почему же — кладбище? Это ж город!.. Город же...

Смеялся он хорошо, нестрашно, и глаза у него были нестрашные; выпуклые и неподвижные, они даже показались Зое глупыми, как у барана. Он толкнул ее в угол террасы; там, к стене около маленькой двери, прикреплен медный умывальник, похожий на каску пожарного, висело полотенце, сверкало маленькое зеркало, отражая кусок стены, с кривым гвоздем в нем. Ткнув пальцем в дверь, старик произнес простонародное название уборной, и это ободрило Зою, приблизив ее к понятному.

А когда, умывшись, она осторожно подошла к перилам террасы и, спрятав руки за спиною, взглянула вниз,— всё показалось уже не так страшно, хотя терраса действительно висела над пустотою, как полка, прикрепленная к белой стене дома, и самый дом тоже, как на полке, стоял на краю большого камня, но ниже его опускались такие же камни, рыжие, как железо, покрытое ржавчиною. Между ними серой веревкой извивалась дорога, ярко светились очень зеленые кусты и травы, паслись, прыгая, четыре козы и много серых курчавых овец, на одном камне недвижимо сидел темный и тоже как железный человек с длинной палкой в руке, в мохнатой меховой шапке на голове. Желтые незнакомые цветы золотом блестели на солнце, и всё на горе было твердо, крепко в сравнении с глубокой, мреющей пустотою там, внизу, где причудливо летали кривокрылые птицы, где камни касались моря и на них упрямо плескали волны, кудрявые, как овцы. У берега вода моря казалась густой, точно молоко, и кипела, дальше она была окрашена в цвет зеленовато-синий и вышита белыми узорами кружев, а совсем далеко, под самым солнцем, к темно-синей воде важно плыл, распустив паруса, двухмачтовый корабль, из тех, какие бывают на картинках. Басовитый рык вздымался оттуда, снизу, точ-

но поддерживая тяжелый голос старика, — старик урчал на мотив шарманки, знакомый Зое:

— М-мы р-рожден-ны...

Солоноватый, вкусный запах щекотал ноздри девочки, возбуждая аппетит, грудь дышала необычно глубоко и легко, и было почти весело смотреть, как плавится солнце в голубом огромном мешке и удивительно плавают птицы над морем.

— Кофе пить! — позвал старик.

Зоя вошла в комнату с тремя диванами по стенам, среди комнаты, на столе, кипел большой медный кофейник, а где-то в углу гудела пчела, у стола стоял маленький одноглазый тоненький человечек в длинном коричневом кафтане; он взглянул на Зою темным глазом, кивнул ей бритой досиня головою и, дернув себя темненькой ручкой за серую козлиную бородку, подмигнув, сказал смешным писклявым голосом:

— Сдырасти!

В открытые окна были видны деревья, обильно усеянные яблоками, грушами, сливами, ветви их разрисовали небо запутанным узором, и казалось, что освещенные солнцем плоды падают с небес. Зое вдруг захотелось плакать, но еще более она хотела есть. Старик, сняв свой серый халат, сидел за столом в белой рубахе с вышитой грудью и расстегнутым воротом, шея у него была точно из веревок сплетена. Положив локти на стол, он разбирал пальцами длинную свою бороду и гудел тоже, как огромная пчела:

— Н-не для житейского волненья...

Зоя с наслаждением пила вкусный кофе, ела хлеб с маслом, яйца и наблюдала, как по синей скатерти ползает золотистый жук.

— А когда придет доктор? — спросила она.

Старик удивленно поднял брови.

— Зачем тебе доктор?

Но тотчас же зарычал, как медная труба.

— Ага-а! Да, да, да! Доктор... м-да!

Наморщил нос, поднял голову и, глядя в потолок, затянул:

— И-о-а...

Чихнул, вышло:

— Иоаким!

Тогда, улыбаясь глазами, вытирая бороду, он спросил:

— Ловко?

Это развеселило Зою, и, тоже улыбаясь, она предложила:

— Чихните еще!

Старик, глядя на нее, покачал головою:

— Глазищи-то! Ну, ну... Чихать, маркиза, я умею, как никто. Был у меня брат, архимандрит, Иоаким, так я его этим чихом в дикое состояние приводил.

— А вы — кто?

— Я? Я человек, каких мало. Человек по каменной части. А зовут меня Антон Кон-стан-ти-но-вич — длинно! Короче: дедушка Антон.

Он стал рассказывать ей что-то непонятное, неинтересное, Зое показалось, что от его густого голоса ей становится жарко, ее потянуло на воздух, на террасу, откуда в комнату успокоительно вливался мягкий шум. Казалось, что где-то вдали играет военный оркестр, мягко ухают медные трубы, и на минуту девочка вспомнила рыжее, шерстяное тело Медного, его безжалостные объятия, зазорные ночные слова, вспомнились глаза матери, то равнодушные, усталые, то горящие злобой, когда мать ругала и била ее.

А здесь с нею обращаются, как с барышней, и всё вокруг похоже на то необыкновенное, о чем рассказывала учительница. Хмельной запах яблок втекал в комнату, яростно пели какие-то птицы, приятная сытость ласкала тело, ни о чем не думалось. И ничего не заставляют делать.

Старик, закурив толстую папиросу, надул в бороду дыма, приподнял ее ладонью и, глядя, как дым путается в седых волосах, бормотал:

— Зоя... Зоэ... как это?

Девочка вопросительно смотрела на него, а он, потирая лоб, вспоминал:

— Жрица богини,— какой? Богини, которой еще нет? Что-то в этом роде... да... в таком именно роде...

Слово «жрица» показалось Зое обидным, укоряющим ее за то, что она много ест, но лицо старика — хорошее,

задумчивое, и было ясно, что он говорит сам с собою, как будто не о ней.

Выкурив папиросу, он не торопясь ушел в свою комнату и тотчас густо зарычал:

— М-мы — рож-дены...

Зоя не решилась еще раз спросить его о докторе, да и не очень хотела этого.

Потом застучали камни, зашипел станок, а Зоя вышла на террасу и села там, облокотясь о перила. Было жарко, сухой треск наполнял воздух, незнакомые запахи приятно кружили голову, равномерный шумок, всплывая с моря, навевал дремоту, и так, в полусне, ни о чем не думая, точно вися в воздухе, Зоя просидела до поры, пока не пришел одноглазый человечек на тонких черных ножках; ласково кивнув синей, шлифованной головою, он сказал:

— Кушить нада, ашать...

Эта жизнь была похожа на книжку с картинками, странную книжку, страницы ее медленно переверты-вались сами собою, без участия Зоиной воли, показывая ей незнакомое, необыкновенное. Она смотрела, тихо удивляясь, ей было приятно ожидать нового удивления, и в хмельном состоянии полусна у нее не являлось желания вспоминать прошлое. Когда же это прошлое, возникая в памяти помимо воли ее, как дурной сон, падало тенью на яркую ткань дня, Зоя чувствовала, что это мешает ей слушать звон и шум жизни, подобной сказке.

Даже когда дня через три, черным вечером, явился доктор, она встретила его, как человека из глубокой дали прошлого. Он пришел потный, суетливый, виноватый; принес множество свертков, пакетов, коробок, побросал всё это на стол, на диван и, отирая лицо платком, забегал по комнате, отскакивая от стен, как мяч, жалуясь на духоту. Здесь, в просторной комнате, он оказался меньше и неприятнее того, кем был в купе вагона. Толстенький, круглый, он казался подростком рядом с огромной фигурой деда Антона, говорил он быстро, непонятно, бабьим голосом, было в нем что-то ненадежное и всё более неприятное Зое.

Забрав его пакеты, она ушла к себе в комнату, плохо освещенную маленькой лампой, и там, развязывая, разбирая белье, платья, не видя цвета их, внимательно прислушивалась к голосу деда Антона, пробивавшему тонкую дверь.

— Ты — свинья! — говорил старик.— Нет, оставь,— какие тут оправдания? От нее еще козой пахнет...

Дробно, быстро сыпались приглушенные слова доктора, но их давил тяжелый голос:

— Нет, ты это брось! Давай лучше играть. Ну, нет! Я тебя к ней не допущу...

Доктор почти взвизгнул:

— Но что ж ты будешь делать?

— Придумаю. Она мне не мешает...

Понимая, что это говорят о ней, решают ее судьбу, Зоя, спрятав лицо в легкий, как дым, кусок шёлка, беззвучно заплакала, а за дверью рычал дед:

— Юнус — вина! Садись. Двигай. Я т-те покажу!

— Посмотрим! — визгливо сказал доктор.

Зое подумалось, что они хотят драться; вскочив с дивана, она тихонько подбежала к двери и сквозь щель увидела, что оба мирно сидят за столом, наклонясь над квадратной доскою, уставленной красными и белыми фигурками; вот старик, опустив на доску широкую лапу свою, рычит:

— Я т-те покажу!

— Посмотрим.

И оба надолго замолчали, сидя неподвижно, потом старик снова угрожающе сказал те же слова и так же упрямо одним словом ответил ему доктор. Зоя осторожно отошла от двери, села на диван и, обняв колена, покачиваясь, подумала беспокойно: может быть, это они на нее играют — кому достанется? Потом погасила лампу: пусть думают, что она уже спит.

Когда комната налилась жаркой тенью, на белой стене выступил густо-черный квадрат окна, и в нем, как на бархате, засверкали две звезды: одна — большая, голубая, другая, недалеко от нее,— маленькая и острая, золотисто-желтая. Заснула она, не успев раздеться, а проснулась среди костра разноцветных

тканей, измятых ею, ослепительно белых рубашек, юбок — всё это радостно улыбнулось ей. Взяв шёлковый белый зонтик, она прошлась с ним по комнате солидной походкой курицы, фыркнула смехом и прикрыла рот рукою, прислушалась: как всегда, гудел станок, старик пилил и шлифовал свои камни, шумело море, в кухне звенел посудой Юнус. Выбрав кусок мыла в наиболее яркой обложке, она пошла умываться, а умывшись, одела новое белье, какое-то невесомое платье розоватого цвета, потом, распустив туго заплетенную косу, вышла к деду Антону:

— Здравствуйте!

Старик обернулся к ней на одной ноге и, не опуская другую на пол, осторожно снял очки, молча выкатил овечьи глаза.

— Здравствуйте,— тише повторила Зоя, смутясь.

Тогда он, вцепившись пальцами в бороду, тоже тихо забормотал:

— Здравствуйте... да-с! Чёрт?

И вдруг, схватив ее за плечи, встряхнул, заорал:

— Так ведь это же замечательно! Ах, чёрт, а? Юнус!

А когда в двери встал одноглазый, старик крикнул ему:

— Гляди, а?

Качая головою, Юнус ответил:

— Русска девишка — ыхх! Один такой родилса,— висэм делаит сытыдно!

Чувствуя, что ей любуются, счастливая, смущенная, Зоя сказала:

— Там еще зонтик есть...

— Чепуха — зонтик! — кричал старик и тащил ее в столовую.

Завтракая, Зоя осмелела еще более и неожиданно сказала ему:

— Вы меня не отдавайте доктору; я не хочу.

— Доктору? — переспросил старик, подняв брови.— Ага, да! Разумеется! К чёрту! Я — знаю. Он — дурак, а не доктор. То есть он не дурак, ну и не доктор, он — церковь строит, архитектор. Несчастие это, конечно... ошибка! Ведь вон ты какая! Глазищи! И всё,

вообще... Так что — понятно. А ты еще дурочка. Девочка, значит — дурочка...

Он ворчал, улыбаясь, двигая локтями, дергая бороду, очень смешной и всё более милый. Из его слов Зоя поняла, что ее чем-то обманули, сердце уколола тревога, но дед Антон, окутанный дымом, ласково рычал:

— Ничего, душа! Всё устроится... Всё будет хорошо. Всё! Гуляй.

Садом, между яблонь и груш, среди ветвей, согнутых к земле обилием плодов, Зоя вышла на горячую каменную тропу; по тугому шёлку раскрытого зонтика стучали ветки, шуршало платье приятно и мягко, кусты жирного молочая, блестя золотом цветов, касались подола, угловатые тени камней лежали на тропе, и высоко над горою недвижимо повисла в воздухе какая-то большая птица, должно быть коршун.

Взглянув назад, девочка увидала внизу плоскую крышу дома, забросанную яркими пятнами ковров, а еще ниже — море; оно размахнулось сегодня как будто шире, ослепительно сверкая зеленоватым серебром волн.

Испещренное острыми зазубринами волн, море, казалось, быстро течет всей массой в жаркую даль, где оно отчеркнуто неясной, почти неразличимой глазом чертою, и там, точно упираясь в что-то тоже невидимое, поднимается, изогнувшись, и уже спокойное, синеватое, возвращается назад к земле, превращаясь в небо над нею и под Зоей. В огромной чаше моря большие парусные суда уменьшались до размеров игрушечных, чайки казались не больше ласточек, лодки рыбаков и люди в них тоже сокращались до объема детских игрушек, и эта игрушечная мелкота, ласково трогая сердце Зои, вызывала у нее доброе чувство, смутное желание сделать что-то очень хорошее, внести в эту красоту земли, моря и неба нечто от себя. Ей хотелось петь и хотелось плакать легкими слезами от какой-то неизведанной грусти, странно похожей на радость.

Она мало слышала сказок и плохо помнила их, но теперь в памяти ее ожила история девочки, которая

заплуталась в лесу и попала к добрым разбойникам, полюбившим ее, как сестру. Потом она вспомнила, как этот доктор стоял на коленях пред нею, как удивительно сияли его глаза, вспомнились тихие, хорошие слова о любви без боли. Захотелось еще раз увидеть его, сказать: «Спасибо». И затем, ласково: «Прощайте».

Она собрала большой букет желтых цветов и бросила его в кусты,— ей показалось, что их запах тяжел, а желтый цвет вызвал у нее жажду. Зоя стала спускаться к дому,— из кустов, испугав ее, поднялся Юнус; улыбаясь, показывая черненькие зубы, он исковерканными словами что-то говорил ей, говорил долго, пока она не поняла: маленький одноглазый старичок хочет, чтоб она шла с ним в город, на базар. Зоя крикнула вниз в окно, видя в нем серую фигуру деда Антона:

— Можно в город сходить?

— Почему — нельзя? — тоже спросил он.— Там — жара, пыль, вонь...

Юнус запрыгал по камням узкой ступенчатой тропы, скрытой среди кустов; оглядываясь на Зою, он подмигивал ей и что-то бормотал, а когда вышли на дорогу, покрытую рыжей пылью, сорвал с бритого черепа мохнатую баранью шапку, взмахнул ей и смешно завыл, заныл неслыханные слова:

— Арнаутэ — га-а... э-эй...

Море зеленело, поднималось вверх, волны отбрасывали ослепительные пучки солнечного света, шум его становился всё более гулким, был слышен знакомый звук,— так плещет в корыте мокрое белье. Встряхивая длинными ушами, Зою обогнали шесть маленьких осликов, нагруженных корзинами древесного угля, по пяти на каждом, ослики бежали очень легко, барабаня копытами по звонкой под пылью дороге, длинные, черненькие палочки угля были уложены аккуратно, и во всем этом тоже было что-то ненастоящее, игрушечное. Но за животными шагал длинный чумазый человек с палкой в руке, босый, с голыми по колено, волосатыми ногами, черная баранья шкура висела у него за спиною, на затылок завалилась такая же мохнатая шапка, как у Юнуса, а на лице его, испачканном угольной пылью, сверкали коричневые глаза. Зоя отшатну-

лась,— эти глаза, большие, как сливы, показались ей злыми и страшными. Юнус крикнул ему что-то, угольщик глухо ответил и, взглядом оттолкнув Зою, прошел.

— Я — боюсь,— сказала она.

Старик засмеялся, взял ее за руку и снова крикнул что-то угольщику, тот не ответил, размахивая палкой над крупами ослов.

— Нет надо бояласа,— успокоительно и понятно сказал Юнус, но когда встречу им по дороге поскакал верхом па рыжем коне человек в длиннополом белом казакине, белой высокой шапке, поскакал, сверкая серебром позументов, пояса и оружия, старик отскочил и замотал головой, толкая Зою за спину себе, точно хотел втиснуть ее в камень, а проводив всадника, тихонько провыл, с явным страхом:

— У-у-у!..

Изумленная и тоже несколько испуганная, Зоя спросила:

— Кто это, кто?

— Арымьянын,— сказал Юнус; толкая ее вперед одной рукой, он другою тыкал в воздух, в море и забормотал:

— Очэн богаты, очэн сердита, рыбам ловит, тут ловит, там ловит, Баку ловит, Астрэкон — везде.

Зоя не поверила ему: человек, так богато одетый, не может быть рыбаком, она знала — рыбаки бедные люди.

Спустились в каменный город, он был чем-то не похож на тот, в котором жила Зоя, и на все, какие она видела из окна вагона; в нем было действительно жарко, пыльно и шумно, какой-то особенный каменный гул наполнял его. Стадо пыльных овец тесно забило улицу, среди них возвышалась на двух огромных, выше Зои, колесах неуклюжая телега, нагруженная мешками, на мешках сидел гологрудый, шерстяной, как овца, черный человек и кричал, видимо ругался с пастухом; он, петляя среди овец, бил их длинной палкой.

Юнус свернул в узенькую улицу, в ней крикливо суетились нерусские люди, было много чумазых, гологоловых детей, два человека шагах в двадцати друг

против друга сидели среди улицы на корточках, спуская баранов, и когда бараны с разбега стукались головами, а один из них приседал на задние ноги, все люди дружно и грозно ухали...

Юнус остановился и, щелкнув языком, тоже стал ухать, когда бараны сшибались лбами.

— Что они делают?

— Дэруса,— айда, пожалуста!

Узким переулком, похожим на щель, прорезанную в каменных стенах домов, спустились на жаркую улицу, залитую солнцем, раскрашенную всеми красками, какие есть на свете; в окнах магазинов сверкали пестрые ковры, яркие куски разноцветных материй, блестел и таял шёлк, везде лежали груды алых помидоров, лиловых баклажанов, золотисто-желтые связки лука, зеленые шары арбузов и множество дынь, в чанах с водою плавала и брызгалась рыба; черноволосые, бородатые люди сидели на горячем камне, поджав ноги калачиком, и всё живое и неживое кричало, сверкало, ослепляя, оглушая. Зоя, задыхаясь, шагала, как во сне, ее толкали, в лицо ей заглядывали масленые глаза, какие-то люди щелкали языками, кто-то сказал по-русски:

— Ого, какая!

Ей не хотелось спрашивать, только бы смотреть на всё это.

Потом весь шум улицы сразу притих, точно прижался к земле, ушел в щели среди камней мостовой. Зоя увидала себя в полутемной комнате, в углу ее среди груды подушек сидел, как турок, важный, большой старик в зеленом шёлковом халате, у него седая борода во всю ширину груди, большие синие глаза пристально и ласково смотрели на нее, он молча курил, держа в руке с ногтями, окрашенными желтой краской, длинный красный чубук, ⟨который⟩ змеею извивался на коленях у него; на низеньком столике пред ним в графине синего стекла что-то кипело, булькало; когда он затягивался, усы и борода его дымились серым дымом. Тяжелый, сладкий запах наполнял необъяснимо прохладный воздух комнаты, обитой коврами; благообразный старик качнул головою в голубой

вышитой золотом гладкой шапочке, указал на нее концом чубука. Юнус низко кланялся ему, прижимая руки к животу, и что-то говорил тихонько, очень быстро; затем старик сказал несколько непонятных слов — голос у него был мягкий и такой же важный, как сам он. Вошел маленький голоногий мальчик в белой рубахе, красных туфельках, красной тюбетейке на бритой голове; он принес на серебряном подносе кукольные чашки, поставил поднос на столик пред зеленым стариком. Юнус толкнул Зою к подушкам, она опустилась на них, а старик, протянув к ней руку, погладил душистой мягкой ладонью голову и щеку ее, вздыхая, говоря тихонько:

— Карасыва...

В игрушечных чашечках было налито что-то очень вкусное и острое, от чего во рту являлся приятный холодок, как от мятных пряников. Юнус тоже присел на корточки и всё говорил, дергая одноглазой головою. Войдя бесшумно, как по воздуху, явился еще мальчик, побольше, одетый в голубое, тоже с подносом в руках, на подносе — поджаристые кусочки сладкого теста, они были почти круглые, как орехи, и рассыпались во рту сладкой пылью; было там еще что-то вязкое, как тесто, напудренное сахаром, и орехи, облитые, точно стеклом, чем-то горьковатым и хрустящим, как жженый сахар, и зеленоватые ядра фисташек в густом душистом сиропе прозрачно-золотистого цвета.

— Карасыва,— еще раз сказал старик, закрыв глаза, качая головою. Он напомнил Зое одного из царей с картины «Поклонение волхвов»; от него исходил знакомый ей приятный запах шафрана, кардамона, на пальцах левой его руки сверкали два красных камня, на пальце правой — зеленый, большой и круглый, как орех, а когда старик двигался — шёлк халата его шелестел, как степная трава под ветром.

Что-то звякнуло за спиною Зои, она огляпулась; в яркой, голубой пустоте двери появилась, как огромный цветок махрового мака, маленькая, толстая женщина, пышно одетая в цветные шелка, на лбу ее, над бровями, висели золотые кружочки, на груди — множество монет и бус; Зоя вскочила на ноги.

— Сыды,— сказал Юнус, схватив ее за руку, притягивая вниз.

Улыбаясь, старик протянул ей руку, она склонилась над нею, трогая пальцем горячо сверкающие камни,— старик засмеялся и, тяжело поднявшись на ноги, строго сказал что-то Юнусу. Юнус, тоже вскочив, часто закивал головою.

Потом Зоя стояла во дворе, глядя, как люди, похожие на татар, грузят на двухколесную арбу тонкие доски и какие-то очень тяжелые ящики; в арбу была запряжена большая серая лошадь, она смотрела на Зою добрым, веселым глазом и фыркала. Юнус помог Зое влезть на арбу, и она, возвышаясь над людьми, поехала по узкой, тесной улице, в шуме и пыльной духоте, как сквозь сон, сквозь ослепительно сверкающие краски сказочной жизни.

Этой жизнью она жила долго, не различая дней, свободная, как лодка в море, как лодка, чей белый парус, подобно крылу утонувшей птицы, качался и мелькал в зеленоватой поющей пустыне моря. Каждый день приятно утомлял глаза и душу, сладко кружил голову, ночь награждала крепким, без сновидений, сном, каждое утро дарило что-то новое, неведомое. Всегда новым являлось море. Когда оно было спокойно, Зоя чувствовала в нем что-то серьезное, понятное ей, ласково думающее, и в эти дни всё на поверхности и на берегу моря казалось ей особенно милым, игрушечным. То густое, как масло, и густо-зеленое, точно в нем отражались невидимые глазу луга небес, то покрытое кудрявыми стружками волн, сверкающее голубою парчой и бархатом,— море особенно великолепно было вечерами, когда, вслед огромному очень красному солнцу, в густоте темных вод чудесно зажигались яркие огни и, точно стая багровых рыб, сверкали, уплывая за солнцем. Утопая в безбрежности, солнце оставляло в ослепленных глазах Зои странные черные круги, они катались и прыгали в воздухе до поры, пока солнце не исчезало в море.

Иногда там, куда уходило оно, возникало бурое

облако, всё небо становилось мутным, дул ветер и приносил тонкую, всюду проникавшую песчаную пыль, окрашивая море в невыразимый словами цвет.

— Это дышит пустыня,— говорил Антон, приказав Юнусу закрыть все двери и окна.

И говорил Зое о великой песчаной пустыне, о людях-зверях, которые бывают только на картинках. Он показывал девочке эти картинки в толстых книгах, написанных чужими буквами, а она, слушая, смотрела, сквозь мутные от пыли стекла окна, как по равнине моря летит красноватая пыль, кружатся вихри волн, размахивают крыльями воющие великаны. Не всё, что говорил старик, было понятно, но всё было благожелательно и наполняло Зою чувством спокойного доверия к нему, к морю, Юнусу, к черному небу звездных ночей, ко всему миру.

Никто не кричал на нее, не ругал, не заставлял месить тесто, таскать тяжелые ведра воды.

Несколько раз,— всегда вечерами,— являл<ся> доктор; потный, суетливый, он бегал по комнате, как будто искал, куда бы спрятать свое кругленькое тело,— Зое казалось, что за доктором кто-то гонится, ищет его. На нее он смотрел сквозь очки странно: не то — с обидою, не то — с испугом, это очень смущало ее. Антон говорил Зое строго и кратко:

— Иди к себе.

А когда она уходила, они начинали сначала шептаться, а потом кричать:

— Э, всё равно уж,— кричал доктор.

— Врешь,— возражал старик. Конечно, это он бил кулаком по столу так, что подскакивала посуда. Однажды он крикнул:

— Человек — не игрушка тебе, болван!

Зоя понимала, что они спорят о ней, о ее судьбе, ей было приятно, что старик обругал доктора, она подумала: «Конечно — болван!», хотя и чувствовала, что слово это не идет к чистенькому человеку, к его гладкой коже, холеному лицу, ласковым глазам и словам. Эти споры внушили Зое уверенность, что старик не отдаст ее доктору.

Однажды она, желая сделать ему приятное и

удивить его своим искусством, напекла им пряников с орехами, с маком, изюмом. Юнус очень хвалил печенье, разгрызая его черненькими зубами, похвалил и Антон:

— Ловко, Зойка, сойка, кукушка, птица без гнезда. Вкусно. Но — это бабство, баловство. Тебе надо учиться. Учиться. Вот подожди, приедет моя сестра...

Не договорив, он ушел к своим камням, пилил их, шлифовал и, укладывая в деревянные рамы, создавал из них цветные узоры, запутанные круги, пестрые звезды: синие, красные, желтые, белые. И рычал:

— Мы р-рождены для вдохновенья...

— Это, видишь ли, для церкви, да! Это называется — мозаика...

Как все его слова, незнакомое слово прозвучало ласково, Зоя повторила его, несколько исправив:

— Мой заинька.

— Как? — спросил старик.— Как?

— Мой зайка,— сконфузясь, сказала Зоя.

Он оглушительно захохотал на *о*, взбросив голову, глядя в потолок; круто выпятился его кадык, трепалась борода; хватаясь за бока, он изгибался в судорогах смеха, но Зоя, уже не конфузясь, дергала его за халат и спрашивала, нарочно выбирая похожие слова:

— Мой зайка?

— С ума свела,— крикнул Антон и повалился на диван.

Через несколько дней, утром, когда она, идя умываться, увидала, что он, в судорогах, ползает по полу террасы и рычит, ей со сна показалось, что он снова смеется над чем-то, но, привстав на колени, хватаясь руками за стену, он изверг изо рта густую струю рвоты и дважды грозно рыгнул:

— Прочь... Прочь...

В ту же минуту Зою схватил сзади за плечи Юнус и зашептал с присвистом:

— Аттайды, халера...

Зоя знала, что такое холера,— от этой болезни умер приятель отца, тоже извозчик; она видела, как он в судорогах катался по камням площади перед вокзалом, вставал на ноги, шел куда-то и снова падал, люди пугливо разбегались от него, даже собака лаяла

издали, а отец, нахлестав лошадь свою, быстро поехал домой и дорогой, оглядываясь назад, бормотал:

— Ах, господи,— умрет он, умрет...

Вспомнив это, Зоя бросилась в свою комнату, прыгнула на постель и сжалась в комок, подобрав под себя ноги, одеревенев от страха. Не успев притворить за собою дверь, не смея закрыть глаза, она смотрела в большую комнату,— тыкаясь то подбородком, то лбом в белые кафли пола, там рычал и ползал Антон. Изорвав на себе рубаху, полуголый, грязный, мокрый, он распространял нестерпимо тяжелый запах, невидимая сила толкала его, таскала по полу, выламывая ему руки и ноги, он выл кипучим, хриплым криком:

— Ию-у... Ю-у...

И бился головою о ножки стола, царапал пол ногтями и кровью разбитого лица мазал кафли.

В ужасе, задыхаясь от запаха, чувствуя, что ее тошнит и вот сейчас начнет ломать эта болезнь, Зоя тоже начала кричать:

— Юнус, Юнус...

Почти непрерывно бил гром, гудела гора. В открытое окно хлестал дождь; когда вспыхивала молния, капли его сверкали синевато, зловеще и шлепались на пол особенно звучно. Это страшное однообразно длилось почти до вечера, а к вечеру старик неестественно скорчился и лег среди комнаты лицом в пол, точно целуя его.

Поняв, что болезнь изломала, задушила его, Зоя собрала все свои силы, сползла с постели и осторожно, приподняв юбку, шагая по грязному, скользкому полу, прикрыв глаза, отворачиваясь, чтоб не видеть труп, вышла в сад, где ветер стряхивал с деревьев тяжелые прохладные капли дождя. Темно-синие тучи ползли с моря, громоздясь на гору; заходило солнце, вода, черная у берега, вдали была окрашена в неестественный малиновый цвет. Близко к берегу, точно муха по стеклу, скользил пароход, рыжеватый дымок поднимался из его трубы. Зое показалось, что она слышит запах дыма — запах жареной рыбы, и она почувствовала, что хочет есть до колик в желудке, до головокружения, хочет пить.

Откуда-то явился Юнус, не доходя до нее, помахивая

руками у своего рта, как бы выматывая что-то из себя, он шёпотом заговорил.

— Нэт так? Здоровый? Нэ хочэт так — урры-й?

— Есть хочу я, пить...

— Нылза! — тихо сказал Юнус, грозя ей пальцем. Подошел ближе, осмотрел подол ее платья, туфли и, смешно сморщив лицо, долго говорил ей что-то, всё так же шёпотом и оглядываясь; Зоя поняла, что надо немедля бежать из дома.

— А — он?

— Ему — нэт больше, кончал! Совсем умирал.

Заплакав, Зоя спросила:

— Кто же похоронит?

— Нэ знаю,— сказал Юнус и строго добавил: — Пылакыть будим завтри, теперь — идем!

Он так смотрел на темные дыры окон дома, как будто ждал, что из них выскочит кто-то страшный; он передвигал мохнатую шапку на маленькой голове своей и нетерпеливо притопывал ногами по земле.

Через час они оба с узлами на спине быстро, почти бегом, спускались в город; ярко светила луна, по серебристой полосе дороги ползли их длинные горбатые тени, стирая четкие узоры придорожных кустов; снизу, приближаясь, мелькали жемчужные огоньки города, и, взлетая всё выше в небо, как золотые птицы, сияли крылатые звезды лунной ночи. Лучи луны глубоко вспахали темные воды моря, оно сверкало медью, две лодки, похожие на рыб, тихо двигались по широкой медной тропе.

<Юнус> заставил Зою съесть две головки чеснока, а теперь на ходу, заедая острый, противный запах, она жадно грызла корку пшеничного хлеба, жевала и молча плакала от жалости к уютному дому на горе, к хорошему старику, плакала от страха, что <Юнус> ведет ее к доктору. Куда же еще? Было только два человека для нее,— одного уже нет, остался другой, а с ним она была неласкова, даже пряталась от него. Как он встретит ее? Может быть, не пустит к себе,— что же тогда будет с нею?

<Юнус> вздыхал, бормотал и, чем дальше, тем

всё более часто спотыкался, как будто запинаясь за тени кустов, иногда он смешно отскакивал от них, останавливался, поправляя узел за спиною, и шептал:

— Иды, пожалыста, иды...

Переходя из света в тень камней и деревьев, Зоя вспоминала быстрый бег поезда в горах, частые смены темных горных щелей зеленью долин, милой глазу, и это воспоминание незаметно зажгло в ней тихий огонек надежды на что-то хорошее. Ведь не бесконечны эта ночь и дорога. Годы тяжелой жизни с матерью, бегство от нее, то противное и стыдное, что сделал доктор в вагоне, и страшная смерть старика Антона — всё это казалось Зое ненастоящим, настоящая жизнь легка, приятна, она уже испытала ее, там, на горе, в маленьком доме.

Из города, уже близкого, богато расшитого огнями, доносились тягучие звуки зурны; сухие дробные удары по коже, туго натянутой на глиняные горшки, отбивали такт лезгинки. Шли мимо пригородных садов, в темной зелени их прятались духаны, за столиками среди деревьев покачивались и кричали черные армяне, веселые кинто, блестело серебро их тяжелых поясов, посвистывали и гудели шарманки, неистово ревел осел, захлебываясь своим ревом.

— Идом, идом,— торопил ‹Юнус›, быстро шагая теневою стороной узкой улицы, оглядываясь, точно за ним кто-то гнался, но это не пугало Зою, голодная, усталая, она сама хотела скорее прийти к доктору, поесть и уснуть. Она попросит доктора не трогать ее, скажет ему ласковые слова...

Юнус с разбега ткнулся в белую высокую стену без окон, сухоньким темным кулачком застучал в незаметную дверь, без скобы, без кольца, притопывая ногами, оглянулся и сказал:

— Ух!

Дверь открылась, но ее заткнул большой чернобородый человек в сером кафтане, с палкой в руке, с кинжалом у пояса. ‹Юнус› толкнул Зою на него.

— Иды, пожалыста!

Где-то далеко проплыл приглушенный звук, как будто ударили в медный таз.

Садом, под оловянной, неподвижной листвою, сквозь неощутимую сеть теплых душистых теней, Зоя подошла к четырем ступеням, они углублялись в голубоватую стену; в стене, напоминая царские врата храма, распахнулась островерхая резная дверь, толстая женщина, одетая в белое, спросила о чем-то Юнуса, он сбросил к ее ногам узел со спины своей, торопливо забормотал, замахал руками и, припрыгивая, скрылся в деревьях. Потом всё поплыло очень быстро, как это бывает во сне; женщина, взяв руку Зои влажной, горячей рукою, привела ее сквозь сумрак в маленькую комнату с круглым окном у потолка; луна смотрела в окно, на пестром каменном полу лежали масленые пятна света, у стены, в квадратном углублении, голубовато блестела вода; женщина молча, быстро раздела Зою, отбрасывая ее платье и белье в угол, Зоя, покорно качаясь под мягкими толчками ее рук, сошла по трем ступеням в теплую душистую воду,— невыразимо приятно ласкала эта вода потную кожу, и еще приятней были крепкие прикосновения ловких рук женщины, а обильная пена мыла сладко пахла цветами. Затем, вынув разнеженную Зою из бассейна, женщина взяла ее на руки, точно ребенка, отнесла в большую комнату, поставила на ковер, обернула тело ее огромной невесомой простыней и засмеялась, толкнув ее в угол, на низенькую мягкую тахту.

Зоя упала на спину, вытянулась, улыбаясь, щурясь. Большой, должно быть серебряный, фонарь висел под потолком, сквозь его красноватые стекла проникал мягкий свет; наполнив средину комнаты розоватым сумраком, он оставил углы во тьме; комната казалась круглой, и мягкими — пестрые стены ее, сплошь завешенные коврами. Низенький столик, украшенный перламутром, стоял пред тахтой, в углах тускло поблескивало что-то серебристое, кружевное, белые звездочки мелькали в глазах, и непоколебимая тишина навевала сон.

«Он — богатый»,— подумала Зоя; глаза ее смыкались, она не заметила, как снова явилась толстая женщина, поставила поднос на столик, а сама, присев на тахту, ласково и тихо говоря что-то непонятными

словами, стала вытирать волнистые волосы Зои, не мешая ей жевать мясо курицы, вкусно приготовленное с орехами.

После чашки сладкого напитка во рту явился острый освежающий холодок, это напомнило Зое благообразного старика, похожего на царя сказки, и полусонным глазам ее показалось, что он, в полосатом зеленом и желтом халате, стоит, поглаживая бороду, у стены, раздвинув ковры.

Улыбаясь, она заснула, а проснувшись в холодноватом сумраке, несколько минут лежала, открыв глаза, не понимая, что за шум разбудил ее. В комнате не было окон, свет проникал в нее сквозь красные, желтые и синие стекла двери. Вдруг все стекла ярко вспыхнули, резкий, короткий удар грома заставил их тихо взныть. Зоя, испуганно крестясь, вскочила, подбежала к двери и сквозь желтое стекло увидела, как на белый камень крыльца хлещет дождь, трясутся под его ударами ветви деревьев, мокрый ветер срывает их листья.

Она снова легла, окуталась теплым и мягким и задремала, слушая вой ветра в саду, но ковер на стене шумно раздвинулся, вошла вчерашняя женщина с подносом в руках, поставила его на стол и, улыбаясь, сказала:

— Ашать!

И серебряный кофейник, и маленькая чашка, похожая на окаменевший цветок, и различные блюдца с печеньем — всё на подносе было кукольное, очень красивое. Зоя быстро выпила весь густой, душистый кофе, сгрызла все печенья,— смеясь, женщина ушла и принесла еще поднос, полный сластей, и кофейник побольше и, расчесав волосы Зои странной формы гребнем, стала заплетать их в косы.

«Господи,— радостно подумала Зоя,— у меня горничная, как у настоящей барыни».

Ей захотелось говорить.

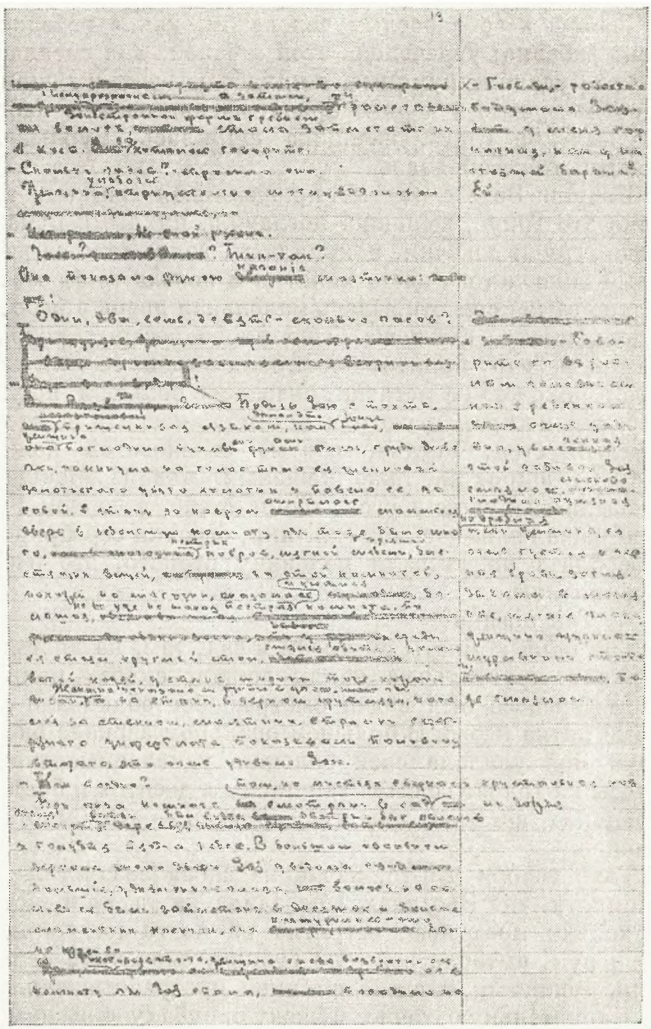
— Сколько часов? — спросила она.

Женщина, улыбаясь, отрицательно мотнула головою.

— Тик-так?

Она показала рукою качание маятника.

— Один, два, семь, десять — сколько часов?



«СОН».
Страница чернового автографа

Говорить со взрослым человеком, как с ребенком, очень забавно; увлеченная этой забавой, Зоя смеялась, ласково гладила румяные, но дряблые щеки женщины, ее очень густые и черные брови, заглядывала в масленые, мягкие глаза, женщина щурилась, мурлыкала что-то и тоже смеялась.

Подняв Зою с тахты, прищелкивая языком, как делал это Юнус, женщина погладила пухлыми руками плечи, груди девочки, накинула на голое тело ее шёлковый золотистого цвета халатик и повела ее за собой; в стене за ковром открылась маленькая дверь в небольшую комнату, где тоже было много пестрых ковров, мягкой мебели, приятно блестящих вещей; за этой комнатой, похожей на магазин, оказалась большая, но уже не такая пестрая и уютная комната, посреди ее стоял круглый стол, стулья, обитые зеленоватой кожей, у стены широкий, тоже кожаный, диван. Женщина показала ей рукою в угол, где на стене, в черном футляре, качался за стеклом маятник, стрелки серебряного циферблата показывали половину второго, это очень удивило Зою.

— Так поздно?

Три окна комнаты смотрели в сад, там, на листьях, сверкали хрустальные капли дождя, сквозь мокрые ветви деревьев был виден быстрый бег облаков и голубые пятна небес. В большом овальном зеркале около двери Зоя увидала свои большие удивленные глаза, волосы на голове ее были заплетены в десяток и больше маленьких косичек, она нахмурилась — это было некрасиво.

Тихо говоря что-то, женщина снова возвратила ее в комнату, где Зоя спала, посадила на тахту и, встав на колени пред нею, остригла ей ногти на пальцах ног и рук, вытерла всё тело губкой, смоченной чем-то очень душистым, и одела в тонкие, прозрачные шаровары, в коротенькую, точно мужскую, рубаху с пышными рукавами, голубую юбку и оранжевую кофту без рукавов, похожую на жилет, а на ноги надела ей туфли зеленого сафьяна. Зоя улыбалась, любуясь,— все эти красивые одежки так легки, как будто их не было на теле.

Глядя в зеркало, Зоя видела себя похожей на птицу, разноцветную, как ракша, но ей не понравилось, что она стала ниже ростом, и не понравились мелкие косички, она расплела их и довольно улыбнулась, когда ее каштановые волосы распушились, пышно осыпав щеки и плечи.

Пришел Юнус. Войдя, он смешно приложил руки к животу и еще издали стал кланяться Зое, подвигаясь к ней мелкими шагами; он был одет тоже нарядно: в новый серый архалук с серебряными газырями на груди, на его широком поясе висел кинжал в серебряных ножнах, мягкие чусты обнимали икры его ног.

Подойдя, он присел на корточки и начал говорить Зое, мигая одиноким глазом, морща темное, кожаное лицо. Он говорил долго, но Зоя поняла только одно: в городе холера, все умирают, и нужно скорее ехать в другой город.

— А он — где?

— Кыто?

— Доктор.

Юнус посмотрел на женщину, о чем-то спросил ее, она, приподняв брови, посмотрела в потолок, потом кивнула головой. Тогда <Юнус> широко развел руками и сказал:

— Все — пропал! Бида пришел. Бегить надо, бегить,— ух!

Зоя испугалась, заплакала, но женщина, обняв ее за плечи, покачивая, певуче начала говорить что-то ласковое, а Юнус, изредка прерывая ее речь, вздыхал:

— А, алла, алла...

Остаток дня и весь вечер Зоя провела в тихой тоске и в страхе, думая: «Что же теперь будет?»

День был капризный, минутами в небе, очень голубом, так жарко сияло солнце, с дорожек сада вздымался пар, и вдруг обильно сыпался крупный дождь, и были скучные минуты, когда над садом и домом медленно плыла темно-сизая туча, стирая краски цветов, покрывая всю землю сырой и серой тенью,— в эти минуты чувство тревоги выжимало из глаз девушки слезы. По комнатам суетливо бегал Юнус, бесшумно возилась толстая женщина, набивая бельем и платьем ковровые

мешки, высокий чернобородый человек уносил их куда-то. Женщина явно старалась, чтоб Зоя не замечала их суеты, почти каждый час она приносила Зое то кофе, то шербет или варенье с кусочками льда в нем, рахат-лукум, орехи, жаренные в сахаре, и какое-то тающее во рту зеленоватое тесто из фисташек; угощая Зою, она гладила ее плечи, играла волосами и, улыбаясь, бормотала:

— Ка-арош будит!

Зоя начала думать, что эти люди — воры, они грабят дом доктора, который, должно быть, тоже умер: они унесут из дома всё, что им надо, а ее оставят одну, или их поймают, и тогда ее вместе с ними посадят в тюрьму.

Да, конечно,— воры, она убедилась в этом, когда наступила ночь и Юнус, накинув на голову и плечи ее широкий серый халат, повел ее за собою садом, потом темными закоулками вниз к черной пропасти моря. Дождь кропил город, по камням журчали невидимые ручьи, было так темно, что серая фигура Юнуса почти не отличалась от мокрых стен; спотыкаясь, Зоя бежала за ним и думала: «Если встретится человек, закричу — караул!»

Никто не встретился до той поры, пока она и Юнус не скатились на самый берег моря; черная вода бухала о камни на берегу, ветер брызгал в глаза мокрой пылью, из камней приподнялся человек, взял Зою на руки, посадил ее в лодку, за нею прыгнул Юнус, толстая женщина, сидя на корме, приняла девушку на колени себе, плотно окутала голову ее,— лодка качнулась, приподнялась и, перепрыгнув черезо что-то высокое, качаясь сильными толчками, поплыла во тьму. Зоя молча крестилась, путаясь рукою в халате, туго связавшем ее, она отупела и онемела от страха.

В этом состоянии тупого безразличия и приступов физической тошноты она почувствовала, как лодка ударилась бортом о что-то твердое; женщина, покачиваясь, приподняла Зою, чьи-то очень жесткие руки подняли ее еще выше, поставили на твердое, но шаткое, повели куда-то, толкая сзади, в плечи, затем она очутилась в яме, едва освещенной желтым огнем фонаря.

Фонарь качался, разбрасывая по этой яме слабые лучи тусклого света, качались стены, пол уходил из-под ног, проваливаясь куда-то,— приступ тошноты опрокинул Зою на этот зыбкий пол, он тотчас подбросил ее вверх, Зоя ткнулась головою во что-то мягкое и отчаянно закричала, зарыдала, с ужасом поняв, что ей не удалось убежать от необоримой болезни и вот она умирает...

Потом она нашла себя под чистым, очень голубым небом, на толстой белой кошме, в теплой косой тени паруса, повешенного на трех шестах, воткнутых в песок. Зоя почерпнула горсть песка, он был сух, горяч, как настоящий земной песок, только очень мелкий. Она приподнялась, села, чувствуя себя жутко слабой и легкой, как будто из нее вынули кости и наполнили всё тело ее воздухом. Вцепившись пальцами в кошму, боясь улететь, Зоя смотрела, догадываясь: жива она? И если жива — сон или явь всё то, что видят глаза? Влево от нее уходил мягкими увалами песок; сверкая, как снег, алмазной пылью, множество рыбьей чешуи блестело в нем, ослепляя глаза острыми серебряными лучиками. Вдали на песок, глухо бухая, опрокидывались высокие волны, сбрасывая белую пышную пену, обнажая под нею зеленое стекло морской воды, а дальше, за грядами волн, море было густо-синее и вспухло высокими холмами. Четыре невиданные птицы, зобатые, с огромными клювами, шли по песку, равномерно качались их головы, а под клювами у них серые морщинистые мешки. Мягкий шипящий звук равномерно колебал воздух, и откуда-то плыл масленый запах вкусного дыма. Зоя приподняла парус,— недалеко от него пылал огонь, обесцвеченный солнцем, большой черный котел висел над огнем, желтые языки лизали бока котла, пытаясь заглянуть внутрь его; синий дымок винтом поднимался в синеватый воздух. У костра сидел Юнус, держа в руках длинную ложку, и скоблил ножом ее черенок, около него кто-то лежит, окутанный в желтый халат, а повыше, на светло-желтом фоне песчаного холма, четко выделялась фигура маленького человека в красноватом халате, в лиловой, расшитой золотом

тюбетейке; этот сидел, согнувшись, скрестив ноги калачиком, перебирая руками что-то в поле своего халата. Около него стоял невыразимо уродливый и смешной, но удивительно милый верблюжонок, мотая головою, подальше лежал на песке большой верблюд, и еще два стояли, высокомерно выгнув шеи, подняв надменные головы. Зоя с трудом встала на колени, держась рукою за весло. Она видела верблюдов только на картинках, и теперь эти животные показались ей еще более неприятными: было в них что-то двуличное, старческое, и надменные их головы имели одно лицо, а ноздри и губы были расположены так странно, что получалось еще лицо, маленькое и злое. Стояли они неподвижно, точно окаменев, только маленький качался на тонких ногах. Зоя долго смотрела на верблюдов, пытаясь догадаться — где она? Песчаные холмы уходили от моря во все стороны, поднимаясь вдали всё выше к жаркому небу, над ними было так чутко тихо, что равномерные глухие удары и шипение волн как будто не нарушали тишину, а треск огня в костре слух Зои воспринимал, как сильный шум. Направо Зоя увидала полукруглые шатры из войлока, их пять, около них на кольях развешена сеть, четверо полуголых людей ползают по песку; видно, что они чинят ее, в зубах у них пучки ниток. Вдруг тишину разорвали резкие высокие звуки пискливой дудки, странно крикливая мелодия:

—Ту-турли-рлюрли-рлюрли-ту-у!

На дудке играл человечек в лиловой тюбетейке, у него темное лицо с большими глазами, настолько яркими, что даже издали виден их блеск. Из-под желтого халата приподнялась знакомая Зое толстая женщина и, погрозив пальцем человеку, крикнула ему что-то, он спрятал дудку за пазуху, подошел к Юнусу; женщина, стряхивая песок с одежд своих, направилась к Зое, а подойдя, сказала по-русски:

— Нисево болит?

— Вы понимаете по-русски?

— Понимаем, мало-мало.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Андреева — «М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы». Изд. 3. М., «Искусство», 1968.

Архив Г$_{III}$ — Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе. М., Гослитиздат, 1951.

Архив Г$_{VI-XII}$ — Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1961; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., «Наука», кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки. 1969.

Г Материалы — М. Горький. Материалы и исследования, т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941.

Г и его время — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.

Г и Сибирь — «Горький и Сибирь. Письма, воспоминания». Новосибирск, 1961.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

Г Чтения, 1949—1959 — Горьковские чтения, 1947—1948. М., Изд-во АН СССР, 1949; Горьковские чтения, 1953—1957, 1959.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

Касторский — С. Касторский. Горький-художник. Очерки. М.—Л., 1963.

ЛЖТ$_{I-IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

ЛБГ — Личная библиотека М. Горького.

Лит Насл — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963.

Луначарский — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.

Шейн — «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном, т. I. СПб., 1900.

В восемнадцатый том настоящего издания вошли произведения, написанные Горьким в период с 1922 по 1928 гг.: «Дело Артамоновых», рассказы «Проводник», «Мамаша Кемских», «Убийцы», «Енблема», «О тараканах»; после первой публикации все эти произведения были включены автором в *К.*

Кроме того, в том вошли произведения «Михаил Вилонов», «Наш человек» и «Из прошлого», впервые опубликованные при жизни автора, но в собрания сочинений и авторизованные сборники Горьким не включавшиеся.

В томе содержатся также «Записки из дневника», которые были напечатаны автором лишь частично, и не публиковавшиеся им произведения — «Случай с Лузгиным», «Сны», «Фотограф из Симбирска», «Правдивое изложение случая с почтмейстером Павловым», «Сон».

Тексты включенных в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *М. Я. Блинчевская* (подготовка текста «Дела Артамоновых»); *Л. Г. Бухарцева* («Енблема», «Наш человек»); *В. А. Максимова* (историко-литературный комментарий к «Делу Артамоновых»); *А. И. Овчаренко* (историко-литературный коммептарий к «Запискам из дневника»); *И. А. Ревякина* («О тараканах», «Сон»); *Е. А. Тенишева* («Проводник», «Мамаша Кемских», «Убийцы», «Фотограф из Симбирска»); *В. Ю. Троицкий* («Михаил Вилонов», «Из прошлого», «Записки из дневника», «Случай с Лузгиным», «Сны», «Правдивое изложение случая с почтмейстером Павловым»); *В. Н. Чуваков* (реальный комментарий к «Делу Артамоновых»). Текстологический комментарий к «Делу Артамоновых» составлен *С. И. Доморацкой*, *Ф. М. Иоффе* и *Р. П. Пантелеевой*.

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*.

I

ПРОВОДНИК

(Стр. 7)

Впервые, вместе с произведением «Мамаша Кемских» и послесловием «Чем больше живу, тем всё более заманчиво интересными кажутся люди ∽ что и делает жизнь такой адски интересной» (см. в наст. томе, стр. 401—402), напечатано под общим заголовком «Записки из дневника» в журнале «Молодая гвардия», 1925, №. 10-11, октябрь, стр. 3—6. Одновременно, в переводе на немецкий язык, появилось в журнале: «Europäische Revue» (Leipzig), 1925, № 7, Oktober, SS. 36—41 (под названием «Der Führer»).

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф без заглавия— *БА* (ХПГ-31-1-1).

Печатается по тексту *К*.

Рассказы «Проводник» и «Мамаша Кемских», судя по их первой публикации, были задуманы Горьким как часть цикла «Записок из дневника» (см. примечания на стр. 540). Их можно предположительно датировать 1924 — первой половиной 1925 г.

По признанию самого автора, произведение носит автобиографический характер. Горький писал С. Н. Сергееву-Ценскому 5 февраля 1928 г.: «Рад, что Вам понравился „Проводник“. Д-р Полканов, хватаясь за голову и вытаращив детски умные глаза свои, с эдакой янтарной искрой в зрачке, кричал тогда: „Д-да ведь это же си-имволич-ческая кикимора, п-послушай!“ В минуты сильных волнений доктор несколько заикался» (*Г-30*, т. 30, стр. 71).

Упоминаемый здесь Полканов,— вероятно, врач-хирург С. П. Полтанов (1866—1907), с августа 1889 г. работавший ординатором в Нижегородской губернской земской больнице (см: «Нижегородский листок», 1907, № 45, 22 февраля. Некролог). Случай, рассказанный в произведении, по-видимому, относится к осени 1889 г. Однако в основу рассказа могли быть положены впечатления и последующих лет (1892—1894).

Редакция журнала «Молодая гвардия» сочла необходимым сопроводить публикацию «Записок из дневника» статьей «К „отрывкам из дневника“ М. Горького», написанной А. В. Луначарским. В ней говорилось: «При всей реалистичности письма, при всей жизненности образов оба очерка производят впечатле-

ние апологов, так сказать, специально придуманных, хотя и очень сочно рассказанных притч <...> Как всякая притча, рассказы символичны.

Вряд ли об этом можно спорить, ведь первый очерк начинается с того, что два, по-видимому, молодых человека, идя по ровному песку берега Оки, с чрезвычайной ясностью обсуждают все человеческие вопросы и приходят к наиутешительнейшим выводам. Но вот они решаются вступить в лес. Случай дает им, как будто, испытаннейшего проводника. И что же оказывается? Проводник совершенно беспомощен в лесу, и весь опыт, который он приобрел, нелеп и случаен <...> если бы такой рассказ был написан каким-нибудь писателем 18-го века, то он еще прибавил бы к этому объяснение смысла сей басни, так как жизнь есть дремучий лес и даже те люди, которые думают, что знают его, на самом деле близорукп, бестолковы и могут завести вас в чащу <...>

Если не предполагать за рассказом никакого торжественного смысла и никакого обличения разума, то он становится маленьким, хотя и искусно рассказанным; но внутренний смысл его слишком сквозит и во всем его построении и в заключительных аккордах „третьей записки" из дневника <т. е. в послесловии>, а поэтому нельзя не сказать, что апологэтот в наше время, пожалуй, гораздо менее уместен, чем в 18 веке» («Молодая гвардия», 1925, № 10-11, стр. 203).

Иначе трактовал эти произведения профессор Н. Н. Фатов. В письме Горькому от 12 января 1926 г. он сообщал: «С наслаждением прочел на днях несколько новых Ваших страничек в „Молодой гвардии" и там же статью Луначарского, которая показалась мне неубедительной. Он полагает, что Вашп отрывки надо толковать как символ. Так ли это? Мне показались они простыми бытовыми зарисовками из прошлого. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь — недостаточно вдумался» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-12-26-8).

Безоговорочно положительно оценил «Проводника» Сергеев-Ценский. 19 января 1928 г. он писал автору: «Очень мне понравился рассказ „Проводник"! Небольшая по размеру вещица производит впечатление значительной вещи; до того в ней много типичного, национально-русского» («Волга», 1967, № 6, стр. 153).

Ответом на это и явилось письмо Горького Сергееву-Ценскому, цитированное в начале настоящего комментария. «Высоко ценю Вашп отзывы о моих рассказах,— писал Горькпй,— ибо, несмотря на „юбилей", всё еще не ясно мне, что у меня хорошо, что — плохо» (*Г-30*, т. 30, стр. 71).

С т р. 8. ... *он вспомнил Вуда, Леббока...* — *Вуд* Джон Георг (1827—1889) — английский естествоиспытатель, автор книги: «Гнезда, норы и логовища. Постройки, возводимые без помощи рук, с описанием образа жизни, нравов, привычек и находчивости животных» (СПб., 1867). Книга имеется в *ЛБГ*. *Лёббок* Джон (1834—1912) — английский естествоиспытатель и этнограф, автор книги: «Муравьи, пчелы и осы» (СПб., 1875). Книга имеется в *ЛБГ*.

Стр. 11. *Елатьма* — город-пристань на Оке, Рязанской обл. (в прошлом — уездный город Тамбовской губ.).

Стр. 12. *Карачарово* — село на Оке близ г. Мурома, Владимирской обл.; согласно былинной традиции — родина Ильи Муромца.

МАМАША КЕМСКИХ

(Стр. 13)

Впервые, вместе с произведением «Проводник» и послесловием «Чем больше живу, тем всё более заманчиво интересными кажутся люди со что и делает жизнь такой адски интересной» напечатано под общим заголовком «Записки из дневника» в журнале «Молодая гвардия», 1925, № 10-11, октябрь, стр. 6—10.

Как отдельное произведение впервые появилось в переводе на немецкий язык в журнале «Europäische Revue» (Leipzig), 1926, № 2, Mai, SS. 101—105 (под названием «Die Mutter der Kemskys»).

В Архиве А. М. Горького хранится автограф без заглавия (ХПГ-31-1-1).

Печатается по тексту *К.*

О времени создания произведения см. примечания к рассказу «Проводник» и к «Запискам из дневника».

Так же, как и «Проводник», рассказ «Мамаша Кемских» вызвал критические замечания А. В. Луначарского. В названной выше статье он писал, что образ мамаши Кемских — «меток и социально верен». Вместе с тем Луначарский находил, что социальная картина действительности в рассказе сужена; в этой картине, по мнению критика, есть «привкус безнадежности, который ощущает читатель и после первого очерка. Эти гибнут, а торжествуют-то кто?» («Молодая гвардия», 1925, № 10-11, стр. 204).

Стр. 14. *...о монументах знаменитым людям: Карамзину — в Симбирске, в Казани — Державину.*— Памятник Карамзину воздвигнут в 1845 г.; памятник Державину в 1847 г. (не сохранился).

Стр. 16. *...невозможно, говорит, чтобы такая фамилия вымерла...*— Князья Кемские — угасшая ветвь князей Белозерских. В XIV веке в Белозерский удел входил удел Кемский, по названию села Кемь, которое в XVIII веке было административно приписано к Новгородской губернии. Родоначальником рода Кемских считался князь Давид Семенович, живший в XV веке. Тогда же Кемские породнились с боярским родом Морозовых (см. кн.: А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга, т. I, изд. 2. СПб., 1895, стр. 262—264; С. Б. Веселовский. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., «Наука», 1969, стр. 198).

УБИЙЦЫ

(Стр. 20)

Впервые, не полностью, напечатано в журнале «Сибирь», 1926, № 2, 15 февраля, стр. 6—7 *(ПТ)*: «Убийцы. Очерк Максима Горького», с примечанием от редакции: «Прислан автором специально для „Сибири“». Полный текст опубликован в журнале «Молодая гвардия» (*МГв*), 1926, № 8, стр. 27—34, с редакционным примечанием: «Неопубликованный очерк М. Горького, написанный до революции».

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-47-3-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 22, строка 22: «продавая», вместо «продавал» (по *БА*, *ПТ*, *МГв*).

Стр. 29, строка 35: «Рощина-Инсарова» вместо «Р. И.» (по *БА* и *МГв*).

Стр. 31, строки 13—14: «стертыми словами» вместо «мертвыми словами» (по *БА*).

В редакцию «Молодой гвардии» Горький послал это произведение, видимо, без указания даты его написания. Вероятно, учитывая лишь хронологию изображаемых эпизодов, редакция журнала сообщила в примечании, что произведение написано Горьким до революции. Слова: «в наши дни, после того, как на полях Франции уничтожены <...> миллионы европейцев» — дают возможность предполагать, что первые наброски были сделаны писателем не ранее 1916 г. А упоминание в тексте о спасении жителей города Нома собакой позволяет датировать произведение февралем — июнем 1925 г.

Летом 1925 г. автор собирался послать или послал произведение во французский журнал «Европа». Об этом свидетельствует замечание в письме М. И. Будберг к Горькому от 2 августа 1925 г.: «Журнал „Европа“, оказывается, хочет не нечто неопределенное, а 4—5 страниц о Роллане. Не напишете ли? Но это не к спеху, так как журнал выходит в январе,— „Убийцы“, значит, там не пойдут,— Вам всё равно куда их поместить?» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-157-78).

В ноябре того же года Горький получил письмо от Г. А. Вяткина, секретаря редакции журнала «Сибирь», с просьбой прислать для журнала портрет и «небольшой рассказ или отрывок из последних <...> произведений» (*Г и Сибирь*, стр. 107). На письме Вяткина Горький сделал пометку: «10.XII.25 послал „Убийц“» (там же). В тот же день — 10 декабря — он писал Вяткину: «Посылаю Вам для журнала небольшой очерк „Убийцы“,— кроме этого, ничего не нашел. Я теперь пишу большую книгу, рассказы перестал писать» (там же, стр. 109).

Стр. 21. *...хирург Оппель трижды, приемом массажа сердца, воскрешал людей...* — В. А. Оппель (1872—1932), русский хирург; в начале 1900-х годов трижды успешно применил методы массажа сердца в случаях клинической смерти. Дати-

рован только второй случай — 1908 годом (см.: Н. И. К у л е б я к и н. Оживление сердца при хлороформном обмирании. СПб., 1913, стр. 89, 90, 254).

В 1922 г. о своих экспериментах в области сердца писал сам проф. Оппель в книге «Успехи современной хирургии» (Пб.— Берлин, изд-во З. И. Гржебина, 1922, стр. 98—100). Книга была известна Горькому. В 1926 г. он сообщал проф. Воскресенскому: «В 24 году итальянские хирурги весьма шумели по поводу оживления человека — на хирургическом столе — приемом массажа сердца. Наш хирург Оппель имел четыре таких случая на десять лет раньше итальянцев, о чем напечатано в его „Новостях хирургии“ [1]. Я сообщил об этом Оппелю и, кажется, он послал Неаполитанскому университету описание своих опытов» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-9-14).

Письмо Горького проф. Оппелю не найдено. Но известен ответ ученого писателю от 23 апреля 1926 г.: «Очень Вам благодарен за Ваше письмо. Понимаю, что итальянцы заволновались: впечатление от оживления получается сильное. Я просил одного из своих помощников, которому *нынешней зимой удалось также оживить человека* <*с*> *помощью вспрыскивания адреналина в сердце*, написать статью с упоминанием моих случаев» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-8-28-1).

С т р. 21. *...в Казани, на окраине города, в Задней Мокрой улице...* — Горький жил в ночлежке на Задне-Мокрой улице с июня по октябрь 1888 г.

С т р. 22. *В день апостолов Петра и Павла...* — 29 июня (ст. ст.).

С т р. 24. «*Гран Гиньоль*» — парижский театр «ужасов»; открыт в 1899 г.; ставил пьесы, изображавшие преступления, злодейства, пытки и т. п.

С т р. 25. *...жители города Ном были спасены от смерти не подобными им людями, а — собакой.*— В мировой печати широко освещалось событие, происшедшее в 1925 г. в городке Номе, расположенном на западе штата Аляска, на берегу Берингова моря. В январе 1925 г. там вспыхнула эпидемия дифтерии. Требовалось срочно доставить антитоксическую противодифтерийную сыворотку. 2 февраля сыворотка была доставлена из поселения, находившегося на расстоянии 1000 километров от Нома, — доставили ее эстафетой собачьих упряжек. Последний этап эстафеты «жизни или смерти» был завершен собакой по кличке Балто, которая, благодаря репортерам, получила всемирную славу. В ознаменование подвига Балто в Центральном парке города Нью-Йорка воздвигнут памятник (см.: Colby M. A guide to Alaska. Last american Frantier (Amerikan guide Series). New York, 1939, p. 367—368 [2]).

С т р. 25. *Фиваида* — со времен св. Антония (конец III в.— начало IV) место поселения христианских монахов и отшельни-

---

[1] Имеется в виду книга проф. Оппеля «Успехи современной хирургии».

[2] Справка составлена географом С. Р. Варшавским.

ков в пустынной области Египта, неподалеку от Фив. Время «классической» Фиваиды — конец III—VII вв.

Стр. 25. *...мысль Эдгара Поэ...*— Ср. у Эдгара По: «Говорите плуту три-четыре раза на дню, что он — цвет честности, и вы сделаете из него, по меньшей мере, образец почтенного буржуа. С другой стороны, обвиняйте почаще честного человека в плутовстве, и вы внушите ему упорное честолюбие доказать вам, что вы отнюдь не заблуждаетесь» («Marginalia или заметки на полях книг» — в кн.: Эдгар По. Очерки, рассказы и мысли. М., 1885, стр. 326).

Стр. 25. ... *«за други своя»*... — Из евангельской сентенции: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна, гл. 15, стих 13).

Стр. 26. *А. И. Ланин* (1845—1907) — нижегородский адвокат, у которого Горький работал письмоводителем с конца 1889 до весны 1891 г. и с октября 1892 по 1893 г.

Стр. 28. *Архиерейский певчий*... — Возможно, речь идет о Скитальце (С. Г. Петрове), который в ранней юности был певцом в духовных хорах (см.: С. Скиталец. От автора.— В кн.: С. Скиталец. Избранные рассказы. М., 1939, стр. 4).

Стр. 29. *...художник М., убивший известного артиста сцены Рощина-Инсарова.*— 8(20) января 1899 г. Н. П. Рощин-Инсаров (Пашенный), артист киевской труппы М. Н. Соловцова, был убит из-за ревности художником А. К. Маловым, мужем актрисы А. А. Пасхаловой. Подробности этого происшествия сообщала газета «Киевское слово», 1899, №№ 3951—3953 (9—11 января). В хранящемся в *ЛБГ* «Дневнике А. С. Суворина» есть помета Горького, относящаяся к упоминанию о взаимоотношениях Пасхаловой и Малова (М.—Пг., 1923, стр. 99).

Стр. 30. *...согласен с критической оценкой Н. К. Михайловского*... — Речь идет об оценке творчества Ф. М. Достоевского в статье «Жестокий талант» («Отечественные записки», 1882, т. 264, № 9, отд. II, стр. 81—123 и № 10, отд. II, стр. 249—274).

ЕНБЛЕМА

(Стр. 32)

Впервые, в неполном виде, напечатано в «Красной газете» (веч. вып.), 1926, № 198, 26 августа. Полностью — в журнале «Огонек», 1926, № 35, 29 августа, стр. 4—5.

В Архиве А. М. Горького хранится машинописная копия рассказа (ХПГ-12-2-1).

Печатается по тексту *К.*

Написано не позднее осени 1925 г. 28 декабря 1925 г., в связи с намерением журнала «Огонек» выпускать ежемесячные литературно-художественные и популярно-научные сборники, Е. Д. Зозуля писал Горькому: «Очень прошу Вас, Алексей Максимович, не отказать нам в участии и дать для первого номера рассказ» (*Архив Г*$_{х}$, кн. 2, стр. 112). 21 января 1926 г. Горький ответил: «Посылаю три „заметки“ — мало? Ну — ничего, зато

они смешные» (там же, стр. 113). В числе посланных была и «Енблема».

Центральный образ произведения имел реальный прототип, о котором Горький 5 февраля 1928 г. писал С. Н. Сергееву-Ценскому: «Там, в книжке у меня, есть рассказишко „Енблема“, — купец — тульский фабрикант самоваров Баташов. Сергей Николаевич, ей-богу, это блестящая идея: отправить богиню справедливости в сумасшедший дом! Оценпте!» (*Г-30*, т. 30, стр. 71). В книге В. Н. Ашуркова «Город мастеров» сообщается: «...тульское купечество „прославило“ себя необузданным самодурством и всякими нелепыми выходками <...> самоварный фабрикант А. С. Баташов, анекдоты о котором долго ходили по Туле <...> купил все билеты в театре и приказал труппе играть для него одного. Самолично провел по улицам Тулы купленного им верблюда, затем подарил его кому-то из встречных. Сидел на своем дворе в собачьей конуре и отчаянно лаял на входивших. Устроил пышные похороны собственной ноги, отнятой во время операции» (В. Н. А ш у р к о в. Город мастеров. Тула, 1958, стр. 86).

С т р. 32. *...изображает идола справедливости...* — По-видимому, статуя Фемиды, римской богини правосудия.

О ТАРАКАНАХ

(Стр. 35)

Впервые напечатано в переводе на французский язык под названием «Les cafards» в журнале «Mercure de France», 1925, vol. CLXXXIII, № 656, 15 octobre, стр. 339—372; № 657, 1 novembre, стр. 708—745; на русском языке — в литературно-художественном альманахе «Ковш» (Ленинград), 1926, кн. 4, стр. 3—40 (*Кш*).

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф произведения — *БА* (ХПГ-41-7-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *БА* и *Кш*:

Стр. 36, строка 12: «всё густеет» вместо «вся густеет».

Стр. 42, строка 32: «слезоточивые» вместо «слезоточные»

Стр. 44, строки 20—21: «ложку» вместо «ложкой».

Стр. 51, строка 35: «схватив» вместо «хватил».

Стр. 60, строка 14: «Не удастся» вместо «Не удастся».

Стр. 67, строка 11: «неприятно грязным» вместо «неприятным грязным».

Стр. 69, строка 32: «в мундире» вместо «в цилиндре».

Стр. 71, строки 24—25: «уже спал» вместо «еще спал».

Стр. 78, строка 14: «Эраст Константиныч» вместо «Эраст Констаптинович».

Стр. 85, строка 14: «рахат-лукума» вместо «рахата-лукума».

Стр. 87, строка 34: «разредило» вместо «разрядило».

Стр. 91, строка 28: «вымерзли» вместо «замерзли».

Рассказ написан, вероятно, в конце 1924 г. М. И. Будберг в письме от 26 декабря <1924 г.> напоминала Горькому: «Де

Грамону <французский переводчик произведений Горького> надобно послать рассказ «О тараканах», как только Вам пришлют его на машинке напечатанным» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-175-72).

Замысел рассказа «О тараканах», как и рассказов «Голубая жизнь» и «Анекдот» (см. т. XVII наст. изд.), может быть поставлен в связь с записью, датируемой предположительно 1919—1924 годами: «Я думаю, что возможен такой рассказ: жить похоже на людей — скучно, а непохоже — трудно» (*Архив Г*$_{VI}$, стр. 200). Слова «жить ∽ трудно» непосредственно использованы в рассказе «Анекдот» (см. т. XVII наст. изд., стр. 411), но выраженная в них мысль особенно напоминает о блужданиях Миронова, героя «Голубой жизни», и Платона, героя рассказа «О тараканах».

Не исключена возможность, что к замыслу произведения имеют отношение и записи, предположительно датируемые 1921—1924 гг.:

«Воспоминания о незнакомом человеке <...>

Я ничего не знаю об этом человеке и мне не ясно, как, откуда явилась у меня необходимость думать о нем. Эта необходимость настойчиво мешает мне писать что-либо другое, упорно заставляя меня вообразить жизнь человека незнакомого и, в сущности, не интересного» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 30—31. Ср. в рассказе «О тараканах»: «Мне ничего не известно об этом человеке...» — наст. том, стр. 37).

В рассказе «О тараканах» использована также запись о Якове Васильевиче Еремине, ловившем мух и тараканов на смазанные патокой олеографии с изображением царя (см.: *Архив Г*$_{III}$, стр. 179—180).

9 августа 1925 г. Горький в письме к А. Н. Тихонову сообщал: «Для „Р<усского> с<овременника>“ пришлю Вам после 20-го числа рассказ „О тараканах“» (*Г Чтения*, 1959, стр. 51).

Публикация рассказа в «Русском современнике» не состоялась. Поэтому автор решил передать произведение в журнал «Сибирь», откликаясь на просьбу его руководителей. 23 ноября 1925 г. от имени редакции журнала Г. А. Вяткин писал Горькому: «...обращаюсь к Вам с просьбой: прислать для журнала Ваш портрет (хотя бы открытку) и небольшой рассказ или отрывок из последних Ваших произведений <...> Ваша помощь журналу <...> чрезвычайно нас обрадовала бы и ободрила» (*Г и Сибирь*, стр. 107—108).

Решив печатать рассказ также в литературно-художественном альманахе «Ковш», Горький писал И. А. Груздеву 9 января 1926 г.: «Прилагаю для 4-го „Ковша“ рукопись рассказа „О тараканах“, если понравится — печатайте. Но сей рассказ уже дан мною старому поэту Вяткину для журнала, который будет издаваться в Сибири, в г. Николаевске. Так как гонорар я получу с Вяткина,— „Ковш“ ничего не платит мне. Если решите печатать — рукопись перестукайте на машинке и возвратите мне» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 31).

Однако в журнал «Сибирь» Горький послал рассказ «Убийцы». В письме Груздеву от 23 января он замечал в связи с этим: «Извините, я — ошибся: „О тараканах“ Вяткину *не посылал*, этот рассказ „свободен“» (там же, стр. 36).

20 января 1926 г. К. А. Федин от имени «Ковша» извещал Горького: «...вчера мы получили Вашу рукопись — „О тараканах“. Большое спасибо за память о „Ковше“ и доброе отношение к нашей стряпне» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 500). В том же письме Федин информировал Горького: «IV-ю книгу сдаем в набор в конце января. Выход приурочен к середине марта. Рукопись Вашу, как только перепишем ее, возвратим Вам. За корректуру не беспокойтесь, проведем тщательно» (там же, стр. 501).

Вследствие ряда организационных затруднений четвертая книга альманаха «Ковш» вышла в свет лишь в мае 1926 г.

Одним из первых на новое произведение Горького откликнулся бельгийский писатель Франц Элленс (Ф. Ван Эрменгем). В конце ноября — начале декабря 1925 г. он писал Горькому: «Я начал читать Ваш роман „Тараканы“, напечатанный в журнале „Меркюр де Франс“. Первая часть его меня живо заинтересовала. Полагаю, что это одно из Ваших позднейших произведений» (*Архив* $Г_{VIII}$, стр. 96).

Видимо, Горький получил это письмо с опозданием, так как в письме к Элленсу от 7 февраля 1926 г. спрашивал: «Читали ли Вы мой рассказ, напечатанный в „Mercure“? Что Вы о нем скажете? Я очень хотел бы знать Ваше мнение» (там же, стр. 99). Элленс ответил Горькому 19 марта 1926 г.:

«Ваши „Тараканы“, которые я прочитал в „Меркюр“ (перевод мне кажется прекрасным), мне необыкновенно понравились. В них, в сжатом виде, сосредоточено всё, за что я глубоко люблю Ваше творчество, такое человечное. В этот фантастический рассказ Вы, по обыкновению, вложили много от себя, от своего мироощущения, от своей утонченности чувств! Мне нравится то, что поэт вторгается в область прозаика. В этом фантастическом рассказе поэзия бьет через край, и еще: Вы владеете искусством равно одушевлять нескольких действующих лиц, притом в полном согласии с логикой, как бы следуя логике и человеческой и божественной. Этим даром обладал и Бальзак, но у него отсутствовала эта трогательная теплота, которая свойственна Вам и благодаря которой за правдой образа чувствуется правда автора, когда человечность воссозданного характера отражает божественное величие творца.

Две части произведения, столь различные, тем не менее прекрасно дополняют друг друга. Что мне также нравится в этом маленьком романе, это особый юмор, не „интеллектуальный“, как у англосаксов, а „душевный“, если можно так выразиться, без горечи, но всё же с легким оттенком меланхолии, которая как бы озарена обаятельной улыбкой. История о подделке билетов — вернее, о предполагаемой подделке — имеет скорее философскую, нежели экономическую подоснову. Не знаю почему, но при чтении Вашего рассказа мне вспоминается Вольтер, но Вольтер, который прошел великую школу нищеты, труда и физиче-

ских страданий, менее едкий, более широкий и абсолютно лишенный тщеславия. В Вас, где-то в глубине, кроется что-то латинское, классическое, размеренное, чего не встретишь ни у одного современного русского писателя. И к этому присоединяется еще чисто „славянская прелесть“» (там же, стр. 100).

Искусствовед П. П. Муратов, автор книги «Образы Италии», познакомившись с рассказом во французском переводе, писал 2 декабря 1925 г. Горькому: «Недавно прочитал в „Mercure de France“ Вашу новую для меня вещь — „Тараканы“. Жестокая штука!» (Архив А. М. Горького, КГ-ди-6-47-8).

Французский писатель и публицист В. Познер писал Горькому 21 марта 1927 г.: «Прочел недавно „О тараканах“ и очень был потрясен. Вы любите эту вещь? Мне кажется, что это одна из Ваших лучших, если не самая лучшая» (там же, КГ-п-57-18-19).

Повышенный интерес самого автора к высказываниям современников о его новом произведении проявлялся в переписке с Фединым, Груздевым и другими. Именно герой рассказа «О тараканах» упомянут в письме к Федину от 28 января 1926 г., где Горький в заостренной до парадокса форме говорит о своем стремлении к объективному художественному исследованию психологии каждого человека: «Я думаю, что „действенная моя любовь к человеку“ — Ваши слова — эта любовь, вероятно,— миф. Истина же, реальное же в том, что человек мучительно интересует меня, не дает мне покоя, желает, чтоб я его хорошо понял и достойно изобразил. И с этой „точки зрения“ Эйнштейн, пытающийся радикально изменить всё наше представление о вселенной, равен — для меня — герою рассказа „О тараканах“, посланного мною Груздеву для четвертого „Ковша“» (*Лит. Насл.*, т. 70, стр. 502).

В письме к Федину от 5 февраля 1926 г. Горький спрашивал: «Как Вы и Груздев цените этот рассказ? Мне было бы весьма интересно — и полезно — знать, мерцает ли в нем нечто не „от Горького“? Это — серьезный вопрос для меня» (там же, стр. 503). В ответном письме от 11 февраля 1926 г. Федин замечал: «Ваш герой в рассказе „О тараканах“ положительно настоящий герой! Всё дело в том, кажется мне, что он вызывает сострадание. Что ж из того, что он — „таракан“. Меня, например, с моею жалостью, хватит на многих „тараканов“» (там же, стр. 506).

Груздев в письме от 27 февраля отвечал на вопрос Горького: «„Тараканы“ Ваши меня восхитили. Какая молодость во всем, что Вы сейчас делаете!» (*Архив Г XI*, стр. 39).

Сдержанно отнесся к рассказу «О тараканах» С. Н. Сергеев-Ценский. 19 января 1928 г. он писал автору: «Первая половина „Тараканов“ и первое действие пьесы <„Фальшивая монета“> прекрасны, но остальное и в этой и в другой вещи могло бы развиться и так и иначе: *закономой необходимости* Вами данного развития фабулы я не постиг» («Волга», 1967, № 6, стр. 153).

На страницах печати рассказ был оценен в общем положительно.

В кратком отзыве о четвертой книге «Ковша» рецензент, скрывшийся под инициалом «М», считая рассказ характерным для последнего периода творчества Горького, высоко оценивал его художественные достоинства. Он называл рассказ «густо психологической вещью», утверждая: «Вступление, заполненное философскими размышлениями автора, имеющими очень отдаленное отношение к сюжету рассказа, подчеркивает сдвиг с бытового плана и установку на „психологию“, несмотря на то, что в рассказе разбросано много чисто бытовых мелочей» («Звезда», 1926, № 4, стр. 235—236).

В небольшой рецензии, посвященной последним книгам альманахов «Ковш» и «Прибой», Ник. Смирнов отрицательно отозвался о вступительной лирико-философской части произведения. Рассказ, по его мнению, особенно в начале, «отяжелен рассудочностью». В то же время критик увидел в рассказе «самоцветные камни художественности», отметил «изобразительную силу», «нежную человеческую теплоту». По словам критика, «Горький дал почувствовать не только „серебряную пустоту“ смерти, но и „жестокий холод“ далекого старого быта и — живых его людей». «Последняя сцена, скитания смертельно больного Платона <...> наиболее сильная в рассказе». Смирнов отметил мастерство в обрисовке второстепенных образов — часовых дел мастера Анания Тумпакова, фальшивомонетчика по прозвищу Грек. О главном же персонаже он писал: «Платон, мечтатель и герой (он, во время пожара, спасает горничную), трус и поэт, вырисовывается во всей своей характерности — правда, в связи с общей недоработанностью и шаткостью рассказа — несколько туманной и смутной» («Новый мир», 1926, № 8—9, стр. 271, 272).

О бесспорной художественной ценности рассказа писал А. Я. Цинговатов. Но авторские рассуждения и сентенции расценивались им отрицательно: «Это скорее вредит, чем помогает делу»,— утверждал он («Книгоноша», 1926, № 35, стр. 29).

Определяя идейно-художественную направленность нового произведения Горького, С. И. Пакентрейгер отмечал: «У Достоевского есть в одном из дневников запись темы для рассказа о человеке, который сам себя сочинял, „самосочинялся“. Карикатуру на такую самосочиняющуюся фигуру и воздвигает М. Горький, причем обстановка и самая фигура взяты им из доподлинной реальной жизни» («Красная новь», 1926, № 10, стр. 238). Устанавливая связь между рассказом «О тараканах» и другими произведениями писателя, критик утверждал: «Сгущенно и холодно собраны в этом рассказе некоторые новые мотивы у М. Горького, мотивы об ирреальном, которым дается неожиданное и новое в русской литературе звучание. М. Горький со спокойствием, почерпнутым из огромного опыта жизни, не только стоически иронизирует над ирреальными началами, что плещут в человеке и вокруг человека, но нередко пользуется этими началами, чтобы приемами карикатурных контрастов осмеять чванливо-окостеневающий разум, коим часто подменяют разум ищущий и подвижной не только фигуры тараканьи, но и исторические» (там же, стр. 238—239).

С т р. 36. *...напомнил мне Черногорова, скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга.*— Машинист Черногоров — лицо неустановленное. Известен И. В. Черногоров, который в 1889 г. работал вместе с Пешковым сторожем на станции Добринка (см. в наст. томе примеч. к стр. 384).

С т р. 36. *Шильонский узник протоптал в камне пола тюрьмы своей глубокую тропу.*— В Шильонском замке, расположенном на одной из скал на восточной стороне Женевского озера, в 1530—1536 гг. был заключен женевский гражданин Франсуа Бонивар (1493—1570), принимавший участие в борьбе горожан против герцога Савойского и епископа за свободу родного города Женевы. Бонивар прославлен Байроном в поэме «Шильонский узник» и «Сонете к Шильону», где есть строки:

Шильон! Твоя тюрьма старинной кладки —
Храм; пол — алтарь; по нем и там и тут
Он, Бонивар, годами шаг свой шаткий
Влачил, и в камне те следы живут.
Да не сотрут их — эти отпечатки!
Они из рабства к богу вопиют!

(Б а й р о н. Избранные произведения.
М., ГИХЛ, 1953, стр. 170).

С т р. 37. *Некто, помнится — Декарт, находил, что мыслить — это значит: стремиться к обоснованной связи истинных суждений.*— По всей вероятности, имеются в виду сформулированные Рене Декартом (1596—1650) правила научного мышления: «Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми обычно пользуются геометры, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне повод представить себе, что и все вещи, которые могут стать предметом знания людей, находятся между собой в такой же последовательности. Таким образом, если остерегаться принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблюдать порядок, в котором следует выводить одного из другого, то не может существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть» (Р. Д е к а р т. Рассуждение о методе... М., 1953, стр. 23).

С т р. 37. *«Мысль изреченная есть ложь».* — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» («Молчание!», 1830).

С т р. 37. *Декарт, выделив душу из тела, как пламя из тьмы, сделал тьму — гуще, а пламя — холодным ...* — Согласно дуалистическому учению Декарта, в человеке взаимодействуют бездушный и безжизненный телесный механизм с мыслящей и бессмертной душой. Содержащееся в рассказе описание того «интересного и таинственного», что есть в поведении животных, является выражением полемики писателя-материалиста с механицизмом Декарта, видевшего в животных просто своеобразные автоматы, лишенные зачатков мышления (см.: Р. Д е к а р т. Рассуждение о методе..., стр. 52).

Стр. 38. *...Престония Мэн Мартин...* — В доме педагога Джона Мартина (Престония Мэн Мартин — его жена) Горький и М. Ф. Андреева жили во время пребывания в США в 1906 г.

Стр. 38. *Суз* Джон Филипп (1854—1932) — американский военный капельмейстер и композитор.

Стр. 39. *«Коль славен наш господь в Сионе»* — религиозный гимн; слова М. М. Хераскова, музыка Д. С. Бортнянского.

Стр. 39. *«Господи, воззвах тебе»* — из псалма 103 (Молитвослов. СПб., 1907, стр. 42).

Стр. 41. *...всходили, точно ангелы во сне Иакова...* — Согласно библейской легенде, одному из родоначальников еврейского народа, Иакову, было во сне видение: по лестнице, стоящей на земле и вéрхом касающейся неба, всходили и нисходили ангелы (Книга Бытия, гл. 28, стихи 11—15).

Стр. 42. *Филистимляне* (древнеевр. «пелиштим») — один из народов, о которых говорится в Библии. Филистимляне занимали южную часть приморского района Палестины.

Стр. 42. *...об Исаве, который тоже что-то продал Иакову за похлебку...* — См. примеч. в т. IV наст. изд., стр. 630.

Стр. 44. *...чашу, которую Христос видел в небесах Гефсиманского сада...* — Согласно евангельской легенде, Христос накануне распятия обратился к «богу-отцу» с молитвою: «...пронеси чашу сию мимо меня...» (Евангелие от Марка, гл. 14, стих 36).

Стр. 44. *...портреты двух царей...* — Александра II и Александра III.

Стр. 46. *...точно с дурачком Игошей Смерть в Кармане...* — Нижегородский «блаженненький» Игоша Смерть в Кармане фигурирует в ряде произведений Горького: в повести «Детство» (наст. изд., т. XV, стр. 94), в статьях «О разных разностях» (*Г-30*, т. 24, стр. 502), «Беседы о ремесле» (*Г-30*, т. 25, стр. 294).

Стр. 50. *...умер царь* — Александр III (1845—1894).

Стр. 52. *«Не бил — барабан перед смут-ным полком...»* — начало стихотворения ирландского поэта Чарлза Вольфа «На погребение английского генерала сира Джона Мура». Переведено на русский язык И. И. Козловым, на музыку положено В. И. Ребиковым.

Стр. 60. *«История умственного развития Европы»* — сочинение американского физика, химика, физиолога и историка Джона-Вильяма Дрепера (1811—1882); русск. пер. — СПб., изд. О. И. Бакста, т. I—1865, т. I—II — 1866. Книга Дрепера, позитивистская по своей философской основе, буржуазно-демократическая и антиклерикальная по своей общественной ориентации, содержит огромное количество фактов из истории культуры. Она издавалась неоднократно и пользовалась большой популярностью среди русской интеллигенции. В 1931 г. Горький писал М. Н. Покровскому о желательности издания книги по истории культуры, вроде книги Дрепера (*ЛЖТ*$_{IV}$, стр. 88).

Стр. 71. *«Дунайские волны»*—вальс румынского композитора И. Ивановичи; текст переведен на русский язык С. Я. Уколовым.

Стр. 82. *Стрельский* Михаил Кузьмич (1844—1902) — драматический актер; играл в Малом театре и в Александрийском, более всего — в частных антрепризах; много выступал на сценах поволжских городов.

Стр. 83. *Бова* — Бова Королевич, герой сказочной повести, широко распространявшейся в лубочных изданиях XVIII и XIX веков.

Стр. 84. *...стихи Баркова...* — И. С. Барков (ок. 1732—1768) — русский поэт и переводчик; приобрел известность скабрезными стихами, которые расходились в списках.

Стр. 84. *...о дружбе и ссорах Баркова с сочинителем Пушкиным...* — Пушкин родился через 30 лет после смерти Баркова.

Стр. 84. *Волною морскою...* — См. примеч. в т. IX наст. изд., стр. 560.

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

(Стр. 93)

Впервые напечатано отдельной книгой: М. Горький. Дело Артамоновых. Berlin, «Kniga», 1925.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф всего произведения со многими вставками на отдельных листках — $ЧА_1$ (ХПГ-9-3-3). Нумерация авторская, полистная: «2—74» (листы двойные — 4 страницы). Текст написан синими чернилами, правка такими же чернилами и синими карандашами различных оттенков. Произведение делится на три части — II и III помечены синим карандашом. Текст двух листов с авторской нумерацией — «7» (4 страницы) и «8» (2 страницы) — написан черными чернилами, по старой орфографии.

2. Черновой автограф всего произведения — $ЧА_2$ (ХПГ-9-3-2). Нумерация авторская, полистная: «2—73» (листы двойные — 4 страницы). Исходный текст произведения, из трех частей, написан синими чернилами и дважды правлен. Первый слой правки — синими чернилами, синим и красным карандашами. С части II начинается другой слой правки — черными чернилами,— постепенно усиливающийся. Появляется множество вставок на листах из блокнотов разного формата. Особенность данной редакции — появление части IV, возникшей в результате «отпочкования» ряда эпизодов части III и добавлений к ним. Продолжением рукописи является автограф ХПГ-9-3-4, представляющий собой вновь написанные листы к частям III и IV. Пометки автора цветными карандашами (целая система знаков) соединяют вновь написанные листы и вставки с исходным текстом. Часть I рукописи (листы «1—25») не имеет второго слоя правки (черными чернилами) и в дальнейшем автором не переписывалась.

3. Беловой автограф II, III и IV частей — *БА* (ХПГ-9-3-1): «Только в девятую годовщину ∽ Не хочу... Прочь». Нумерация авторская, полистная: «2—63»; первый лист рукописи соответствует листу «26» $ЧА_2$. Текст черными чернилами, правка теми же

чернилами, синим и красным карандашами. Листы «15—16» и «18—19» переложены сюда автором из части II $ЧА_2$.

4. Наброски (ХПГ-30-3-2, ХПГ-45-21-3 и ХПГ-49-14-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по автографам ($ЧА_1$, $ЧА_2$ и *БА*):

Стр. 118, строка 21: «ее слова» вместо «его слова».

Стр. 130, строка 16: «надбитый колокол» вместо «подбитый колокол».

Стр. 131, строка 16: «лежали молча» вместо «лежал молча».

Стр. 135, строка 19: «родишь мальчишку» вместо «родишь мальчика».

Стр. 136, строка 36: «сидя бок о бок» вместо «бок о бок».

Стр. 160, строка 13: «На одну стену» вместо «На стену».

Стр. 160, строка 30: «напомнила» вместо «напоминала».

Стр. 162, строка 3: «голоском» вместо «голосом».

Стр. 164, строка 39: «Сам Петр» вместо «Петр».

Стр. 189, строка 34: «прыгнул и погряз» вместо «погряз».

Стр. 191, строки 40—41: «точно запнувшись за что-то» вместо «запнувшись за что-то».

Стр. 192, строка 29: «тоже Вялова» вместо «Вялова».

Стр. 232, строка 30: «возражений» вместо «выражений».

Стр. 235, строка 25: «в рот пальцами» вместо «пальцами».

Стр. 254, строка 15: «За службу» вместо «На службу».

Стр. 264, строка 29: «скромные» вместо «скрытые».

Стр. 273, строка 36: «как барабан» вместо «как баран».

Стр. 274, строка 21: «подпившие» вместо «подвыпившие».

Стр. 275, строка 11: «уговорил» вместо «уговаривал».

Стр. 297, строка 31: «неутомимо» вместо «неумолимо».

Стр. 332, строка 1: «о кутежах Алексея на ярмарке» вместо «о кутежах Алексея по ярмарке».

Стр. 335, строки 21—22: «Скажи ему: горох, а он тебе горы, ох» вместо «Скажи ему: горы, ох, а он тебе: горох».

Стр. 347, строки 31—32: «крикнула она» вместо «крикпула».

Замысел «Дела Артамоновых» вынашивался Горьким на протяжении многих лет — очевидно, с начала 1900-х годов. Решающую роль в окончательном формировании замысла сыграла Октябрьская революция.

В основу произведения легли жизненные наблюдения, накопившиеся у писателя за десятки лет,— в частности, наблюдения, относящиеся к социальной практике, быту, нравственным понятиям и нормам русской буржуазии. В «Беседах о ремесле» Горький рассказывал, что он рано познакомился с жизнью почти всех крупнейших купеческих семей в Нижнем Новгороде, так называемых «железных людей» (*Г-30*, т. 25, стр. 298—321), знал жизнь купцов Казани. Его «Очерки и наброски», фельетоны под рубрикой «Между прочим», которые он печатал на страницах «Самарской газеты», свидетельствуют о том, что не менее хорошо он изучил жизнь самарского купечества.

«В конце восьмидесятых и начале девяностых годов,— рассказывал Горький,— дети „железных“ людей обнаружили

весьма заметное тяготение к „ускоренному выходу из жизни“, как написал в предсмертной записке казанский студент Медведев. Застрелилась, приехав из церкви, после венчания, курсистка Латышева, дочь крупного чайного торговца, веселая и талантливая девушка. В 1888 году в Казани кончили самоубийством, кажется, одиннадцать человек, из них две курсистки, остальные студенты. Позднее в Нижнем застрелился гимназист, сын одного из богатых мельников Башкировых, и было еще несколько самоубийств.

Я отмечал всё это. Выше мною указано, что почти все „дурачки“, „блаженные“ — дети богатых людей. В отрочестве моем я, конечно, не мог наблюдать купеческих детей иначе, как издали, но в середине девяностых годов я уже близко видел их гимназистами, студентами. Недавно умерший поэт и автор романа „Проклятый род“ И. С. Рукавишников принес мне рукопись первого своего рассказа „Семя, поклеванное птицами“; рассказ был плохо сделан, но помню, что в нем юноша жаловался на то, как ему отец испортил жизнь. Рукавишников уже тогда весьма усердно пил и убеждал меня, что для него, как для Бодлера, „истинная реальность жизни раскрывалась только в пьяных грезах“. А в романе „Проклятый род“ он изобразил — очень неудачно — страшную свою бабушку Любовь, отца своего Сергея и дядьев Ивана и Митрофана.

Роман озаглавлен совершенно правильно...» (*Г-30*, т. 25, стр. 305).

В тех же «Беседах о ремесле» Горький признавался: «Больше всего знаний о хозяевах дал мне 96 год. В этом году в Нижнем Новгороде была Всероссийская выставка и заседал „Торгово-промышленный“ съезд. В качестве корреспондента „Одесских новостей“ и сотрудника „Нижегородского листка“ я посещал заседания съезда, там обсуждались вопросы внешней торговли, таможенной и финансовой политики. Я видел там представителей крупной промышленности всей России, слышал их жестокие споры с „аграриями“. Не всё в этих речах было понятно мне, но я чувствовал главное: это — женихи, они влюбились в богатую Россию, сватаются к ней и знают, что ее необходимо развести с Николаем Романовым» (*Г-30*, т. 25, стр. 317).

Там впервые Горький слушал С. Т. Морозова, видел С. И. Мамонтова, позднейшее знакомство с которыми обогатило его впечатлениями, сказавшимися во многих произведениях писателя, в частности и в «Деле Артамоновых». В этом произведении нашло своеобразный отголосок и знакомство Горького с жизнью богачей-нижегородцев Гордея Чернова и Николая Бугрова, бывшего водочного заводчика А. А. Зарубина и Рукавишниковых (см. «Беседы о ремесле» и очерк «Н. А. Бугров»), костромичей Разореновых, пермского пароходчика Н. В. Мешкова, калужского заводчика Гончарова.

Заинтересовавшие Горького социальные явления, характерные для становления русской буржуазии, были отмечены В. И. Лениным в труде «Развитие капитализма в России» (1899): «Может быть, одним из наиболее рельефных проявлений тесной

и непосредственной связи между последовательными формами промышленности служит тот факт, что целый ряд крупных и крупнейших фабрикантов сами были мелкими из мелких промышленников и прошли через все ступени от „народного производства“ до „капитализма“. Савва Морозов был крепостным крестьянином (откупился в 1820 г.), пастухом, извозчиком, ткачом-рабочим, ткачом-кустарем <...> затем владельцем мелкого заведения — раздаточной конторы — фабрики. Умер он в 1862 г., когда у него и у его многочисленных сыновей было 2 большие фабрики. В 1890 г. на 4 фабриках, принадлежащих его потомкам, было занято 39 тысяч рабочих, производящих изделий на 35 млн. руб. В шелковом производстве Владимирской губ. целый ряд крупных фабрикантов вырос из ткачей-рабочих и ткачей-кустарей. Крупнейшие фабриканты Иваново-Вознесенска (Куваевы, Фокины, Зубковы, Кокушкины, Бобровы и мн. др.) вышли из кустарей» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 542—543). Далее В. И. Ленин называет также фабрикантов Завьялова, Варыпаева, Кондратова, Асмолова — выходцев из мелких кустарей (см.: там же, стр. 543).

Это поколение, видимо, особенно интересовало Горького в связи с задуманной им фигурой родоначальника артамоновского «дела» — выходца из крепостных. Как вспоминал Л. П. Пасынков, в 1916 г. писатель просил его: «Вы знаете Ростов. Расскажите что-нибудь о ростовских богачах, об Асмоловых, Кушнаревых» (Л. П. Пасынков. Воспоминания.— Архив А. М. Горького, МоГ-11-1-1).

По свидетельству А. Н. Тихонова, С. Т. Морозов говорил ему: «Рассказывал я как-то Горькому нашу родословную <...> Ему понравилось. Собирается роман написать и даже название придумал: „Атамановы“. Может выйти поинтереснее Фомы-то Гордеева» (Александр Серебров <А. Н. Тихонов>. Время и люди. Воспоминания. 1898—1905. М., 1960, стр. 192).

В образах Артамоновых могли отразиться также черты Разореновых — владельцев ткацких фабрик в Вичуге и прядильен в Кинешме. Как известно, уездный город Кинешма славился своими ткацко-полотняными фабриками. Вичуга была «центром камчатного производства и салфеточных материй» (С. П. Тропцкий. Костромской край. Историко-археологический очерк. Кострома, 1909, стр. 38—39).

По сохранившимся свидетельствам, Горький был знаком с младшим сыном фабриканта Разоренова — Алексеем Александровичем, инженером-технологом, жившим отдельно от семьи. «Именно он в какой-то мере послужил прототипом образа Ильи Артамонова-младшего. Алексей Александрович был инженер-технолог, преподавал в Политехническом училище, жил отдельно от семьи и на фабрику являлся не как „хозяин“, а как специалист. На фабрике он иногда руководил работами по переоборудованию и реконструкции того или иного цеха» (*Г Чтения*, 1949, стр. 146—147).

Разумеется, Горький не ограничивался в своей работе над «Делом Артамоновых» только непосредственными жизненными

впечатлениями. В *ЛБГ* хранятся книги и статьи, посвященные жизни и быту русского купечества. Пометки свидетельствуют, что писатель внимательно читал их. Таковы, например, книги: В. В. Огарков. Демидовы, основатели горного дела в России. СПб., 1891; К. Скальковский. Сатирические очерки и воспоминания. СПб., 1902; «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село Иваново и Вознесенский посад (Владимирской губернии) в 2 частях ч. I. С XVII столетия до 19-го февраля 1861 года». Составил Я. П. Гарелин. Шуя, 1884; «История города Ярославля». Составил К. Д. Головщиков. Ярославль, 1889.

В *ЛБГ* сохранились также книги о Нижегородской ярмарке, например: А. П. Мельников. Столетие Нижегородской ярмарки (Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки). Н.-Новгород, 1917.

С начала 1900-х годов и вплоть до 1916 г. Горький не раз в беседах с литераторами касался темы: три поколения семьи русских фабрикантов. На протяжении более двух десятилетий он обдумывал идейную концепцию и сюжет повествования. Исследование рукописных источников произведения, хранящихся в Архиве А. М. Горького, эпистолярных и мемуарных материалов показывает, что замысел не оставался неизменным, со временем развивался, трансформировался.

Вспоминая свои встречи с Л. Н. Толстым в Крыму в конце 1901—начале 1902 г., Горький писал:

«Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи,— историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно! <...> Тот, который идет в монахи молиться за всю семью,— это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель,— тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил,— ах, это хорошо! Вот это надо написать...» (наст. изд., т. XVI, стр. 307).

Беседа с Толстым, несомненно, усилила интерес Горького к теме неуклонного истощения социальных, моральных и интеллектуальных сил буржуазии и, возможно, повлияла на его решение писать роман. А российская действительность всё более щедро снабжала писателя соответствующими «впечатлениями бытия». Друг и единомышленник Горького И. П. Ладыжников рассказывал:

«Вскоре после знакомства с Разореновыми Алексей Максимович, имея в виду историю этой семьи, как-то сказал мне: „Интересная тема для произведения о вырождающихся поколениях буржуазии. Напишу роман“» (*Г Чтения*, 1949, стр. 146—147).

В марте 1904 г. Горький беседовал в Сестрорецке с А. Н. Тихоновым, который впоследствии вспоминал, что во время этой

беседы писатель «подробно изложил замысел „Атамановых“, — произведения на тему о трех поколениях одной буржуазной семьи. Алексей Максимович говорил о том, что он намерен изобразить в трех поколениях буржуазной семьи основные этапы развития русского капитализма: „рыцарей первоначального накопления“ и представителей промышленного капитала» (там же, стр. 147).

Поездка в Америку, жизнь в Италии, сравнение зарубежных впечатлений с тем, что Горький знал о русской буржуазии, укрепляли его в намерении создать произведение о трех поколениях буржуазной семьи как историю подъема и неизбежного угасания капитализма. В 1908 г. Горький писал в статье «Разрушение личности»: «Бешеная работа нервов вызывает истощение, односторонне упражняемое мышление делает человека уродом, создается психика крайне неустойчивая; мы видим, как растет среди буржуазии неврастения, преступность, и наблюдаем типичных вырожденцев уже в третьих поколениях буржуазных семей. Замечено, что процесс дегенерации наиболее успешно развивается среди буржуазных семей России и Америки <...> Здесь, очевидно, сказывается недостаток исторической тренировки, люди оказываются слишком слабосильными пред капиталом, который, явясь к ним во всеоружии, поработил их и быстро исчерпывает недостаточно гибко развитую энергию» (*Г-30*, т. 24, стр. 42).

О своем давнем замысле Горький рассказал на о. Капри В. И. Ленину. Вот как об этом он писал Н. К. Крупской 16 мая 1930 г.: «Беседуя со мной на Капри о литературе тех лет, замечательно метко характеризуя писателей моего поколения, беспощадно и легко обнажая их сущность, он ‹В. И. Ленин› указал и мне на некоторые существенные недостатки моих рассказов, а затем упрекнул: „Напрасно дробите опыт ваш на мелкие рассказы, вам пора уложить его в одну книгу, в какой-нибудь большой роман“. Я сказал, что есть у меня мечта написать историю одной семьи на протяжении ста лет, с 1813 г., с момента, когда отстраивалась Москва, и до наших дней. Родоначальник семьи — крестьянин, бурмистр, отпущенный на волю помещиком за его партизанские подвиги в ‹18›12 году, из этой семьи выходят: чиновники, попы, фабриканты, петрашевцы, нечаевцы, семи- и восьмидесятники. Он очень внимательно слушал, выспрашивал, потом сказал: „Отличная тема, конечно — трудная, потребует массу времени, я думаю, что Вы бы с ней сладили, но — не вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы“. Конца книги я, разумеется, и сам не видел.

Вот так всегда он был на удивительно прямой линии к правде, всегда всё предвидел, предчувствовал» (*Г-30*, т. 30, стр. 168—169).

На этом этапе размышлений над «историей одной семьи» в еще смутных планах художника своеобразно соединялась линия трех поколений некоего мужицко-купеческого рода с другими линиями, одна из которых позднее, радикально трансформиро-

вавшись, нашла разветвленное развитие в «Жизни Клима Самгина», а другая шла от долго вынашивавшейся, но так и не написанной Горьким повести из жизни русской деревни — «История Кузнечихи» (см.: *Архив* $Г_{IV}$, стр. 249). Иначе говоря, к концу 1900-х годов замысел, позднее воплощенный в «Деле Артамоновых» еще не откристаллизовался. Надо полагать, решающее значение в этом играл тот факт, что писатель, как он выразился в цитированном выше письме, пока не видел конца задуманной книги.

Отодвигая сроки осуществления замысла, Горький отнюдь не утрачивал интереса к нему. Напротив, после беседы с В. И. Лениным начинается этап более интенсивных раздумий над темой и сюжетом произведения. Гостивший в 1914 г. у Горького в Финляндии Д. Н. Семеновский впоследствии вспоминал: «Меня интересовали творческие замыслы Горького. Он просто и охотно отвечал, что собирается написать большую повесть, если не ошибаюсь, о вырождении купеческой семьи, историю трех поколений» (Д. Н. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи. М., 1940, стр. 85; см. также воспоминания Л. П. Пасынкова, встречавшегося с писателем летом 1916 г.— *Г Чтения*, 1949, стр. 154—155).

Сопоставление этих свидетельств с рукописными материалами, хранящимися в Архиве А. М. Горького, позволяет предполагать, что в годы первой мировой войны Горький не только пересказывал, варьировал, «проверял на слух» отдельные мотивы произведения о трех поколениях буржуазной семьи, но и непосредственно работал над ним. К осени 1916 г. работа настолько продвинулась вперед, что он разрешил поместить в ноябрьской книжке журнала «Летопись» объявление:

«В течение 1917 года в „Летописи“ будет напечатано: Ф. Шаляпин. Автобиография, редактированная М. Горьким <...>; М. Горький. „Атамановы“ (повесть); „Письма к читателям“» («Летопись», 1916, № 11).

Анонс о новой повести Горького продолжал печататься с января по апрель 1917 г. (№№ 1—4), свидетельствуя по крайней мере о том, что автор не прекращал работу и в начале 1917 г.

Таким образом, первый вариант произведения, который условно можно назвать «прародакцией», под заглавием «Атамановы», с жанровым обозначением «повесть», возникал, очевидно, в 1916—1917 годах.

Существование «прародакции» подтверждается не только анонсом в «Летописи», но и дошедшими до нас двумя фрагментами из рукописи того времени, позднее использованными писателем в $ЧА_1$: листы 7 (двойной, 4 страницы) и 8 (2 страницы). Остальные листы «прародакции» до нас не дошли, поэтому представить себе объем первоначальной рукописи невозможно. Была ли она доведена до конца — неизвестно.

Указанные отрывки из «прародакции» относятся к сцене свадьбы Петра и Натальи. Листы 7—8-й отличаются от остальных по внешнему виду; более мелкий почерк, черные чернила; отличаются они и по орфографии (употребляется твердый знак).

Текст дважды правлен автором. Исходя из цвета чернил, почерка и орфографии, текст можно расслоить: отбросив второй слой вставок и восстановив позднейшие вычерки, получим текст «праредакции». Исходный текст и первый слой правки (черными чернилами) почти одновременны,— приблизительно они датируются 1916 г.; другой слой правки сделан не ранее 1924 г.— чернила синие, твердый знак отсутствует.

В результате второй правки в текст внесены существенные изменения: жители города, вместо «мямлинцев», именуются «дремовцами», на свадьбе появляется (в окне) фигура землекопа Тихона Вялова; вместо «сухонького рыжего дьячка» — «поп бородатый, длинный» и т. п. (см. варианты).

В 1917 г. работа над «Атамановыми» была прервана. Победа Октябрьской революции не только «дала» Горькому «конец книги», но и, несомненно, побудила его заново рассмотреть весь свой замысел.

Мы не располагаем точными данными о том, когда Горький вернулся к работе над произведением о трех поколениях буржуазной семьи. Предположительно, это могло быть летом — осенью 1923 г. в Германии, во Фрейбурге (см.: А л е к с а н д р О в ч а р е н к о. В этом бушующем мире. М., 1972, стр. 163).

Переехав в ноябре 1923 г. из Фрейбурга в Марианские лазни (Мариенбад), он постепенно весь ушел в работу над «Делом Артамоновых». Жившая тогда у Горького поэтесса Н. Н. Берберова вспоминала: «...в полном одиночестве, окруженный только семьей или людьми, считавшимися ее членами, Горький погрузился в работу. В то время он начал писать „Дело Артамоновых“ <...> В ту зиму всё постепенно отступило перед работой. „Дело Артамоновых“ подвигалось, разрасталось, захватывало Горького всё сильней и полней и постепенно оттесняло все другие интересы...» (Н. Н. Б е р б е р о в а. Три года с Горьким.— «Последние новости», 1936, № 5574, 28 июня).

Сначала Горький пытался совместить работу над «Делом Артамоновых» с завершением других замыслов. «Кончил рассказ, начал другой, скоро сдам материал для новой книги, эта будет большая»,— писал он П. П. Крючкову 5 мая 1924 г. (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-48).

Непрерывной и весьма напряженной работа над «Делом Артамоновых» стала с весны 1924 г., когда писатель переехал в Сорренто. Продолжалась она до середины апреля 1925 г. С июля 1924 г. в письмах Горького появляются сообщения о ходе работы, довольно скупые и самокритичные. «Решил писать большую повесть о фабриканте, вот будут ругать меня за нее!» — замечает он в письме к В. Ф. Ходасевичу от 13 июля («Новый журнал». Нью-Йорк, 1952, кн. 31, стр. 195). И через две недели: «Пишу огромную повесть» (там же, стр. 196).

В начале августа 1924 г. Горький известил М. Ф. Андрееву: «Пишу повесть; если удастся — будет интересна, но, кажется, я ее уже начал растягивать. Скорблю» (Архив А. М. Горького. ПГ-рл-2а-1-47). Чувство опасения проскальзывает и в письме к Ходасевичу от 10 августа: «Ох, я пишу повесть, ох, меня будут

всесторонне ругать за нее» («Новый журнал», 1952, кн. 31, стр. 197).

Горький намеревался закончить работу в августе. Именно в это время, в письмах из Берлина и Эстонии, М. И. Будберг неоднократно его спрашивает: «Как подвигаются „Атамановы“?», и позднее: «Как повесть?» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-157-60, 65, 66).

19 августа, в предвидении окончания работы, Горький предложил новое произведение Тихонову для журнала «Русский современник» (письмо Тихонова от 5 сентября 1924 г.— Архив А. М. Горького, КГ-п-76-1-32), а 23 августа сообщил Крючкову в Берлин: «Скоро кончу повесть» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-51).

В конце августа 1924 г. первая редакция «Дела Артамоновых» ($ЧА_1$) была завершена. Ставя об этом в известность Крючкова 29 августа, Горький вместе с тем выразил чувство неудовлетворенности сделанным: «Написал повесть листов 10, но всю ее надо переделывать. Переделаю» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-52).

Писатель в те же дни приступил к переделке и уже 1 сентября сообщал Крючкову: «Пишу повесть» (там же, ПГ-рл-21а-1-53). Авторская оценка произведения в шутливом тоне дана Горьким в письме В. Ф. Ходасевичу от 5 сентября 1924 г.: «...погряз в повести, очень бытовой и в такой мере скучной, что если за скуку где-нибудь дают премии — первая премия обеспечена, я ее получу» («Новый журнал», 1952, кн. 31, стр. 199).

В сентябре — октябре 1924 г. произведение было целиком переписано заново ($ЧА_2$). Внешне эта вторая рукопись (вернее, ее исходный текст) кажется беловой автокопией $ЧА_1$: они одинаковы по объему, сюжетно-композиционная канва остается в основном прежней: те же начало, конец и т. д. (на этом этапе произведение состояло из трех частей). Однако сличение текстов выявляет множество разночтений, позволяющих понять, как в процессе работы развивался и уточнялся замысел и какими средствами писатель добивался его художественного воплощения.

Существенно доработан образ Артамонова-старшего. Так, в сцене свадьбы, как, впрочем, и в других сценах, подчеркивались развязность, грубоватая крикливость, хвастовство Артамонова: «Но он, сбросив с плеч поддевку на пол, орал: — Жив быть не хочу — иди!»; «— Петруха, не робей»; «— Ладно, тетка, перестань ворчать,— сердито сверкнув глазами, крикнул Артамонов...» ($ЧА_1$, лл. 6, 7, 8). Всё это в $ЧА_2$ снимается.

Взаимоотношения Ильи Артамонова-старшего с горожанами в $ЧА_1$ были более неприязненными и описывались подробнее, характеристики «лучших людей» Дремова были обстоятельнее. Воссоздавая «дремовское» восприятие ворвавшейся к ним новой, непонятной силы, писатель пользовался определениями, которые позднее снял или заменил: «грубый человек», «неуклюжий человек», «не речист, глядит неласково», «говорил сурово» (стало: «говорил с досадой») и т. п. Но Илья, хотя он и поражал, и пугал обитателей городка своей энергией, еще был

менее уверен в себе, порой обидчив и подозрителен. Иногда он старался как бы задобрить горожан: «— Ты — не беспокой себя, я приданые не трону, а медведей ваших прикормить надо...»,— говорил он Баймаковой ($ЧА_1$, л. 9). Артамонов пытался умерить неприязнь «дремовцев», используя авторитет Баймаковой: «Ульяну-то Ивановну вы, парни, уважайте, это женщина достойная, она во многом хорошей рукой может быть для нас. Ты, Никит, поласковее с ней будь, ты это умеешь. Она тебя хвалит» ($ЧА_1$, л. 6).

В $ЧА_2$ Илья — человек твердо уверенный в своей силе и в своем «деле», подозрительность его сменяется презрением к жителям Дремова. Вместо: «...он подозрительно из-под бровей смотрит на собеседников,— не догадались бы о его мыслях» ($ЧА_1$, л. 10), стало: «....он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан,— это дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора — нет» ($ЧА_2$, л. 10).

Ранее, после слов Никиты об отношении «дремовцев» к Артамоновым — «Не любят», было: «Илья сел, поглядывая на парней своих исподлобья, жуя бороду» ($ЧА_1$, л. 4). Позднее стало: « — Что ты мне, словно девка, всё про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!» ($ЧА_2$, л. 4).

Изображая Илью уверенным в себе, верящим в будущее своего «дела», Горький меняет и его отношение к дворянству. В первой редакции ($ЧА_1$) в Илье еще чувствовался недавний крепостной: он занимал у князя Ратского деньги на фабрику и самого князя брал «в долю»; сохранял чувство сожаления к «господам», говоря детям: «Господа — жесткий народ, жалости к людям нет у них, а все-таки надо помнить: они первые люди на земле, учены, всё понимают. Ни купца, ни чиновника рядом с ними не поставишь. Купец — робок, да и закон для него теснее. А — погодите! — должен и купец осмелеть» (л. 3). Эти слова Горький в $ЧА_2$ снял, вложив в уста Ильи энергичный приговор: «Дворянству — конец подписан, теперь вы сами дворяне,— слышите?» (л. 3).

Сцена смерти Ильи становится трагичнее, получает более символическое значение. Слова Артамонова на смертном одре: «Эх, ошибся я, господи...» — появляются только в $ЧА_2$ (вставка на полях), в результате чего сцена неудачного подъема котла приобретает более глубокий смысл. Котел, задавивший Илью, во второй редакции назван «железным чудовищем» с «круглой пастью».

В процессе переработки первой части изменялись образы и представителей второго поколения — Петра, Никиты, Алексея, Натальи. Общая тенденция авторской работы над ними — «понижение типа» (см. варианты).

Роль Тихона Вялова (ранее Сидора Перегудова) в $ЧА_2$ значительно возрастает, образ этот становится глубже, сложнее, «загадочней». Намечается определенное сюжетно-психологическое «соприкосновение» образа Тихона с образом городского дурачка Антонушки: после похорон Ильи Тихон разговаривает с Антонушкой; в концовке первой части появилось сравнение Тихона

с Антонушкой дурачком и зазвучали слова юродивого о кибитке, потерявшей колесо...

Авторские поиски были направлены к углублению исторической концепции произведения. В $ЧА_2$ расширяется социально-исторический фон. Семья Артамоновых включается в более конкретный общественный «контекст». Для этого писатель создает сцены вечеров (или вечеринок) в доме Алексея Артамонова, выдвигая на первый план фигуру Коптева, образ которого был только намечен в предшествующей рукописи. Коптев выступает теперь как идеолог капиталистического прогресса. Вместе с функциями деятеля новой, капиталистической формации, ему передаются некоторые черты Алексея,— например, его любимая поговорка: «Для пользы дела. Для здоровья дела» с характерным дополнением: «Наше спасение техника. Промышленность...» ($ЧА_2$, л. 37).

И в $ЧА_1$ и в $ЧА_2$ вторая часть завершалась эпизодом разрыва Ильи-младшего с отцом и «делом». Но в $ЧА_2$ вводится новый мотив, освещающий этот эпизод по-иному,— мотив «двух правд», который будет звучать вплоть до конца произведения, как и мотив «двух дел». Истощив аргументацию, Петр в гневе восклицает: «Так значит — отец говорит неправду?» — «Есть другая правда»,— отвечает ему Илья ($ЧА_2$, л. 44). Эпизод достигает большего идейного накала еще и потому, что полностью перерабатывается сцена — Петр на берегу Окп. В $ЧА_2$ не только удаляются эпизодические персонажи — акцизный чиновник Кукольский и его сын, но снимаются все рассуждения Петра на тему «отцы и дети», снижавшие идейную остроту конфликта.

Третья часть произведения в $ЧА_1$ и $ЧА_2$ начинается с изображения ярмарки.

Нижегородская ярмарка в $ЧА_1$ — пока просто ярмарка, а не «Всероссийское торжище». Черный, похожий на пуделя, человек, призывающий к разгулу, еще не «Друг человечества», провозглашающий кабацкий кутеж промышленников «Крещением Руси». Не даны его «философия», его биография. Нет глубинных душевных реакций Петра и других слушателей на его речи. Пауле Меноттп в $ЧА_1$ присущи вульгарные черты ярмарочной дивы; повествуется о ней пространно, но в ее описании нет еще важнейших элементов созданного впоследствии образа. К Никите Петр заезжает после ярмарки не искать утешения, а лишь затем, чтобы не являться домой «пропитанным вином и едкими запахами ярмарочных женщин»,— сюжетная мотивировка еще лишена глубины.

В первой и второй редакциях нет ключевого эпизода с повесившимся клоуном,— эпизода, раскрывающего жестокость и злобность Алексея Артамонова. Нет в $ЧА_1$ и многих других эпизодов, возникших в последующих редакциях.

В $ЧА_1$ подробно описаны: возвращение Петра домой, раздача подарков домочадцам и слугам и последующая сцена между Петром и Натальей, умиляющая его до слез. Эти сцены опущены в $ЧА_2$ — очевидно, как психологически неоправданные, идущие вразрез с растущим отчуждением между Петром и окружающими.

В $ЧА_2$ со времени возвращения Петра в Дремов особенно

сгущается мрачный колорит происходящего. Артамонов всё острее ощущает свое поражение: «Быком, наклоня голову, Артамонов ходил по корпусам, по двору, амбарам, заходил в поселок и всюду ощущал нечто странное: в этом большом деле он является почти лишним, как бы зрителем» ($ЧА_2$, л. 53). По линии всё более резкой отчужденности и идет развитие образа Петра Артамонова в $ЧА_2$. Обращаясь к прошлому, к истокам своей жизни, Артамонов неприязненно думает о своем отце, который «не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену, и взвалил на плечи его большое тяжелое дело» ($ЧА_2$, л. 57).

В $ЧА_2$ опущена сцена встречи Петра с представителем семьи ткачей Морозовых — умирающим от чахотки Акимом, исповедовавшим идеи толстовства. Эта фигура не согласовывалась с важнейшей тенденцией произведения, которая нашла выражение в восходящей линии, характерной для изображения рабочей семьи Морозовых.

Усиливается мотив отчужденности в отношениях Петра Артамонова с рабочими, мотив его изоляции от действительности вообще, которая становится для него всё более непонятной, бессмысленной.

И в $ЧА_1$, и в $ЧА_2$ третья часть — завершающая. В ней разрешается основной конфликт, воплощенный в бунте Ильи Артамонова-младшего, порывающего с семьей и «делом». Илья здесь — главный представитель третьего поколения Артамоновых. Яков, Мирон, Татьяна и ее муж Дмитрий Каратыгин (в окончательной редакции — Логинов) выступают в качестве второстепенных персонажей, раскрываемых преимущественно в косвенных характеристиках через восприятие Петра. Много места уделяется размышлениям Петра об Илье. Мирон старается не только изложить Петру политическую позицию Ильи, но и внушить ему неприязнь к сыну: «Илья чужой нам человек» ($ЧА_1$, л. 65), «совершенно чужой человек» ($ЧА_2$, л. 61). Петр Артамонов не хочет верить, что Илья всё еще живет «мальчишескими мыслями», которые были когда-то причиной их ссоры, и истолковывает рассказ Мирона по-своему,— как попытку восстановить его против сына и отстранить Илью от «дела».

В $ЧА_2$ появляются новые лица, образы которых расширяют и углубляют картину роста сознания рабочего класса. Вместо эпизодической фигуры анархически настроенного кочегара Василия Кротика (или Кротова), возникает фигура рабочего Захара Морозова. Значение этого образа подкрепляется авторской ремаркой, появившейся в $ЧА_2$: «Этот человек стал сразу как-то особенно заметен, точно фонарь, зажженный в ночной осенней тьме» ($ЧА_2$, л. 67).

Кульминационный пункт в $ЧА_1$ и $ЧА_2$ — приезд Ильи домой вскоре после Февральской революции 1917 г. Неожиданное появление его Петр уподобляет возвращению «блудного сына» под отчий кров. Но тут еще резче выделены в образе Ильи черты, отличающие его от Артамоновых. Если в $ЧА_1$ он становится чужим «брату и сестре», то в $ЧА_2$ появляется обобщение: он

«с каждым часом становился всё более чужим в доме» ($ЧА_2$, л. 69), т. е. чужим всем Артамоновым. Основной конфликт произведения находит разрешение в новом бунте Ильи, порывающего с семьей, с «делом» и уходящего к настоящему делу — делу революционной борьбы.

В конце октября 1924 г. Горький считал работу над произведением завершенной. «Повесть я давно кончил»,— уведомлял он Крючкова 31 октября (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-55).

Но творческая история произведения на этом не закончилась. 10 декабря 1924 г. Горький сообщил И. П. Ладыжникову: «Живу, усердно работая. Написал большую повесть, но — плохо, переделываю» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 246).

Начало работы над третьей редакцией, видимо, следует отнести к ноябрю 1924 г. Горький начал коренную переработку произведения со второй части. Третья (черновая) редакция осуществлялась на рукописи $ЧА_2$,— редакция эта отчетливо видна, потому что сделана черными чернилами, тогда как исходный текст $ЧА_2$ написан синими чернилами. Правка с каждой страницей увеличивается, затем появляются вставки на листах из блокнотов и вновь написанные листы.

В третьей редакции дано более углубленное изображение рабочей среды. С этим связана и тема нарастающего страха Артамоновых перед новой исторической силой. Самые обширные вставки посвящены характеристике рабочих, их жизни на фабрике и процессу пролетаризации крестьянства, пришедшего на фабрику. Параллельно углубляется тема развития «дела». Появляется чувство хозяйской гордости у Петра: «приятно было видеть себя хозяином всего этого, даже до удивления, до гордости приятно» ($ЧА_2$, л. 37). Но при взгляде на «сизый дым фабричной трубы» Петром овладевает скука.

Созданные в третьей редакции картины и зарисовки рабочего быта даны через восприятие Петра, как его личные наблюдения. Процесс пролетаризации крестьянства, пришедшего на фабрику, Петр воспринимает как процесс утраты фабричными рабочими крестьянского облика, разрушения патриархальных устоев жизни. Особенно резко меняется молодежь: «молодых фабрика очень быстро делала не похожими на мужиков». Они становятся «неприятно озорниковатыми», «слабосильными», теряют «мужицкую выносливость», «заразились какой-то бабьей раздражительностью, становясь обидчивыми и огрызаясь» ($ЧА_2$, л. 38—39, вставка).

Заканчивается вторая часть в новой редакции поездкой Петра в монастырь. Под сенью обители, у брата Никиты, Петр стремится найти разрешение волнующих его проблем, но находит человека, которого «настоятель выдумал».

Наиболее существенной переработке подверглась третья часть произведения, что в огромной степени связано с началом формирования новой — четвертой — части.

Первая половина третьей части становится самостоятельной третьей частью. Весь эпизод посещения Петром Никиты в монастыре отнесен в конец второй части и предшествует ярмарке,

а не следует за ней, как было в первых двух редакциях. Эта перестройка вызвана новой сюжетной мотивировкой: после ссоры с Ильей Петр едет в монастырь к Никите в поисках нравственного утешения, в надежде обрести спасительную мудрость, а вместо этого становится свидетелем тяжелого духовного кризиса самого «утешителя». И уже после этого бросается в разгул «Всероссийского торжища», тщетно ища забвения.

Начало третьей части в новой редакции, как и в предшествующих, посвящено пребыванию Петра на ярмарке, но повествование ведется под другим углом зрения,— теперь внимание фиксируется не на последовательном ходе событий, а на отдельных эпизодах, всплывающих в памяти. В этом сказывается бессилие Петра осознать происходящее: «В разорванных картинах этих Петр не мог восстановить связь» ($ЧА_2$, л. 1).

В духе общего нагнетания тревожной атмосферы возникает — в описании пути пьяной компании к Пауле Меноттн — мрачная картина переезда через канал Бетанкура, вошедшая в окончательный текст и проникнутая ощущением надвигающейся гибели.

Вместо трех явлений Паулы Меноттн, теперь изображается лишь одно. Но единственное ее появление дано с предельным углублением образа. Возникновение Паулы Меноттн в воспоминании Петра предваряется обобщением: «Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это женщина по имени Паула Меноттн» ($ЧА_2$, л. 2). Краткая характеристика Паулы Меноттн — «Омут естества» — разрастается в зловещий образ «чарусы» — красивой лужайки в болотистом лесу, на которой «трава особенно шелковиста и зелена, но если ступить на нее — провалишься в бездонную трясину» ($ЧА_2$, л. 2).

В третьей редакции — после возвращения Петра домой сильней выявляется мертвенность окружающей его жизни: «По двору и саду ходил тяжелый ∞ как машина, Тихон Вялов»... «В доме тоже, как машина, действовала Наталья» ($ЧА_2$, л. 53).

Завершая третью часть в этой редакции событиями 1905 года, Горький как бы подчеркнул исторический принцип построения произведения. В следующей части должна быть изображена новая историческая фаза и в «деле» Артамоновых, и в жизни рабочих, и в жизни всей страны.

Четвертая часть «Дела Артамоновых» возникла в процессе работы над третьей редакцией произведения. Большая часть ее была написана заново, остальной материал составили радикально переработанные эпизоды и сцены, перенесенные из второй половины третьей части. Это прежде всего эпизоды смерти и похорон Алексея, возвращение и смерть Никиты, финальная сцена в беседке. Новая часть особенно отчетливо показывает, что вся третья редакция явилась результатом изменения и уточнения авторского замысла в целом. Прежде всего она связана с новой трактовкой третьего поколения семьи Артамоновых и усилением значения в произведении семьи ткачей Морозовых. В новой редакции, с одной стороны, полнее раскрывается тема упадка физических, интеллектуальных и моральных сил русской буржуазии, с другой — усиливается тема нарастания классо-

вого самосознания пролетариата. Изображению классовой борьбы автор отводит значительно больше места, чем во второй редакции.

Если раньше Петр Артамонов оставался центральной фигурой до конца произведения, то теперь в конце автор выдвигает на первое место Якова.

Несколько лет спустя, в письме начинающему писателю В. А. Нарижному (7 марта 1929 г.) Горький так объяснил причину изменения конца произведения: «„Дело Артамоновых" изображает процесс разложения буржуазии, показывает ее биологическую слабость; у нас, так же как в США, она давала в третьем поколении дегенератов. Илья для этого процесса — не типичен...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-27-19-1). Именно поэтому в новой редакции Горький сокращает роль Ильи Артамонова-младшего. Снимается эпизод его возвращения в отчий дом после Февральской революции. Финалу в новой редакции непосредственно предшествует развернутая картина жизни Артамоновых между Февралем и Октябрем. Заново написаны споры на политические темы, ведущиеся в доме Артамоновых, показано изменение настроений Мирона, Татьяны и Якова. Февральскую революцию они встретили восторженно: «Теперь всё должно пойти отлично»,— говорит Яков ($ЧА_2$, л. 68).

В целях более глубокого раскрытия образа Якова в произведение вводятся новые персонажи: любовница Якова Полина Назарова, сыщик Носков, «хладнокровный поручик» Маврин. Больше отводится места жандармскому офицеру Нестеренко. Вокруг Якова завязывается новый сюжетный узел. Именно в Якове выявляется с наибольшей силой нарастание, усиление страха Артамоновых перед революцией. Особенно остро звучит эта тема в его отношениях с сыщиком Носковым. Страх пронизывает и размышления Якова о рабочих. Если Петр замечал в рабочих прежде всего утрату крестьянских черт, то Яков, наблюдая рабочих, всегда испытывает «темное чувство страха». Именно об этот страх разбивается философия паразитического покоя, которую создал себе Яков Артамонов. Страх приобретает у него характер кошмарных видений.

Развивая линию исторического противопоставления Артамоновых и потомственных ткачей Морозовых, писатель уже во второй редакции произведения вывел на сцену Захара Морозова. Но только в третьей редакции уточняется диалог его с Яковом (ранее Петром) по поводу войны,— образ получает новые черты.

В третьей редакции глубже обоснована историческая неизбежность гибели «дела Артамоновых». Классовые конфликты перенесены на более широкую историческую арену. Возникают эпизоды и картины, воплощающие центральный конфликт эпохи: массовые сцены, аресты революционеров, действия полиции и провокаторов. Нарастает страх Артамоновых перед новой исторической силой. Известие о гибели Якова служит сигналом бедствия. Исчезает «веселый» зять — Митя Логинов, бегут Мирон и Татьяна. На обломках «дела Артамоновых» остаются окончательно выбитый из колеи, деградировавший Петр и вечный спутник семьи Артамоновых Тихон Вялов. Где-то за сценой

действует Илья. Диалог Петра с Тихоном Вяловым в беседке (ранее в бане) завершает произведение во всех редакциях. Однако только в третьей редакции он получает своеобразно обобщающий, даже символический смысл. «Обвинительная» речь дворника приобретает бо́льшую экспрессию: «Вот оно как повернулось: всем каторга! И — пришло. Смахнули, как пыль тряпицей...», «Кибитка потерял колесо...»

В финале произведения завершается историческое противопоставление семьи ткачей Морозовых и семьи фабрикантов Артамоновых. На вопрос Петра: кто командует во дворе фабрики, Тихон Вялов отвечает: «Захарка Морозов».

Работа над третьей редакцией «Дела Артамоновых» была закончена, по-видимому, в начале марта 1925 г.

Переработке подверглось всё произведение, за исключением первой части. Эта часть не претерпела существенных изменений и тогда, когда Горький окончательно отделывал текст всего произведения. Более того, в редакции $ЧА_2$ Горький переслал ее в начале марта Крючкову в Берлин для перепечатки, признав тем самым за начало *БА*; части же вторую, третью и четвертую принялся переписывать набело. Имея в виду первую часть, М. Ф. Андреева писала 9 марта 1925 г. из Берлина Горькому: «...Читала „Артамоновых“ — понравилось очень, но — хотелось бы продолжения, нового поколения, зная эту твою тему. Изумительными вышли многие места. Свадьба — хороша!» (*Андреева*, стр. 367).

В первых числах апреля 1925 г. в Берлин были отправлены вторая и третья части произведения. 8 апреля 1925 г. М. Ф. Андреева сообщала Ладыжникову: «Только что проездом в Эстл<яндию> Мария Игнатьевна привезла II и III части „Артамоновых“— чудесно!! Давно я так не наслаждалась» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-2-1-122).

Видимо, в начале третьей декады апреля Горький послал для перепечатки и четвертую часть, так как уже 24 апреля М. Ф. Андреева сообщила ему : «Запоем накинулась на вторую часть „Артамоновых“, но П<етр> П<етрович> вырвал ее у меня, не дав прочесть, и отдал в переписку!» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-159-51).

Перепечатка четвертой части задерживалась, поэтому 18 мая писатель обратился к Крючкову: «А что, вторая часть повести не напечатана еще? Если напечатана — пришлите. Как Вам она нравится?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-66).

15 марта 1925 г. он сообщал С. Цвейгу: «Я написал книгу — большую повесть — и хотел бы посвятить ее Роллану. Но я не знаю, доставит ли это ему удовольствие. Что вы об этом думаете?» (*Архив* $Г_{VIII}$, стр. 19). На это С. Цвейг ответил: «Посвящая Ромену Роллану Вашу книгу, Вы доставите ему огромную радость» (там же, стр. 19). 17 мая 1925 г. Горький, сообщив Р. Роллану о «Деле Артамоновых», просил его: «Разрешите мне посвятить эту повесть Вам — человеку, которого я люблю и почитаю. Пожалуйста, позвольте мне сделать это» (*Архив* $Г_{VIII}$, стр. 358). «Ничем в мире я не буду так гордиться и ничто не сде-

лает меня таким счастливым,— отвечал Р. Роллан 22 мая 1925 г.— как это свидетельство Вашей дружбы. Благодарю Вас от всего сердца!» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-ф-6-1-6).

В июле 1925 г. Горький держал корректуру «Дела Артамоновых», выходившего отдельным изданием *К.* 22 июля 1925 г. он писал Крючкову: «Возвращаю корректуру повести; очень прошу Вас: попросите корректора о внимательном просмотре <...> Прилагаю листочек с посвящением, пожалуйста, попросите, чтоб не забыли напечатать» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-68). И в письме от 12 октября 1925 г. тому же адресату: «...возвращаю корректуру. Попросите корректора внимательно просмотреть IV-ю часть, я там кое-что выкинул» (там же, ПГ-рл-21а-1-82).

Поправки, уточнения Горький вносил на этом этапе и в другие части произведения.

Еще в мае 1925 г. Горький уведомлял С. Цвейга: «Книга, которую я посвятил Роллану, будет скоро напечатана на русском языке в Германии» (*Г-30*, т. 29, стр. 429). Но вышла она в свет только в середине января 1926 г. Об этом сразу же сообщил Горькому Крючков: «Новая книга „Дело Артамоновых“ вышла в новом издании. Посылаю один экземпляр с Марией Игнатьевной. На днях вышлю дополнительно» (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-4). 28 января 1926 г. Горький, отвечая К. А. Федину на вопрос, где печатается повесть, писал: «„Дело Артамоновых“ вышло в Берлине...» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 500, 503).

В России «Дело Артамоновых» вначале печаталось отрывками в журналах «Прожектор» (1926, №№ 1, 2) и «Красная новь» (1926, №№ 1, 2, 3), хотя сам Горький предполагал опубликовать произведение целиком в «Красной нови» сразу же после выхода его за границей. Еще 18 июня 1925 г. он писал А. К. Воронскому: «...повесть у меня готова, но, чтоб не терять авторских прав в Европах, мне надо сначала выпустить ее здесь, что и делается. Вы ее получите в августе» (*Архив Г*$_{х}$, кн. 2, стр. 20).

Уезжавший в это время в командировку за границу работник Наркомвнешторга М. А. Сергеев, по его позднейшему рассказу, имел поручение заведующего Ленгизом И. И. Ионова получить оригинал повести от самого автора или, с его разрешения, от торгпредства. «Красная новь» и Ленгиз «всячески стремились издать повесть,— пишет он,— если не раньше, то хотя бы одновременно с заграничной публикацией». 18 октября 1925 г. Горький сообщил Сергееву, что «рукопись „Артамоновых“ находится в Берлине, в „Книге“, ибо, оказывается, хозяин ее — Берлинское торгпредство и право вести переговоры с Ионовым принадлежит ему». Лишь в конце ноября Сергеев, как он вспоминает, получил в берлинском торгпредстве верстку повести и отправил ее Ионову («Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 167. Тарту, 1965, стр. 209—210).

А. К. Воронский получил от Ионова «Дело Артамоновых» в декабре 1925 г. 28 декабря 1925 г. он писал Горькому: «„Дело Артамоновых“ я получил от Ионова, наконец-то. Но Ионов мне заявил, что книга выйдет из печати <в СССР> в конце февраля.

Так что я могу воспользоваться рукописью только для январской и февральской книжек. Само собой разумеется, что напечатать весь роман в 15 листов я не могу. Мне придется дать отрывки. Я сегодня сдал в набор начало романа. Очевидно, придется закончить смертью Ильи Артамонова (первая глава). Никакого другого выхода у меня нет <...> Как жалко, что рукопись так поздно получена мною!» (*Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 27). В этом же письме Воронский просил разрешения взять отрывки для «Прожектора». В письме <от 3 марта 1926 г.> Воронский сообщал Горькому: «Тов. Ионова я кое-как уломал. „Дело Артамоновых“ в Ленгизе появится из печати в апреле, так что я взял для третьей книжки „Нови“ еще большой отрывок из романа <...> Очень жаль, что Ионов тянул и уверял меня, что книга выйдет в январе, а потом заявил: можно подождать до апреля. Если бы он заявил это с самого начала, я успел бы напечатать весь роман» (там же, стр. 28).

Первое отдельное издание «Дела Артамоновых» в СССР (Л., ГИЗ, 1926) вышло в свет в мае, о чем автору сообщил И. А. Груздев (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 52). В ноябре того же года вышло второе издание (на титуле: 1927, «Дешевая библиотека Госиздата»). 5 ноября Груздев писал Горькому: «...мы выпускаем 2-е издание „Дела Артамоновых“, внешне это издание будет лучше первого, на хорошей бумаге, с обложкой Кустодиева» (там же, стр. 89). Во второй половине ноября книга в этом издании была послана Горькому (там же, стр. 93, 94).

Уже во время работы над корректурами, как это бывало у Горького почти всегда, он начал испытывать чувство неудовлетворенности своим новым произведением. «Написал большую повесть „Дело Артамоновых“, история трех поколений одной семьи,— сообщал он К. А. Федину 3 июня 1925 г.— Говорят — не плохо, но я не знаю. Всё, что я пишу, мне определенно не нравится» (*Г-30*, т. 29, стр. 430).

Видимо, стремясь узнать мнение читателей о произведении еще до выхода его из печати, Горький в конце августа и начале сентября 1925 г. в течение нескольких вечеров читал его гостившему в Сорренто режиссеру П. А. Маркову, драматургу Н. Р. Эрдману, В. М. Ходасевич (П. А. Марков. Встречи с Горьким.— «Театр», 1959, № 6, стр. 132—133), пианисту И. А. Добровейну (Архив А. М. Горького, ПТЛ-7-73-16).

После выхода «Дела Артамоновых» в свет Горький в письмах к друзьям, знакомым, литераторам не раз спрашивал, что они думают о его новом произведении. В письме Добровейну от 10 февраля 1926 г.: «Посылаю Вам, милый Исай Александрович, „Дело Артамоновых“ <...> Прочитав „Дело“, напишите, как это Вам понравится» («Москва», 1968, № 3, стр. 211). В письме А. Н. Тихонову от 4 апреля 1926 г.: «„Артамоновых“ читали? Что скажете?» (*Г Чтения*, 1959, стр. 52). Б. М. Зубакину в январе 1927 г.: «Если скажете что-нибудь об „Артамоновых“ — буду благодарен» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-16-34-2).

Первые отзывы поступили от писателей, которым Горький

послал берлинское издание произведения и мнением которых, по-видимому, особенно дорожил. 10 февраля 1926 г. он писал Федину: «...посылаю Вам „Дело Артамоновых“. Прочитав, сообщите, не стесняясь, что Вы думаете об этой книге и, в частности, о Вялове, о Серафиме. О личном моем мнении я, пока, умолчу, дабы не подсказывать Вам тех уродств, которых Вы, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, и не заметите» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 504). На следующий день — М. М. Пришвину: «Посылаю Вам еще книгу, написанную уже после „Рассказов“,— пожалуйста, прочитайте! Когда я писал ее — она мне нравилась, а напечатал и — не мог прочитать» (там же, стр. 330).

27 марта 1926 г. Федин отвечал Горькому:

«Совершенно изумительно начало романа. Илья Артамонов-старик поражает, *подавляет* своею жизненностью. С первых строк книги и до самой своей нелепой смерти он *движется* по книге, так что страшновато и сладко *за ним глядеть*. Замечательно вот что: когда я прочел *его* (это именно так), мне показалось, что я — выше ростом, что у меня очень широкие плечи, что я силен и немножко неуклюж. Я поймал себя на том, что у меня переменился голос, я помню, как заговорил с дочерью — по-новому — со странным чувством превосходства отца ⟨...⟩ Это заражение, исходящее от Артамонова Ильи, по-моему, решает всё: книгу уже нельзя не полюбить. Хорош Тихон Вялов, и совершенно неожиданно открывается — кто он, так что только в конце книги понимаешь всю силу этого человека. Думаю, что Вялов искуснее других героев раскрыт читателю; он всё время — загадочен и кажется „хорошим человеком“ неспроста, но почему — так и не знаешь; конец же подымает его на голову выше „хорошего человека“, делает его героем, вся его жизнь у Артамонова, у „убийцы“ становится послухом, борьбою с искушением. Образ Натальи хорош вначале, так же — Алексея (Никита от начала до конца сделан очень сильно, человек „во плоти“). К концу Алексей как будто туманнее, его превращение в либеральствующего дельца воспринимается сухо, это что-то головное. Наталья-невеста — прекрасна, первая ночь ее с Петром (и Петр в эту ночь) — взволнованная, чистая и мастерски совершенная сцена ⟨...⟩

Вот что мне грустно и больно видеть в Вашей книге: ведь старик-то поистине великолепен, Илья старший! Ведь он *умел* и *сумел*. А сыны? У Петра всё катится потому, что не может не катиться. Алексей форсит и сюсюкает (В Нижнем Петр хорош, Алексей отвратителен). А внучата — дрянь. И „дело“ — под конец тоже дрянь. Вот, разве, Илья-внук? Да ведь он *так и не появился на „деле“* и, надо думать,— ходит нынче с портфелем, заседает, „прекрасен в абстракции“. Я не насчет идеологии, а насчет „дела“.

Серафим хорош, но из „утешителей“ у Вас лучший в рассказе „Отшельник“. Серафим циничнее, суетливее, не излучает того света, что Отшельник. Никита очень примечателен. Жалко, что он слегка глуповат: поумней — восстал бы» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 508—510).

Наряду с восторженными отзывами об отдельных образах, Федин отмечал «композиционный недочет» книги: «Не знаю,— замечал он,— была ли это Ваша композиционная задача: строить первые части романа на „людях“, вторую — на „деле“. Это совпадает с темой (я понимаю ее так: дело, движимое вначале волею человека, постепенно ускользает из-под его влияния, начинает жить само собою, *своею* волей, более мощной и непреоборимой, пока — в революцию — окончательно не освобождается от человека). Но такое построение романа привело к тому, что он стал несоразмерим в частях, ибо Вам пришлось во второй половине либо кратко упоминать об обстоятельствах и условиях роста „дела“, либо повествовать о людях (излагать), тогда как в первой половине вы *изображаете* людей. Ведь то, что происходит на протяжении 90-х—917 годов, несравненно больше *количественно*, чем 60-е—80-е годы. Основание „дела“ Артамоновыми, его первые шаги заняли, примерно, лет 7, т. е. к 70-му году „дело“ уже вертелось. На изображение этого ушло полкниги, а в другую половину книги умещено 47 лет (приблизительно, конечно), причем в эти 47 лет происходит *тематически* самое важное: „дело“ становится действующим лицом, „дело“ сминает породивших его. Мне думается, этот композиционный недочет заметно повлиял на эффект конца: книга под конец схематичнее и суше» (там же, стр. 509).

Общая оценка, которую давал книге Федин, была высоко положительной: «Замечательно в книге то, что Вы выступаете в ней с новой, молодой мощью. При чтении ускользает от внимания *род* материала, он кажется невиданным, небывалым в литературе. Только вдумавшись — видишь, что это материал Горького — уездное, Окуров, Гордеев, российское купечество из разночинцев и богатеи из мужичков. Но Дремов совершенно заново поставлен перед читателем, обернут такою стороной, которую мы ни разу прежде не примечали. Очень сильно и молодо» (там же).

В письме от 23 апреля 1926 г. Горький, поблагодарив Федина за отзыв, замечал: «Я считаю, что Ваши указания на недостатки конструкции — совершенно правильны. На это же — почти вполне согласно с Вами — указал мне и М. М. Пришвин, художник, которого я весьма высоко ставлю, и человек насквозь русский <...> Кое с чем в письме Вашем я не согласен, но это для Вас не интересно. А вот хороший, серьезный и открытый голос Вашего письма очень дорог мне» (*Г-30*, т. 29, стр. 462). В упомянутом здесь письме Пришвина к Горькому от 10 апреля 1926 г. говорилось: «Так, Алексей Максимович, сбил меня с толку „Род Артамоновых“, из-за этого и не писал Вам долго ответ на Ваше такое хорошее письмо. Хорошо начало, свадьба — прекрасно! и до середины отлично нарастает волнение — ярмарка превосходна! Потом как будто Вам надоело, всё пошло прыжками, и кончаешь неудовлетворенный. Досадно, что Вы не доносили это свое дитя, поначалу обещавшее быть чем-то вроде „Соков земли“ <Гамсуна>. Я думаю, что Вы по своей широте задумали во время писания этого романа какой-нибудь

другой, самый большой, и это стало Вам неинтересно. Изумительно Ваше богатство этими „сокамп“, Ваша гравировка диалогами народной мудрости, в этом никто из предшествующих писателей не может с Вами сравниться. Но этот глубокий колодец, из которого Вы черпаете свои соки, обязывает Вас оставаться всегда при своем роднике» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 330).

Режиссер Марков, как и Пришвин, сравнивал мастерство Горького с мастерством Гамсуна. 2 февраля 1926 г. он писал Горькому: «Только что прочел в „Красной нови“ „Дело Артамоновых“. По-моему, я еще недостаточно оценил его, когда Вы читали. Дорогой и чудесный Алексей Максимович, это замечательно. Это — то же, что побеждает у Гамсуна. Это — течение жизни. Эпос, как у древних» (Архив А. М. Горького, КГ-дп-6-59-3).

«Радость берет, читая Ваш роман „Дело Артамоновых“,— сообщал Горькому А. П. Чапыгин 20 апреля 1926 г.— Вот как надо писать!» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 644). «Спасибо Вам,— благодарил его 1 мая 1926 г. Горький,— за дружеское письмо, за память и за похвалу „Артамоновым“, повести, которая более или менее сносно сделана лишь в начале ее. „Вот как надо писать“ — восклицаете Вы. Нет, уж пожалуйста, не надо. А вот так бы, как Вы пишете „Разина“, написать 36 страниц о Василии Косом,— вот бы я был с праздником!» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 644).

Приведенными отзывами отнюдь не исчерпывается поток писательских и читательских откликов на новое произведение Горького. В октябре 1927 г. Б. Л. Пастернак писал автору «Дела Артамоновых»: «Взволноваться Вами как писателем особой заслуги не составляет. Проглотить в два долгих вечера „Артамоновых“, не отрываясь, это *только* естественно для всякого, кто не кривит натурой и не создал себе искусственной чувствительности взамен прирожденной и наличной. Однако эта естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности Вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 297).

«Я читал роман медленно <...> Я глотал его как виноград, ягодку за ягодкой,— рассказывал в письме к Горькому <апрель, 1926> В. Я. Шишков.— Я любовался, читал и перечитывал абзацы, фразы, прислушивался, как они звучат <...> во многих словах зажжен фонарик, освещающий смысл и красоту слова <...> Ваш роман изумителен даже во второстепенных эпизодах» (Архив А. М. Горького, КГ-п-88-21-5; см. также в кн.: В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма. Л., 1956, стр. 266—268).

Восторженное письмо послал Горькому — 17 сентября 1926 г.— Ф. И. Шаляпин: «Прочитал я с наслаждением (как всё твое всегда) Артамоновых и с такою же горечью посмотрел на поколения. Э-эх!!. Люблю я тебя, мой огромный человек, и считаю счастьем великим, что, кроме того, что живу в одно время с тобой,— еще имею исключительную привилегию быть с тобою

в дружеских отношениях!» (Архив А. М. Горького, КГ-дп-12-2-19).

«Какое мастерство! — восхищался Ромен Роллан в одном из писем Горькому.— Мощное и сдержанное. Мастерство настоящего классика! Старик Артамонов вылеплен in aeternum (навеки — *Лат.*). Это тип обогатившегося человека из народа; всем обязанный лишь самому себе, кряжистый и мускулистый, сознающий свою нынешнюю и будущую силу, он является неотесанным предшественником Советской России. Его портрет обладает исторической ценностью. Нашей революции 1789 года тоже предшествовало появление на протяжении XVIII века атлетических плебеев, с бьющим через край избытком накопленных сил» (цит. по кн.: А. Овчаренко. М. Горький и литературные искания XX столетия. М., 1971, стр. 139).

Горький 5 апреля 1928г. отвечал Р. Роллану: «Очень обрадован Вашим мнением о старике Артамонове, мне хотелось изобразить этого человека именно так, как Вы его поняли» (*Г-30*, т. 30, стр. 91).

«Дорогой и великий Максим Горький,— обращался С. Цвейг в апреле 1927 г.,— я прочел Ваш роман — и Вы в ближайшее время прочтете, как я благодарен Вам, как взволнован! Что за произведение! Поздравляю Вас, вскоре Вы увидите мой отзыв в печати» (*Архив* $Г_{VIII}$, стр. 25—26) [1].

Писатель А. Топунов, земляк и друг С. П. Подъячева, сообщал Горькому, что он и Подъячев восхищены «огромным изобразительным мастерством» автора «Дела Артамоновых», «рубенсовским изображением людей и их окружающего быта» (цит. по кн.: *Касторский*, стр. 88).

В марте 1926 г. свой отзыв о «Деле Артамоновых» послал Горькому Добровейн: «...это замечательное художественное произведение приковало меня так, что я не мог оторваться от книжки, пока не проглотил ее всю, несмотря на то, что раз уже читал его в рукописи и слышал его, как Вы сами читали в Сорренто. Оно изумительно цельное, богатырски сильное, верное, глубокое и просто-напросто невероятно трогательное <...>

С каким изумительным мастерством написаны отдельные сцены! Свадьба, ярмарка, убийство мальчика и т. д. <...> А Тихон Вялов!!! Этот сфинкс, который до того осязаем, что можно его руками взять и при этом можно по пальцам сосчитать то немногое количество слов, которые он говорит в течение всего романа.

Спасибо Вам большущее за это произведение...» («Москва», 1968, № 3, стр. 211—212).

Немногие из корреспондентов Горького отнеслись к образу Вялова столь внимательно, как Добровейн. Между тем Горький придавал особенное значение тому, как воспринимают читатели этот образ, и, не скрывая своей досады, писал, что в отзывах

[1] Статья появилась в газете «Neue Freie Presse» (Вена) 19 мая 1927 г. Перевод ее см. в кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком. Л., 1930, стр. 144—148.

о «Деле Артамоновых» «забывают отметить фигуру Тихона Вялова, а она не зря воткнута в жизнь Артамоновых» (*Архив Г*$_{III}$, стр. 241). В замечаниях на статью Ф. Ф. Канаева, предназначенную для журнала «Наши достижения», Горький писал: «Канаев не отметил в „Деле Артамоновых“ Тихона Вялова — мужика, который остается при всех условиях мужиком, не приемлющим городской культуры» (цит. по кн.: Н. Белкина. В творческой лаборатории М. Горького. М., 1940, стр. 136—137).

В личном архиве писателя сохранилась заметка, ориентировочно датируемая январем 1928 г.: «Единственный человек, который оценил правильно Тихона Вялова в „Деле Артамоновых“ — Жироду. Странно. Книгу он читал в итальянском переводе» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 246). Где высказался французский писатель Жан Жироду о «Деле Артамоновых», пока установить не удалось.

5 февраля 1928 г. Горький писал С. Н. Сергееву-Ценскому: «Вот — курьез: Жан Жироду, писатель, коего я, кстати сказать, недолюбливаю, нашел, что в „Деле Артамоновых“ первое и самое значительное лицо — Тихон Вялов» (*Г-30*, т. 30, стр. 72).

В цитированном выше письме к Р. Роллану от 5 апреля 1928 г. Горький указывал, что «против» старика Артамонова в произведении «поставлен Тихон Вялов, видоизмененный тип Платона Каратаева из „Войны и мира“. Жироду, читавший книгу мою в итальянском переводе, нашел [кажется], что Тихон — очень удался мне и страшен. Таков он есть в действительности, этот духовный родственник „Пейзан“ Бальзака. Таков он в современной России» (*Г-30*, т. 30, стр. 91).

В 1930 г. в письме к А. И. Елпсееву Горький разъяснял: «Я думаю, что „излишней“ можно назвать фигуру эпизодическую, но едва ли это будет верно по отношению к Вялову, который проходит по книге с первых ее страниц до последней. Французский писатель Ж. Жироду считает Вялова законным и удачным противопоставлением Артамоновым, как „дельцам“, воплотителям активного отношения к действительности. Другой литератор ‹вероятно, имеется в виду Р. Роллан.— *Ред.*› — тоже француз — более крупный, чем Жироду, говорит, что „тип Вялова заставил его понять, как трагически тяжела задача большевизма“. Есть и такое мнение: „Вялов — Платон Каратаев, защищающий свое право непротивления злу и даже способный на месть нарушителям этого его права“.

Я привожу эти чужие мнения, не желая навязывать Вам свое. Скажу только, что для меня вообще, ни в жизни, ни в литературе, лишних людей не существует. Все мы участвуем в драме, хотя бы и эпизодически, но — неизбежно» (цит. по кн.: Е. Б. Таге р. Творчество Горького советской эпохи. М., 1964, стр. 283—284).

3 декабря 1928 г. Горький писал М. Натапову: «„Дело Артамоновых“ — книга, которая, должно быть, понравилась, но, кроме французского писателя Ж. Жироду, никто не понял, что главный ее герой — Тихон Вялов» (цит. по кн.: *Касторский*, стр. 43).

В упоминавшемся письме Наршжному Горький высказал следующее суждение: «...пример консервативной стойкости дан в лице Тихона Вялова» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-27-19-1).

Впрочем, по признанию самого Горького, вскоре после выхода «Дела Артамоновых» не только Р. Ролланом и Ж. Жироду был правильно понят образ Тихона Вялова. В декабре 1926 г. Горький послал отдельное издание «Дела Артамоновых» профессору Московского археологического института и поэту Б. М. Зубакину с дарственной надписью, где содержится авторская характеристика Тихона Вялова: «В этой книге, Борис Михайлович, есть Тихон Вялов, он, на мой взгляд, очень отвечает Вашему стиху из „Камаринской“:

„Всё — пьяным-пьяно,
Один мужик тверёз“»

(Архив А. М. Горького, ДНГ-ки-5-29-2).

В середине января 1927 г. Зубакин писал Горькому об «Артамоновых»: «„Вот это — замечательно!“,— сказал я себе самому, прочитав, например,— описание свадьбы. Вот как удалось! — по-новому передать вечно-русский узел, встреч бытовых корней — свадьбу. Потом смотрю: смена поколений дана без „ругон-маккаровских“ длиннот (в растяжку) — а концентрированно-одновременно. „Это — здорово!“ — сказал я <...> Но когда я понял, как объявлен Тихон Вялов, как он целиком неизвестен до последней страницы книги, а потом ретроспективно вырастает во весь рост — как живой Рок, Демон Совести и Человек! — вот тут я сказал: „Волшебство“ <...> Хорошо как показаны женщины. Прелесть — и распад — женского существа (Наталья). Видишь толстобрюхость, тупость,— но помнишь, что была несомненная прелесть на этом, или под этим человеческим тестом. И „кутеж“ Петра. И таинственно-живой мрамор Паулы Меноттн. И озорство. И путь России — изнутри — и через» (Архив А. М. Горького, КГ-п-29-6-6).

Отвечая 25 января 1927 г. Зубакину, Горький писал: «Тихона Вялова в „Артамоновых“ Вы первый поняли правильно» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-16-34-3).

В отзывах самого Горького о «Деле Артамоновых» отразилась характерная для него взыскательность, требовательность к собственной работе. 16 декабря 1925 г. он писал Ф. Г. Ласковой: «Скоро выйдет моя повесть „Дело Артамоновых“. Кажется— весьма скучная» (*Лит. Насл*, т. 70, стр. 234). Весною 1927 г., на сообщение Груздева о том, что готовится четвертое издание «Дела Артамоновых», Горький ответил: «„Артамонова“ — 4-е издание? Кто это читает и почему? Между нами — книга скучная. Факт» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 117). На это Груздев возразил Горькому в письме от 31 мая 1927 г.: «Вы говорите — книга скучная. У меня с „Арт<амоновыми>“ свои счеты, но на Ваш вопрос, почему их читают, могу ответить совершенно убежденно: читают потому, что сейчас в нашей литературе это едва

ли не единственная книга большой писательской культуры, выражающейся не в замысловатом стиле или написовременнейшей теме, а в честном и серьезном отношении к жизни и людям. А ведь почти <все> произведения наших писателей сейчас (и чем моднее писатель, тем это больше) не свободны от какого-то ухарства, выкрика или самолюбования» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 123). Об этом же писал автору А. К. Воронский после появления «Дела Артамоновых» на страницах советских журналов: «„Дело Артамоновых“ читают с большим интересом». И еще: «„Дело Артамоновых“ очень хвалят» (*Архив* $Г_{X}$, кн. 2, стр. 28, 31).

«Очень хочется мне научиться писать хорошо,— признавался Горький в письме В. В. Вересаеву от 3 июня 1925 г.,— но — не удается. Огорчаюсь. Написал большую повесть, взяв три поколения семьи фабриканта. Не знаю, что вышло. Вообще я не в себе как-то. Горький мне надоел, требования мои к нему растут, а он, видимо, бессилен удовлетворить их» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 124). О чрезвычайной взыскательности к себе как художнику свидетельствует и письмо Горького Ф. В. Гладкову от 3 апреля 1926 г. Сообщая, что второй раз прочитал «Цемент», Горький замечает: «Недостатков <...> много. Себя, художника, Вы кое-где сильно изуродовали. Но — прочитал я Горького „Дело Артамоновых“, так там, знаете, то же самое — всё недостаточки, обмолвочки, ошибочки. Да. Судьба наша такая, друг мой, всегда будем недовольны собою, с тем и кончимся» (*Г-30*, т. 29, стр. 460).

Первые отзывы в печати появились сразу же после публикации отрывков из «Дела Артамоновых» в журналах. Рецензенты единодушно отмечали «высокое мастерство» художника (А. Ц и н г о в а т о в. По журналам.— «Учительская газета», 1926, № 15, 17 апреля). По утверждению С. Карташова, новое произведение показывает, что «дарование Горького не только осталось на прочной, заслуженной высоте, но продолжает расти и крепнуть на радость читателю и в поучение молодым нашим писателям». «Как просто пишет человек! <...> ни одного выкрутаснка, ни одного словесного трюка, а между тем не оторвешься» («Комсомольская правда», 1926, № 119, 26 мая).

После того как произведение вышло отдельным изданием в СССР, появились статьи, оценивающие его как одно «из крупнейших произведений нашего времени» (М. М. М. Три поколения российской промышленности. Новый роман М. Горького «Дело Артамоновых».— «Смена», 1926, № 198, 29 августа). «... как свеж и ярок язык Горького, какие у него сочные краски, как изумительно зорок и проникновенен его взгляд, какая громадная художественная память у этого большого писателя, как мастерски он умеет, пользуясь самыми скромными художественными средствами, рисовать громадную панораму, в которой запоминаются, врезаются в память даже самые незначительные второстепенные персонажи» (там же). В Горьком сила художника «ничуть не слабеет с годами» (В. И р к. «Дело Артамоновых».— «Красная газета» (веч. вып.), 1926, № 284, 8 декабря).

Воронский, рассматривая прозу 1926 г., писал, что в истекшем году «вышло немало монументальнейших по объему произведений» и первое место среди них занимает «Дело Артамоновых». Помимо своих «чисто художественных достоинств», писал Воронский, произведение это «полноценный, социально значимый документ о недавнем прошлом. Роман подводит нас к истокам Октября...» (А. Воронский. Писатель, книга, читатель.— «Красная новь», 1927, № 1, стр. 227, 228).

В 1928 г. культотделом Ленинградского областного комитета союза металлистов была проведена анкета среди рабочих. Она свидетельствовала о популярности Горького среди широких масс. Во многих ответах на анкету упоминалось и «Дело Артамоновых». Порой при этом высказывались мнения прямо противоположные. «Дело Артамоновых» «не оправдало ожиданий», так как в нем «только купцы...»; «книга не интересна для рабочего читателя»; «мало революционного содержания»; «нет центрального положительного героя» («Резец», 1928, № 17, стр. 14, № 20, стр. 13—14). Однако в большинстве отзывов рабочих о «Деле Артамоновых», обобщенных в статье Г. Брилова, Н. Лебедева, В. Сахарова «М. Горький и рабочий читатель», отмечалось, что «книга хороша, интересна, легко читается», хотя наряду с этим отмечалось, что в книге «плохо изображен быт рабочих» («Резец», 1928, № 20, стр. 14).

Это разнообразие и, нередко, противоречивость отзывов свидетельствовали о сложности новой книги Горького, историческая глубина и новаторский характер которой в полной степени были оценены лишь позже.

Явной односторонностью и тенденциозностью, иногда просто нигилизмом отличались отзывы о «Деле Артамоновых», содержавшиеся в статьях лефовского и напостовско-рапповского направлений. Так, в 1928 г. Н. Чужак (Н. Ф. Насимович) выступил со статьей «Опыт учебы на классике», утверждая, что учиться у Горького нечему. С точки зрения Н. Чужака, Горький — «педагог», «обучающий жизни задним числом», у него нет новых впечатлений, о чем свидетельствует «Дело Артамоновых» — произведение о «временах давно прошедших» («Новый ЛЕФ», 1928, № 7, стр. 9, 12). «Дело Артамоновых», как заявлял Н. Чужак, свидетельствует об «*истощении* материала» у писателя, о его «оскудении» (там же, стр. 18)[1].

Примерно такое же мнение высказал и Виктор Шкловский: «В „Деле Артамоновых" есть свое сюжетное кольцо и своя тайна. Тайна эта мужик Вялов <...> Тихон Вялов и образует сюжетную сторону произведения, интригу его <...> Но развязка приносится не разрешением тайны, а революцией».

«Механически оттянув конец романа, Горький погубил развязку <...> Получилось любопытнейшее явление невнимания

---

[1] Горький, называя Н. Чужака «великим путаником» (*Архив Г*$_{х}$, кн. 2, стр. 102), считал полемику с ним «излишней» (письмо Горького А. И. Елисееву 31 марта 1930 г. — Архив А. М. Горького, ПГ-рл-14-9-4).

к герою» (В и к т о р Ш к л о в с к и й. Удачи и поражения Максима Горького. Заккнига, 1926, стр. 57, 60, 65).

Напостовец В. Г. Вешнев в статье «Горькое лакомство», характеризуя произведения Горького, написанные после Октября, утверждал, что писатель якобы «приобрел вкус к гиперболическому психологизму Достоевского, к розановщине, к сологубовскому бредовому вымыслу и к пустому андреевскому парадоксу». «Дело Артамоновых» и начало «Жизни Клима Самгина», заявлял Вешнев, «дают новые, еще более многочисленные и еще более убедительные доказательства» этого («На литературном посту», 1927, № 20, октябрь, стр. 45, 51). Г. Горбачев писал, что хотя «Дело Артамоновых» и «поражает мастерством», но в произведении писатель затрагивает не новую «по типам и мотивам» тему (Г. Г о р б а ч е в. Современная русская литература. М.—Л., 1931, стр. 38).

Даже А. В. Луначарский в первое время после выхода в свет «Дела Артамоновых» недооценил живого и актуального значения новой книги. В статье, посвященной пьесе Горького «Фальшивая монета», он коснулся и «Дела Артамоновых»: «Это сделано превосходно, но кто не чувствует, что подобные вещи можно было писать и 20 лет тому назад? И по теме, и по типам, и по общему освещению это относится к нашей коренной классике, к объективному, бытовому реализму <...> Нынче такой объективный реализм вряд ли показался бы живым даже при обработке современных тем <...> примененный же к стародавним временам, он просто начинает пахнуть музеем» («Красная газета» — веч. вып., 1926, № 273, 18 ноября).

Прошло три-четыре года, и выдающийся критик-марксист, уточняя свой взгляд, рассмотрел «Дело Артамоновых» в более широкой исторической и историко-литературной перспективе: «Талант Горького за последнее время нисколько не увял. Это видно как из целого ряда отдельных превосходных рассказов, так и из большого романа „Дело Артамоновых“, в котором Горький выполнил одно из давнишних своих желаний — написать историю целого купеческого рода. Может быть, никогда еще Горький не достигал такой полноты жизненности в каждой строчке, как в великолепных полотнах „Артамоновых“» (*Луначарский*, т. 2, стр. 78—79).

С т р. 110. *По лугам, по зелены-им...* — Ср. *Шейн*, стр. 441.

С т р. 113. *Ой, свату великому...* — Свадебная песня. Ср., *Шейн*, стр. 385.

С т р. 114. *Девичник* — последний досвадебный обряд и вечер перед свадьбой, когда невеста прощается с подругами и ей расплетают косу.

С т р. 117. *У барина, у Мокея...* — Ср. *Шейн*, стр. 32.

С т р. 128. «*Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть*» — Евангелие от Луки, гл. 10, стихи 38—42.

С т р. 132. «*Пришел к Марье кум Захарий...*» — Волжская бурлацкая припевка, исполнявшаяся на мотив «Дубинушки» (см.: Е. В. Г и п п и у с. Из истории народных песен «Эй,

ухнем» и «Дубинушка».— «Советская музыка», 1953, № 9, стр. 54—56).

Стр. 138. *Елена Льняница* — народное название местного (престольного) праздника христианской церкви в честь причисленной к лику святых матери римского императора Константина I — Елены (р. ок. 244—327). Православной церковью отмечается 21 мая (3 июня). По бытовавшему среди крестьян поверью, посеянный в этот день лен давал хорошее волокно. Рождение дочери в день святой Елены было воспринято как счастливое предзнаменование.

Стр. 161. *Кафизма* — название каждого из двадцати разделов Псалтыря.

Стр. 161. «*Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?*» — Псалтырь, псалом 138, стих. 7.

Стр. 179. *Огорчился бы, когда царя убили...* — Имеется в виду убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 г.

Стр. 191. «*Родное слово*» — «Родное слово для детей младшего возраста. Год первый. Азбука и первая после азбуки книга для чтения с прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинками в тексте». Сост. М. Ушинский. Первым изданием вышла в 1864 г.

Стр. 192. *Двоих братов под Севастополь угнали...*— Имеется в виду 11-месячная оборона Севастополя (с сентября 1854 по август 1855 г.), сыгравшая решающую роль в исходе Крымской войны 1853—1856 годов.

Стр. 192. ...*картошку силком заставляли есть...* — Речь идет о «картофельном бунте» крестьян Пермской губернии в 1842 г.

Стр. 205. *Об одном докторе* ... — Имеется в виду Фауст.

Стр. 230. ...*был господин Япушкин...*— Далее излагается апокрифическая биография декабриста, члена Северного общества, И. Д. Якушкина (1793—1857), представившего министру внутренних дел В. П. Кочубею проект безземельного освобождения крестьян от крепостной зависимости (см.: «Записки И. Д. Якушкина». М., 1926). Проект был отклонен. За участие в восстании 14 декабря 1825 г. Якушкин был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Декабристу Якушкину, по-видимому, приписаны и некоторые черты известного собирателя народных песен, писателя-народника П. И. Якушкина (1822—1872), умершего, однако, не в Суздале, а в Самаре.

Стр. 251. «*Тело Христово приимите...*» — Евангелие от Иоанна, гл. 6, стих 51.

Стр. 257. *Мой отец был священник, а я — прохвост!*— Горький дает портретную зарисовку реального лица — С. А. Парадизова (1841—1909). Уроженец Рязанской губернии, он действительно происходил из духовного звания. Учился в Пензенской духовной семинарии, а затем в Казанской духовной академии, откуда перешел на юридический факультет Казанского университета. После окончания университета служил судебным следователем в Казани и Нижнем Новгороде. В 1873 г., после выхода в отставку,— адвокат в Нижнем Новгороде (см. некролог

С. А. Парадизова.— «Волгарь», 1909, № 65, 18 марта). Характеристика Парадизова содержится в наброске Горького, связанном с очерком «Савва Морозов».

«...Степан Парадизов, нижегородский адвокат, судя по фамилии, из „духовного“ сословия, большой тучный человек с физиономией разбойника, бесчестный — ему запрещали практику адвоката — говорил и не однажды — о тяготении человека к убийству. Он выразился так: „Иногда факт убийства человеком человека хочется рассматривать как выражение бессознательного протеста против бесплодности, бессмысленности бытия“» (Архив А. М. Горького ГЗ$_{III}$-5-13).

С т р. 258. *Смертию смерть поправ.*— Из тропаря (церковного стиха), распевавшегося на Пасху.

С т р. 258. *И не жду от жизни ниче-воя...* — Возможно, романс П. П. Булахова на слова стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841). Цитируется неточно.

С т р. 260. *...через канал Бетанкура...* — Канал, с трех сторон обводнявший Гостиный двор Нижегородской ярмарки. Был предназначен для осушения участка и создания противопожарной зоны. Назван в память главного строителя Нижегородской ярмарки инженера Огюстена Бетанкура (1758—1824) (см.: А. Н. Б о г о л ю б о в. Августин Августинович Бетанкур. 1758—1824. М., «Наука», 1969).

С т р. 261. *Паула Менотти*— Ср. статью Горького «Развлечения» в серии «С Всероссийской выставки (Впечатления, наблюдения, наброски, сцены и т. д.)».— «Одесские новости», 1896, № 3673, 27 июня.

С т р. 264. *Снилось мне утро лазурное, чистое...* — См. «Сочинения графа А. Голенищева-Кутузова», т. I. СПб., 1894, стр. 70. Романсы на эти слова написаны несколькими композиторами: Е. Ф. Аленевым (1891), Л. Л. Лисовским (1898), Ф. А. Зайкиным (1904) и др.

С т р. 273. *...в городе Сиракузе знаменитейший ученый был...*— Имеется в виду математик и механик древней Греции Архимед Сиракузский (ок. 287—212 до н. э.).

С т р. 274. *...о вредности дворянских банков...*— Речь идет об основанном в 1885 г. Государственном дворянском земельном банке, целью которого было укрепление помещичьего землевладения путем предоставления дворянам долгосрочного земельного кредита.

С т р. 291. *...в Париже есть башня...*— Башня высотой в 300 метров, сооруженная в 1889 г. французским инженером А. Эйфелем.

С т р. 300. *...по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам...*— Речь идет о восстании на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в Черном море в июне 1905 г. 16 июня, после отказа командующего войсками прекратить расстрел мирного населения Одессы, освободить политических заключенных и вывести из города войска, броненосец произвел по городу несколько выстрелов из орудий. 19 июня «Потемкин» ушел в Румынию и 25 июня, не имея воз-

можности продолжать борьбу, сдался румынским властям в Констанце.

Стр. 321. *Бойцы вспоминают минувшие дни...* — Из «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина.

Стр. 324. *Алексей божий человек...* — См в наст. изд. т. IX, стр. 65.

Стр. 328. *Жена моя в гробу...* — Песня Беранже «Плачущий муж» в переводе В. С. Курочкина.

Стр. 336. *...за четыре дня до начала войны...* — 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России.

Стр. 340. *«Князь Серебряный»* — повесть А. К. Толстого (1863).

Стр. 353—354. *...злорадно рассказывал о пьяном, распутном мужике...* — Имеется в виду Г. В. Распутин (Новых, 1872—1916) — крестьянин Тобольской губернии, авантюрист, пользовавшийся неограниченным доверием царской семьи.

Стр. 354. *...они праздновали трехсотлетний юбилей своей власти...* — В 1913 г. проводились официальные торжества по случаю трехсотлетия царствовавшего дома Романовых.

Стр. 355. *...царь отказался от престола.* — 2(15) марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в результате победы Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. в России.

II

МИХАИЛ ВИЛОНОВ

(Стр. 373)

Впервые напечатано в юбилейном номере газеты «Правда» (15-я годовщина ее основания), 1927, № 99, 5 мая, и тогда же в «Красной газете» (веч. вып.), 1927, № 118, 5 мая.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Автограф (ХПГ-38-1-1).

2. Наборный экземпляр машинописи для «Правды», с заглавием, написанным рукою Горького (ХПГ-38-1-2).

3. Заметка на листке из блокнота (*ГЗ*$_{VI}$-7-36), по-видимому, относящаяся к замыслу очерка; опубликована в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 164 («ненавидит, потому что должен жалеть»).

После первой публикации автор правил очерк для книги: М. Горький. Рассказы о героях. М.—Л., 1932.

Печатается по тексту названной книги.

Знакомство Горького с Н. Е. Вилоновым (1885—1910) произошло в 1908 г. заочно, в связи с организацией школы для русских рабочих-революционеров на о. Капри. К этому времени Вилонов, член РСДРП, большевик, начавший свою революционную деятельность в Калуге в 1902 г., был одним из выдающихся участников пролетарского движения (партийные клички: Михаил, Миша Заводской, Михаил Заводской). Пропагандистская деятельность в Киеве, два ареста, высылка в Екатеринослав, агитация среди рабочих Брянского завода, арест и ссылка в Енисейскую губернию, побег, нелегальная работа в Казани (создание Комитета РСДРП, организация подпольных типографий в городах Поволжья и Урала), снова тюрьма, николаевские арестантские роты (близ Нижней Туры), неудачный побег, страшное избиение тюремщиками — таков был путь, уже пройденный молодым революционером. Выйдя из тюрьмы в 1905 г., он организовал боевые дружины в Самаре, Уфе и Екатеринбурге, возглавлял Самарский совет рабочих депутатов. В марте 1906 г.— арест, тюрьма, побег, работа в Московском комитете большевиков. Новый арест, ссылка, побег. Партия предложила Вилонову уехать за границу. Выполняя это решение, он приехал 1(14) января 1909 г. на Капри. Вскоре после его приезда Горький писал И. П. Ладыжникову: «Приехал один рабоч<ий>— уралец — „изучать философию“ <...> Какой, между прочим,

великолепный парень этот рабочий, какую интеллигенцию обещает выдвинуть наша рабочая масса, если судить по этой фигуре! К сожалению, его страшно избили солдаты прикладами во время побега из тюрьмы, и у него туберкулез, кажется. Но это не беда, парнище здоровенный!» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 186). И тогда же Ладыжникову: «Живет здесь один рабочий — посмотрели бы Вы, какой это великолепный парень! Какая умница!» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 189).

Познакомившись ближе с Вилоновым, Горький и М. Ф. Андреева в апреле того же года пригласили на Капри его жену с маленькой дочерью (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-8-43-1).

Об активном участии Вилонова в организации школы свидетельствует письмо Горького А. В. Луначарскому (конец мая — начало 1909 г.): «Буде Вы пожелаете знать подробности, обратитесь к Мих<аилу> или А<лексинско>му: они более, чем я, делают в организационном направлении» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-23-44-29, копия; оригинал в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС).

Горький и Вилонов направили открытое письмо рабочим Московской организации РСДРП с призывом поддержать это начинание (см.: «Пролетарская революция», 1924, № 6, стр. 74). Информируя Ладыжникова, Горький писал ему в марте 1909 г.: «Мы — Ал<ександр> Ал<ександрович> <Богданов>, рабочий-уралец, живущий здесь, я и Луначар<ский> — пришли к необходимости устроить за границей курсы для выработки организаторов и пропагандистов.

Устраивается это так: будут извещены о курсах организации в России, и организации эти, выбрав из своей среды наиболее способных рабочих, пошлют их за границу месяца на 3—4. Только рабочих <...> Господи боже — что будет, если нам это удастся! Сойду с ума от радости!» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 190—191).

Между Горьким и Вилоновым вскоре установились дружеские отношения. Писатель с интересом и глубоким удовлетворением наблюдал за духовным ростом молодого рабочего. В одном из писем А. В. Амфитеатрову (весной 1909 г.) Горький уже как бы набрасывает штрихи к будущему портрету: «Михаил стыдится — музыка нравится ему, а что ж такое музыка? Пролетарий — а музыкой увлекается — какой позор! Сердит это его... мне же до чёртиков смешно. Он, как губка, всасывает в себя всё интересное и красивое, наполняется им и богатырски растет изо дня в день...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-40).

В июле 1909 г. Вилонов вернулся в Россию, объездил ряд ее районов и, набрав слушателей для школы, приехал на Капри. Горький сообщал М. М. Коцюбинскому в письме от 15 (28) сентября 1909 г.: «Приехавшая сюда рабочая публика — чудесные ребята, и я с ними душевно отдыхаю от щипков и уколов „культуры“. В то же время, по мере возможности, они знакомятся с культурою истинной — были в Неаполитанском музее, в старых церквах, в Помпее, будем и в Риме. Хорошо они смотрят, хорошо судят, и — вообще — хорошо с ними демократической моей душе!» (*Г-30*, т. 29, стр. 97).

Когда выяснилось, что организаторы школы пытаются прев-

ратить ее в центр фракции отзовистов, ультиматистов и богостроителей, Вилонов одним из первых выступил против них. Борьба закончилась тем, что часть слушателей порвала со школой и по приглашению В. И. Ленина в ноябре 1909 г. уехала в Париж; среди уехавших был и Вилонов. «В Париж, к Ленину Михаил поехал по соглашению со мной»,— вспоминал впоследствии Горький в письме И. А. Груздеву от 13 апреля 1933 г. (*Архив Г* $_{XI}$, стр. 319). 3(16) ноября 1909 г. Вилонов встретился с Лениным. После беседы с ним Ленин писал Горькому:

«16.XI.09.

Дорогой Алексей Максимович! Я был все время в полнейшем убеждении, что Вы и тов. Михаил — самые твердые фракционеры новой фракции, с которыми было бы нелепо мне пытаться поговорить по-дружески. Сегодня увидал в первый раз т. Михаила, покалякал с ним по душам и о делах и о Вас и увидел, что ошибался жестоко. Прав был философ Гегель, ей-богу: жизнь идет вперед противоречиями, и живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется. Я рассматривал школу *только* как центр новой фракции. Оказалось, это неверно — не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции (школа была этим центром и состоит таковым сейчас), а в том смысле, что это неполно, что это не вся правда. Субъективно некие люди делали из школы такой центр, объективно была она им, а кроме того школа черпнула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих передовиков. Вышло так, что кроме противоречия старой и новой фракции на Капри развернулось противоречие между частью с.-д. интеллигенции и рабочими-русаками, которые вывезут социал-демократию на верный путь *во что бы то ни стало* и что бы ни произошло, вывезут вопреки всем заграничным склокам и сварам, „историям“ и пр. и т. п. Такие люди, как Михаил, тому порукой. А еще оказалось, что в школе развернулось противоречие между элементами каприйской с.-д. интеллигенции.

Из слов Михаила я вижу, дорогой А. М., что Вам теперь очень тяжело. Рабочее движение и социал-демократию пришлось Вам сразу увидать с такой стороны, в таких проявлениях, в таких формах, которые не раз уже в истории России и Западной Европы приводили интеллигентских маловеров к отчаянию в рабочем движении и в социал-демократии. Я уверен, что с Вами этого не случится, и после разговора с Михаилом мне хочется крепко пожать Вашу руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы, что ни в каком случае непозволительно для Вас давать себя во власть тяжелым настроениям, вызванным эпизодами заграничной борьбы. Бывают условия, когда жизнь рабочего движения порождает неминуемо эту заграничную борьбу и расколы и свару и драку кружков,— это не потому, чтобы рабочее движение было внутренне слабо или социал-демократия внутренне ошибочна, а потому, что слишком разнородны и разнокалиберны те элементы, из которых приходится рабочему классу выковывать себе

свою партию. Выкует во всяком случае, выкует превосходную революционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам. Такие люди, как Михаил, тому порукой» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, стр. 219—220).

Вилонов вернулся на Капри в январе 1910 г. и пробыл здесь до начала марта. Пленум ЦК большевиков, проходивший в январе — феврале 1910 г. в Париже, решил кооптировать Вилонова кандидатом в члены ЦК. Но было уже поздно: быстро прогрессировавшая болезнь (туберкулез легких) вынудила Вилонова уехать на курорт в Давос (Швейцария). Весной 1910 г. он умер. За несколько недель до смерти он получил письмо от В. И. Ленина, в котором о Горьком говорилось: «Слышали, что он разочаровался в Богданове и понял фальшь его поведения» (там же, стр. 241).

Узнав о смерти Вилонова, Горький сделал краткое его жизнеописание на трех с половиной страницах большого формата, видимо, собираясь опубликовать как некролог. Вилонов здесь охарактеризован так: «Человек редких способностей, выдающегося ума и больших знаний» (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 75, оп. 1, ед. хр. 66, л. 2 об.).

К созданию художественного образа Михаила Вилонова Горький обратился в советское время. Работа над произведением была, по-видимому, закончена в первой половине апреля 1927 г. «Завтра буду говорить с Марией Ильиничной <Ульяновой> <...> статью о Вилонове я ей передал»,— сообщал Крючков Горькому 17 апреля 1927 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-8). М. И. Ульянова, ответственный секретарь «Правды», писала Горькому 24 апреля 1927 г.: «Спасибо за теплое письмо и за то, что написали для юбилейного №-ра „Правды“. Вещь очень хорошая и так кстати: ведь такие-то люди, как Вилонов, и строили и нашу партию, и „Правду“» (Архив А. М. Горького, КГ-од-2-7-1). «„Михаил Вилонов“ стал уже достоянием широкой массы читателей»,— сообщал автору А. А. Белозеров 1 июня 1927 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-8-6-5).

Положительно отнеслись к очерку «Михаил Вилонов» литературные критики. Рецензируя книгу «Рассказы о героях», А. Мигулина писала: «С большой художественной напряженностью раскрывает Горький образ непоколебимо стойкого большевика <...> Вилонов мечтал о новом человеке, он боролся за будущее нового человека. Горький понимал, что этот рабочий-ленинец „уже и есть человек с большой буквы“» («Художественная литература», 1932, № 8, стр. 1).

Стр. 373. «*Слава злобе*» — стихотворение Д. Семеновского; впервые оно напечатано в журнале «Прожектор», 1925, № 6, 31 марта, стр. 26.

Стр. 374. ...*после 1906 года тюремщики, где-то на Урале, избили его*...— Весной 1905 г. Вилонов после попытки самосож-

жения был зверски избит в тюрьме жестокого режима — Николаевских арестантских ротах (близ Нижней Туры).— См. в кн.: «Никифор Ефремович Вилонов („Михаил Заводской")». Куйбышев, 1938, стр. 10. Ср. в упомянутой выше рукописи Горького: «...подкоп, вышли из тюрьмы пятеро, но поднялась тревога, началось преследование. Пойманы; Вилонова били прикладами в грудь: двое солдат держали его за руки, третий с размаха бил по грудной клетке. Избитого бросили в карцер, где он пролежал неделю. Невыносимо зверское отношение начальника тюрьмы побудило Вилонова и еще одного из товарищей к протесту в такой форме: они облили керосином матрацы и зажгли их, рискуя сгореть живьем или задохнуться в дыму. За это, по приказу Федорова (начальника Николаевских арестантских рот.— *Ред.*), надзиратели, накрыв больных одеялами, избили их до потери сознания. Здесь Вил<онов> впервые начал харкать кровью» (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 75, оп. 1, ед. хр. 66, л. 1 об.)

Стр. 374... *легенды о его партийной работе*...— Неиссякаемая энергия Вилонова восхищала знавших его людей. Достаточно указать на его смелые побеги из ссылки. 15 июля 1904 г. он переплыл Енисей, добрался до Самары и явился в Восточное бюро ЦК РСДРП. Арестованный 28 января 1905 г. и отправленный в Николаевские арестантские роты, Вилонов устроил подкоп, о котором говорилось выше, и лишь случайность помешала новому побегу. После перевода в Камышловскую тюрьму в середине 1906 г. он совершает удачный побег. Талантливый организатор, Вилонов умел поднять на борьбу даже таких отсталых рабочих, какими были волжские крючники. «Он пользуется большим влиянием и среди тюремного населения: он умеет подчинять своей сильной воле и тюремных надзирателей, которые зачастую совершенно безвозмездно доставляют ему письма, газеты и даже ключи, пилки и другие инструменты, необходимые для побега» («Социал-демократ», 1910, № 14, 22 июня).

Стр. 374. ...*непоколебимую уверенность в правильности отрицательного отношения Владимира Ильича к школе*.— Еще во время поездки в Москву за слушателями для школы Вилонов считал верным решение конференции Московской окружной организации от 28—29 июня 1909 г., которая высказалась за то, чтобы практически работу школы контролировал большевистский Центр. Он собирался вести переговоры с расширенной редакцией «Пролетария», но не получил полномочий от Совета школы («Пролетарская революция», 1924, № 6, стр. 47—48). В октябре того же года на Капри был получен № 47-48 «Пролетария» с выступлением В. И. Ленина, после чего Богданов (в отсутствие Вилонова) сделал доклад, предложив выработать новую платформу. Когда Вилонов узнал «о содержании доклада, то понял, что редакция „Пролетария" была права: школой хотят воспользоваться отзовисты-ультиматисты...» как фракционным центром (А. В. Луначарский. Великий поворот, ч. I. Пг., 1919, стр. 46). В ответ на выдвижение платформы Богданова Вилонов заявил о «своей принципиальной солидарности с поли-

тической позицией „Пролетария“». Письмом в редакцию «Пролетария» он резко отмежевался от оппортунистического руководства школы: «При таком развертывании нашей политики, я, взявший на себя часть ответственности перед организациями за дело школы, должен, неминуемо должен повернуться спиной к тем, кто хочет школу сделать орудием своей особой политики, своих особых взглядов, прямо противоположных взглядам партии <...> Позиция револ. с.-д. должна быть ясна, и вот, во имя этой ясности, я, невзирая на предложения отстраниться от дел школы, выступаю с *протестом против нарушения обещаний, данных нами организациям во время выборов в школу*» (Приложение к № 50 «Пролетария», ноябрь 1909 г.— Цит. по журн.: «Пролетарская революция», 1924, № 6, стр. 65—66).

Стр. 375. ...*идея Ленина*...— Мысль о воспитании профессиональных революционеров была обоснована В. И. Лениным в книге «Что делать?» (1902).

Стр. 375. ...*я эту штуку, «Человек», в тюрьме читал*...— Поэма «Человек» впервые была напечатана в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1903 год», книга первая. СПб., 1904; в 1906 г. выпущена отдельным изданием в *ДБЗ*.

Стр. 377. ...*рассказывал об истязаниях в Орловском централе*...— Орловским централом называлась в просторечии временная каторжная тюрьма в г. Орле, созданная в 1908 г. «В Орловском каторжном централе понятие „тюремный режим“ и понятие „система репрессий“ неотделимы друг от друга. Это был тюремный режим, целиком, во всех деталях проникнутый жесточайшей, мучительной, циничной репрессией, которая обрушивалась царской тюремной администрацией на головы каторжан-заключенных» (М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. 5. М., 1963, стр. 264).

Стр. 377. ...*о страшных драмах на Амурской колесной дороге*...— Знаменитая «колесуха» «строилась буквально на костях русской политической каторги» (Андрей Соболь. «Колесуха» (Амурская колёсная дорога). М., 1925, стр. 3).

Стр. 378. «*Простое сердце*» — рассказ Г. Флобера «Простая душа»; под названием «Простое сердце» был впервые опубликован на русском языке отдельным изданием в 1882 г.

Стр. 378. *Иския* — остров в 40 с лишним километрах к северо-западу от о. Капри.

Стр. 379. «*Государство будущего*» — книга А. Бебеля, в которой излагаются основные принципы социалистических общественных отношений; вышла в русском переводе в 1905 г. под двумя названиями: «Общество будущего» и «Будущее общество».

Стр. 380. ...*на Сергино-Уфалейских заводах*... — На юге Среднего Урала (близ Челябинска) находились Нижне-Уфалейский и Верхне-Уфалейский металлургические заводы, недалеко от них — металлургический завод в г. Нижние Серги.

Стр. 381. ...*маленький дворик виллы Спинола*...— «Горький переехал на виллу Спинола: вилла эта вспоминается мне в горячке и суетне сборов и подготовки Каприйской рабочей

школы. Вилла Спинола принадлежала изобретателю противодифтерийной сыворотки немецкому доктору Бернингу. Расположена была почти на самой вершине горы святого Михаила и представляла собою очень просторное и удобное для школы помещение бывшего средневекового монастыря» (А. А. Золотарев. Горький — каприец, гл. вторая и третья.— Архив А. М. Горького, МоГ-4-16-1, л. 13).

Стр. 382. *...его разногласия с организаторами школы всё обострялись...*— См. примеч. к стр. 374. Убедившись, что руководство школы использует ее в интересах фракции, Вилонов вместе с пятью ленинцами написал в редакцию «Пролетария» протест против поведения лекторов. Письмо это было помещено в отдельном приложении к № 50 «Пролетария». В нем говорилось, что группа рабочих не считает возможным «оставаться учиться в школе», в которой «каждый день идет самая отчаянная полемика. Нам, рабочим, стоящим в пределах директив пославших нас организаций,— служить ширмой, загораживающей от партии настроение нового идейного центра с „боевой" вырабатываемой платформой, не приходится» (цит. по журн.: «Пролетарская революция», 1924, № 6, стр. 67—68). 1 ноября публикация эта была получена на Капри. Совет школы предложил ленинцам отказаться от своих писем. На это предложение группа ленинцев во главе с Вилоновым ответила заявлением, оглашенным на следующий день в Совете школы; в нем отмечалось фракционное направление лекторов и некоторых учеников школы (см. 2-й оттиск <отдельный выпуск> «Пролетария» № 50, а также «Социал-демократ», 1909, № 9, 31 октября — 13 ноября).

Стр. 382. *Он и еще, кажется двое товарищей,— из которых один был агент полиции,— уехали в Париж к Владимиру Ильичу.*— За протест, напечатанный в «Пролетарии», Вилонов и вместе с ним пять учеников-ленинцев были исключены Советом школы из ее состава. С Вилоновым в Париж, к Ленину, уехали И. И. Панкратов («Старовер»), Н. И. Устинов («Васильй»), В. Е. Люшвин («Пахом»), Н. И. Козырев («Фома») и А. С. Романов («Аля Алексинский»). Последний оказался провокатором и по возвращении в Россию выдал всех слушателей школы царской охранке.

Стр. 382. *Его пришлось отправить в Давос, где он вскоре умер.*— «Он вместе с нами потом поехал в Париж, а через несколько дней Михаила Владимир Ильич Ленин отправил на курорт в Давос — в Швейцарии, где, к сожалению, он через пару месяцев умер»,— вспоминал И. И. Панкратов (Архив А. М. Горького, МоГ-11-28-1, л. 74).

ИЗ ПРОШЛОГО

(Стр. 383)

Впервые напечатано в газете «Беднота», 1928, № 2972, 27 марта, с сокращением начала — обращения к сталинградским краеведам.

Заглавие дано на основании письма автора в газету — О. С. Литовскому. «Очень прошу,— писал Горький,— извинить меня,— не поспел написать к сроку, Вами указанному. Посылаю мое письмо сталинградским краеведам, если годится для „Бедноты“ — печатайте, вычеркнув обращение и озаглавив „Из прошлого“ или „Из воспоминаний“. А если „Бедноте“ не подойдет,— отправьте рукопись в Госиздат А. Б. Халатову и меня об этом известите, я для „Б<едноты>“ напишу другое <...> Копия послана мной заводской газете „Красная заря“, поэтому гонорар мне *не* платить...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-23-60-1).

«Обращение», о котором идет речь в письме Горького, — следующий абзац, предшествующий в рукописи и машинописях произведению: «Надоело мне вспоминать о прошлом; каждый раз, принимаясь за это, точно узкий сапог надеваешь; сапог-то хотя и изношен, а всё еще ногу жмет. Но вы, краеведы, ведете по всему Союзу Советов такую большую и ценную работу, что отказать вам в желании вашем — нельзя; это значило бы, что я отказываю в моем уважении вашему труду».

С этим абзацем под заглавием «Письмо к сталинградским краеведам» произведение напечатано в газете «Борьба» (Сталинград), 1928, № 75—78, 29 марта — 1 апреля, с примечанием: «Губернское бюро общества краеведения обратилось к А. М. Горькому с просьбой написать очерк о его работе на ст. Крутой (ныне Воропоново). Алексей Максимович прислал краеведам письмо-очерк, который мы печатаем ниже. Редакция газеты „Борьба“ приносит глубокую благодарность Сталинградскому обществу краеведения за предоставление письма-очерка для напечатания в „Борьбе“». В сноске к заглавию было сказано: «Письмо появляется в печати впервые». Со ссылкой на газету «Борьба» и под тем же заголовком перепечатано в газете «Вечерняя Москва», 1928, № 80, 4 апреля, и № 81, 5 апреля. Несколько позже — опубликовано в «Литературном приложении» к № 83 «Ленинградской правды (1928, № 7, 7 апреля) под заголовком «Из воспоминаний» и со следующим примечанием: «Этот рассказ прислан М. Горьким редколлегии газеты „Красная заря“. Рабкоры завода предоставили его для опубликования в „Ленинградской правде“».

Наконец, по машинописи, полученной от автора, произведение, в качестве бесплатного приложения к ленинградской заводской газете «Красная заря», было издано отдельной книгой: М. Горький. На Крутой (Из воспоминаний). Л., 1928.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф без заглавия со значительной правкой (ХПГ-42-22-2).

2. Беловой автограф под заголовком «Письмо к сталинградским краеведам» (ХПГ-42-22-1).

3. Авторизованная машинопись под тем же заголовком, правленная и подписанная Горьким (ХПГ-42-22-3).

4. Вторая авторизованная машинопись под тем же заголовком с правкой и подписью (ХПГ-42-22-5).

5. Заверенная машинопись, судя по пометам, снятая с одной из авторизованных машинописных копий (ХПГ-42-22-4).

Печатается по тексту газеты «Беднота».

Произведение — автобиографическое. По содержанию примыкает к произведениям «Книга», «Сторож», «Время Короленко».

С т р. 383. *На Крутую я был переведен зимой 1889 или 90 года...*— На станцию Крутая — в 12 км от Царицына — будущий писатель был переведен в январе 1889 г. М. З. Басаргина-Прибыткова вспоминала: «10 января 1889 года на станцию Крутая был прислан новый служащий в качестве весовщика, и этот новый служащий был как раз Алексей Максимович Пешков. Он поступил в распоряжение моего отца, начальника станции Крутая. В то время, когда он был назначен к нам, состав станции был следующий: начальник станции — Басаргин Захар Ефимович, в то время ему было 39 лет; старший помощник Ковтунов Александр Сергеевич; старший телеграфист Якушев Яков Семенович; телеграфист Юрин Дмитрий, отчества не помню; телеграфист Ярославцев Иван Владимирович. Два последние были большими друзьями Алексея Максимовича» (Архив А. М. Горького, МоГ-1-13, лл. 2—3).

С т р. 383. *Жолнерка* — солдатка.

С т р. 383. *Поехал казак на чужбину далече...*— Ср. А. Л и с т о п а д о в. Песни донских казаков, т. II. М., 1950, стр. 414—417.

С т р. 384. *...из Астары, Узун-Ада...*— *Астара* — пограничный город на территории Ирана, близ Каспия. *Узун-Ата* — городок на окраине Кызыл-Кумов, на левом берегу Сыр-Дарьи, к северо-западу от Ташкента.

С т р. 384. *...со сторожем Черногоровым-Крамаренком.*— С И. В. Черногоровым (ум. в 1941 г.) Пешков познакомился, еще работая на ст. Добринка. Черногоров был почти его ровесником. «Когда товарищи беседовали с Пешковым, Черногоров забивался в уголок, внимательно слушал и молчал. Однако как раз на него и обратил внимание Пешков. Их отношения с каждым днем становились всё дружественнее» (А. С е р г е е в. Правильный человек.— «Ленинское знамя» (Липецк), 1958, № 73, 27 марта). 30 марта 1934 г. в письме к одному из своих знакомых по ст. Крутая — А. П. Васильеву — Горький упомянул Черногорова: «А помнишь, как вы, черти клетчатые, издевались надо мной, высмеивали меня, когда я говорил, что хозяевами жизни должен быть рабочий народ? Только один Черногоров замогильным басом откликался: „Верно“. Он понимал, что, если к умным рукам пристроить умную голову,— можно повернуть жизнь как следует. Вот и повернули!» (*Г-30*, т. 30, стр. 342).

С т р. 384. *...начальнику товарного отдела М. Е. Ададурову...*— См. примеч. к рассказу «Сторож» в т. XVI наст. изд., стр. 554—556.

С т р. 385. *...деревня Пёски...*— «Ал‹ексей› Мак‹симович› в своих воспоминаниях о Крутой ‹...› вместо „Песчанки“,

пишет „Пéски“»,— отмечала М. З. Басаргина-Прибыткова (Архив А. М. Горького, МоГ-1-13, л. 10).

Стр. 383. *Помощник начальника станции Ковшов...*— Как сообщал И. А. Груздеву сам Горький (*Архив Г* XI, стр. 98—99), Ковшов послужил прототипом Петра Игнатьевича Колтунова в рассказе «Книга» (наст. изд., т. XIV, стр. 427).

Стр. 386. *Захар Ефимович Басаргин* — начальник станции Крутая (ум. в 1928 г.). О нем Горький писал М. З. Басаргиной в июне 1899 г.: «Я люблю Зах<ара> Еф<имовича>,— это недюжинный человек и хорошее сердце» (*Г-30*, т. 28, стр. 85). 26 апреля 1928 г., сообщая Горькому о смерти отца, последовавшей 19 января, М. З. Басаргина писала: «Немного не дотянул до Вашего юбилея. Он часто говорил о Вас, и как жаль, что не пришлось ему слышать Ваше милое и теплое о нем воспоминание» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-49-3). В своих воспоминаниях М. З. Басаргина рассказывала: «Отец мой был человек любознательный, развитой, хотя и не получил образования: 14 лет он остался сиротой. Постепенно выбился на дорогу и стал начальником станции. Вначале был телеграфистом, потом осмотрщиком — т. е. прошел все стадии работы на железной дороге. Алексею Максимовичу он отдавал известное предпочтение, как человеку, который <...> может разъяснить многие из проблем, которые отца интересовали» (Архив А. М. Горького, МоГ-1-13, л. 3).

Стр. 389. *...«Кружок самообразования»...*— «В Крутой вокруг него <Пешкова> образовался кружок молодежи,— вспоминал А. Е. Чуев,— и юные товарищи его то и дело приезжали к нам в Царицын за книгами» (Архив А. М. Горького, МоГ-13-12-3). М. З. Басаргина рассказывала, что все кружковцы «собирались в телеграфной конторе, завешивали окна и преимущественно собирались ночью. Приезжали они часто. За ними следил жандарм Петров, но он был довольно хороший человек, другой бы предал их. Правда, мой отец старался выгородить Ал<ексея> Мак<симовича>, говоря, что он читает хорошие книги, а не запрещенные. Собирались они еще в полверсте в болоте, в лесу, в местности „Крутенькая“. Сам Алек<сей> Мак<симович> в город ездил редко. Собрания же у них происходили еще на так наз<ываемой> „Соляной Пристани“, в г. Царицыне, где был ими облюбован дом» (Архив А. М. Горького, МоГ-1-13, л. 8).

Стр. 389. *...младший телеграфист Юрин...*— Описан в рассказе «Книга» — Юдин (см. в т. XIV наст. изд.).

Стр. 389. *Лахметка* — Т. Ф. Лахметко, умер в 1935 г. В Архиве А. М. Горького хранятся воспоминания Лахметко «Как познакомился Алексей Максимович с Тимофеем Федоровичем» (Архив А. М. Горького, МоГ-8-3-1).

Стр. 390. *...М. Я. Началов из Березова, из ссылки...*— Началов М. Я. (1856—1925), поднадзорный, бывший ялуторовский ссыльный, служил в управлении Грязе-Царицынской ж. д. в Царицыне (см. письмо Горького Груздеву от 15 августа 1926 г.— *Архив Г* XI, стр. 69, 318), а затем в управлении Закавказской дороги в Тифлисе. В письме И. А. Груздеву от 23 марта 1927 г.

Горький упоминает о Началове, как о поднадзорном, приятеле Сомова, указывает, что встречался с ним на Грязе-Царицынской ж. д. и в Нижнем (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 108), а в другом — от 13 апреля 1933 г.— свидетельствует: «Началов, Мих<аил> Яковлевич, и направил меня сторожем на ст. Добринка, Грязе-Царицынской ж. д.» (там же, стр. 318). *Соловьева* А. Г. — студентка, тесно связанная с Н. Е. Федосеевым по казанскому процессу, решившая обвенчаться с ним; позже внезапно и странно изменила свое намерение (см. *Г и его время*, стр. 641—644). Зимой 1888—89 г. Соловьева снабжала книгами через Лахметко «кружок саморазвития» на Крутой. *Подбельский* П. П. (1859—1889) — член студенческого кружка партии «Народной воли», отец большевика В. П. Подбельского. Подбельский известен как участник «сабуровской истории», выполнивший решение Центрального студенческого кружка о нанесении министру Сабурову с целью добиться его отставки «публичного оскорбления действием». По воспоминаниям ссыльных, Подбельский был одним из «симпатичнейших и всеми уважаемых членов местной ссыльной колонии» («Якутская трагедия — 22 марта/ 3 апреля 1899 г.» Сборник воспоминаний и материалов. М., 1925, стр. 48). Погиб Подбельский во время якутской трагедии — вооруженного сопротивления политических ссыльных. Бросившись на защиту ссыльных, он был убит в перестрелке при осаде дома Монастырева в городе Якутске 22 марта 1899 г. (см. там же, стр. 108—116). Братья Петр и Сергей *Степановы* — революционеры-народовольцы; Петр известен, в частности, своей революционной пропагандой среди раскольников. «Среди учащейся и служащей молодежи было основано в конце 80-го и в начале 81-го года несколько „периферических“ кружков, многие члены которых принимали живое участие в деятельности революционных групп <...> некоторые из них были сосланы в Сибирь административным порядком (братья П. и С. Степановы)» («Революционные кружки Саратова». СПб., 1906, стр. 19).

Стр. 390. *...поручик Матвеев...*— Горький в примечаниях к статье «Первое преступление М. Горького» называет поручика Матвеева «бывшим ссыльным» («Былое», 1921, № 16, стр. 185).

Стр. 390. *...снабжали нас книгами...*— «Читали мы больше Тургенева, Элпзу Ожешко,— вспоминала М. З. Басаргина.— Алексей Максимович приносил книжку и говорил: „Я принес интересную вещь, надо почитать“, и начинал читать. Особенно запомнилось чтение Ал<ексеем> Мак<симовичем> романа Элизы Ожешко „Над Неманом“, именами героев этого романа Пешков называл нас <...> Читали мы еще журналы „Русское богатство“ и „Колосья“, очень солидные в то время журналы» (Архив А. М. Горького, МоГ-1-13, лл. 5—6).

Стр. 390. *...мы читали брошюру А. Н. Баха «Царь-Голод», «Календарь Народной воли», литографированные брошюры Л. Толстого, рассуждали по Михайловскому о «прогрессе», о том, какова «роль личности в истории».*— Названные здесь книги и авторы были особенно популярны в народнических

кружках 80-х годов. Характеризуя круг чтения подобных кружков, Горький писал Груздеву 12 марта 1936 г.: «...ортодоксально народнические <кружки>, с обязательным, как Евангелие, чтением „Исторических писем“ (1870) Лаврова-Миртова, статей Михайловского „Герои и толпа“ (1882), „Вольница и подвижники“ (1877) <...> Мальчикам, которые достаточно покушали доморощенной премудрости, давали, в качестве десерта, „Царь-Голод“ А. Н. Баха» (*Архив Г XI*, стр. 354). В Государственном Архиве Татарской АССР находятся страницы «Царя-Голода», переписанные рукою Горького (см.: М. Н. Елизарова. А. М. Горький в Казани. Казань, 1954, стр. 12). Запрещенные брошюры Л. Н. Толстого — «В чем моя вера?», «Исповедь» и др.

Стр. 391. *...бог скормил медведям сорок человек детей...*— Имеется в виду библейское предание о пророке Елисее. Когда Елисей подходил к городу Вефилю, вышедшие из города «малые дети» стали насмехаться над его плешью. Елисей «проклял их именем господним» — и тотчас 42 ребенка были растерзаны двумя медведицами, вышедшими из леса (Библия, Четвертая книга Царств, гл. 2, стихи 23—24).

Стр. 391. *...в рассказике «Книга».*— См. в т. XIV наст. изд.

Стр. 391—392. *... от «теории прогресса» и Спенсерова учения о «надорганическом развитии»...*— В 80—90-е годы народничество, которое оказывало заметное влияние на круг чтения и интересы изображенного Горьким «кружка самообразования», приобрело либеральный характер. Один из создателей либерально-народнической доктрины, Н. К. Михайловский, рассматривал личность как главный двигатель прогресса, как критерий прогресса общества, мерило всех общественных ценностей и, подобно П. Л. Лаврову, считал, что историю делают не массы, а выдающиеся личности. Значительное влияние на либерально-народническую интеллигенцию оказал английский философ, психолог и социолог Герберт Спенсер (1820—1903), собрание сочинений которого вышло в Петербурге в 1866—1869 гг. Спенсер исходил из того, что общественный организм развивается, якобы, по аналогии с «живым биологическим организмом» («органическое развитие»); биологизация социальных явлений понадобилась Спенсеру для утверждения буржуазного строя как «вечного», «естественного». Михайловский «полемизировал» со Спенсером, призывая социологов иметь перед своими глазами «грозный образ страдающего человечества» (Н. К. Михайловский. Что такое прогресс? — Сочинения, т. 4, изд. 2. СПб., 1888, стр. 69); однако Михайловский, по существу, пришел к теории мирного прогресса. Как писал В. И. Ленин, «суть дела состоит в коренном расхождении материализма со всем широким течением позитивизма, *внутри* которого находятся и Ог. Конт, и Г. Спенсер, и Михайловский» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 214).

Стр. 393. *В его года Христа уже распяли, Скобелев генералом был...*— Согласно евангельской легенде, Христос был

распят 33 лет от роду. Русский полководец М. Д. Скобелев (1843—1882), когда ему было 33 года, получил чин генерал-майора.

С т р. 394. ...*в «Царицынском листке»*... — Имеется в виду газета «Царицынский вестник».

С т р. 395. ...*я отправился пешочком с Крутой в Москву.*— В мемуарах М. З. Басаргиной сообщается, что М. Пешков пробыл на станции Крутая почти 4 месяца — январь, февраль, март и около половины апреля. «13 ‹апреля› он пришел и сказал: „Мария Захаровна, завтра я уезжаю“ ‹...› Отец предупредил его, что сыскная полиция очень сильно им заинтересовалась и для дальнейшей безопасности необходимо уехать ‹...› 14-го, в 11 часов утра, с почтовым поездом Ал‹ексей› Мак ‹симович› уехал» (Архив А. М. Горького, МоГ-1-13, лл. 12, 13).

НАШ ЧЕЛОВЕК

(Стр. 396)

Впервые напечатано одновременно в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 118, 23 мая, и, с сокращениями, в «Красной газете» (веч. вып.), 1928, № 140, 23 мая.

В Архиве А. М. Горького хранится отрывок из черновой рукописи, перечеркнутый синим карандашом (Архив А. М. Горького, *ГЗ*$_{VI}$-7-35).

Печатается по тексту «Известий».

Написано в начале мая 1928 г.

В 1927 г. В. Е. Дровянников (1890—1940), солист Государственного академического Большого театра СССР, прибыл по путевке Наркомпроса РСФСР в Италию для завершения музыкального образования («Правда», 1927, № 163, 21 июля). 5 апреля 1928 г. он обратился к Горькому со следующим письмом:

«Я сын деревенского батрака, сам рабочий (батрак), родился в кавказских горах за 200 верст от железной дороги и вообще от всякого культурного центра. Семья моя и до сих пор темна и невежественна, по-прежнему бедствует и батрачествует. Я случайно на военной службе научился кое-как писать и читать и до сих пор не имею никакого законченного общего образования ‹...› Теперь, с октября, я в Риме ‹...› Разрешите приехать после 15 апреля, я захвачу с собой ноты и хорошенько попою Вам. Со мной приедет моя жена, она же и моя учительница пения, блестящая пианистка, поиграет и проаккомпанирует мне. Спою несколько вещей собственных, т. е. мои слова и моя музыка на современные темы» (Архив А. М. Горького, КГ-ди-4-5-1).

К письму приклеена вырезка из газеты «Mesagero» от 13 марта 1928 г.:

«В Ассоциации тосканцев

Вчера вечером в Ассоциации тосканцев был дан концерт, в котором участвовали бас Василий Дровянников и пианистка

Е. Дровяникова. Выступления обоих артистов вызвали бурные аплодисменты многочисленной публики.

Русский, итальянский репертуар показал, что бас Василий Дровяников обладает действительно поразительными вокальными и исполнительскими данными, которые, несомненно, откроют перед ним блестящее будущее, и это особенно примечательно в наши дни, когда бас становится всё более и более редким.

В самом деле, у Дровяникова голос потрясающей мощи, широко и без малейшего напряжения льющийся и имеющий диапазон около двух с половиной октав, что позволяет ему петь партии, исполненные наивысшего драматического напряжения»[1].

Встреча Горького с Дровяниковым, видимо, состоялась во второй половине апреля 1928 г. 30 апреля 1928 г. артист писал Горькому:

«Алексей Максимович! После свидания с Вами у меня на душе остался неизгладимый отпечаток! Какое-то странное состояние, которого я в жизни не испытывал!

С одной стороны, прилив энергии и желание работать и бороться за лучшую жизнь, за настоящего культурного человека, который „звучит гордо!“, а с другой — какая-то непонятная грусть, появившаяся при расставании с Вами и не покидающая меня до сих пор! Мне кажется, что в Рим приехал я только физически, а душа и сердце неразлучно там пребывают с Вами! <...> Живу светлой надеждой на второе скорое и радостное для меня свидание!» (Архив А. М. Горького, КГ-дн-4-5-2).

3 мая 1928 г. Дровяников послал Горькому пригласительные билеты на свой концерт. «Я знаю,— написал он в сопроводительном письме,— что Вы не сможете быть и едва ли кто-либо из Вашей семьи. Но посылаю всем пригласительные билеты, хотя бы на память.

Дорогой Алексей Максимович, постараюсь спеть хорошо! Душа моя будет с Вами!» (Архив А. М. Горького, КГ-дн-4-5-3).

5 мая 1928 г., перед началом концерта в Риме, Дровяникову передали письмо от Горького. В этом письме Горький сообщал артисту, что пишет о нем статью (Архив А. М. Горького, КГ-дн-4-5-4).

В последующих письмах Горькому Дровяников рассказывал о своих концертах, которые он давал в Неаполе, Риме, просил похлопотать, чтобы ему продлили срок пребывания в Италии и таким образом дали возможность закончить музыкальное образование. Горький принял в судьбе артиста самое живое участие. Он послал в Москву вырезки из иностранных газет, рассказывал об успехах Дровяникова своим друзьям и знакомым. 5 октября 1928 г. он писал Д. И. Курскому: «Дровяников за лето сделал удивительные успехи» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21-31-3). 21 октября о нем же Горький сообщал А. Б. Халатову: «Итальянцы от него в большом восторге и уже приглашают его в Милан, в „La Scala“, лучший театр Италии» (там же, ПГ-рл-48-15-16). На это письмо наклеена фотография Дровяникова из

[1] Перевод с итальянского Л. П. Быковцевой.

итальянской газеты со следующим текстом: «Русский бас Василий Дровяников соперничает с Шаляпиным и выступает в эти дни в Италии с громадным успехом».

В конце декабря 1928 г. итальянские газеты сообщили, что Дровяников покидает Неаполь и, совершив турне по Европе, возвратится в Москву.

Вскоре после завершения турне о Дровяникове появились сообщения и заметки в советских газетах и журналах. «Голос беспредельных возможностей» — так называлась статья П. Баранчикова, опубликованная в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК». В статье отмечалось, что Дровяников «выдвинулся в мировые величины», что европейская печать сравнивала его по вокальным способностям с Шаляпиным, Баттистини, Титто-Руфо. В статье приведен отзыв французского критика Жоржа Пиока: «Этот необычайный певец потрясал меня до глубины души, в особенности в русских вещах. Песни волжских бурлаков у него звучат глубочайшей трагедией. И хотя говорят, что имя этому певцу сделала Италия, я бы сказал, что он ничего не потерял бы, если бы отрешился от итальянского репертуара вовсе, ибо в русском репертуаре он уже теперь не имеет себе равного» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1929, № 134, 14 июня).

Восхищаясь талантом Дровяникова, поддерживая его как певца, Горький вместе с тем одним из первых предостерегал его от «зазнайства», «чудачеств», «головокружения от успехов». 25 марта 1929 г. он писал: «Чудить начинаете Вы, Василий Евдокимович. Зачем это Вы заказали себе конверты с „фирмой“, точно хозяин похоронного бюро или торговец мебелью? Неужели Вы не понимаете, что это — смешно и компрометирует Вас как артиста? Вы сожгите-ка эти конверты, пока Вас еще не осмеяли за них <...> Вы, покамест, еще только хороший певец, но — не артист, не художник. И если Вы будете увлекаться самолюбованием и самомнением, как уже начали,— артистом Вам не быть при этом условии. Вам необходимо заняться самообразованием, усвоением артистической культуры.

Всё это я говорю потому,что так диктует мне мое хорошее чувство к Вам» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-13-21-1).

В письме от 30 марта 1929 г. Дровяников отвечал Горькому: «Спасибо за хорошее отношение и за отцовскую нотацию. Ваши слова я хорошо запомню . . .» (там же, КГ-ди-4-5-10).

Но артист не сразу сделал настоящие выводы из доброжелательной критики, которой его подверг Горький. О недостойных приемах «завоевывания славы» Дровяниковым писалось в газетах «Рабочая Москва» (1929, № 161, 17 июля), «Комсомольская правда» (1929, № 156, 11 июля, № 159, 14 июля). На заседании президиума работников искусств Дровяников признал свои ошибки («Рабочая Москва», 1929, № 161, 17 июля).

До конца жизни Дровяников оставался солистом Большого театра, на сцене которого исполнял ответственные партии: Гремина в «Евгении Онегине», Кочубея в «Мазепе», Спарафучиля в «Риголетто» и др.

III

ЗАПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА

(Стр. 401)

Вступительная часть «Записок из дневника» — «Чем больше живу ∽ адски интересной...» — впервые напечатана как заключение к рассказам «Проводник» и «Мамаша Кемских», появившимся под общим заглавием «Записки из дневника» в журнале «Молодая гвардия», 1925, № 10-11, стр. 10—11. Текст «Записок из дневника» в ранней редакции напечатан в журнале «Красная новь», 1941, № 6, стр. 6—10; в окончательной редакции (без двух последних абзацев) в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 176—182.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Беловой автограф (*БА*$_1$), с перечеркнутыми красным карандашом «вступлением» — «Чем больше живешь ∽ талантлив в том или ином» и «заключением» — «Бесконечной вереницей ∽ клевещут друг на друга» в их раннем варианте (ХПГ-31-1-2). На полях первого листа написано чернилами: «В. И. ‹Ленин› на Капри» (вероятно, пометка для памяти). На обороте второго листа чернильные следы другой рукописи с отпечатком даты: «21.X.24».

2. Беловой автограф (*БА*$_2$) окончательной редакции вступления (ХПГ-31-1-1), в котором объединены в переработанном виде указанные выше «вступление» и «заключение».

Печатаются: вступление по *БА*$_2$, остальной текст по *БА*$_1$.

Помимо рассказов «Проводник» и «Мамаша Кемских», в первой публикации отнесенных автором к циклу «Записки из дневника», и «Правдивого изложения случая с почтмейстером Павловым», первоначальная редакция которого тоже содержится в этом цикле, близки к нему рассказы «Убийцы» и «О тараканах». Тематически к этому циклу примыкают оставшиеся незаконченными произведения «Случай с Лузгиным», «Фотограф из Симбирска», «Четверо людей играли в преферанс», «Анекдоты», «Жил-был господин Смолокуров...», «Это — нечто о голове», «‹Заметки›», «В 901 году, в Нижегородской тюрьме...», «Афанасий Медведев», «Александра Кирилловна...», «Саня», по своему содержанию сходные с тем, что говорит Горький во вступлении к «Запискам из дневника».

По замыслу и содержанию «Записки из дневника» примыкают к циклу «Заметки из дневника. Воспоминания», являясь его

своеобразным продолжением. По-видимому, над «Записками из дневника» Горький работал, в основном, после завершения книги «Заметки из дневника. Воспоминания».

Возможно, какое-то время работа над циклом шла параллельно с работой над «Делом Артамоновых». 5 сентября 1924 г. А. Н. Тихонов писал Горькому: «Сегодня получил Ваше письмо от 19.VIII <...> Конечно, мы будем очень рады, если Вы пришлете нам Ваши „Заметки“» (*Г-30*, т. 16, стр. 599).

Полностью поглощенный «Делом Артамоновых», а затем« Жизнью Клима Самгина», Горький так и не довел «Записки из дневника до завершения. 10 декабря 1925 г., отвечая редакции журнала «Сибирь», он сообщал: «Посылаю Вам для журнала небольшой очерк „Убийцы“,— кроме этого ничего не нашел. Я теперь пишу большую книгу („Жизнь Клима Самгина“.— *Ред.*), рассказы перестал писать» (*Г-30*, т. 15, стр. 428).

Стр. 401. *...жизнь десяти тысяч русских людей — такая книга была бы значительней «Анабазиса»...* — В сочинении древнегреческого историка и военно-политического деятеля Ксенофонта (род. ок. 430 до н. э.), «Анабасис» (греч., дословно — восхождение, подъем) повествуется о том, как в 401 г. до н. э. десятитысячное войско греческих наемников, служившее персидскому царевичу Киру, восставшему против царя Артаксеркса, возвращалось после гибели Кира на родину. Отступавшие греки героически преодолевали многочисленные препятствия и опасности, и этот поход вошел в историю как образец стойкости, мужества и военного искусства.

Стр. 404. *А. Н. Алексин* — см. в т. XVI наст. изд. произведение «А. Н. Алексин» и примеч. к нему.

Стр. 404 *...две книги: «Космос» Гумбольдта и Дрепэрову «Историю умственного развития Европы»...*— Русский перевод: «Космос. Опыт мироописания. Александра фон Гумбольдта», ч. 1, М., 1862; ч. II, М., 1862; ч. III, М., 1863; О книге Дрепера см. примеч. к рассказу «О тараканах». Эта книга с пометами Горького имеется в *ЛБГ*.

Стр. 404. *Молодой московский философ Викторов...* — Горький мог иметь в виду Д. В. Викторова, философа-идеалиста, автора ряда статей и книги «Эмпирикритицизм, или Философия чистого опыта». Однако не исключено, что речь идет о П. П. Викторове, книга которого «Учение о личности и настроениях» (вып. I. М., 1903; вып. II. М., 1904) имеется в *ЛБГ* (см.: *Архив Г* XI, стр. 72).

Стр. 405. *Мензбир* М. А. (1855—1935) — русский зоолог, профессор Московского университета, академик. Важнейшие труды Мензбира: «Орнитологическая география России», «Птицы России» (1893—95), «Дарвинизм в биологии» (1886) и др.

Стр. 406. *Александр Васильевич Панов* (1865—1903) — журналист и общественный деятель, народник; сотрудничал в «Самарской газете», «Волжском вестнике», в журналах «Образование», «Жизнь», «Журнал для всех». С 1894 г. жил в Нижнем Новгороде, в 1898 г. был выслан в Самару, а затем в Саратов,

откуда вернулся в Нижний в 1902 г. Автор книги «Домашние библиотеки» (см.: А. В. Панов: Домашние библиотеки, изд. 3. СПб., 1906). Книга имеется в *ЛБГ*. На ней надпись: «Книжка издана мною для работы кружков на средства Алексея Максимовича. 1935 г. 20/XII Ив. Ладыжников». Панов работал вместе с И. П. Ладыжниковым и М. И. Лебедевым в нижегородском магазине «Книжный музей», созданном по инициативе Горького и группы общественных деятелей с просветительной целью. В письме от 2 января 1934 г. О. З. Лебедева (жена М. И. Лебедева) писала Горькому: «...у нас была и типография в 1901 году и конспиративная квартира <...> у меня жил и умер Панов Алекс<андр> Вас<ильевич>» (Архив А. М. Горького, КГ-рзп-4-14-1).

Стр. 406. ...*«взыскующие света истины»*... — Выражение, возникшее из перефразировки библейского текста: «Не имамы бо зде пребывающего града, но грядущего взыскуем» (Новый Завет. Послание к евреям апостола Павла, гл. 13, стих 14).

Стр. 407. *«Мысль и свобода — прежде всего!»* — Измененная цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». У Некрасова: «Свет и свобода/ Прежде всего» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. III, М., 1949, стр. 380).

Стр. 407. *Жандармский полковник Попов говорил о нем водочному заводчику Долгову*...— Попов служил в Нижегородском губернском жандармском управлении. Его имя (с чином подполковник) значится в издании: «Нижегородский край. Адресная и справочная книга Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии, 1901 г.» (стр. 102, экземпляр имеется в *ЛБГ*). А. В. *Долгов* — известный винозаводчик, возглавлявший товарищество «А. В. Долгов и К°» с отделением в Нижнем Новгороде (см. там же, стр. 149).

Стр. 407. ...*о почтмейстере Павлове*... — Этот эпизод более обстоятельно разработан Горьким в произведении «Правдивое изложение случая с почтмейстером Павловым» (см. в наст. томе, стр. 423).

Стр. 408. ...*П. Ф. Унтербергер* (1842—1921) — нижегородский губернатор в 1897—1905 гг. Вероятно, о нем идет речь в мемуарах А. И. Цветаевой, которой Горький рассказывал «о нижегородском губернаторе, однажды севшем с ним на обрыве над Волгой и изложившем ему свой проект устроения государства. Каждому великому князю — по губернии — автономное управление. И губернии будут в порядке, и великие князья заняты» (Архив А. М. Горького, МоГ-13-42-1, лл. 78-79).

Стр. 409. ...*Бисмарк и агент его — еврей Лассаль*.— В сентябре 1862 г. Отто фон Бисмарк (1815—1898) был назначен на пост министра-президента и с тех пор проводил политику «железа и крови», с целью объединить Германию под прусской гегемонией. Здесь имеется в виду факт тайных переговоров Бисмарка с Фердинандом Лассалем (1862—1864), одним из руководителей немецкого рабочего движения. Добиваясь от Бисмарка установления всеобщего избирательного права, Лассаль обещал

ему поддержать план объединения Германии. Неразборчивость в средствах сделала Лассаля орудием Бисмарка, пытавшегося сломить либералов с помощью рабочего движения. Против оппортунистической тактики Лассаля выступили передовые слои немецкого пролетариата во главе с Августом Бебелем (1840—1913) и Вильгельмом Либкнехтом (1826—1900).

СЛУЧАЙ С ЛУЗГИНЫМ

(Стр. 410)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 105—116.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-46-23-1). На полях первой страницы надпись: «Случай с [Башкировым] Лузгиным». Фамилия и имя героя были изменены не сразу: в *ЧА* разнобой (см. варианты).

Датируется 1924—1925 гг. (см. выше примечание к «Запискам из дневника»).

Печатается по *ЧА*.

С т р. 416. *Вавилонская башня: начало на земле, а конец — в небе.* — По библейскому преданию, люди вознамерились строить башню «высотою до небес», за что бог смешал языки и рассеял людей «по всей земле» (Библия. Первая книга Моисеева, гл. 11, стихи 1—9).

СНЫ

(Стр. 417)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 117—122, а также в книге: Архив А. М. Горького, т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки. М., 1969, стр. 62, 194.

В Архиве А. М. Горького хранятся черновые автографы — *ЧА* (ХПГ-46-2-1; $ГЗ_{XXVII}$-16-4 и $ГЗ_{II}$-2-40). На оборотной стороне первого листа запись варианта стихотворения «Рыжая, как ржавое железо...» (см. т. XI наст. изд., стр. 504), тематически примыкающего к циклу «Сны».

Записи «снов» делались разновременно: автографы на разной бумаге. Однако у Горького, возможно, возникала мысль объединить разрозненные наброски: в Архиве А. М. Горького хранится отдельно лист бумаги с надписью, сделанной автором: «Сны. Материалы». В тексте встречается указание на время написания II-го сна: «...я живу в Германии, под Фрейбургом...». Под Фрейбургом в Гюнтерстале Горький жил с июля по ноябрь 1923 г. По воспоминаниям Е. П. Пешковой, III сон был прочитан

ей автором зимой 1922—23 г. в Санкт-Блазиене (Шварцвальд) (*Архив* $Г_{III}$, стр. 263).

Печатаются по *ЧА*.

Стр. 418. *Вижу Е. Д. Кускову...* — С Е. Д. Кусковой (1869—1958), в молодости псповедовавшей «легальный марксизм», затем «экономизм», позднее примыкавшей к кадетам и после Октября превратившейся в злобную эмигрантку — противницу Советской власти, Горький познакомился еще в 1890-х годах.

Стр. 419. *Немирович-Данченко, кажется, уехал в Нью-Йорк, или — в Москве.*— 13 сентября 1922 г. начались гастроли МХТ за границей (Рига — Ревель — Берлин — Париж — США), длившиеся два сезона 1922/23 и 1923/24 гг. Группу возглавлял не В. И. Немирович-Данченко, а К. С. Станиславский (см.: «В л. И в. Немирович-Данченко». Театральное наследие, т. 2. М., 1954, стр. 349—350).

Стр. 420. *Васильев Н. З.* (1868—1901) — химик, нижегородский товарищ Горького (подробнее о Васпльеве см. рассказ «О вреде философии» и примеч. к нему в т. XVI наст. пзд.). В 1897—1898 годах работал в лаборатории на бумажной фабрике Кувшинова в селе Каменное близ Торжка, где Горький гостил у него.

ФОТОГРАФ ИЗ СИМБИРСКА

(Стр. 421)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные пропзведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 113—114.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф —*БА* (ХПГ-49-20-1), в который вклеена газетная корреспонденция «Сквозь стены». Это — вырезка из эмигрантской газеты. На оборотной стороне вырезки — сохранившаяся часть статьи, в которой содержатся ссылки на сентябрьский номер газеты «Экономическая жизнь» за 1925 г., в связи с чем набросок датируется 1925 г.

Печатается по *БА*.

Стр. 421. ...*Кронверкский* — проспект в Петрограде, на котором в доме № 23 Горький снимал квартиру в 1914—1921 годах.

Стр. 421. *Гордин* — Горин Е. Е. (1877—1951), изобретатель-самоучка. 26 июля 1921 г. подал в Комитет по делам изобретений заявление с просьбой выдать патент на изобретенный им «способ электрической передачи изображений при помощи системы параллельных проводов». 15 сентября 1924 г. такой патент ему был выдан («Вестник Комитета по делам изобретений», 1925, № 11, сентябрь, стр. 27).

ПРАВДИВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СЛУЧАЯ С ПОЧТМЕЙСТЕРОМ ПАВЛОВЫМ

(Стр. 423)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 122—130.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Беловой автограф — *БА* (ХПГ-42-20-1).

2. Автограф отрывка на отдельном листе — лаконичное изложение бесед почтмейстера с чёртом (ХПГ-42-20-2).

3. Автограф начала произведения (шесть строк) на одном листке с наброском «Четверо людей играли в преферанс...» (ХПГ-42-20-3).

4. «Соррентийская правда» с текстом произведения, переписанным рукой М. А. Пешкова.

Печатается по *БА*, с исправлением в первой фразе слова «подтверждена» на «подтверждено» *(Ред.)*.

Замысел произведения возник у писателя, видимо, в 1923 г. (см. в наст. томе «Записки из дневника»). Советуя В. А. Каверину — в письме от 13 декабря 1923 г.— перенести внимание «в русский, современный, достаточно фантастический быт», Горький заметил, что этот быт «подсказывает превосходные темы, например: о чёрте, который сломал себе ногу,— помните: „тут сам чёрт ногу сломит“» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 178). К весне 1924 г. замысел окончательно выкристаллизовался. 2 мая Горький писал В. Ф. Ходасевичу: «Я, по причинам кочевой жизни, не пишу, а хочется написать кое-что о почтмейстере, который от скуки жизни выдумал чёрта, поместил его у себя в кабинете на книжном шкафу, полтора года пил с ним коньяк и философствовал — чёрт сбежал от него. Сбежишь, знаете!» («Новый журнал», 1952, кн. 30, стр. 201—202). Фабула произведения была изложена писателем также в «Записках из дневника». Отрывки ХПГ-42-2-2 и -3, хранящиеся в Архиве А. М. Горького, видимо, относятся к раннему этапу работы над произведением.

Как уже говорилось в примечаниях к «Запискам из дневника», произведение «Правдивое изложение случая с почтмейстером Павловым» написано, по-видимому, в 1924—1925 годах, но осталось «в столе». В 1926 г. Горький передал его сыну для «Соррентийской правды».

С т р. 425. ...*Мильтону со Клингеру*...— Имеются в виду художественные образы дьявола и его слуг в поэмах Джона Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», в произведениях Тирсо де Молина, в трагедии Гёте «Фауст», в пьесе Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста», в поэме Лермонтова «Демон» и в романе Ф. М. Клингера «Жизнь Фауста, его деяния и гибель в аду».

С т р. 425. ...*памятуя пример милосердного самарянина*.— Имеется в виду евангельская легенда о самарянине (жителе Сама-

рии, или земли Самарийской, которая соседствовала с Иудеей), оказавшем помощь человеку, ограбленному и израненному разбойниками (Евангелие от Луки, гл. 10, стихи 30—35).

Стр. 426. ...*Библию Дорэ*, «*Весь Петербург*» *Суворина*, *Четьи-Минеи*...— Имеются в виду: Библия с гравюрами французского художника Гюстава Доре; «*Весь Петербург*» — Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. Издание А. С. Суворина (выпускалась ежегодно много лет подряд); «*Четьи-Минеи*» — сборники «жизнеописаний святых», поучений и прочих религиозных текстов.

Стр. 427. ...*Мурин, древний сатир ∽ признанный святым*».— Здесь, по-видимому, контаминация. Моисей Мурин (325—400) — христианский «святой», бывший атаман разбойников. О «святом сатире» повествуется в рассказе того же названия Анатоля Франса. Но в памяти почтмейстера, задумавшего «довести чёрта» до веры в Христа, Мурин всплывает не случайно. Согласно христианским преданиям, Моисей Мурин самого дьявола заставил «исповедать Христа» («Палладия епископа Елеопского. Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Пер. с греч. СПб., 1850, стр. 79.— ЛБГ).

Стр. 427. *Рубинштейнов* «*Демон*» — опера А. Г. Рубинштейна (1875).

Стр. 430. ...*О чем смотри лженаучные сочинения харьковского сумасшедшего Ковалевского, дерптского Чижа*...— Намек на известных русских психиатров. *Ковалевский* П. И. (1849—1923) — профессор Харьковского университета, организатор кафедры психиатрии в этом университете. С 1883 г. по его инициативе издавался первый русский психиатрический журнал «Архив психиатрии, невралгии и судебной психологии». Перу Ковалевского принадлежат: «Руководство к правильному уходу за душевнобольными». Харьков, 1880; «Основы механизма душевной „деятельности“». Харьков, 1885; «Психиатрия». СПб., 1886; «Судебно-психиатрические очерки», тт. 1—2. Харьков, 1899; *Чиж* В. Ф. (1855—1914) — с 1891 г. заведующий кафедрой психиатрии Дерптского университета. Автор книг: «Достоевский как психопатолог». М., 1885; «Лекции по судебной психопатологии». СПб., 1890; «Кататония». Казань, 1897; «И. С. Тургенев как психопатолог». М., 1899; «Болезнь Гоголя». М., 1904; «Учебник психиатрии». Пб. — Киев, 1911.

Стр. 430. ...*егеровского белья*...— Егеровское белье — шерстяная нательная одежда, получившая свое название по имени австрийского естествоиспытателя и гигиениста доктора Густава Иегера, который считал «нормальной одеждой» лишь шерстяную, рекомендуя ее и как лечебное средство.

Стр. 431. *П. Ф. Унтербергер* — см. примеч. к стр. 408.

Стр. 432. ...«*несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная*»...— Из христианской «заупокойной службы»(«Требник», 1956, л. 135).

СОН

(Стр. 433)

Впервые напечатано — под условным названием «Зоя» — в книге: Архив А. М. Горького, том VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 65—106.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Автограф неокончепной повести — *ЧА* — с несколькими набросками (ХПГ-31-4-1).

2. Разрозненные черновые заметки ($ГЗ_{VI}$-7-94, $ГЗ_{VI}$-9-2, $ГЗ_{VI}$-8-8).

3. Два листка с набросками к произведению о Зое,— находятся среди записей к замыслу, имеющему название «Сны» (ХПГ-46-2-1). Один озаглавлен «Сон», к другому сделана надпись: «В „Сон“».

Печатается по *ЧА*.

Начало работы над произведением относится, вероятно, к лету 1923 г. Среди дневниковых записей М. И. Будберг есть заметка от 5 июня 1923 г., в которой говорится о размышлениях писателя в поезде по дороге из Франкфурта в Шварцвальд: «Я думаю, что мой рассказ о девушке напишу как сон. Так и назову. Пусть у нее только отдельные впечатления,— о блеске глаз, о словах „ты еще пахнешь козой“, как во сне — останутся в памяти» (Архив А. М. Горького, МоГ-2-48-3).

Сохранившаяся рукопись содержит фразу: «От нее еще козой пахнет» (см. стр. 456), в повествовании говорится о «хмельном состоянии полусна», переживаемом героиней, и ряде других сходных состояний.

О «Сне» упоминается в двух письмах Горького к П. П. Крючкову. В письме от 2 апреля 1924 г. Горький, намечая примерный состав книги «Рассказов 1922—1924 годов», называл и «Сон» (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 370). В письме от 11 марта 1929 г. Горький сообщал: «Я — работаю. Написал, пожалуй, половину 3-го тома <„Жизни Клима Самгина“> и начал повесть „Сон“. Тороплюсь, а то какой-нибудь грипп — удушит» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-204).

Возможно, что об одном из героев повести о Зое речь идет в письме Горького от августа (до 10) 1924 г. к М. Ф. Андреевой: «„Я девиц не люблю, от них козой пахнет“,— говорит один из моих героев» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-47).

По-видимому, начав, но не завершив повесть еще в 1923 г., Горький возвращался к ней и в 1924 и в последующие годы. Это предположение косвенно подтверждается тем, что среди черновых заметок на 2-м листе рукописи упоминается художник Иероним Босх, интересовавший Горького во второй половине 20-х годов в связи с работой над «Жизнью Клима Самгина».

А. Цветаева, гостившая у Горького в Сорренто в 1927 г., записала среди других его рассказов и историю, начало которой воспроизведено в сюжете «Сна»: «Девушка тринадцати лет, история с отчимом, дикое по фантастике бегство. Событие одно за

другим, жизнь в роскоши, <у> отечески ее полюбившего человека, его смерть, ее продают в рабство, в гарем. Еще и еще... Японская война, она — сестра милосердия. Кончается ее след непонятным возложением ею венка на могилу писателей на Волковом кладбище» (А. М е й н. <А. Цветаева>. Из книги о Горьком.— «Новый мир», 1930, № 8—9, стр. 101).

В этой истории содержатся некоторые события из жизни Юлии Кулигиной, которая явилась одним из прототипов героини задуманного Горьким произведения. Письма Ю. Кулигиной Горький разыскивал в 1929 г. В апреле этого года он писал И. А. Груздеву:

«У меня к Вам, Илья Александрович, большая просьба: в бумагах моих, кои находятся в Публичной библиотеке или же в Пушкинском доме, должен быть желтый конверт с надписью на нем: „Письма Юлии Кулигиной".

Был бы очень благодарен Вам, если б Вы отыскали эти письма и, сняв с них копии,— или же в подлинниках — послали их в Москву, в адрес Е. П. Пешковой: Машков переулок 1, кв. 16» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 201).

Летом того же года Груздев отвечал Горькому: «Писем Кулигиной я не нашел ни в Пушкинском доме, ни в Публичной библиотеке — не знаю, как теперь быть, м. б., сообщите еще какие-нибудь следы их» (там же, стр. 205). «Спасибо Вам, И<лья> А<лександрович>,— отозвался Горький,— за хлопоты, за поиски писем Юлии Кулигиной. Они, должно быть, в Берлине, в архиве» (там же).

Как вспоминал Груздев, в одну из встреч на вопрос: кто такая Ю. Кулигина? — Горький ответил: «Это была замечательная женщина <...> Проститутка с золотым сердцем. „С одиннадцатью нациями жила",— говорила она. А на кладбище пришла, Тургеневу на могилу цветочек принесла» (И л ь я Г р у з д е в. Мои встречи и переписка с М. Горьким.— «Звезда», 1961, № 1, стр. 164).

Сохранилось два письма Ю. Кулигиной к Горькому, которые позволяют уточнить общие контуры задуманного произведения.

6(19) января 1910 г. она писала Горькому: «Обращаюсь с большой просьбой: указать, что мне читать для общего развития, и также, что нужно изучить, чтоб правильно излагать свои мысли на бумаге для ведения дневника <...> мне уже 30 лет; кончила я лишь заводскую школу, до 26 лет ничего не читала; теперь же наоборот — жажда чтения и знаний огромны, а времени потрачено так много. Больше всего меня интересует литература и всё, что к ней относится. Вы, дорогой труженик, я убеждена,— не скажете „поздно", как люди, меня окружающие, да я и сама не чувствую этого; вот я и спешу из боязни опоздать, так как мне хочется записать массу пережитого — пережито немало. Конечно, записывать пережитое, переживаемое, свои мысли, встречаемые типы я буду не для изданий своего жалкого марания, а для того, чтобы вручить кому-либо из писателей, и если он выберет из всей работы моей — для своей 1/1000 пригодного, то я работала не бесполезно <...> Обращаюсь к Вам

потому, что Вы один из любимых мною писателей, и еще потому,— Вы пишете о типах, из среды коих я вышла и всю жизнь прожила с ними, исключая последние пять лет, а потому, если не откажете потом взять мои марания, только Вы будете в состоянии меня понять <. . .> Родилась я в г. Перми. До сих пор не жила более трех лет на одном месте; до 20 лет жила в Пермской, Вятской и Тобольской губерниях, с 20 лет — в Средней Азии в разных городах. Жила в Москве, Сибири и теперь в Малороссии. Воспитания — никакого; отца не знаю; мать, родившаяся от наследственных алкоголиков, всю жизнь занимала профессию приказчицы питейных домов, где я и выросла в обществе Ваших типов и на коленях у пьяных мужчин, пела с ними пьяные песни, а они меня целовали, ласкали, развращали, кто как мог. Весь разврат и мошенничества я узнала и видела во всей наготе с малых лет, как помню себя <. . .> 16-ти лет выдали меня замуж за человека, которого я видела в первый раз за неделю до свадьбы; его мать, вдова, занималась той же профессией и она же занималась сбытом воровских вещей. Я оказалась в кругу воров различных категорий, убийц и т. д.» (Архив А. М. Горького, КГ-рл-14-51-1; см. также: *Архив Г* VI, стр. 231—232).

Отвечая на письмо Горького, которое, по-видимому, не сохранилось, Ю. Кулигина продолжала рассказ о своей жизни, а также духовном пробуждении:

«Добрый, предобрый М. Горький, у меня нет слов выразить Вам чувство благодарности, скажу одно: я думала, что не способна уже радоваться чему бы то ни было; оказалось, что умею и плакать от радости. Сколько раз я перечитала Ваше милое, доброе, сердечное письмо — не знаю, но знаю всё его наизусть; всё оно — драгоценность! Итак, с Вашего доброго пожелания, я принимаюсь за дело, и жутко, и страшно, что не сумею, а главное — очень боюсь не быть искренней, уж очень я была временами скверная и того хуже. Да поможет мне Ваш неоценимый совет и мое самосознание о себе. Я никогда не думаю о себе хорошо, но часто жалко себя, может быть, это дурно.

Пока еще читаю: Историю литературы и Андреевича; как всё интересно. Толстого и Тургенева только что прочла, о Герцене я не имела понятия, начала читать его „Былое и думы"; Лескова совсем не читала, Чехова и Короленко читала, но не всё.

Какой ужас! Проснуться в 30 лет и ничего не знать. В знании политики я полная невежда, имею какое-то смутное представление.

Как странны и непонятны были мне события 5—6-го годов, многим возмущалась, не отдавая себе отчета, но эти-то события и заставили меня читать, интересоваться окружающим; в то время я была в Сибири сестрой милосердия при эвакуации раненых; все окружающие меня люди: сестры, врачи, офицеры, а иногда и солдаты,— спорили, волновались, радовались, негодовали, и все что-то знали такое, чего я не знаю; мне было очень стыдно за себя; я стеснялась расспрашивать; теперь же нет, так

как с каждым днем, с каждой прочитанной книгой прихожу всё к большему и большему заключению, что я абсолютно ничего не знаю. Как жаль потерянного времени; если б можно было вернуться назад...» (там же, КГ-рл-14-51-2; см. также: *Архив* $Г_{VI}$, стр. 232).

Как видно из сопоставления этих писем с текстом «Сна», Горький не ставил своей задачей сколько-нибудь точное воспроизведение судьбы Ю. Кулигиной. О некоторых других жизненных материалах, использованных писателем, вспоминала Е. П. Пешкова. По свидетельству сотрудника Архива А. М. Горького А. Я. Тарараева, она передавала, что в 1903 г. Горький рассказывал ей «со слов других лиц о действительном случае, впоследствии послужившем материалом для глав II и III (эпизод в вагоне)» (*Архив* $Г_{VI}$, стр. 231).

Вероятно, одним из источников произведения была также история Клавдии Гросс, биография которой с предисловием и послесловием Горького была опубликована в 1899 г. («Северный курьер», 1899, № 13—15, 13—15 ноября)

Стр. 444. *...в город Петровск*...— По-видимому, Петровск-Порт; переименован в 1921 году в Махачкалу.

Стр. 450. *М-мы р-рож-ден-ны*...— Начало одной из строк стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (первоначальное название «Чернь», 1829): «Мы рождены для вдохновенья...»

Стр. 459. *Арнаутэ*...— Арнауты, название албанцев у турок. В России арнаутами называли выходцев из Албании.

Стр. 462. *Он напомнил Зое одного из царей с картины «Поклонение волхвов»*...— Евангельская легенда о трех волхвах (мудрецах, кудесниках) с Востока, прибывших поклониться младенцу Иисусу (Евангелие от Матфея, гл. 2, стихи 1—12), привлекала внимание многих живописцев; в частности, этот сюжет использован нидерландским художником Иеронимом Босхом (1460—1516), немецким художником Альбрехтом Дюрером (1471—1528), итальянским художником Паоло Веронезе (1528—1588).

Стр. 468. *Кинто* — мелкие торговцы, разносчики (коробейники) в старом Тифлисе.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Сорренто, 1928 г. 4
«Мамаша Кемских». Страница автографа 15
«О тараканах». Страница автографа 65
«Дело Артамоновых». Страница автографа черновой редакции 1916 г. 111
«Дело Артамоновых». Страница чернового автографа. . . 181
«Сон». Страница чернового автографа 471

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
I		
Проводник	7	481
Мамаша Кемских	13	483
Убийцы	20	484
Енблема	32	486
О тараканах	35	487
Дело Артамоновых	93	494
II		
Михаил Вилонов	373	524
Из прошлого	383	530
Наш человек	396	536
III		
Записки из дневника	401	539
Случай с Лузгиным	410	542
Сны	417	542
Фотограф из Симбирска.	421	543
Правдивое изложение случая с почтмейстером Павловым	423	544
Сон	433	546
ПРИМЕЧАНИЯ	477 — 549	
Условные сокращения	479	
Вступительная заметка	480	
Список иллюстраций	550	

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:
М. Я. Блинчевская, Л. Г. Бухарцева, С. И. Доморацкая,
Ф. М. Иоффе, В. А. Максимова, А. И. Овчаренко,
Р. П. Пантелеева, И. А. Ревякина, Е. А. Тенишева,
В. Ю. Троицкий, В. Н. Чувакова

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор восемнадцатого тома *А. Г. Соколов*

*

Редакторы издательства
А. И. Корчагин и *М. Б. Покровская*

Оформление художника *Н. А. Седельникова*

Технический редактор *О. М. Гуськова*

Корректоры *М. В. Борткова, Н. Г. Сисекина*

*

Сдано в набор 11/I 1973 г. Подписано к печати 11/VII 1973 г.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Усл. печ. л. 29,08
Уч.-изд. л. 27,7. Тираж 298 500 экз.
Тип. зак. № 65
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука», 103717, ГСП.
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28